

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

4

МИР

НОВЫЙ

2004

4

2004

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**В 2004 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2005 ГОДА
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Смерть Кирова (комментарий к выстрелу);

АННА АРУТЮНЯН. Газета русская и американская (сравнительные характеристики);

ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ. Нодельма (роман);

РОДИОН БЕЛЕЦКИЙ. Путешествие в Иваново автора, Коврова и Баранова (повесть);

ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);

ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение (роман);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Все люди умеют плавать (рассказы);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РУБЕН ДАВИД ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО. Новая книга (публикация нового произведения лауреата Русского Букера предполагается осенью одновременно с испанским изданием);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое Василии и подвижнице Серафиме;

ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ. Гардеробщик (повесть);

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ. Письма Виталию Семину;

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Холст (роман);

АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический роман);

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Святая земля и вокруг нее (эссе);

АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (роман);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

ОЛЕГ ЛАРИН. Вот так и живем (дневник сельского москвича);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;

(См. на обороте)

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. В долине блаженных (роман);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ПИНДАР — МАКСИМ АМЕЛИН. Героические оды (с древне-греческого);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Пустырь (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Новая повесть;
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы (роман);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. Новая проза;
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;
РОМАН СОЛНЦЕВ. Ключи (рассказ);
МАРИНА СТЕПНОВА. Хирург (роман);
ИРИНА СУРАТ. Мандельштам и Пушкин (статья третья);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Бабушкин спирт (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);
АНТОН УТКИН. Крепость сомнения (роман);
РЕВЕККА ФРУМКИНА. Феномен репетиторства как социальная практика (эссе);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Откос (повесть);
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ. Парад облаков (рассказы);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Новая повесть;

а также стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК, ДМИТРИЯ БОБЫШЕВА, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ИНГИ КУЗНЕЦОВОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ВЕРЫ ПАВЛОВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТОНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНЫ ШВАРЦ;** статьи, обзоры, эссе **КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, АНДРЕЯ ЗУБОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, МАКСИМА КРОНГАУЗА, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ЭРИХА СОЛОВЬЕВА** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2004 году: \$ 10.

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2004. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек (на полугодие — 444 рубля плюс стоимость доставки), 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17.30 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novu Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4 (948)

Апрель, 2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Утешительный приз, стихи	7
РОМАН СЕНЧИН — Вперед и вверх на севших батарейках, повесть	13
ЛАРИСА МИЛЛЕР — Горизонта текучая линия, стихи	67
ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ — Фармацевт, маленькая повесть	70
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ — В тени стиха, стихи	90
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ — Здесь ни за что не заблудишься, рассказ	94
ЕВГЕНИЙ ЭРАСТОВ — Русская штольня, стихи	102
АНДРЕЙ КУЧАЕВ — Другая сторона улицы, рассказы	107
ДАВИД РАСКИН — Живое железо, стихи. Вступительное слово Александра Кушнера	117

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Архимандрит АВГУСТИН (НИКИТИН) — «В большой счастливой зоне». Кубинские тетради	122
---	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Н. НИЛЛИ — Литературный Петербург. Впечатления. Подготовка текста, публикация и послесловие Е. Б. Белодубровского	137
---	-----

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Десять лет спустя	146
-----------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЛА МАРЧЕНКО — Вместороманье	153
-------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Быков. Зори над распутием	164
Виктор Куллэ. Плодоносящая смоковница	167
Василий Русаков. Золотой улов	173
Виктор Листов. Речь о молчании	176
Александр Доброхотов. В поисках утраченного смысла: по направлению к Гуссерлю	179

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА	183
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	191
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ВЛАДИМИРА ЮЗБАШЕВА	199
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	203

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	209
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	213
SUMMARY	240

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ANTHOLOGIA»

учреждена редакцией журнала «Новый мир»
в феврале 2004 года в виде специальных почетных дипломов,
отмечающих высшие достижения современной русской поэзии.

Торжественное вручение дипломов лауреатам 2003 и 2004 годов
состоится на юбилейном вечере в честь 80-летия
«Нового мира» одновременно с вручением
премии имени Юрия Казакова
и ежегодных редакционных премий авторам журнала
в начале 2005 года.

Предложения лиц и организаций, заинтересованных
в соучредительстве/сотрудничестве,
будут внимательно рассмотрены.

Координаторский совет:
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ,
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ.

Контактный телефон (095) 209-57-02
nmir@lenta.ru

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-радиовещания и средств массовых коммуникаций.

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

*

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ

* *
*

За последним забором,
за вышкою водопроводной,
где асфальт упирается
в мелкий и ржавый подлесок,
у тропы, выводящей на станцию, —
три разлапистых ели.
Я вас помню и десять,
да что там, и двадцать лет назад.
Какими вы были:
мне сначала по пояс,
потом до плеча,
а потом обогнали...
Прохожу мимо вас к электричке.
Здесь на грядках невидимых,
где сорняки заглушили рассаду,
где местные самоубийцы через пух и перо
(т. е. через подушку),
чтобы не потревожить домашних,
прицельно палили в себя,
здесь бывал я изгоем и гостем.
И вот возле вас поселился.
Скуп осенний денек.
Чем развлечь себя, как догадаться?
Вот дойду я до елок
и около них покурю —
это был марафон,
и они обогнали меня тесной стаей.
И мне достается утешительный приз —
мой возраст могучий и поздний,
утешительный приз, безутешный...
Вот и я говорю этим колючим соперникам,
что мы вместе,
друг для друга знакомое племя.
И под горькую дымку осенних костров
нам свидание это
напомнит о единственной общей победе:
кое-как не сошли мы с дистанции.
Это и есть утешенье.

Коза

Это было в деревне,
 тверской и убогой деревне,
 куда я заехал по грибы на неделю.
 Я вышел к колодцу напиться,
 но полное с верхом ведро
 стояло уже на травке у сруба колодца.
 И стояла коза у ведра,
 и пила из него,
 и совсем не спешила место мне уступить.
 Хотел я козу отогнать,
 но она мне в глаза заглянула:
 «Справедливости ради не спеши,
 я пришла сюда первая, и тебе полагается ждать,
 дай спокойно напиться хотя бы раз в сутки».
 И я отступил.
 Потому что в словах этих было важное что-то,
 обоих нас жажда томила,
 и черед утоления жажды, которому мы присягнули,
 был важнее всей мелочи,
 всей иерархии жизни.
 И пила она долго, сосредоточенно и не спеша.
 Упадут небеса,
 жизнь расплещется лужицей чайного блюдца,
 если мы отречемся от единственной этой присяги.
 Царства в прах рассыпались.
 Императора убивали, как вошь,
 потому что он сам отступался
 и подданных освобождал
 от присяги.

В больнице

В больнице,
 где меня принимали по высшему классу
 на крахмальном белье,
 и выдали одеяло верблюжье,
 и поместили в двухместной палате,
 мой сосед, попивая чаек
 и просматривая газеты, удивлялся, что я его не узнаю.
 Добродушно покровительствовал он мне,
 санитаркам, врачам...
 Как-то ночью проснулся я,
 он стоял у окна.
 — Что, не спится? — спросил я.
 — Ерунда получается,
 истекает терпенье мое.
 Это я все устроил, наладил, пустил в оборот,
 есть пределы у всякого свинства,
 я требую знаков внимания,
 а не то... —
 И он поднял костлявый кулак.
 Пробежали по комнате отсветы фар.

Мой сосед в адидасовском балахоне
кулаком ткнул в окно и опять размахнулся.
— Что ты, что ты,
Всеблагодой, Всемогущий, Всесильный,
пожалей нас, прости.
— А кто пожалеет меня? —
он ответил с печальной гримасой.

Рак желудка

У Пяти углов в Ленинграде
на Разъезжей была неплохая шашлычная,
а на Загородном (одна остановка) —
гастроном диетический.
Там у входа замурзанный нищий старик
постоянное место имел.
Он на шею приладил табличку:
«Рак желудка, прошу на лечение, на питание тоже прошу».
И то, что стоял он у входа
в диетический, было точно рассчитано.
Что-то замыкалось в мозгу у сограждан,
и ему подавали
на сметану, и творог, и на докторскую колбасу.
До того я привык к его бедности,
что однажды положил ему в шапку
сырковую массу с изюмом.
Как-то я в шашлычной сидел,
упомянутой в самом начале,
а за столиком рядом,
в приличном двубортном костюме,
водолазке нейлоновой,
выбритый, веющий «Шипром», —
я узнал его сразу —
сидел диетический нищий.
Пил армянский коньяк «Три звезды»,
заедал осетровым сациви,
а когда перед ним положили шашлык на шампуре
и горшочек чанахи,
он засыпал их перцем и ткемали обильно полил,
и, ничуть не тушуясь,
взглянул на меня
и приветствовал поднятой рюмкой.
Что тут можно сказать?
Я вполне допускаю: рак желудка
был кормильцем его и опорой.
Он свой хлеб, свое мясо, свою осетрину
добывал на пристрелянной
прифронтовой полосе.
Может стать,ся,
что диетой замученный рак
остроту́ как остро́ту ценил,
как уместную шутку застолья.

* *
*

...Помню, я ездил туда на трамвае № 12,
остановка «Обводный канал».
Книжный ряд барахолки —
и было их два или три человека,
не больше.
Они торговали стихами.
На земле чемоданчик открытый:
там уложены в стопки
эти легкие книжечки —
так недорого стоили,
что стыдно сбивать было цену —
ничего, фуисты,
футуристы и все остальные.
Я не знал, что иные из них еще живы,
что Олимпов служил
управдомом где-то на Петроградской,
что Крученных и Рюрик Ивнев могли свои книжки
мне еще подписать.
Я пытался читать среди сумерек
предвечернего часа:
*Я в землю врос
и потемнел.
Под гривую волос
нашел предел.
Я от рожденья гениальный
Бог, электричеством больной.
Мой в Боге дух феноменальный
Пылает солнечной весной¹.*
И это мне нравилось.
Но сам я стеснялся так написать.
Все измелилось, все.
Трамвая вовсе нет.
«Пощечина». «Засахаренные кры» —
пять тысяч долларов.
Давным-давно
нет никого из них на свете.
И долго я блуждал в потемках,
и дорого мне стоили мои затмения.
И наконец, да, наконец
я твердо выяснил:
«Я — Самодержец Вдохновенья
Непогрешимец Божества
Собою Сам Творец Творенья
Бессмертной Жизни Голова».

«Ленинградская здравница»

Летом, после десятого класса,
я жил в Териоках под Ленинградом,
готовился поступать в институт
и как-то на пляже

¹ Стихи К. Олимпова.

в тетради по химии
написал стихотворение.
Я сразу оделся и отправился с пляжа
в редакцию местной газеты
«Ленинградская здравница».
День стоял пляжный, июльский,
и не было в редакции
даже машинисток.
И только главный редактор,
распаренный, в расстегнутой бобочке,
томился у себя в кабинете.
И он обрадовался моему визиту:
— Давайте, что у вас?
— Стихи, совсем свежие.
— Прекрасно, давайте. —
И он прочел прямо по тетрадке.
— Ну как?
— Что — как? Превосходно!
— Что же будет?
— Как что, в номер!
— Боже, и когда это выйдет?
— Как когда? Завтра! —
...И на завтра я стал печатным поэтом
с гонораром и авторским экземпляром.
И потом, когда тридцать лет
я бился головой о стенку,
кричал, настаивал, матерился,
пускался в лобовые и фланговые атаки,
пил французский коньяк с негодяями,
ловчил в международных интригах,
оплакивал зарубленные верстки, —
я вспоминал этот летний полдень в Териоках,
эту горячую, с запахом линотипа газетку,
главного редактора
в бобочке цвета гнилой розы, —
и думал о базарных, щербатых тарелках,
этих Весах Судьбы,
о гирях и разновесках,
брошенных вертикально, от зенита к надиру.
Окончательно —
Мене, мене, текел, упарсин.

От Невки к Невке

Первый морозец зимы Петроградской
прохватывает бушлат и свитер.
Один я стою на мостике через Невку:
над Петроградской — Лаокоон дымный,
над Васильевским — багровая Ниагара заката.
Здесь я прыгнул с трамплина молодости к экватору жизни
и ушел на платформу к полному экспрессу.
Помню я, как дернулись вагоны,
как накренился стакан железнодорожного чая.
Кого я встретил, кого прозевал я
на корявой площади у трех вокзалов?
Кубиками наркоматов Москва выступала,

гербами и звездами светили посольства,
а я был последним электроном
всесильной молекулы государства.
И мне нехотя отломали ржаную горбушку
и присыпали ее каменной солью.
Надо было просыпаться прежде рассвета,
дремать среди бессонницы,
любить свои невзгоды;
надо было считать ступени, лгать в глаза,
обнимать негодяев, —
и тогда наконец распахнулась калитка
в долгий воздух всемирного перелета.
Глобус на оси пропеллером завертелся,
мазнул щеки мокрый поцелуй Гольфстрима.
Прямо из аэропорта я махнул на бульвары,
они пахли кофе, опиумом, гнилой розой.
Кружка пива наполняла глоток похмелья,
точно заговорщица, подмигивала Джоконда,
свистом времени закладывало уши
возле Самофракийской Победы;
и кричал репродуктор: на посадку, на посадку.
Вот и продел я голландский тюльпан в петлицу,
женевский браслет замкнул на запястье.
Негр наливал мне трехслойный коктейль в баре,
трубы наяривали буги-вуги.
Я стоял ночью в теснине Бродвея
и курил вместе с электрическим ковбоем «Кэмел»,
требовал скидку у цветной проститутки,
жрал живого краба прямо из океана,
выпрашивал квотеры и подавал кредитные карты.
...И не заметил, и не заметил,
как проел свое время.
И тогда я вернулся последним рейсом
на этот мост, где чугун в морозном узоре.
Холодно, одиноко, печально.
Но я согласен
все начать сызнова хоть сегодня.



РОМАН СЕНЧИН

*

ВПЕРЕД И ВВЕРХ НА СЕВШИХ БАТАРЕЙКАХ

Повесть

Подмосковный пансионат «Липки». Четырнадцать часов восемь минут. Мы с Сергеем, моим соседом по номеру, спешим в столовую. Молчим. Наговорились. Да и остальные полторы сотни тоже ведут себя достаточно тихо, точнее, солидно. Давно позади первый день Форума молодых писателей, когда энергия выплескивалась в знакомствах, возлияниях, щепотью восторге от полусказочной пансионатской жизни; миновал и второй день, который одни провели, болея с похмелья, а другие — увлеченно поглощая произведения друг друга; и третий день, по-настоящему рабочий, деловой, тоже закончился. Сегодняшний — предпоследний. Только-только участники почувствовали свою значимость, освоились, вошли во вкус, а скоро уже разбегаться, возвращаться туда, куда девять десятых наверняка не особо стремятся. «Еще б недельку», — читается на их лицах простенькая, но несбыточная мечта.

Коридор длиннющий, напоминает какой-то звездолет из фантастического фильма. Или океанский лайнер. То полутемные участки с прямоугольниками дверей справа и слева, то холлы — этакие кают-компании — где окна от пола до потолка, диваны, растения в бочонках; потом опять полутьма и двери, и опять кают-компания... В этих кают-компаниях с десяти утра до часу дня проводятся мастер-классы — под руководством какого-нибудь известного прозаика, поэта или драматурга группа юношей и девушек обсуждает то, что написал их коллега.

И я, и Сергей, автор нескольких рассказов и одной повести о москвиче, убежавшем в тайгу, вернувшимся и снова мечтающем убежать, здесь уже второй раз подряд. Выбрали разные мастер-классы, наверное, потому, что надоели друг другу в Литинституте. У меня обсуждения проходят достаточно мирно, руководитель, прозаик с внешностью типичного московского интеллигента, гасит вспышки негодования своей мудрой улыбкой, а у Сергея, как он говорит, их мастер каждое обсуждение начинает так же, как и в прошлом году.

Тиская в руках представленную рукопись, подрагивая и ерзя на стуле, заикаясь, он с искренней досадой и болью советует: «Р-ребятки, не занимайтесь в-вы этим! Что вам эта л-литература?! А?.. П-поверьте мне, старому л-литературному волку, это г-гиблое дело! Можете не писать — н-не пишите». Как на нечто заразное, посмотрев на рукопись, он вздыхает, и в голосе появляется полнейшая безысходность: «Н-но вот снова д-дали мне это. П-прочитал. Надеюсь, и остальные все п-прочитали. А?.. Д-давайте тогда разбираться. Только, б-боюсь, разнесем ведь д-до фундамента».

Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 году в Кызыле (Республика Тува), окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов». Лауреат первой премии литературного конкурса «Эврика». Живет в Москве.

Сергея вроде бы и в том и в этом году не разносили — пишет нормально, печатают его, как и меня, практически что бы куда ни давал. Мы с ним более-менее модные. У сотрудников литературных журналов и дюжины критиков... Поговаривают, что, если все будет нормально, года через два-три сами можем стать руководителями мастер-классов. Мастерами. Неплохо — мастерам, кажется, платят...

Как узенькая речка в озеро, коридор вынес нас в огромную залу с двумя этажами. На втором бар, бильярд, фонтанчик, белый рояль, а на первом вообще масса всего. В том числе фойе и вход в столовую.

Кольхая недавно возникшим брюшком, я, вслед за Сергеем, спускаюсь по лестнице.

Столовая мест на пятьсот. Размером примерно с футбольное поле. У нас в армии была такая же — гарнизонный пищеблок называлась. Пахло там резко, до насморка, тухлой капустой, гуталином и хлоркой, звенело в ушах от ударов ложек о миски, а здесь... Здесь чинно все, благородно.

Нашли свободный стол, сели напротив друг друга. Не торопясь разместили салфетки, в которых ложка, вилка, нож, принялись за салат из свежей капусты с натертым яблоком... Нельзя сказать, что я такую штуку люблю, но по крайней мере — полезно.

— Вам харчо или борщ? — чуть наклонившись, интересуется девушка в розовом фартучке, держа на левой ладони поднос с тарелками.

— Харчо, — отвечаю.

— Мне тоже, — говорит и Сергей.

Мы знаем, какое тут харчо классное. Жирное, густое, с баранинкой. Один минус — слишком много лука кладут.

Девушка ставит перед нами тарелки. Я залезаю ложкой в харчо и проверяю мясо. Приличный кусок, крупненький... А вообще-то, надо признать, порции хоть и вкусные, но нещедрые. В прошлом году вроде побольшей кормили.

Собираюсь высказать Сергею эту свою мыслишку, но подлетела Шевчена в красной дырчатой шали, плюхнулась на стул, засуетилась, как всегда, затараторила:

— Так, а где суп? Где мой суп? — Оглянулась, недовольно крикнула разносчице: — Можно сюда одно первое! — Тут же переключилась, скороговоркой, успевая закидывать в рот салат, стала нам сообщать: — Сегодня иду в сауну! Четко, да? Знаете с кем?

Я осторожно, чтоб не обжечся, хлебаю харчо, отталкивая то и дело заплывающие в ложку ломтики лука, а Сергей, знаю, снисходительно, но по-доброму улыбается. Отвечать ни он, ни я не спешим, да и какая нам разница, с кем она там куда собралась.

— О, ништя-ак! — принимая тарелку, восторгается привычно Шевчена. — Кла-асс!

У нее вообще-то Шевченко фамилия, но она ее не очень жалует. «Этих Шевченков среди писателей, — досадует время от времени, — как собак недорезанных. Начиная с Тараса Григорьевича и кончая всякими современными. Надо псевдоним хороший придумать». Я как-то в шутку предложил назваться «Шевчена»; ей не понравилось, но теперь за глаза да и в глаза я ее так называю. Кажется, звучно.

Она тоже литинститутская, с нашего семинара, на третьем курсе сейчас. Из Уфы приехала. Третий год все восторгается, суетится, бегаёт-прыгает... А вот взяла и вмиг загрузила:

— Блин, завтра уже уезжаем. Только привыкать начала... Ромочка, хочешь кость?

— Не откажусь. — Подставляю тарелку, Шевчена плюхает туда кусок позвонка с остатками мяса и жил.

— Мы на Алтае баранину знаете как варили, — ностальгически спрашивает Сергей, — чтоб витамины в ней оставались?

— Как?

— Бросали в кипяток буквально на пять минут и доставали. Она тогда и мягкая, и...

— У, прикольно... Не в курсе, в этом году совещание в Переделкине будет?

Приходится отвечать мне — как более или менее приближенному к союзписательским новостям:

— Ну, как обычно — в последнюю неделю ноября.

Девушка в фартуке приносит второе — отбивную котлету с пюре. Отбивная украшена веточкой петрушки. Расставляет тарелки на свободных пятках стола; мы, перестав есть, следим за этим процессом...

А за соседним столом двое немолодых парней. Один спокойно ест, а второй чуть не со слезами в голосе рассуждает:

— ...Я с детства его уважал. Сначала за песни, потом и за прозу... А песни-то, вспомни!.. «Здесь птицы не поют, деревья не растут...» Или про шинель. Это же!..

— Давайте вместе сходим в союз, — предлагает Шевчена, — заявку сделаем насчет совещания. Ништяк же еще неделю так потуситься.

— Хм, — усмехаюсь, — ништяк-то ништяк, но мы в это время в Берлине будем.

— Ром, кстати, а ты паспорт сделал? — спрашивает Сергей, вытирая свою густую окладистую бороду после супа.

— Вернусь с форума, буду звонить. Должны уже. Полтора месяца, как сдал документы, заплатил восемьдесят баксов...

— Ладно, тогда и за визами вместе поедем.

Киваю, разрезаю отбивную на маленькие кусочки. Лучше поделить сразу, чтоб потом, переложив вилку в правую руку, уж без всяких церемоний и этикетов...

— Везет вам. — В голосе Шевчены появляется искренняя, несвойственная ей грустная зависть.

Поигрывая положенным на десерт апельсином, искоса поглядывая на массу обедающих молодых писателей, на мастеров, что разместились чуть в стороне, ближе ко входу, шагаю прочь из столовой. Дело сделано... Встретившейся разносчице, что нас обслуживала, с улыбкой и легким поклоном объявляю:

— Хочется выразить большое спасибо!

Она тоже пыгается улыбнуться. Не получается. Да уж, попробуй обнеси человек двести кушаньями, никого не забыв, не пропустив. Спятить можно.

Ну, ладушки. Сейчас посижу в своем номере, с удовольствием выкурю сигарету, программы по телевизору попереключаю, а там время к трем. Надо сходить на лекцию. Заместитель министра печати приедет, расскажет о положении на отечественном книжном рынке.

Я заметил (естественно, не первый, но сказать все-таки стоит): вернешься на старое, когда-то насиженное место — и вроде сама собой, почти незаметно, жизнь входит в ту колею, что была раньше. Тогда.

Раз в год, в июле — августе, я приезжаю в деревню к родителям и уже на другой день после праздничного застолья, сперва натужной, а затем легкой, душевной беседы продолжаю заниматься тем, чем занимался год назад. Поливаю огород, пропалываю грядки, чишу кроличьи клетки, а вечером, устроившись за шатким журнальным столиком в летней кухне, попивая чай, пытаюсь писать или читаю. Кажется, и не уезжал никуда.

Так же было в короткие периоды примирения и возвращения к жене.

Выпивали вина, обнимались, занимались любовью, засыпали в обнимку. И все нормально. До новой ссоры и моего очередного ухода.

Главное для меня — свой пяточок. Стол, стул, какая-нибудь тумбочка под бумаги. И вроде бы все. Я сажусь за стол, будто забиваюсь в теплую

надежную норку, раскрываю тетрадь — и ничего не замечаю вокруг, не слышу. Когда пытаются оттуда вытащить, отбиваюсь, царапаюсь, огрызаюсь. Передвигаться в пространстве, путешествовать, общаться с людьми не люблю, точнее, боюсь. Кажется, обязательно или заблужусь, или попаду в капкан. Хотя мне как-то приятно, когда рядом есть люди, когда я ощущаю поблизости огромный, шумный, безустанно клокочущий мир. Или, может, это необходимая доза раздражения, чтоб чувствовать свою норку самым уютным, спокойным местом и писать...

Сейчас я снова в общежитии. Через шесть без малого лет, как Лиза, моя будущая и уже бывшая жена, вытащила меня отсюда, обтрепанного, вечно пьяного или с похмелья первокурсника Литературного института, полного надежд стать настоящим писателем. Писателем я худо-бедно стал, пью намного меньше, чем раньше. Вообще, многие считают меня везунчиком, «удачником», как пошутил мой однокурсник Кирилл. Невесело пошутил — кажется, с завистью и издевкой...

Да, наверное, я удачник. Только еще бы как-то себя изменить. Жить начать, выражаясь штампом, по-человечески.

Просыпаюсь под пунктирные писк. Вскликаю, передергиваю штырек на задней панели будильника с «ON» на «OFF» и скорей закуриваю. До того, как получил премию «Эврика» (три тысячи долларов), курил «Приму», а потом перешел на «Союз — Аполлон». Говорят, фильтровые сигареты безвреднее, зато тратится их больше. Пачки в день уже не хватает.

В майке и трусах сижу за столом, втягиваю чуть едковатый, чуть тепловатый дым, оглядываю комнату. Это уже пятая комната за два года в общежитии. Простые были мало приспособлены для жилья, и я чувствовал в них себя, как в деревенской заежке. Обжитыми были только письменный стол и кровать. А вокруг чужое, грязное помещение, горки хлама, оставшегося от прежних хозяев.

Но меня переселяли. С шестого этажа на четвертый, с четвертого на пятый и опять на четвертый. Я запасался тумбочками, полочками, раздвижным обеденным столом, менял стулья на более удобные. И вот этой осенью (я стал как раз сотрудником Литинститута) меня засунули в комнату 428, где сейчас и сижу. Проживаю.

Комната чистая и уютная, насколько это возможно в общежитии. На окне розовато-алая штора, стены в свежих обоях — синие на белом узоре под гжель; есть даже холодильник, старинный, сытно гудящий «ЗИЛ». Здесь раньше жила семейная пара, потом съехала, и вот я стал владельцем этого гнездышка. Норки. Расставил удобно собранную за время переездов мебель, помыл пол и холодильник. Украсил стены подробными картами Москвы, Питера и юга Красноярского края. Устроился... У меня уверенность, что я буду здесь долго. Может быть, и тридцать лет. Хм, вполне может быть. А потом, бог даст, без проблем перекочую в Дом престарелых. Это не так уж невероятно. Тридцать лет — срок посильный (оглядываюсь назад, на мои отжитые тридцать лет, и лишь пожимаю плечами, удивляясь, как они промелькнули), да к тому же я себя знаю: оставь меня в покое — и я с места не сдвинусь. Лишь в юности пытался выстроить жизнь, — наверное, тогда и растратил всю нещедрую порцию отмеренной мне природой энергии.

В комнате идеальный порядок. Постель заправляю тщательно, по-армейски; тщательно мою посуду; книги стоят на полках ровными рядами. Пепельница постоянно очищается от окурков. На полу ни соринки... Но гости ко мне ходить не любят. Шевчена, соседка по общежитию, объясняет это тем, что у меня как-то мертво. «Как в склепе». Я не спорю...

И дни мои такие же рассчитанные, ровные, упорядоченные. Каждая неожиданная мелочь ранит, выбивает из колеи, отравляет весь оставшийся отрезок до сна-отбоя.

Просыпаюсь в половине седьмого. Покурив, надеваю рубаху, трико. Беру надежную тряпичную сумку и выхожу из комнаты. В общеаге кратковременное затишье, ни одного человека в туннеле полутемного коридора... На лифте поднимаюсь на самый верхний — седьмой — этаж. Здесь живут слушатели Высших литературных курсов. Взрослые, по большей части достаточно денежные люди. Здесь я в основном и навариваюсь.

Тихо иду к кухне. Две газовые плиты, две раковины, железный стол, заваленный грязными кастрюлями и сковородками. Но меня интересует закуток возле мусоропровода. Сюда обычно составляют пустые бутылки. Я собираю пивные. «Чебурашки», как называла их моя бабушка.

Эта традиция — некое подобие зарядки. Она появилась у меня позапрошлой зимой, когда пивные бутылки очень помогали наскребывать денюжат на примитивное пропитание. Но что меня заставляет сейчас бродить по этажам, осторожно и опасливо, чтоб не звякали, складывать коричневые и зеленые короткогорлые стекляшки в сумку?

Раньше, крадясь по темным безлюдным коридорам, держа тяжеленькую сумку несколько на отлете, я напевал: «Не думай о секундах свысока, придет пора — и сам поймешь, наверное...» Я, помнится, представлял себя каким-то героем, в тылу врага продолжающим бороться, готовым погибнуть, но не сдать; собирал бутылки, будто секретные документы. Я знал, что, обследовав этажи, умывшись, сяду за стол и с особым жаром буду писать злые строки об этом мире. Да, сейчас мне представляется то времечко счастливым и героическим... Теперь я бормочу другое. Я полюбил другие песни. Такие, с привкусом дебилизма. И чаще всего вспоминается: «А у меня не жизнь, у меня не жизнь, а а-абы чё-о»... Абы чё, абы чё, это верно... Напевая между делом вроде первое пришедшее на язык, в самом деле говоришь о наболевшем. Просто прячешь это за другими мыслями, язык же не врет, он находит нужную песню, соответствующую мелодию...

Шестой и пятый этажи отданы очникам. Очки пять лет в общеаге, им трудно найти подработку, и потому они обычно без денег. Если пьют, то водку, а когда пиво — не гнушаются сами сдать тару. По этой причине шестой и пятый этажи меня редко радуют... Я обследую кухни в левом крыле и в правом крыле, осматриваю подоконники в торцах, где частенько курят, ведут разговоры, иногда и под пиво... Так, вот есть уловчик — две штуки из-под «Балтики» № 9...

— И то хлеб, — говорю сам себе, — рубль сорок.

В общежитии недавно сделали довольно серьезный ремонт. Дыры в стенах из листов сухой штукатурки замазали бетоном, закрасили. На полы, поверх истертого паркета, положили линолеум... Помню, как делались дыры. Мы, первокурсники, обалдевшие от Москвы, переполненные писательским честолюбием и романтической безысходностью, напившись «Русской» владикавказского разлива (самой дешевой в то время), собравшись в коридоре, разбежались и, зажмурив глаза, врезались головой в стену. Слой сухой штукатурки ломался, как толстая скорлупа. За штукатуркой было сантиметров десять пустоты, а дальше — кирпичная кладка. Главное было — не переборщить... Один поэт, Влад из Харькова, переборщил и рухнул. Остальные разбежались по комнатам. Но ничего, Влад выжил, на другой день снова стены ломал... Со второго курса его отчислили, как и многих других романтиков. Я остался учиться. Наверно, остался потому, что загасил романтику. На романтике далеко не уедешь.

С этажа на этаж спускаюсь по лестнице. Лестничные площадки тоже в плане бутылок иногда бывают почти что Клондайком.

Здесь официально установленные места для курения. Курение изредка сопровождается пивом... Я достаю зажигалку и свечу внутрь урны...

Из семи этажей три нижних отведены под гостиницу, и в них не проникнешь. Да и на оставшихся все больше коммерческих жильцов: студен-

ты других институтов, вьетнамцы, азербайджанцы, которые целыми днями кучкуются во дворе, что-то без устали обсуждая; есть даже циркачи, репетирующие вечерами свои трюки в маленьком общажном спортзале.

Одно крыло четвертого этажа для сотрудников Лита (здесь живу и я теперь), а другое — для заочников. Они накатывают волнами круглый учебный год. В сентябре — первый курс, в октябре — второй и так далее... Шумно общаются, читают стихи друг другу, горланят под гитару мало-складные, самопальные песни. И пьют, конечно...

Довольный, с набитой сумкой возвращаюсь к себе. Запираю дверь. Прячу сумку в шкаф. Удовлетворенный, почти сладостный выдох.

Липковатыми пальцами достаю сигарету. Присаживаюсь на стул. Весь день еще впереди. Очередной, огромный, но наверняка до одури похожий на большинство прошедших.

Вру, все время вру и прибедняюсь. Ведь вот только что приехал с Фोरума молодых писателей, где вкусно ел и сладко спал неделю без малого: сегодня вечер журнала «Кольцо А» в ЦДЛ, а после него скромный, но неизменный фуршетец; завтра — концерт «Короля и Шута» в клубе «Точка» (Вася позвал); послезавтра я приглашен в клуб «Консерва» на презентацию книги одной юной (страшненькой, жалко, до ужаса) поэтески; не за горами суд, где я могу попридти в роли болельщика, потом — пять дней в Германии. В общем, жизнь идет, но зачем-то я постоянно рисую ее как какую-то одноцветно-серую пустыню, ною об этом при любой возможности, пишу в основном об этом, уверяю себя, что все именно так.

Но где-то в глубине меня — маленький несогласный комочек. Он еле слышно, придушенно и все же упрямо басит: «Врешь, врешь. Зачем ты врешь?» С недавних пор этот комок стал расти.

Жалко, что он стал расти слишком поздно. Теперь ведь уже ничего не изменить, не исправить... Вот опять ною, опять обмазываю себя и окружающее одноцветно-серым...

Долго я успокаивал себя тем, что мое призвание, единственное настоящее дело — писать, а остальное малосущественно, остальное — для обычных, для обывателей, призвание которых — сидеть по восемь часов на нудной работе, создавать уют в жилищах, тратить зарплату на тряпочки и вкусности. А теперь такой же жизни захотелось и мне. Теперь, когда все бытовые дела у меня сводятся к забиванию время от времени холодильника каким-нибудь пропитанием и уборке комнаты, очень захотелось стать обывателем...

Как-то этой весной мы сидели с Таней в маленьком парке недалеко от общежития. Тане тогда еще было семнадцать, хотя она уже заканчивала второй курс Литинститута; наши отношения продолжались больше года. Мы привыкли друг к другу, но и, кажется, начинали тяготиться друг другом... Мы сидели на скамейке, пили пиво и ждали, когда стрелки часов доползут до семи вечера и в общагу начнут запускать гостей.

Я, как обычно, расслабленно мечтал, что вот соберусь с силами и сниму однокомнатку, что она переберется ко мне и мы будем жить семьей. Таня слушала, соскребая с бутылки цветастую этикетку.

— Да не снимешь ты ничего, — вдруг перебила усмешкой.

— Почему?

— Потому что ты, Сенчин, чмо. К сожалению.

У нее и раньше в ответ на мои мечтания проскакивали иронические реплики, которые я старался не слышать, но тогда, в начале хорошего апрельского вечера, в парке, где со всех сторон слышались восторженные крики и визги бесящейся ребятни, в тот момент, когда у меня было столько денег, что впору декларацию о доходах подавать, эта фраза задела. Особенно короткое, ненавистное еще с детства слово «чмо»... Я даже и не

сразу нашелся, как отреагировать; потом кашлянул, обхватил левой рукой ее шею, притянул к себе, сжал. Сказал, сделав голос шутливо-угрожающим:

— Слушай, Тать, за «чмо» и схлопотать можно!

— Отпусти! — Ее голос был слишком серьезным, и я отпустил.

Она поболтала бутылкой, глянула куда-то вперед.

— Понимаешь, «чмо» — это не оскорбление, это просто такой тип людей. По-моему. Ты вот к нему стопроцентно относишься.

— Чем же я к нему отношусь?

— Ну... — Таня перевела взгляд на меня, расстроенный, досадливый, сочувствующий взгляд. — Посмотри со стороны, как ты живешь. Как ты одет вообще, прическа какая. И ты же, в плане жизни, ни на что не способен.

Теперь я усмехнулся, даже громко хмыкнул, как бы защищаясь:

— Я — пишу.

— А-ай, пишешь. Фигню ты пишешь, Сенчин. Нет, — поправились, — может, и есть у тебя талант, но у тебя же все одинаково. Все — дерьмо. Бухают, блюют, никто ничем не занимается, а если вдруг и работают, то обязательно работа хуже тюрьмы...

— А у тебя что, — перебил я, вспоминая ее рассказы, — не то же самое, что ли?

— В этом-то вся и фигня. — Допила, бутылку поставила под скамейку. — Надо другое искать.

— Ищи. Флаг тебе в руки.

— Я пробую.

— Давай, давай. Выдумай чего-нибудь, со счастливым концом...

Сколько там натикало?

Она отогнула рукав свитера:

— Без двадцати.

Если даже пойти самым медленным шагом, будем возле общаги через десять минут. Значит, десять минут еще надо мучиться здесь. Я через силу влил в себя остатки выдохшегося, теплого «Клинского».

— Ладно, Сенчин, ты не обижайся. Каждый живет так, как может. Живи так.

Но от этого успокоения я вскипел еще больше:

— А как, блин, я не так живу-то?! — Мне искренне захотелось хлопнуть ее по розовой, пока что гладко-пухловатой щеке. — Да, я не как большинство, чтоб сделаться счастливым от машины, работенки какой-нибудь денежной, нового телика. А тебе этого надо? Зачем тогда в Лит поступать? Чтоб научиться их прославлять?..

— И машина с телевизором необходимы. — Ее голос был каменно-уверенным. — Ну вот даже мелочь — почему ты часы не купишь? Так постоянно всех спрашивать, сколько время... Не стыдно?

— У меня есть часы. — Я злился и поэтому оправдывался, как ребенок. — В сумке лежат. Браслет сломан.

— Сделай другой.

— Слушай, Тать, чего ты наезжаешь? Чего ты во мне роешься? Я тебе линзы купил — вот и радуйся. Почти две тыщи выложил.

— Большое спасибо... — Она отвернулась.

Я вытряхнул из пачки сигарету, закурил, быстро высосал до половины; обнял Таню, поднял со скамейки.

— Ладно, пошли. — И пообещал: — Буду исправляться. Квартиру, честно, сниму, сдам на права, куплю машинёшку, для начала какую-нибудь попроще. Будем, — но серьезность быстро сменилась невеселой шутливостью, — будем с тобой в пробках торчать, «Авторадио» слушать. Я материться буду и на свои золотые то и дело смотреть, а ты мне, визжа, будешь рассказывать, как на метро без проблем везде успевала. Да?..

На вахте она отдала охраннику свой студенческий, мы поднялись в мою комнату, я закрыл замок на два оборота. Разделись и часа полтора

кувыркались на односпальной кровати. Потом оделись, попили кофе, я проводил ее до троллейбуса. И она поехала в свои Химки. А я вернулся, сел за стол и, помню, хорошо поработал над очередной большой повестью...

Мы расстались с Татьяной в самом конце мая. Торчали, помню, компанией в летнем кафе, я не слабо тогда выпил водки. Таня весь вечер как-то особенно ко мне липла; она даже юбку надела, хотя обычно ходила в джинсах. Не знаю, что меня дернуло, но после каких-то ее слов (кажется, ласковых) я взял и послал ее подальше. Она поднялась и ушла. И осталась компания как-то быстро исчезла. Я сидел за пластиковым столиком, пил «Гжелку» и запивал яблочным соком. И запомнилось сладостное ощущение, что я одиночка, я сильный, нестигаемый одиночка, который все сможет и которому никто не нужен... Кафе закрылось, меня выгнали из-под разноцветного тента. Спустился в метро и заснул. На конечных станциях меня будили, я пересаживался в другой поезд и, снова заснув, доезжал до другой конечной. Потом и метро закрылось, мужчина в оранжевом жилете вывел меня на улицу... До половины шестого, уже протрезвевший, я шлялся вокруг станции «Алтуфьево». Можно было поймать тачку, но общага все равно закрыта наглухо с часу ночи до шести утра.

Я частенько попадал в подобные ситуации. Почему-то пьяным я никак не мог добраться до дому и ночевал то возле станций, то в подъезде (если вдруг дверь оказывалась без кодового замка), то торчал в ночном магазинчике, раздражая продавцов и охранников... Может, нечто свыше заставило оскорбить ее и тем избавиться от той привязанности, что вскоре наверняка превратится в тяжелую, крепкую цепь и прикует к обывательской ежедневности... Надо, надо быть одиноким и сильным, идти тем путем, какой выбрал и какой, скорее всего, предназначен мне какими-то силами. Может, светлыми, может, темными, теперь это уже не имеет большого значения. Ясно одно — нельзя размениваться на мелочи. Машина, хм, права, прическа за триста рублей, на которую потрачено полдня в салоне... Пусть они там от этого тащатся...

В те дни я как раз закончил большую повесть. Ее приняли к публикации в одном из ведущих литературных журналов. Примерно тогда же помирился с Лизой, с бывшей женой, и вернулся к ней. Тане я не звонил все лето. И в сентябре, когда мы стали встречаться по вторникам, в дни творческих семинаров, лишь кивал ей слегка, из вежливости... А в конце октября я снова перебежал в общежитие. Тогда, оказавшись один по-настоящему, я вроде как все и понял про себя, про свою жизнь, место свое в этом мире. Я стал зло завидовать людям в машинах и простым пешеходам, подолгу, как брошенная собачонка, бродил по лабиринтам спальных районов, представлял теплую, обставленную, как мне хочется, квартиру с телевизором, ванной, микроволновкой, каким-нибудь феном; я прихожу чуть утомленный с работы, с достаточно денежной, стабильной работы, и меня встречает в прихожей жена... И вот когда я захотел этого, точнее, когда мне стало это необходимо, я оказался один. Без друзей (те двое, что у меня появились в Москве — Кирилл и Вася, — напряженно работали, один женился, а другой собирался), без сил, чтобы действовать, а главное, без женщины, ради которой я, наверное, смог бы начать шевелиться.

Попытки сойтись с кем-нибудь оканчивались быстро ничем. Я вообще никогда первым удачно не мог познакомиться. Все девушки и женщины, с какими у меня что-то получалось, хотя бы один раз сами давали понять, что хотят быть со мной. Правда, не много встречалось таких...

И в один из втроечников я увидел Таню во дворе Литинститута. Стояла, растирая носком вроссовки кленовый лист. Рядом с ней никого. Заметила меня, слегка так улыбнулась, качнула головой в знак приветствия; у меня, как у мальчика, задрожали колени, на спине засуетились мурашки. Я пошел:

— Привет!

Она ответила, как раньше, когда мы с ней были вместе:

— Приветик!

— Ну, как жизнь? — задал я свой обычный идиотский вопрос и получил такой же ответ:

— Да ничего... А у тебя?

— Так, хреновато.

— У-у... — Она кивнула понимающе, но и слегка насмешливо. — Как всегда, значит.

— Да нет, бывали просветы. А теперь что-то совсем...

Достал сигарету, щелкнул зажигалкой «Cricket».

— А ты что, не куришь?

— Давно уже нет. И не пью.

— Молоде-ец. — Я поозирался, глянул на серое ноябрьское небо, придумал еще вопрос: — Пишешь что-нибудь?

— Повесть вот написала.

— Да? И о чем?

— Так... — Видно было, что разговаривать ей со мной не особенно хочется. — На православную тему.

— Интересно, слушай. — Я сделал вид, что мне действительно интересно. — Дай почитать. Обсудим.

— Не знаю... Потом.

Мы беседовали с паузами, выдавливая эти короткие фразы, глядя по сторонам.

Из-за угла желтого здания института как обычно стремительно, чуть не подпрыгивая, появилась Шевчена. Хотела вроде подойти, но передумала. Ограничилась выкриком:

— Салют, голубки!

Я тщательно сбил пепел с уголька сигареты. Спросил:

— Как, друг-то есть?

— Да так...

— Уху... Слушай, может, возобновим отношения?

Сказал это быстро, не раздумывая, не готовясь. Хотя, точнее, готовился к такому предложению с той минуты, когда увидел ее во дворике, в одиночестве.

— Даже так? — повернула ко мне лицо, узкое лицо с большими темными глазами, с пухлой нижней губой, гладкой, чуть смуглой кожей.

— А что... — Я глубоко затынулся и бросил окурочек. — Года полтора ведь общались же. Кое-что и хорошее было...

Она чуть заметно усмехнулась. Я ждал... Она как-то медленно и цепко проползла взглядом по мне и снова уставилась в сторону.

— Понимаешь, я вообще готовлюсь от мужчин отказаться.

— С чего это?

— Да так... духовные причины.

Теперь я усмехнулся. Разговаривать расхотелось. В голове пыхнули слова: «Уламывать... домогаться...»

— Что ж, — сказал напоследок, — удачи!

— Спасибо.

Я работаю (если это можно назвать таким сильным словом) в двух местах. В понедельник, среду, четверг и пятницу просиживаю по три-четыре часа в издательстве, а по вторникам — совместно с Александром Евсеевичем — веду творческий семинар.

Александр Евсеевич — известный советский писатель; кажется, четвертый десяток лет он работает в Литинституте. Пожилой, полный, соединением добродушия и солидности, фактурой напоминает голову из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». В нем угадывается тот тип писателей,

что попробовали известность еще до шестидесятых, «оттепельных», годов, занимали ответственные посты, но остались полубогемными. Не андеградный сорт, но и не литчиновничий. Та прослойка, что была между ними.

Пять лет он тащил меня к окончанию института сквозь мою неуспеваемость, запои, провинциальные комплексы, туповатую замкнутость, когда я не мог связать двух слов, а связать их в пристрастной беседе с ректором было необходимо. Объяснить, почему не ходил на лекции, почему не сдал сессию...

На пятом курсе Александр Евсеевич взял меня редактором в свое издательство, а после получения диплома, на следующий учебный год, предложил вместе вести семинар. Я, конечно, с благодарностью согласился, хотя, честно сказать, преподаватель из меня никакой. За полтора года я успел в этом убедиться.

Вот мы входим в аудиторию. Студенты поднимаются со своих мест.

— Здравствуйте, здравствуйте! — громко и тепло, будто детей родных, приветствует их Александр Евсеевич. — Сколько вас много сегодня! Садитесь, пожалуйста. — И голос его улыбается. — Так, Света, я твой рассказ прочитал. После семинара подойди, поговорим... Сережа, ты тоже задержись...

В это время, уткнувшись в сумку, я вытаскиваю тетрадь со своей речью, рукопись, которую предстоит обсудить, ручку. Выключаю сотовый телефон.

Семинар большой — человек под тридцать. Костяк — очники-третьекурсники плюс несколько заочников-москвичей с четвертого курса и вдобавок еще отдельные очники и заочники — одни после академического отпуска, вторые — подобраны Александром Евсеевичем из отбракованных другими мастерами; время от времени он заходит в приемную комиссию, просматривает рукописи, которыми не заинтересовались, и находит потенциально одаренных. И часто не ошибается...

Для разминки он сообщает какие-нибудь литературные новости, если у кого-то за прошедшую неделю случилась публикация, поздравляет. Я помалкиваю, сидя от него по правую руку, подперев кулаком голову. На студентов стараюсь не смотреть — мне неловко, и мысль только о том, как бы поживей, повнятней прочитать речь-разбор.

Потом начинается обсуждение. Одни горячатся, другие, кажется, выступают через силу, некоторые вовсе отказываются. Александр Евсеевич иногда останавливает говорящих, просит уточнить свое мнение, немного спорит, осаждаёт особо нервничающих. Я слушаю, то и дело отвлекаясь на посторонние мысли, на свою записанную в тетради речь.

Я знаю, что меня называют подмастерьям. Сначала злился и даже поругался из-за этого с Таней и Шевченой (как-то они стали меня на пару подкалывать). Только что злиться, ведь прозвище-то — в самую точку. Подмастерье и есть.

Несколько раз у меня возникало желание бросить это дело, бросить быть клоуном с убитой рожей. Но куда я пойду вместо этого? Преподательство дает пусть не зарплату, так хоть комнату в общежитии; за нее я плачу тысячу рублей как сотрудник, а оклад у меня в районе шестисот. Каждое четвертое число прибавляю к зарплате недостающую сумму и получаю вконтракт — разрешение на дальнейшее проживание.

И вот сижу за столом, пялюсь куда-нибудь перед собой, чуть выше голов студентов и, потев, жду, когда Александр Евсеевич произнесет: «Так, все высказались? Иван, ты ничего не хочешь добавить? Нет? Ладно... Пожалуйста, Роман Валерьевич».

Тогда я киваю, вздыхаю, выдерживаю десятисекундную паузу, а потом, косясь в тетрадь, но и стараясь показать, что говорю экспромтом, начинаю:

— В целом рассказ, конечно, интересный. Автор здесь хоть и продолжает ранее найденную тему, но явно видно углубление этой темы...

Порция похвал, цитирование двух-трех удачных кусочков, затем доза замечаний, примеры стилистических ляпов, сюжетных нестыковок, языковых нелепостей. Все это перемешано раздумчивым мычанием и словами-паразитами; и минут через семь после начала я еще раз вздыхаю и поворачиваюсь к мастеру:

— У меня все на этом.

Потом говорит он...

Почти после каждого семинара Сергей, заочник с четвертого курса, автор тех вещей о горожанине, убежавшем в тайгу, вернувшемся и мечтающем опять туда убежать, признается мне:

— Ух, ну и дал Евсеич! Аж руки зачесались, так писать хочется!

— Н-да, — киваю уныло и завистливо.

Я понимаю, что в какой-то (и в немалой) степени он взял меня вторым руководителем, чтоб подготовить замену себе. А я что-то не подготавливаюсь. Шесть с половиной лет слушаю, питаюсь его энергией, его пылкими речами, разборами и советами, а толку вроде как не особенно. Научился только распознавать, по душе ему рукопись или нет, и строить свое выступление не совсем вразрез с его оценками...

Давно, на первом курсе, после каждого семинара мы с моим соседом по общажной комнате Кириллом покупали в ближайшем ларьке водку и «Колокольчик», садились на скамейку на Пушкинской площади, пили, обсасывали прошедшее обсуждение, мечтали о будущей нашей московской жизни, а затем, полупьяные, бродили по городу или шли в театр бесплатно (тогда у ректорской секретарши можно было получить бумажку, по которой студента творческого вуза пускали на спектакли)... Позже после семинаров я разносил по журналам свои рассказы или спешил к жене Лизе и письменному столу, даже перебежал из вагона в вагон на метрополитеновских станциях, чтоб скорее доехать... Когда я дружил с Таней, мы гуляли, попивая пивко, сидели на скамейке где-нибудь у Патриарших прудов или на Тверском бульваре, целовались, любовались друг другом... Теперь я стою во дворике института и чего-то жду. Студенты проходят мимо, иногда кто-то из них явно иронически бросит:

— До встречи, Роман Валерьевич!

— Пока, — отзываюсь почти с ненавистью, — пока.

Вот ушли все. Вот уже и Александр Евсеевич появляется на крыльце. Подходит, устало и уютно сопя.

— Ну как, по-твоему, семинар прошел?

— По-моему — хорошо, — стараюсь ответить бодро.

— По-моему — тоже. Ну, пока!

— До свидания...

Оглядываюсь туда-сюда. Никого знакомых. Да и к знакомым просто так не подойдешь. Подойдешь, а что сказать?.. Передо мной желтостенное здание — здание, которое прославило и ославило в своих вещах бесчисленное количество литераторов всех профилей; здание, где я проучился пять лет и вот уже почти полтора проработал, но сейчас оно мне чужое и чуть ли не враждебное. Сейчас я уверен: это капкан, который однажды зашелкнул меня двумя крепкими челюстями, некоторое время я не обращал внимания, был занят поеданием вкусной приманки, а теперь захотел выбраться, но — не могу. Теперь лишь слабо трепыхаюсь меж этими челюстями полудохлый, обессиленный, искалеченный. А ведь мог бы где-нибудь там, откуда когда-то сюда прикатил, жить по-нормальному, работать на нормальной работе, а вечером, напевая «Я люблю тебя, жизнь», приходиться приятно усталым к простой, без особых запросов жене, печатать время от времени, для души, рассказы в районной ежедневке...

Достаю мобильник, нахожу номер Кирилла.

— Я вас слушаю, — его учтивый офисный голос.

Он работает в информационном агентстве. Снимает квартиру не слишком далеко от центра и от метро, недавно женился. Мы с ним прожили почти весь первый курс в одной комнате, он подкармливал меня, когда я оставался без денег, читали друг другу свою писанину. Потом я нашел Лизу, а он вскоре — приемлемую работу.

— Привет. Узнал?

— Да. Добрый день. — Их там человек пять в одном кабинете, поэтому Кирилл говорит деловым тоном — учтиво и сухо.

— Чего делаешь? — спрашиваю, заодно направляясь прочь от института.

— Тружусь.

— Давай пива выпьем. Или водяры.

— Не получится.

— Да забей на всё! Сколько уж не виделся. Давай выходи!

Это его агентство в десяти минутах ходьбы отсюда — на площади Маяковского. Отреставрированное здание позапрошлого века со свеженькими зеркальными стеклами.

— Я освобожусь ориентировочно в восемнадцать тридцать. — Голос Кирилла становится сухим до предела.

— И что, мне тебя четыре часа, что ли, ждать?

— Не знаю. — И, не меняя интонации, сообщает: — В пятницу в Париж улетаю.

— В смысле?

— С Инной.

— С женой? Свадебное путешествие, что ли?

— Да, именно так.

— У-у, молодец, чувак! — Мне становится еще тоскливей, но тут же вспоминается достойный ответ на его Париж: — А я зато на халяву в Берлин двадцать шестого.

— Зачем?

— Какой-то у них там литфестиваль. Пять молодых авторов из России приглашены. Я — в их числе.

— Хорошо-о...

— Давай, — снова предлагаю, — спускайся. Хлобыснем за успех!

— Нет, к сожалению, не получится.

— Ну как хочешь.

Давлю на кнопку с красной трубкой, потом набираю 696. Автоматический женский голос без выражения информирует, что мой счет уменьшился на пятьдесят два цента... Блин, две минуты трепались! А толку в итоге... Да и какой мог быть итог?

Узкой Большой Бронной выхожу на Пушкинскую площадь. Впереди зеленоватым-коричневым Пушкин задумчиво склонил голову, слева чем-то напоминающим коровий хлев пахнет главный в Москве «Макдоналдс», справа скамейки, где столько выпито...

Замедляю шаг, приглядываюсь к сидящим людям. Может, кого увижу литинститутского. Подойду, подсяду, если надо — схожу в мини-маркет за выпивкой. Пообщаемся.

Нет, никого. Вот уже и ямка метро. Ладно, в общагу.

Я почти не знаю Москву. Я никогда не мог предположить, что буду здесь так долго. По-настоящему не получается убедить себя в этом и до сих пор. Что я — в ней. И, лишь оказавшись перед Кремлем, пугаюсь, точно грубо разбуженный, вынутый из глубокого сна, и мысленно вскрикиваю: «Что? Где я? В Москве?»

Самая первая стычка с моей бывшей женой, а тогда еще даже почти и не невестой произошла как раз из-за Москвы. Мы искали Дворец бракосочетаний № 1 в районе Чистых прудов, и я, не помню, из-за чего именно, стал говорить, что не люблю этот город, что какой-то он как переме-

шанный огромной метлой — улицы петляют, дома рядом из разных эпох, людей — только и следи, чтоб не сшибиться лоб в лоб. «То ли дело Питер». В Питере мне довелось пожить несколько месяцев перед армией.

Лиза тогда возмутилась, наговорила про Питер раз в десять больше, чем я про Москву, хотя сама, закончив школу, первым делом рванула туда... Вообще судьбы наши похожи, похожи до странности. Вот еще мне в Германии зависнуть на пару лет — и вообще не отличишь...

Мы родились в одном роддоме, за пять тысяч км от Москвы, в маленьком азиатско-сибирском городе Кызыле. Ее и мои родители были знакомы, а мы с ней наверняка встречались где-нибудь в Доме пионеров, в Парке культуры и отдыха или просто на улице... После десятого класса Лиза уехала в Ленинград, училась там в каком-то ПТУ, точнее, на годичных курсах как имеющая среднее образование. Потом перебралась в Москву и поступила в Литературный институт. Стала студенткой семинара поэта Ошанина. И я, получив аттестат, тоже подался в Ленинград (вообще почему-то многие из Сибири традиционно едут искать счастья именно туда); тоже учился на таких же курсах при строительном ПТУ, а затем загремел в армию... Лиза, закончив Литинститут, получила предложение работать в Кёльне и жила там года четыре, а я, дембельнувшись, вернулся в Кызыл, ставший столицей суверенной национальной республики, помог родителям переехать на более-менее русскую землю — в деревню на юге Красноярского края — и несколько лет выращивал и продавал вместе с ними овощи, садовую клубнику, кроликов разводил... В девяносто шестом отправил в Литинститут свои рассказы и получил приглашение приезжать на экзамены. Сдал с грехом пополам, стал учиться. Лиза же незадолго до этого вернулась из Германии и купила двухкомнатную квартиру возле Коломенского, где любил жить царь Алексей Михайлович... В марте девяносто седьмого в Москву приехал Лизин брат Денис, с которым мы когда-то в Кызыле лабали в одной панк-группе песни протеста. С тех пор Денис изменился, стал баптистом, но приятельские отношения у нас сохранились. Он нашел меня, пригласил в гости к своей сестре Лизе.

— Лиза? — помню, усмехнулся я. — Мало мне Лиз русских классиков...

Но на другой день побрился как следует, протер мокрой тряпочкой ботинки, поехал. И случилось то, что высокопарно называют любовью с первого взгляда. Даже не красота этой женщины меня поразила, а уверенность в том, что вот о такой я и мечтал. Нет, не мечтал, потому что не смел.

— Привет, коллега! — сказала она.

— А? — Я не понял и нахохлился.

— Вам Денис не сказал? — я тоже в Литературном училась. Закончила шесть лет назад.

Я не поверил:

— Да?

Она засмеялась:

— Раздевайтесь. Давайте чай будем пить с облепиховым вареньем. Денис привез.

У нее был сын лет двенадцати. Гордо носил майку с надписью «Exploited».

— Вот, — сказал Денис, — тоже панк растет. Вроде тебя.

В квартире творческий беспорядок. Повсюду разнокалиберные видеокассеты, какие-то разграфленные листы бумаги с рисунками, книги Герасимова, Эфроса, Эйзенштейна.

— Я теперь учусь на Высших режиссерских курсах, — говорила Лиза, ловя мой взгляд. — Хочу стать режиссером кино.

— У-у, — озираясь, кивал я в ответ, одичавший за неполный год общажной житухи, замученный пьянками и «хвостами» с зимней сессии, ошалевший от близости этой женщины; я почти ничего не соображал в

тот момент, но уловил главное — и она чувствует что-то ко мне, любопытство по крайней мере...

Помню, очень медленно, через силу, я тащился обратно в общагу. Потом уговорил Кириллу купить три бутылки «Русской» владикавказского разлива, и мы с ним как следует надрались. Я рассказал, какую встретил женщину... На другой день не пошел в институт, а, переболев похмельем, позвонил ей:

— Лиза, здравствуйте. Это Роман. Можно приехать?

— Гм... Да, приезжай, конечно. Когда тебя ждать?

— Где-то так через час.

Теперь я так же договариваюсь о свиданиях с дочкой:

— Лиза, можно приехать? С Настей погуляем в Коломенском.

— Да, приезжай. Когда тебя ждать?

— Ну, где-то так через час.

И тогда мы пошли, конечно, в Коломенское. Падал поздний мартовский снег. Огромные хлопья. Они украшали черные волосы Лизы, как бантики. На ней была длинная белая шуба. Из искусственного, наверное, меха. На мне — отцовское драповое пальто, о котором я месяца за два до этой прогулки написал в одном рассказике: «Мое пальто потеряло всякую форму и стало похоже на мешок с дырками». Но сейчас я казался себе элегантнейше одетым красавцем, богачом, ведь я шел рядом с такой женщиной. Почти моего роста (чуть-чуть пониже), стройная, но не тощая, с розовыми тугими щеками, губами, которые за счастье посчитал бы целовать любой; брови, так гордо изогнутые, от природы тонкие, глаза, какими можно любоваться всю жизнь. А волосы, ее густые, почти черные, даже на вид тяжелые, блестящие волосы, слегка вьющиеся! У меня тогда тоже были тяжелые, густые волосы и тоже слегка вились... Теперь я боюсь своего отражения в зеркале. В первую очередь из-за волос. Где чуб, который то и дело падал на глаза и во время писания его приходилось поддерживать левой рукой? Осталась непонятная жидкая прядка. Лоб стал широким, и на освободившихся участках торчат редкие бесцветные ниточки... А у Лизы волосы все такие же. Почему?

В последнее время, лежа с выпученными в темноту глазами на своей одноместной кровати и слушая однообразное тиканье батареечного китайского будильника, я иногда представляю, что она чем-нибудь тяжело заболела, стала некрасивой, что волосы у нее повывлезли. И вот я прихожу и говорю: «Лиза, я тебя не брошу. Буду с тобой». И она плачет от счастья.

А тогда мы шли по Коломенскому заповеднику. Валил снег, и было холодно. Под ногами хрустело. Совсем не март.

— Что-то пальцы околочены, — сказала она и сунула руку в изорванный карман моего пальто.

Там была моя рука, наши пальцы сплелись...

Мы присели на старинную пушку, слева внизу была Москва-река, а перед нами — знаменитая шатровая, чуть покривленная церковь. Я стал что-то рассказывать про Медный бунт, а она — про то, как женщин при царе Алексее Михайловиче закапывали живьем за измену законному мужу... Потом целовались.

Когда мы вернулись, сын Лизы Алеша исцелкал на нас целую пленку. Одна фотография у меня сохранилась.

Мы сидим вдвоем в подъезде (но это не совсем подъезд, а скорее — коридор) в старом креслице. Лиза в салатово-черном, грубой вязки, просторном свитере, волосы распущены, блестящими волнами стекают на плечи, а рядом, в черном свитере, из-под которого выглядывает воротник серой рубашки, я... Мы здесь очень красивые. Так могут быть красивы лишь в один миг полюбившие друг друга мужчина и женщина...

После съемки сели ужинать, выпили бутылку «Арбатского». Денис рассказывал об общих кызылских знакомых; в основном он и говорил. В общагу я в тот вечер не поехал.

Недели через две я перебрался к Лизе и Алеше. Мне оборудовали в углу просторной кухни рабочее место — стол, тумбочка под бумаги, маленькая кушетка; в Щукинском училище, где Лиза недолго училась до поступления на режиссерские курсы, мы выпросили списанную декорацию — удобнейший стул с подлокотниками и бархатной красной обивкой... Я привез из общаги вещички, пообжился и вскоре почувствовал себя в уютной, теплой норочке. Рядом была красивая интеллигентная женщина, симпатичный паренек Алеша, который хоть и носил майку с названием панк-группы, но оказался почти паинькой. Квартира с унитазом, ванной, теликом, дом у самого метро и в нескольких минутах езды до центра; деньги на еду первостепенную как-то находились. Что еще надо?.. Писалось легко.

Итак, одна моя работа — в Литинституте, другая — в издательстве.

Издательство маленькое, небогатое, слабопродуктивное. Но с историей: в нем издал свою первую книгу опальный тогда Борис Ельцин, а вслед за ним — многие демократы первой волны и диссиденты; там же впервые в гибнущем Советском Союзе вышли некустарные издания Довлатова и Газданова.

Сейчас мы выпускаем в основном тех, кто приносит вместе с рукописью необходимые на издание деньги, и держимся на плаву благодаря «Программе поддержки книгоиздательства Министерства печати РФ». Министерство на протяжении нескольких лет финансирует многотомную антологию, в которой собраны произведения о зверствах тоталитарных систем, истреблении духовенства, об удушливой атмосфере застоя...

Нас в издательстве пятеро. По крайней мере тех, кто достаточно часто появляется в кабинете. Александр Евсеевич, директор, Георгий Михайлович, редактор художественной литературы, Валентин Дмитриевич, редактор публицистики; четвертый сотрудник — Людмила Николаевна, ее должности я не знаю, но она составляет документы, гарантийные письма, общается с типографией, заключает договора, в общем, ведет практическую работу. Пятый сотрудник — я. Свою должность я тоже не в состоянии определить. Я бываю редактором, корректором, курьером... Иногда приходит бухгалтерша, иногда, в экстремальных ситуациях (срочно вывезти тираж из типографии, скинуть большую партию книг заказчику), Людмила Николаевна вызванивает водителя Лешу. По мере надобности задействуем верстальщика, художника, наборщицу.

Рабочий день начинается в десять утра. Но обычно я опаздываю. Где-то на час. Как правило, мне это сходит с рук... Дело в том, что утро — слишком важный для меня период.

Встав в половине седьмого и пробежавшись с надежной тряпичной сумкой по этажам, я умываюсь, бреюсь, готовлю кофе и устраиваюсь за столом. Пишу, или правлю, или набираю текст на компьютере. Даже теперь, когда писательство — это единственное, что у меня осталось и при этом (и, может, поэтому) вызывает чувство, похожее на отвращение, я сажусь и прилежно, как говорится, скриплю пером...

В начале десятого отрываюсь от тетради или компьютера и наскоро готовлю завтрак. Потом надеваю джинсы, свитер, пальтишко и, оглядев напоследок комнату, свою чистую норку, где все вещи всегда там, где надо, с сожалением выхожу.

Меня сейчас повсюду окружает литература. Даже улицы рядом с общагой сплошь литературные: Добролюбова, Гончарова, Руставели, Фонвизина, Всеволода Вишневского. Будто нарочно... И я постоянно вспоминаю надпись в своем синем литинститутском дипломе: «Присуждена квалификация „литературный работник“ по специальности „литературное творчество“». М-да, специальность... профессия... Литературный работник, ориентированный на литературное творчество. Ссутуленный, погруженный в

размышления, с желтыми от курева пальцами. На нем древнее, интеллигентского покроя (почти как у профессора Плейшнера) драповое пальтишко, в левой руке черная сумка с бумагами, а в правой — замызганная тряпичная с какими-то напоминающими малокалиберные снаряды предметами. Семенил по забитой машинами (пробка и туда, и сюда) улице поэта Руставели. И впечатление, что именно он, этот в пальто, — единственный в радиусе километра, кто читал творения того, чьим именем названа улица.

Возле магазина канцтоваров палатка с овощами и фруктами. Продащица — вечно насупленная, агрессивная девушка, очень похожая на певицу Земфиру. Прямо один в один... Наверняка она и сама это знает, потому такая всегда — отпускает kilo картошки или парочку яблок, будто великое одолжение делает. Но бог с ней, с этой неудачливой двойняшкой шоу-звезды (тем более, что из-за ее агрессивности я редко у нее что-нибудь покупаю), — здесь же, рядом с палаткой, располагается приемщица стеклотары.

Круглая, закутанная в бушлат и платки бабулька, в отличие от продавщицы овощей и фруктов, обычно бодр и разговорчива. Вот увидела, что я приближаюсь, узнала, широко, не стесняясь отсутствия половины зубов, разулыбалась. Еще издали поприветствовала:

— Опять одним из первых, милоч!

И углы моих губ тоже поползли в стороны — редко в Москве услышишь подобное. Даже хорошо знакомые тебе люди чаще всего здороваются сухо и делово и лишь постепенно к тебе привыкают, входят в приятельскую колею, будто от контузии оправляются. Но, наверное, мы с этой бабулькой так искренне радуемся друг другу потому, что связывает нас короткая, почти ежеутренняя традиция, почти ритуал сдачи-приема бутылок.

— Возьмете? — для порядка интересуюсь, опуская на асфальт свои сумки.

Бабулька стоит радушной хозяйкой на фоне колонн из пустых пока ящиков. Ее морщинистое лицо от моего вопроса делается испуганным.

— Да а как же?! Чтоб я да у тебя!.. — И торопливо снимает с ближайших колонн два ящика: — Вот сюда вот, милоч, коричневые, а сюда вот — зеленые.

Постепенно опорожняю тряпичную сумку. Бабулька, вроде бы помогая, незаметно проверяет пальцами, не поколоты ли у «чебурашек» горлышки. Потом мы считаем. Шестнадцать штук. Бутылка — семьдесят копеек. Мне на ладонь ложатся одиннадцать рублей и двадцать копеек. Мелочь, конечно, — иногда по случаю я выкидываю в каком-нибудь кабаке за одно блюдо пару сотен. Но сейчас, в данный момент, мне почему-то приятно, я рад этим монеткам почти как гонорару.

Двигаюсь дальше. Мимо магазина канцтоваров, где обычно покупаю тетради в сорок восемь листов для очередной повести, дальше — почта, откуда отправляю родителям письма и бандерольки со своими публикациями. Радую, так сказать... По привычке, механически, напеваю:

— Ой, а-абы чё-о. Чё, чё, чё, чё...

Сзади, рядом, под самой спиной, — гудок. Отскакиваю на газон, обращаюсь. Меня почти подцепил широкий нос черной «ауди». За рулем симпатичная телка с распущенными желтыми волосами. Даже не глянула в мою сторону, будто смахнула с пути бесполезный мусор. Ползет по тротуару в объезд пробок. Сука. И я кричу ей вслед, тряся кулаком и черной сумкой с бумагами:

— Сука! Тварь поганая! Пидарска!

Крики пролетают на метр-другой и растворяются в окружающем реве и гуле. А черная «ауди» дальше, дальше — ей наплевать...

Руководство издательства — Александр Евсеевич, Георгий Михайлович и Валентин Дмитриевич — люди почтенного возраста и достаточно боль-

шой известности. Георгий Михайлович увековечился той своей повестью, по которой сняли хит-многосерийку «Большая перемена» про вечернюю школу со Збруевым, Кононовым, Леоновым в главных ролях, а Александр Евсеевич с Валентином Дмитриевичем, помимо прочего, удостоились персональных статей в «Краткой литературной энциклопедии», что оказалась и самой полной. Подробную так и не собрали... Вообще за последние лет двадцать ограничиваются однотомными справочниками, словарями, лексиконами. Выхватывают самое броское и новомодное и лепят фолиант страниц на пятьсот. Дело сделано.

То ли было раньше. По крайней мере если судить по рассказам руководителей нашего издательства.

Тогда, кажется, все было всерьез, весомее... Они пьют чай и вспоминают о судьбоносных встречах с Хрущевым и Ельциным, в их разговорах поминутно звучат слова «гэбуха», «ГУЛАГ», «Коктебель», «Дубовый зал ЦДЛ», «Твардовский», «Симонов», «диссида», «Солженицын», «Нагибин»... Я сижу в сторонке с версткой будущей тысячекземплярной книги, прислушиваюсь, завидую, тут же успокаиваю себя — мол, в их воспоминаниях, как обычно, все приукрашено, спрессовано, а на самом деле это лишь вспышки среди скучноватого полумрака ежедневности. Ведь и в моей ежедневности бывают вспышки...

Еще год с небольшим назад мы занимали три комнаты respectableного небоскреба на Новом Арбате. Руководство сидело в просторном кабинете за столами, поставленными классически буквой «Т»; мы с Людмилой Николаевной размещались в другом кабинете, а в третьем, окруженные техникой, хозяйничали верстальщик, техред и художник. Но в прошлом октябре подскочила арендная плата, и две комнаты пришлось отдать. Теперь верстальщик и художник трудятся на дому, а работу техреда мы делаем сообща.

В фойе — загроможденность киосками, лотками, ларечками. Шоколад, ксерокопия, моментальное фото, карты для мобильников, копчености, свежая пресса. Слева при входе — окошечко бюро пропусков, по центру — ясное дело — охранник-вахтер, справа, скрытая киоском со слоеными пирожками, гранитная плита. Я однажды заглянул за киоск и прочитал: «Вечная память работникам Минпищепрома СССР, отдавшим жизнь за Родину. 1941 — 1945». И два столбца фамилий. Под сотню в общей сложности... Теперь в этом здании (как, впрочем, и в трех других его близнецах-небоскребах), на всех двадцати четырех этажах, — бюро переводов, магазины сотовой связи, центры китайской медицины, радиостанции, издательства, обувные салоны, юридические услуги, дилерские, риэлторские, ипотечные конторы, турфирмы... Наша комнатка на шестом этаже.

С недавних пор воспоминания, поиск спонсоров на издание книг уступили место у наших «старичков теоретиков» (как называет их Людмила Николаевна) другой теме. Дело в том, что на Александра Евсеевича подали в суд и вот не за горами уже — заседание.

Как-то он давал интервью какой-то газетке. Маленькой, которую в продаже днем с огнем не отыщешь. Тема интервью была вроде такой: «К сожалению, борьба с фашизмом в России — дело семидесятилетних». И там он упомянул о редакторе такой же маленькой, никому не нужной газетки «Славянская правда» Ахатове, назвав его «идеологом русского фашизма». Ахатов обнаружил упоминание это и подал иск об оскорблении своей чести и достоинства и требует теперь сколько-то там тысяч долларов за нанесение морального ущерба... Когда Александр Евсеевич получил извещение, то зачитывал его как сатирическую миниатюру, но чем ближе заседание, тем мрачнее он становится. Тем более, что та газетка, которой он давал интервью, прекратила существование, а Ахатов недавно выиграл подобный же иск у «Новых известий».

И вот сегодня наш директор беседует с адвокатом, как строить защиту, какие аргументы предъявлять. На столе кипа «Славянской правды» с отмеченными фломастером абзацами, рядом — стопочка изданных Ахатовым книг. Снимая пальто, выхватываю одно, другое название: «Доктрина фашизма», «Расовая гигиена в национал-социалистической Германии»...

Тихонько здороваюсь, делаю чашку кофе «Nescafe Gold» и усаживаюсь за свой стол. Напротив — стол Людмилы Николаевны. Разбирается с накладными. У нее под рукой тоже книги. Замечаю среди них корешки с фамилиями Розанова, Короленко, Сергея Булгакова. Ох, книги, книги... Озабоченное лицо Людмилы Николаевны не предвещает ничего хорошего, никаких приятных новостей.

Когда я только начал работать здесь, она часто меня тормозила: «Нюка, Ромик, выпрямись, улыбнись! Ведь тошно смотреть... Говори себе: я — лучше всех, я — подарок!» Она какое-то время жила в Вашингтоне (по обмену студентами) и набралась этих карнегиевских рецептов. Но потом ее торможения прекратились. То ли привыкла к моей кислой роже, то ли поняла, что меня не исправишь, а может, и я слегка изменился, так сказать, в лучшую сторону. Хотя, думаю, ее собственные проблемы и проблемы издательства пересилили методы борьбы с ними, — говорят, Карнеги помогает до определенной границы...

— Доказательств... гм-м... нами собрано... м-м-м... предостаточно, — скороговоркой, но то и дело помыкивая и пожеывая губами (наверно, специальный адвокатский прием, ставший особенностью речи), журчит адвокат. — Впрочем... гм... конечно, проблемы... мгм-м... кажется, будут. На заседании... м-м... Александр Евсеевич, нужно быть сдержанней. Поймите... гм-м... меня... м-м... правильно. Тем более, что по моим сведениям... гм... судья — человек достаточно... гм-м... несимпатичный.

Насупившись, опустив глаза, Александр Евсеевич покачивает головой. Но вряд ли это можно назвать киванием. Сейчас он кажется мне неприлично бессильным, потухшим каким-то, стареньким. Может быть, жалеет в глубине души, что упомянул этого Ахатова в интервью, а скорее всего, недоумевает, из-за чего человек, издавший, например, инструкцию для войск СС по расовой гигиене, возмущается, что его назвали идеологом русского фашизма. Сам он всю жизнь писал о сплавщиках, нефтяниках, о людях, борющихся с недостатками в обществе и себе, о мальчишках, своих сверстниках, на год всего не успевших попасть на Великую Отечественную, о принципиальных замначальниках, конфликтующих с консервативными начальниками, и потому, наверно, его книги вышли из моды, когда модно стало писать и читать о другом...

— Слушай, Рома, — полушепотом зовет Людмила Николаевна, — вчера принесли верстку «Вегетарианской эпохи». Еще двух печатных листов не хватает.

— У, — кривлю губы расстроено; уже доверстывали эту книгу, а нужного объема все нет.

— Вот предлагают три статьи Синявского добавить. Как раз хватить должно. Но не знаю... — Людмила Николаевна замялась, как обычно, перед просьбой. — Тут еще надо срочно «Неуслышанные голоса» набирать, — кивает на стопку, где Короленко, Розанов, Сергей Булгаков. — Это, естественно, Вере Ивановне отдадим, а вот Синявского...

— Давайте я понабираю, — соглашаюсь на то, что она не решалась предложить; но тут же оговариваюсь: — Только я медленно... Никак не могу научиться.

На самом деле я втайне рад надомной работе (редактированию рукописи, набору, вычитке) — это дает право поменьше торчать в издательстве, да и бездельничать особо не позволяет. Когда не пишется, есть чем заняться, а позанимаешься чужим — глядишь, и на свое плавно переключишься. Чужое, так сказать, — разогрев.

...Половина третьего. Выхожу из метро. Несколько минут ходьбы — и общага. Комната с магнитофоном, компьютером, холодильником. Одиночество. Уже знаю, что вечером никуда опять не пойду. Ни в какой клуб, ни на какую презентацию. Денег полно, желание, в общем-то, есть, а вот силенок... Пообедаю и завалюсь на кровать, буду зреть для того, чтоб сесть за стол и продолжить повесть. Последняя, которую написал, должна появиться в ноябрьском номере одного из ведущих литературных журналов. Пора предлагать куда-нибудь новое. Как ни крути, а это мой хлеб... Текст в шестьдесят журнальных полос (страниц) дает примерно десять тысяч рублей. Книга же — пятьсот — семьсот долларов, а то и тыщу. Есть смысл мучиться за столом.

Над станцией недавно построили зал игровых автоматов, и теперь который день без перерыва из громкоговорителя под бодрящую мелодию льется и льется:

— Не проходите мимо! «Суперслотс»! Новая империя азарта! Удачи! При минимальной ставке — всего пятьдесят копеек — максимальный выигрыш — два миллиона рублей!..

Я ни разу не играл на автоматах. Даже не в курсе, как надо играть. И лень выяснять, в чем там суть этих «Джекпотов», «Джокеров», «Бинго», хотя, говорят, люди выигрывают. И немало. Мой друг Кирилл как-то при мне (я стоял у него за спиной и, тупо глядя, как на экране перемещаются карты, пил пиво) выиграл полторы тысячи.

«И так каждый третий заход, — сказал мне Кирилл, пряча деньги во внутренний карман пиджака. — Жалко, что часто не могу остановиться и просаживаю в итоге и выигрыш, и остальное».

Я в ответ, помню, сочувственно покивал.

Единственное, на что я способен в плане азартных игр, — купить иногда билет лотереи «Спринт» за пять рублей, развернуть его и увидеть надпись «Без выигрыша»...

Моя комната — образец писательской лаборатории. Три стола. Первый, большой, с ножками-тумбами, почти пуст, на нем лишь настольная лампа, пепельница, три словаря («Слитно или раздельно?», орфографический и иностранных слов), засмоленная крепким чаем и кофе верная поллитровая чашка, еще тетрадь с начатой повестью и брелок со сломанным пультиком автомобильной сигнализации, который я нашел на улице и который верчу в руках в минуты творческих поисков. На другом столе — лазерный принтер «Canon», сканер той же фирмы, упаковка чистой бумаги, магнитола «Philips» со стопочкой кассет, помогающих в работе. Третий стол — для приема пищи... Две кровати. На одной сплю, а на другой разложены нужные в обозримом будущем рукописи, старые газеты, глянце-вые журналы, из которых черпаю фактики для украшения, временной достоверности своих вещей. Еще из мебели — множество поставленных друг на друга тумбочек, набитых папками с моей писаниной, книжные полки на стенах.

Снимаю пальто, включаю электрочайник «Philips», переодеваюсь в домашнее. Трико, стеганая рубаха, стоптанные тапки. Смотрю на будильник. Самое начало четвертого. Восемь с лишним часов до того, как надо будет ложиться в кровать. За восемь часов можно горы свернуть. Бывает, и двадцати минут писания хватает, чтоб ощутить такой кайф, что потом сутки ходишь счастливый. А там снова тянет повторить этот кайф.

И я постепенно готовлюсь к этому. Настроение приподнятое после бокала разливного «Останкинского» и нежно-солено-вяленой воблочки; из магнитолы, настроенной на станцию «Маяк-24», звучит стержневая песня фильма «Весна на Заречной улице». А я соображаю, что бы такое сварганить одновременно на обед и на ужин.

Холодильник забит мясом, фаршем, картошкой, всякими полуфабрикатами. Раз в неделю — в субботу утром — я бываю на Тимирязевском

рынке и нагружаю сумку продуктами. Проходя вдоль рядов с овощами и глядя на ценники, возмущенно цокаю языком. Дорого. Какие-то кривые, с коросточками огурцы — тридцать пять рублей килограмм, картошка (сейчас, осенью) — двенадцать! Тощий пучок батуна — пятерка!.. Но тут же вспоминаю сегодняшнюю жизнь родителей, то, как и чем жил и я сам когда-то, — и мне становится почти стыдно за свое возмущение... С марта до октября, с шести утра до одиннадцати вечера — огород, огород, огород. Сборы и поездки в город на рынок, поиски свободного пятачка на прилавке, попытки продать эти огурцы, картошку, батун, когда три сотни таких же продают точно такое же... Да, у нас самым ходовым словом было тогда — «расторговаться». Я имел персональную бейсболку с длиннющим козырьком, спасающим от солнца, и целлофановый плащ на случай дождя, я научился ругаться с соседями-конкурентами, взвешивать на весах, быстро высчитывать сдачу. А теперь вот медленно, прицениваясь, гуляю меж рядов с большой сумкой на плече и пачечкой денег в кармане и недовольно цокаю языком...

Готовить лень. Нескольких минут в комнате хватило, чтобы меня опутали сонливость и вялость... Через силу крошу в глубокую тарелку две молочных сосиски, распечатаваю пачку лапши «Роллтон» со вкусом говядины. Заливаю кипятком и накрываю другой, плоской, тарелкой.

Кровать с бело-голубым покрывалом манит, тянет к себе. Я уже жалею, что выпил пива, и скорей завариваю крепкий «Nescafe». Взбодриться, взбодриться...

Хлебаю лапшу с кусочками разбухших сосисок, листаю тетрадку. По «Маяку» как раз выпуск новостей. Дикторша бесстрастным и энергичным голосом сообщает: «По официальным данным, в результате террористического акта на Дубровке погибли сто двадцать заложников, сто двадцать девять человек остаются в московских больницах. И сегодня Владимир Владимирович Путин встретился с представителями творческого коллектива мюзикла „Норд-Ост“». Разговор продолжался более часа. Президент поблагодарил всех тех, кто в те октябрьские дни попал в руки террористов, за выдержку и самообладание...» Голос отвлекает от тетради, и я выключаю магнитолау... А в тетради — начало новой повести. Называется «ИНН». О том, как один художник, чтоб получить аванс за заказ расписать стены в новом кафе, приходит в Налоговое управление за идентификационным номером налогоплательщика и встречает там симпатичную, но замотанную женщину — служащую этого управления. Художник, в преддверии скорого богатства, хорохорится, шутит и вызывает у женщины улыбку, симпатию. Ей становится интересен этот человек, она завидует его, кажется ей, довольно свободной и безбедной жизни... Он часто приходит в Налоговое управление, торопится получить ИНН, его отношение к женщине все более... не то что теплое, а панибратское, что ли... И как-то она, выйдя вечером из налоговой, видит его под топодем. Она устала, спешит домой, художник ее провожает. По пути он болтает обо всем подряд и уговаривает ее заглянуть в кафе «на минуту». Они выпивают вина. Женщина расслабляется (нет, расклеивается) и рассказывает ему о себе. Что у нее дочь уже почти взрослая (четырнадцать лет), что очень тяжелая работа — все время люди, ругань, нервы. Художник кивает, щурится, покуривая, на вид он сильный, мудрый, целеустремленный, и женщина ему доверяется... Короче — сходятся, художник поселяется у нее. Он водит женщину по ночным клубам, по выставкам, по своим богемным друзьям, и женщина сбивается с темпа, раз-другой не выходит на работу, ссорится с дочерью, которой новая жизнь матери кажется совершенно кошмарной, губительной.

Концовку я еще не придумал, да и с деталями в уже написанном тексте есть большие проблемы. Подробностей оформления ИНН я не знаю (один раз заполнил анкету в этой налоговой конторе, через полтора месяца без осложнений получил похожее на почетную грамоту «Свидетель-

ство»), с бытом такой вот женщины тоже не знаком, и выдумать правдоподобно, как ее закадрил художник, не получается... Вообще я мало знаю людей, как пугливый зверек, затаиваюсь, прячусь от жизни, а то, что все-таки меня достигает, пережевываю тщательно, переносу из вещи в вещь...

Раньше, в самом начале, я писал про школьников и дворовых подростков, потом — про юношу, чувствующего, что надо взростеть, но взростеть не хочется; позже, научившись пить водку, войдя в круг провинциальных богемщиков, стал описывать их и подобного себе полуалкаша-полутворческую личность. Затем убрал полутворческую личность, а алкоголь дополнил анашой.

Писателями, художниками, рок-музыкантами я сделал героев уже кучи вещей. Даже самому неприятно. Но кем делать еще? В принципе, какой-нибудь физик-изобретатель тоже может получать ИНН, чтобы ему потом выдали гонорар за изобретение. Но что я знаю про физиков? Где они могут работать? Как они вообще говорят?.. А художников я повидал, в курсе, что такое крапак, мастихин, багет, размалевок, как холст на подрамник натягивать и что у кисточек есть номера. Пусть будет художник. Авось прокатит...

Доедаю, тщательно, с «Фэри», мою посуду. Опять занимаю рабочее место, опять листаю тетрадку. Кое-что поправляю, кое-что вычеркиваю или вставляю новые фразы, меняю слова местами. Но двинуться дальше, вдоль по чистым квадратикам, не решаюсь.

— Надо созреть, — говорю себе.

Перебираюсь на кровать, вытягиваюсь, лицо поворачиваю к стене. Разглядываю обои с гжелеподобными цветочками и завитками... Сонливость постепенно все крепче сдавливает голову в своих теплых сладковатых руках... Действительно, может, вздремнуть, а потом, заварив еще кофейку, приняться всерьез?.. Стемнеет, машины за окном перестанут гудеть. И тогда, наверно, пойдет. Пойдет... Впереди очень сложный кусок, где женщина из Налогового управления (Елена) должна решиться переспать с художником. Что-то ее, замученную, закомплексованную, обремененную взрослой дочерью, должно такое небанальное толкнуть к этому шагу... Поступку... Или, может, наоборот — банальное? И кстати, как называется правильно это учреждение, где выдают ИНН? Надо съездить узнать, потолкаться там, может, какие-то новые штришки замечу, фактики, сценки, слова...

Сон почти победил, я безвольно болтаюсь в нем, пока что еще на поверхности, но с каждой секундой погружаясь чуть-чуть глубже, глубже. И вот уже как настоящее сновидение — тесный квадратик, который невозможно назвать вестибюлем, этой налоговой конторы. Десятка три людей. Нервничают, спорят на полутонах, задают друг другу специфические вопросы. Мужики рабочего вида, явные бухгалтерши с папками, такие, вроде меня, тихие и унылые посетители... Время от времени в дверном проеме одного из кабинетов появляется женщина лет тридцати пяти, с остатками привлекательности на лице и в фигуре, и выкрикивает фамилию. Кто-нибудь отзывается, и женщина выдает ему ИНН. Со всех сторон ее забрасывают вопросами, она (по природе добрая и услужливая) начинает отвечать, а затем, видя, что вопросам не будет конца, скрывается за дверь. А в углу прячусь я с блокнотом и ручкой... Где эта налоговая контора? А, на «Автозаводской». А возле соседней станции, «Коломенской», живут Лиза, Алеша и моя родная дочка... Что сегодня? Среда. В пятницу мой день забирать ее из садика. Погуляем, куплю ей чего-нибудь вкусного. Поговорим. Она уже почти все понимает... ей почти пять... И кажется, ее сейчас по-настоящему мучает только один вопрос. Каждый раз, когда мы прощаемся, она спрашивает: «Пап, а почему ты не ночуешь с нами?» И я обтекаемо отвечаю: «Не могу, дочь. Дела очень важные». Она поджимает губы.

Сажусь на кровати, почесываюсь, кряхчу досадливо. Потом кашляю, прочищая горло... Сонливость исчезла, вялость сменилась тоской. Закури-

ваю, ползаю взглядом по тумбочкам, принтеру, магнитоле, борюсь с желанием взять мобильник и позвонить жене. Бывшей жене. Услышать ее голос, сказать «добрый вечер», а дальше по обстоятельствам — или просить прощения, или послать подальше...

Почти что стемнело. Останкинскую башню окрасили желтые и голубые струи подсветки. А прямо за стеклом окна — рядом-рядом — качаются от слабого ветра гроздь рябины. Сейчас ягоды кажутся черными. Всегда, когда смотрю на них, тоска становится только сильнее и вспоминается фраза: «Угощаю рябиной». Таким хрипловатым, чуть не командным голосом... Дома у нас была книжка с таким названием, правда, я не читал. Надо спросить в библиотеке, глянуть...

И как назло, точно бы желая добить, далеко, заглушенное рядами стен, дверей, зигзагами коридоров, добирается до меня нытье волынки. Рассыпает по спине торопливых ледяных насекомых, шевелит волосы на голове... Это Хельга, малорослая уродинка поэтесса дудит. Зовут ее, конечно, не Хельга, а как-то по-русски. Какая-нибудь Оля из-под Калуги, из кожи вон лезущая, чтоб казаться оригинальной. На третьем курсе уже, а все не успокоится... Вязкие нити мелодии, будто найдя дорожку, разъезжают щели и дыры, крепнут, наглеют, безбоязненно меня трогают. Нет, уже не трогают — давят, душат, стягивают, и я, как утопающий за соломинку, хватаюсь за новую сигарету.

Стал набирать Синявского. Убеждаю себя, что это разогрев перед нормальной работой, да к тому же нельзя тянуть с набором — и книгу надо сдавать в типографию, и поездка в Германию не за горами.

Маленький ноутбук «Toshiba» покорно принимает в себя рассуждения о литературном процессе тридцатилетней давности, о жалобах автора, что у них там на Западе практически нет читателя... Ползаю двумя пальцами по кубикам клавиатуры, стараюсь не размышлять о том, какое это идиотское занятие — перепечатывать статью из одной достаточно свежей книги (издательство «Захаров», 1995 год), чтобы сделать другую. Устранять одни опечатки, рождая новые.

Когда-то, лет в пятнадцать, еще при крепкой советской власти, диссиденты были для меня героями и страдальцами. Книги Аксенова, Владимова, Гладиллина я поставил на самое видное место нашей семейной библиотеки, хотя сами по себе они мне не понравились, кроме аксеновских «Коллег»; я повсюду старался упоминать их фамилии, даже на уроках литературы. Позже, прочитав статью Аксенова «Мы — штатники» и почти сразу за тем напечатанные в «Юности» «Остров Крым», «Чонкина» и прочее, я их возненавидел — изо всех сил в свое время рвавшихся за рубеж, в капитализм, неплохо там устроившихся, заживших «как люди». А теперь я им просто завидую — они так или иначе сделали себе биографию, так или иначе обессмертились, с лихвой попиروвали и в ЦДЛ, и потом где-нибудь там в Нью-Йорке. Действительно пожили — и не очень-то при этом пострадали.

Поднимаюсь из-за стола и подхожу к окну. Смотрю на гроздь черных ягод, дальше — на шеренги горящих теплым светом окон дома напротив. Хм, мое окно, наверно, со стороны тоже теплое и уютное. Но на самом деле здесь я.

Ложусь на кровать, поворачиваюсь к синим цветочкам и завиткам. Пальцем путешествовую по ним, перепрыгиваю через белые пропасти. Скоро это надоест. Сажусь, закурываю бычок из пепельницы.

В холодильнике с полбутылки «Завалинки». Соленые огурцы в пакете, кусок докторской колбасы. Наливаю в чашку, глотаю, откусываю огурец.

На часах половина восьмого. Всего лишь половина восьмого. Еще, в общем-то, весь вечер впереди. Впереди весь вечер. Письменный стол ждет меня. Тетрадь наготове. Садись и заполняй пустые белые клеточки, а по-

том положи в тумбочку на стопку других, заполненных от корки до корки, — в архив. Может, лет через пятьдесят она действительно будет в архиве. В каком-нибудь ЦГАЛИ... Наливаю еще, глотаю, откусываю огурец, потом колбасу.

Слушаю, как по груди и животу расплзается щиплющее тепло. Постепенно и ощутимо оно впитывается в кровь, а кровь несет его к голове. Постепенно, но неотвратимо. Подталкиваю тепло новой порцией. И бутылка почти пуста. Это меня пугает.

Быстро выключаю компьютер, надеваю пальто и выхожу. Запираю дверь, пощелкивая тапками, шагаю по коридору-туннелю к лифту.

Ближайший магазин на первом этаже общаги. Заправляет в нем тетя Алина, двухметрового роста, неопределенного возраста, неопределенной национальности (кажется, смесь украинки с армянкой). Другие продавщицы появляются, исчезают, а она неизменна. И каждый день за прилавком.

Много повидал этот магазин, выражаясь высокопарно, человеческих взлетов и падений. В том числе и моих. То покупал я здесь шампанское и торты, чтоб цивильно обмыть первую (вторую, третью) публикацию, то брал несколько бутылок водки для серьезной, массовой пьянки, то дрожащей рукой ссыпал на блюдечко возле кассы мелочь, чтоб получить взамен «Жигулевское» на похмелку, то просил под запись (в долг) у тети Алины хлеб и пакетик китайской лапши.

Сегодня я выбираю водку попроще — «Русскую» за сорок восемь рублей (хочется вспомнить ее сладковатый вкус) — и полкило слабосоленой салаки.

— Что, Ромашик, опять победнел? — спрашивает тетя Алина.

— Да нет... С чего вы так решили?

— Ну как — что-то набор не очень-то.

— Просто тоска.

— А-а, ну если тоска... — В ее голосе нехорошая, недобрая насмешка; она, конечно, в курсе моих успехов, и эти слова о тоске ее, по восемнадцать часов стоящую за прилавком, естественно, раздражают.

Первым делом направляюсь к Шевчене. Она хоть и заполошная, хамоватая, но как-то так получилось, что мы с ней стали почти что друзьями. Но ее нет. Наверняка торчит у своего мужчины — немолодого известного романиста, с которым сошлась на форуме. Злюсь и чувствую нечто вроде ревности. Нет, это не ревность, а зависть — я-то один, и ничего не предвидится... Поднимаюсь на седьмой этаж, где живет вээлкашница Лена из Омска (почти землячка, на этой почве и познакомились). Она в курсе дел всех писательских лагерей, всегда имеет полный загашник сплетен. Я к ней время от времени захожу с пузырьком — послушать о собратях какую-нибудь гадость бывает приятно. Бодрит.

Стучу в дверь. Жду. Снова стучу. Н-да, наверно, на очередном литературном вечере или в буфете ЦДЛа пьет на халяву, общается...

Спускаюсь на пятый этаж... На кухне Саша Фомин, третьекурсник-поэт, варит шпикачку. Крупный, очкастый, с жидкими светло-русскими волосами, лет двадцати пяти. Для нынешнего контингента очников — переросток. Зато всегда деятельный, отзывчивый, добродушный. Во время переездов я просил его помочь перенести из комнаты в комнату кровать, столы, полки. Он всеобщий друг.

— Привет, Саш.

— Привет... Ай! — Обжигаясь, он сливает из кастрюльки воду. — Уй!.. Как дела?

— Да хреново.

В глазах Фомина появляется то же выражение, что и у тети Алины. Я скорей достаю из кармана бутылку. Прошу слезливо:

— Давай, Саш, раздавим.

— Вообще-то я реферат собираюсь писать.

— Да брось. Завтра напишешь. Очень надо. — Я почти умоляю, и он легко соглашается.

И вот мы сидим в его захлавленной комнате. Саша на кровати, я на стуле. Между нами другой стул, на нем водка, закуска. Стол же завален книгами, тарелками, деталями от магнитофона...

— Не грусти, Роман, — говорит хозяин, доедая шпикачку. — Мне тоже несладко. Вчера буквально случилась драма. Любовная.

Я в ответ неопределенно мычу, плескаю «Русскую» в чашки с цветочками на стенках. Саша продолжает откровенничать:

— Была у меня ведь девушка, настоящая, почти, думал, невеста. Познакомились позапрошлым летом в Сочи. Она сама из Питера... то есть не совсем из Питера... Из Колпина. Но это рядом...

— Знаю, знаю, — говорю я тоном специалиста, — бывал. — И глотаю теплую водку.

— И вот... Я к ней ездил, она ко мне... Да ты ее, может, видел. Нет? Она тут бывала... Я почти месяц у нее прожил в августе... А на днях, — Саша вздыхает, — приходит от нее телеграмма: «Вышли срочно сто долларов». Я обалдел, побежал на почту, позвонил: «Что случилось, Марина?» Она не говорит конкретно, но голос истеричный такой: «Срочно нужно сто долларов!..» Блин, сто долларов! Это же три с лишним тысячи. Я таких денег и в руках никогда не держал... Ничего ей не сказал, конечно, наоборот, говорю: «Вышло с проводницей как можно быстрее. Поезд сообщу». Ну и стал искать. По двести рублей занимал, всех в институте обежал, к тетке в Митино съездил за пятисоткой...

— У меня бы занял, — перебиваю. — Я б тебе не отказал. — Выбираю салаку пожирней, отщипываю ногтями голову, зубами снимаю мясо, а голый хребет с хвостом кладу на блюде для мусора.

— Да я, Ром, заходил несколько раз. Не застал. — Голос Фомина одновременно горестный и трагически-приподнятый, а сам он, в очках, светловолосый, наивный какой-то, напоминает расстроенного Шурика из кинокомедий.

Наливаю в свою чашку с цветочками еще граммов семьдесят, жестом предлагаю выпить. Механически чокнулись, выпили, встряхнулись.

— Нашел, собрал. Поменял в обменнике на одну бумажку. Новенькая такая, шершавая... Ну и отослал в книжке Бродского с проводницей. Газетой еще обернул. Позвонил Марине, сказал, какой поезд, вагон, когда прибывает...

Этот подробный, вязкий рассказ, финал которого понятен чуть не с первых слов, теплая «Русская» отупляют и клонят в сон. Выпрямляюсь на стуле, смотрю Саше в глаза, и он замолкает. А я произношу громко, резко, но и с искренним желанием помочь молодому, запутавшемуся человеку, направить его на правильный путь; в такой манере примерно говорит Александр Евсеевич на семинарах — с жаром:

— Отбрось, Саш, всю эту хрень! Женщины, доллары. Ты кто? Ты — писатель!

— Поэт, — поправляет уныло.

— Поэты, прозаики, драматурги в целом — писатели. А писатель, Саша, запомни, — это живой мертвец. Это человек, который жирнющий крест на себе поставил. Он может заниматься только одним — писать. А кто хочет соединить писательство с обывательским благополучием — перестает быть писателем. Понимаешь? — Я кажусь себе проповедником, одним из тех немногих обреченных счастливыхчиков, поставивших на себе крест, а захлавленная общажная комнатка сейчас — как тайный храм, как самый укромный закуток катакомбы. — Так что плюнь, Саш, и садись работай. Если уж встал на этот путь, то пиши. Пиши и пиши.

...Наконец-то получил загранпаспорт. Я долго тянул со сдачей документов в ОВИР, и поэтому пришлось делать паспорт через знакомых — у Людмилы Николаевны есть приятельница где-то в МИДе, она с ней связалась. И, уплатив восемьдесят долларов, через три недели ожидания я получил красную книжечку с российским гербом.

Теперь стою в одной из длинных, извилистых очередей перед громоздким темно-серым зданием посольства Германии. Дует холодный ветер с колючими крупинками снега, люди впереди и сзади волнуются, копаются в своих папочках, советуются со шныряющими вдоль очередей какими-то агентами, как лучше и дешевле ехать — автобусом, поездом или лететь самолетом... Такие агенты подходили и ко мне, но я даже не взглянул на них — я еду по приглашению общественной организации, за меня кругом все заплачено, номер в гостинице меня ждет, и вдобавок еще мне за участие в мероприятии (зачем еду, что буду там делать, не знаю, да и не хочу заранее забивать этим голову — там разберусь) должны заплатить двести евро. И сейчас, стоя второй час на холоде, пряча лицо от снежных иголок, я чувствую некоторое раздражение — почему должен добираться до посольства на край города, мерзнуть, тратить время, как большинство этих частных, бесполезных лиц вокруг?.. Можно было устроить получение визы, наверное, как-то иначе. Неужели Токарева или Пелевин, приглашенные куда-нибудь на книжную ярмарку, так же дрожат, пританцовывают на ледяном ветру?

Вообще поначалу я не хотел ехать. Сергею после встречи с немецкой литагентшей Мартиной в кафе «Пирог» на Никольской сказал нечто такое пафосное и красивое: «Пусть Аксеновы ездят, а мое место здесь, в России». Но потом из Германии пришло официальное приглашение плюс к тому предварительное предложение выпустить книгу на немецком языке, с женой как раз начался очередной период ссор, и я согласился.

Теперь же, честно говоря, я жду не дождусь этой поездки, я счастлив тем, что вот-вот сяду в самолет, полечу, прилечу в новое, неведомое место, несколько дней проживу совсем по-другому. Не будь впереди поездки, не знаю, что б со мной сейчас было, как бы я справлялся со своими душевными переживаниями; я ведь даже стал сосать успокоительные таблетки глицин. Еще недавно смеялся над «психическими», над их жалобами, а теперь вот самого подперло. Кажется, глицин действительно слегка помогает (аптекарь сказала, что средство хорошее), или это помогают мечты о поездке...

Добраться до самого здания посольства в этот день не получилось. В бетонной будке, напоминающей блокпост, у меня проверили приглашение, паспорт и выдали бланки анкеты и номерок, с которым я должен явиться сюда завтра в четырнадцать часов тридцать минут, чтобы сдать пакет документов на визу.

По обыкновению тихонько ругаясь (ведь, значит, завтра снова сюда приезжать и потом еще — за паспортом), иду к остановке. Как раз вовремя подруливает маршрутка «Газель». Через стекла вижу, что почти забита, но два-три места вроде бы есть... Опередив каких-то женщин, открыл дверь, запрыгнул внутрь. Плюхнулся на сиденье. Достал десятку... Поехали... Куда дальше? На работе не ждут (отпросился на целый день), в общагу... Кирилл сейчас блаженствует со своей женушкой в Париже, другой друг — Вася — пашет экспедитором на Лианозовском молочном комбинате. Вот и все варианты...

Лишь в метро вспоминаю — Сергей, с которым мы едем в Берлин, предостерегал: заполнение анкет — дело трудное, сам он перепортил их целую кипу, пока научился. Так что лучше заехать к нему и заполнить под его руководством.

Мнусь на платформе с телефоном в руке, не зная, подняться ли обратно или ехать к нему до «Шаболовки» и оттуда уже позвонить. Под землей мобильник не ловит... Выбираю второе. Вот и поезд.

Вагон пестрит от наклеек-рекламок. Водка «Флагман», шампунь для всех видов волос, игровая империя «Джекпот», слабоалкогольные напитки «Хуч», гордость Чехии — пиво «Козел»...

Поднявшись на эскалаторе, звякнул Сергею. Он дома, он меня ждет. Ловлю тачку и за тридцать рублей (тут недалеко) договариваюсь с водилой. Иногда очень приятно прокатиться на легковушке...

— Блин, ты зачем побрился?!

Еще во вторник у него была пусть не длинная, зато окладистая, романтическая борода. Как у геолога-изыскателя. А теперь — голые впалые щеки, беззащитно-городской вид.

— Да брат вот приехал. Не хотел пугать...

— Зря, зря. Немцы разочаруются.

— М-да-а. — Сергей виновато вздыхает, нагибается, снимает с полочки тапки. — Раздевайся. Чаю выпьешь?

— Хорошо бы. Два часа у этого посольства хренова проторчал. Завтра опять... Интересно, Пелевин так же визы получает, в общем порядке?

Сергея пожимает плечами.

Прихлебывая горячий, настоявшийся чай, заполняю анкеты, а хозяин подсказывает. Но, как всегда при общении с казенными бумагами, волнуясь, путаюсь, потею. Никак не привыкну... Одних объяснительных на имя ректора Литинститута, когда там учился, пришлось написать не один десяток. А исковое заявление о расторжении брака! Потом, вымучив его, узнал, что на стене в суде есть образец. Порвал свое, с причинами, по какому совместное проживание с женой далее невозможно, спокойно переписал образец, вставив наши фамилии...

— Это брат, который в Америке, что ли, приехал? — Справившись с первым экземпляром анкеты, отваливаюсь на спинку стула.

— Угу. Отважился в конце концов... Сейчас с Любой пошел наши супермаркеты инспектировать.

— Хм...

Заполняю второй экземпляр, допиваю чай, но подниматься не тороплюсь. Сергей сидит рядом, крепко сжав в обеих руках свою большую чашку; так сжимают кружку промерзшие люди, вдруг оказавшись в охотничьей избушке, слушая потрескивание дров в камельке.

— Никуда в поход не собираешься? — спрашиваю. — Ты вроде говорил про Белое море.

Сергей грустновато улыбается:

— Да я всегда собираюсь. Но что-то не особенно получается в последнее время. Тут такой маршрут наметил по фьордам от Беломорска до Шурецкого. Мы там с отцом были два раза, но я тогда совсем пацаном был...

— А я с детства в Мезень съездить мечтаю, — говорю в тон ему и тут же самого себя почти стыжу: да зачем врать, что мечтаю? — раза два приходила блеклая мыслишка — дескать, интересно бы посмотреть старинный и совсем на отшибе город Мезень, тем более что там неподалеку протопоп Аввакум сидел... И, чтоб притушить эту свою внутреннюю пристыженность, задаю Сергею новый вопрос: — Что пишешь-то сейчас?

Он пожимает плечами:

— Пока так... ничего. Может, после Германии... Сейчас мандраж какой-то...

Досиделся до возвращения Сергиной жены Любы и его брата.

— Дмитрий! — бодро, широко улыбаясь, протянул он мне руку.

Высокий, грузноватый человек лет за сорок. Да, сразу видно, что ему за сорок, но в голосе, одежде, вообще в поведении больше юношеского... Не знаю, может, из-за собственного возраста, но мне в последнее время кажется, что большинство окружающих мужчин выглядят моложе своих лет. Или это на самом деле? Наверняка, ведь вот недавно слышал по ра-

дио жалобы одного театрального режиссера: очень трудно сейчас найти актера-мужчину лет сорока, именно — мужчину, а не постепенно стареющего юношу, и привел в пример актера Кальныша (или как там его правильно?), единственного сегодня актера-мужчину сорока лет...

Дима весело достает из пакетов «Арбатское» и еще какое-то вино с нерусскими этикетками, ленту сарделек, бледно-желтый, без дырок (костромской, наверное) сыр, соленые огурцы... Люба уже хлопочет с кастрюлями возле плиты.

— Это Роман Сенчин, — уточняет Сергей, — его рассказы я тебе по Интернету тогда посылал.

— Я понял, понял, — кивая мне с симпатией и одновременно вроде как с укоризной, отзывается Дима. — Очень приятно!..

— И мне, — тоже киваю и пытаюсь широко улыбаться, — очень приятно. Сергей о вас рассказывал.

Серегин брат по отцу живет в Америке, в каком-то средненьком штате, работает химиком на сахарном заводе... Уехал отсюда, когда уезжать стало не только модно, но легко и безопасно, — на грани восьмидесятых и девяностых. Там во второй раз женился, родился у него сын, потом дочка... Как-то Сергей сообщил, что отослал ему несколько моих вещей; брат пришел в ужас — хотел, мол, приехать посмотреть, как стало в России, уже настроился, а теперь, после таких рассказов, все желание пропало. Но вот — решился. Пересилил, значит, свой ужас...

Сергей откупорил бутылку вина с этикеткой на нерусском языке.

— А я — ваше продегустирую, — говорит Дима, вкручивая штопор в горло «Арбатского».

Я сию оглядываю кухню с ее тумбочками, ножами, баночками для специй, дуршлагом, поварешками разных размеров, кошусь на хозяйина Сергея, увлеченно режущего сыр тонюсенькими пластинками, на его молодую жену, напоминающую олененка, и завидую их безоблачной семейной жизни, этой уютной кухоньке... Хотя нет, не совсем она безоблачна, их жизнь. Когда знал их до свадьбы, они явно души друг в друге не чаяли, а теперь, через год после свадьбы, так однозначно это утверждать нельзя...

— Что ж, за встречу, за знакомство! — поднимает Дима бокал.

— Да, — отвечаю; чокаясь, интересуюсь: — Вы сегодня приехали?

— Сегодня в пять утра по Москве. Разбудил вот наших молодоженов.

Сергей и Люба переглядываются, и в их глазах сейчас столько нежности, что мне опять становится стыдно.

Отпили из бокалов. Дима вслух строит планы, куда надо сходить, с кем встретиться за те дни, что он будет в Москве. Спрашивает Сергея о каких-то родственниках, знакомых, потом спохватывается, извиняется передо мной:

— Вам-то, наверно, Роман, кисло наши междусобойчики слушать. Простите... Вы, если не ошибаюсь, в Литературном институте сейчас преподаете?

— Мой учитель, — шутиливо замечает Сергей.

— Да так, — говорю, — громко сказано — преподаю. Я вообще-то как бы ассистент у Александра Евсеича...

Разговаривать об институте, о писательстве совершенно не хочется, но у нас с Димой нет других общих тем — его брат, бывший студент-физматовец, вот стал вдруг писателем, студентом Лита, и я тоже писатель, этот институт закончил и теперь в нем работаю.

— Молодцы, ребята. Печатайтесь,граничная командировка наметилась. Премии, Серега говорит, получаете.

В голосе Димы вроде как и искренняя доброжелательность, уважение даже, но за этим слышится что-то, напоминающее иронию. Или, может, за рубежом у всех такая интонация...

— Да, — отмахиваюсь несколько наигранно, — сейчас столько премий, что почти каждая вещь из журналов что-нибудь получает. Премии стали как дополнительный гонорар... Назовите фамилию любого классика — и попадете на название премии. Премия Шолохова есть, Паустовского, Фета, Платонова, Григорьева... Даже на литературных персонажах уже перешли.

Сергей смеется и делает широкий глоток вина, Люба ставит на стол тарелку с раздувшимися, вкусно пахнущими сардельками.

— О, родненькие, говяжьи! — Дима потирает руки и втягивает в себя пар. — Сразу советской властью запахло.

Я тоже шучу:

— К таким сарделькам нужен портвешок тридцать третий...

— Ладно, сойдет и «Арбатское». Отличие невелико.

Жуем сардельки, сыр, запиваем вином.

— Откровенно скажу, ребята: очень я рад за вас. Я всегда по-хорошему творческим людям завидовал. Особенно — писателям. У нас с Сергеем отец таким библиофилом был!.. Помнишь, брат?..

Дима пока только хвалит нас, но я чувствую, что дальше последуют замечания. И даже знаю, по каким пунктам.

— Каждую субботу с утра — в книжный. А тогда ведь с ними туго было, книги — дефицит не слабее хрусталя с коврами...

Сергей тоже, вижу, насторожился. Потупился. Или об умершем отце вспоминает.

— Но откровенно скажу: не очень я, ребята, люблю русскую литературу. Есть в ней... гм... — Дима сделал паузу, задумался. — Вот взять хотя бы тему семьи. Ведь ни одного произведения, которое показало бы семейную жизнь более или менее в положительном свете. В «Обломове», например, ничего не получается, в «Анне Карениной» — сплошь измены, разводы, а противовес в лице Левина с его... как ее?... с Кити неубедителен совершенно. Или что еще?.. Да ни одной книги не припоминаю, которая показала бы нормальную семью, каких большинство. А ведь внутри этой семьи тоже столько проблем, драматизма, что грех не показать. Семья, без преувеличения могу сказать, — подвиг.

— Н-да, — вздыхаю. — Но писатель, понимаете, — это человек, который в первую очередь видит всякие отклонения. И их фиксирует, разбирает...

Дима протестующе поднимает руку:

— Но ведь западные могут так писать, грубо говоря, без патологии.

— Ну, наверно... — как бы соглашаюсь, хотя западные «без патологии» на память не приходят — то ли не читал таких, то ли прочитал и забыл.

Спорить нет никакого желания. Вообще размышлять о литературе в последнее время противно как-то. И, слава богу, Дима не продолжает, переводит разговор в другое русло — интересуется, читали ли мы Мураками. Ни я, ни Сергей, ни Люба еще не читали. А Коэльо? Тоже нет...

Съев пару сарделек, почувствовав легкий хмель от вина, я решаю, что пора и честь знать. Благодарю, поднимаюсь, иду одеваться.

— Рома, можно тебе тест дать? — спрашивает Люба. — Ответь, будет время.

Она учится на психолога. Готовит диплом по теме «Особенности психики творческой личности». И я у нее один из, так сказать, подопытных.

— Конечно, давай. Это дело мне нравится.

Люба приносит несколько листов бумаги.

— Просто ставь напротив вопроса плюс или минус. И долго не размышляй.

— Угу, хорошо. Во вторник супругу отдам.

— Да мне не к спеху...

— Кстати, Серега, ты послезавтра на суд-то придешь?

Его лицо становится испуганным, будто суд будет над ним. Торопливо трясет головой:

— Приду, приду обязательно!

Мы ищем Хамовнический суд в паутине узеньких переулков. Впереди решительно шагает Александр Евсеевич, полвека назад опоздавший по возрасту на войну с фашистами, за ним идет Людмила Николаевна, она сегодня особенно не в духе — слышал, как ей утром сообщили, что плата за аренду помещения опять повышается. Я в центре нашей процессии, а замыкает ее Валентин Дмитриевич, опираясь на свой батожок. Не в курсе, что у него с ногой, но сейчас, под настроение, мне хочется думать, что это последствия зимы с сорок первого на сорок второй, которую он провел в Ленинграде... Георгий Михайлович тоже хотел пойти, но позвонил, сказал, что очень плохо себя чувствует...

На час дня назначено рассмотрение иска главы издательства «Славянская правда» и одноименной газеты А. Ахатова, которого Александр Евсеевич около года назад назвал идеологом русского фашизма... Я бы лично не обиделся, если бы меня так назвали, тем более если бы печатал в своем издательстве авторов вроде Муссолини или Гитлера. Но с другой стороны, судиться — это шанс заработать. Недавно слышал по «Маяку»: родители одного школьника подали в суд на какую-то телепередачу. Дело в том, что там рассказывали о Клеопатре — в нее, дескать, влюбились императоры Юлий Цезарь и Марк Антоний и стали воевать за то, чтобы владеть Клеопатрой. Ну, мальчик послушал, пошел в школу и на уроке истории Древнего мира это пересказал. Его обсмеяли, учительница поставила двойку. А мальчик оказался ранимый — попытался покончить с собой. И теперь, не исключено, с телеканала снимут кое-какие денежки...

Да, судиться — неплохое средство подзаработать. И тому масса примеров последних лет. Да и Зошенко еще это заметил и целый рассказ написал... Один критик не так давно назвал меня Смердяковым, который вдрог почувствовал в себе литературный дар. Может, тоже попытаться стрясти с него бабок? Или это не оскорбление?..

Суд как суд. Покрашенные густо-зеленым стены, узкие, полутемные коридоры, залы заседания, стенды, на которых образцы разных документов с образцовым же именем-фамилией-отчеством — «Иванов Иван Иванович»; есть, конечно, дверь с табличкой «Конвойная»... За последний год это уже третий суд, в котором я побывал. То развестись надо было, то выступал свидетелем серьезного ДТП, а сегодня вот это, насчет фашизма...

Дверь нужного зала заседаний. Оттуда доносятся возбужденные голоса. Наверняка кто-то судится... Александр Евсеевич с Валентином Дмитриевичем устало садятся на скамью в коридоре, а Людмила Николаевна отходит к стендам. Я стою, навалившись на стену. Разглядываю людей вокруг. Все озабоченны, но тихи, шепотом что-то друг у друга спрашивают, даже спорят шепотом. Проходит пара — довольно молодые, высокие и симпатичные мужчина и женщина; лица их одинаково суровы, решительны, и идут они хоть и рядом, а вроде отдельно друг от друга. Таких я теперь узнаю с первого взгляда: точно так же и мы с женой шли туда, где нас разведут. Лишь спросят: «Не переменяли своего решения расторгнуть брак?» Спросят таким тоном, что язык не повернется сказать: «Передумали». И потому говоришь торопливо, послушно: «Нет-нет!» Расписываешься в каком-то журнале, и всё — свободны.

Как всегда быстрый, деятельный, хлопотливо-солидный, возникает адвокат с большим дипломатом в руке. Пожимает руку Александру Евсеевичу, потом Валентину Дмитриевичу, кивает мне. Садится рядом со своим подзащитным, кладет дипломат на колени. Достает бумаги, шелестяще-пожевывающим голосом что-то объясняет. Александр Евсеевич слушает, недовольно хмурясь, кривя губы...

Зал довольно маленький — наверное, для рядовых, нешумных процессов. Справа от входа, у стены, длинный стол, за ним три кресла с высокими спинками. Чуть в стороне стол маленький, где сидит полноватая не симпатичная девушка — секретарь или стенографистка. Вдоль противоположной стены — два ряда жестких скамеек без спинок. В центре зала еще два стола, друг против друга, которые без промедлений, привычно заняли адвокат и крупный, чернявый, рыхловатый мужчина в темном костюме; над верхней губой пышные, но небольшие усы, как у Петра Первого. Догадываюсь, что это и есть Ахатов.

Зрителей немного. Людмила Николаевна, мы с Сергеем, Валентин Дмитриевич, двое представителей Бюро по правам человека, среди нас и Александр Евсеевич. Особняком сидит какой-то крепыш в кожаной куртке. Фантазирую: крепыш — телохранитель Ахатова, и у него в кармане боевой пистолет.

Истец и адвокат ответчика, как дуэлянты оружие, выкладывают из одинаково массивных дипломатов газеты, книги, бумаги. Распределяют их, сортируют, кое-что, кажется, перечитывают. Мы, зрители, наблюдаем.

Из какой-то потайной двери появляется коренастый, средних лет судья в не новом костюме и галстуке слегка набоку. Быстро занимает среднее кресло с высокой спинкой. Никакой торжественности, никаких громогласных: «Встать! Суд идет!»

— Тэк-с... Начнем? — устроившись, тоже повозившись с бумагами, спрашивает судья; голос заранее утомленный или, может, уже утомленный после парочки предыдущих заседаний. — Ахатов, вы сами представляете свой иск?

— Да, сам.

— А вы, — судья поворачивается к другому столу, — сторона, значит, ответчика?

— Гм-м, совершенно верно, м-м, ваша честь, — жующей скороговоркой подтверждает адвокат.

— Ясенько. — Судья опять ворошит бумаги. — Так, Ахатов, озвучьте ваши претензии.

Истец надувается, принимает вид обиженного ребенка и соответствующим тоном начинает:

— Я глубоко оскорблен высказыванием ответчика в его интервью в представленной вам газете, где он обозвал меня идеологом русского фашизма. Я никогда об ответчике ничего не писал, никаких контактов с ним не имел...

— Так, погодите, — перебивает судья. — Вас что именно оскорбило в высказывании?

— То, что он обозвал меня идеологом русского фашизма.

— Ясно.

— Ваша честь, — вступает адвокат, — разрешите?

— Да, разрешаю.

— Господин Ахатов является издателем газеты «Славянская правда», где, кроме всего прочего, помещен анонс выходящей в его же издательстве книги Родзаевского «Завещание русского фашиста». Думаю, один этот факт...

— Покажите анонс, — перебивает судья.

Адвокат встает и с профессиональной учтивостью подносит ему газету. Указывает, где и что нужно читать. Судья читает, листает газету, кажется, увлечается, но вдруг лицо его из утомленного превращается в сердитое.

— Интервью, где ответчик назвал истца идеологом русского фашизма, было напечатано за полгода с лишним до номера этой газеты. По закону она не может фигурировать как доказательство.

Мы, болельщики Александра Евсеевича, одновременно негодующе хмыкаем. Адвокат возвращается на свое место, озабоченно что-то ищет в бумагах.

— Слово «фашизм» я всегда знал как крайне ругательное, — снова подает голос Ахатов. — Я вот специально принес словарь Ожегова и хотел бы озвучить определение фашизма.

— Озвучьте.

— «Фашизм. Форма открытой террористической диктатуры империалистической буржуазии, опирающаяся на силы антикоммунизма, шовинизма и расизма, направленная на уничтожение демократии, подавление рабочего движения и на подготовку агрессивных войн».

— Все?

— Да.

— Ксерокопия у вас имеется?

— Конечно. — Ахатов относит судье бумагу.

Адвокат поднимает руку:

— Разрешите, ваша честь, гм, задать истцу вопрос?

— Разрешаю.

— Господин, м-м, Ахатов, вы — издатель газеты «Славянская правда», где из номера в номер публикуются крайне националистические, ксенофобские, антисемитские статьи. Достаточно процитировать несколько заголовков...

— В чем вопрос? — перебивает судья.

— Вопрос в том, кем считает себя истец.

Судья поворачивает утомленное лицо к Ахатову:

— Кем вы себя считаете?

— Я... — Тот держит паузу, но пауза эта уверенная, патетическая. — Я считаю себя русским националистом.

— Так! — В голосе адвоката послышался азарт, как у рыбака, увидевшего, что поплавок дернулся. — У меня тоже, гм, имеется словарь Ожегова. В определении фашизма присутствует, м-м, слово «шовинизм». А шовинизм, м-м... Разрешите зачитать, ваша честь?

— Изба-читальня какая-то, — ворчит, морщась, судья, но разрешает: — Ладно, давайте.

— «Шовинизм. Крайний, гм, национализм, проповедующий расовую исключительность и разжигающий национальную вражду и, м-м, ненависть». Кроме того, ваша честь, мой, м-м, подзащитный назвал господина Ахатова идеологом, гм, русского фашизма. Заострю внимание на слове, м-м, «идеолог». — Адвокат быстро находит нужную статью и, уже не спрашивая разрешения, читает: — Слово «идеолог» определяется как, гм: «Выразитель и защитник идеологии какого-нибудь общественного класса, общественно-политического строя, направления». Например: «Коммунисты — идеологи, м-м, революционного пролетариата». Судя по статьям и книгам, которые издает господин Ахатов, определение идеолога к его деятельности подходит полностью.

Эта атака, кажется, подействовала на судью. Он принимает от адвоката стопочку бумаг, бегло их просматривает, передает секретарше:

— Приобщите к делу.

— Кроме того, в своей, м-м, газете господин Ахатов неоднократно оскорбительно отзывался о христианской религии, — не сбавляет напора адвокат. — Например, гм, он назвал христианство религией рабов, уничтожительно толкует Священное Писание. Мой подзащитный, будучи человеком, м-м, верующим, оскорблен этими высказываниями и, гм, подает встречный иск господину Ахатову. — И новая стопочка бумаг ложится на стол судье.

В зале становится очень тихо. Лишь Александр Евсеевич взволнованно сопит да судья шуршит бумагами. Ахатов спокойно смотрит в стену напротив. Странно, что он не защищается, не протестует.

— Что ж, — раздается голос судьи, — я передаю все эти определения фашизма, идеологизма экспертам. Пусть они ломают головы... А иск этот

заберите и подайте в установленном порядке в канцелярию... Объявляю перерыв разбирательства. О дате очередного заседания будет сообщено повестками по месту жительства участников. На сегодня — все.

— Папа, любимый! — Дочка подбегает ко мне, обнимает ноги, а потом оглядывается и объявляет всем, кто есть в группе: — А за мной папа пришел!

— Давай одеваться, — веду ее к тумбочке.

Шестой час вечера. Пятница. Я устал, хочу есть, хочу переодеться в домашнее и лечь.

Утром побывал на работе, потом отвез верстальщику набор статей Синявского, затем созвонился с издательством, куда с месяц назад предложил свою повесть, и там мне сказали, что ее приняли к публикации отдельной книгой в твердом переплете. Заключить договор и получить гонорар можно прямо сегодня.

Поехал, подписал договор почти не читая (в этом же издательстве вышла и прошлая моя книга «Минус», вторая по счету), и редактор отчитала приличную сумму денег. Заодно порадовала и еще одним:

— Из Германии хорошие вести. Начинаем переговоры по поводу «Минуса».

Я заулыбался.

По московским меркам, сделано сегодня много, ведь одна только дорога от работы до верстальщика, от верстальщика до издательства заняла в целом часа три.

И теперь я торопливо веду дочку домой. Погода, как и должно быть в ноябре, — ледяной, порывами, ветер, непонятно что падающее с неба — какие-то мелкие белые шарики...

— Скоро Новый год? — спрашивает дочка, почти бегом семени рядом со мной и крепко держась за руку. — Скоро Дед Мороз придет?

— Скоро, уже скоро.

— А что он мне подарит?

— Хм, не знаю. Что-нибудь придумает интересное.

— А давай ему письмо напишем...

Ветер дует то с одного бока, то с другого, то в спину, а вот колючая волна хлестнула прямо в лицо. Дочка захлебнулась и потянулась ко мне на руки.

— Ну ты даешь! — возмущаюсь. — Тебе же пять лет почти. До старости, что ли, носить?

— Пап, я не могу. Мне холодно!

— Я тоже не могу. Знаешь, как я устал...

— Пожалуйста!..

Спорить бесполезно. Беру ее на руки и несу к автобусной остановке.

Садик далековато от дома, но зато он один такой, кажется, в округе. И плата приемлемая — сто пятьдесят рублей в месяц, и бассейн есть, и главное — можно оставлять ребенка на ночь... В последнее время дочка ночует здесь довольно часто.

— Ты мне чего-то купил? — спрашивает, когда оказываемся в салоне автобуса.

— Чего-то купил, — в тон ей отвечаю.

— А чего?

Садимся, я расплачиваюсь с кондукторшей, затем достаю из сумки батончик «Милки вэй».

— Вау! — радуется дочка. — Класс!

— Не надо говорить это «вау». — Мне действительно оно не нравится, тем более — напоминает о Тане; она тоже часто так вскрикивала... Когда я предложил купить ей контактные линзы, она изумилась: «Вау! Сенчин, ты прогрессируешь на глазах!»

От садика до дома минут двадцать езды. Я не знаю, о чем разговаривать с дочкой, и потому задаю ей те же вопросы, что и всегда:

— Тебя как зовут?

— Настя.

— А полностью?

Она набирает в легкие воздуха и выпаливает:

— Анастасия Романовна Сенчина!

— Правильно. А где ты живешь?

— В Москве.

— Ты, что ли, москвичка у нас?

— Да.

— А маму как зовут?

— Лиза.

— А брата?

— Алеша.

— А меня?

— Роман Сенчин.

— Правильно.

Это она по моей первой книге так заучила. Там на обложке мое имя и фамилия, а под ними фотография. Дочка, делая вид, что читает, водила пальчиком по буквам и повторяла: «Роман Сенчин».

— А воспитательницу как зовут?

— Галина Борисовна.

— А другую, которая у вас ночью?

— Надежда Михайловна.

— Молодец.

Набор вопросов исчерпан. Некоторое время молчим, а потом дочка задает свой вопрос:

— Ты сегодня с нами останешься?

Я не отвечаю, смотрю в окно. За ним шеренги киосков продуктового рынка «Новинки». Еще три остановки до дома.

— Ты останешься ночевать? — повторяет Настя, и голос ее уже нетерпеливо-тревожный.

— Нет.

— А почему?

— Ну так... Дела.

— Почему ты с нами теперь не ночуешь? С мамой?

Автобус остановился.

— Смотри, — показываю на светофор, — какой это огонек горит?

Дочка не отвечает.

— Ну какой, Насть?

— Не буду говорить.

— Почему это?

— Потому.

— А, значит, не знаешь?

Она молчит. Отвернулась, в правой руке зажат нераспечатанный «Милки вэй».

Вот доехали. Вышли. До дома теперь с полсотни шагов.

— Смотри, пап, цветочки какие! — Дочка тянет меня к киоску.

Подходим.

— Это розы, да?

— Розы. А это — гвоздики... Нравятся?

— Да. Купишь?

Вместо ответа беру ее на руки и несу к подъезду.

— Па-апа, — маленькое лицо перед моим, — папа, любимый.

— Правда?

— Да, правда.

— А маму любишь?

— Люблю.

- А брата?
- Люблю.
- А Галину Борисовну?

Лицо меняется — теперь она смотрит на меня по-другому. Кажется, с недоумением и обидой.

Открываю первую дверь. Набираю код. Через несколько секунд — из домофона — голос бывшей жены:

- Кто там?
- Это мы! — кричит дочка.

Тонкий писк. Значит, можно открыть и вторую дверь. Входим в подъезд, спускаю Настю с рук. Она, поднявшись на цыпочки, жмет кнопку лифта. За створками начинает гудеть. Гудение усиливается, к нему добавляется шелест ползущей кабины... И вот створки раскрываются. Пол кабины чуть проседает под нами. Теперь я (дочке пока не дотянуться) вдавливаю пластмассовый прямоугольничек с цифрой нужного этажа. Едем. Доехали. Прямоугольничек выщелкнулся. Створки раскрылись.

Дочка бежит к нашей квартире и оглядывается на ходу — иду ли я.

Останавливаюсь на пороге. Жена обнимается с дочкой и говорит:

— Раздевайся скорей, и будем пирожки с картошкой печь. Я тесто уже приготовила...

- Пап, заходи!
- Папе надо ехать.
- Ну-у-у...

Разворачиваюсь и шагаю к лифту. Сейчас тоже что-нибудь вкусное приготовлю.

Это случилось в середине октября, за полторы недели до Форума молодых писателей и за две до теракта в «Норд-Осте». Как мне сейчас кажется, в тот момент я сильнее всего любил Лизу и наконец-то почувствовал по-настоящему, что такое семья.

После работы я торопился домой, но теперь в первую очередь не к своему письменному столу, а к семье. Забирал пораньше дочку из садика, играл с ней в магазин или в жену и мужа. Мы катались с ней на вымышленной машине по магазинам и покупали разные вымышленные вкусности, красивые-прекрасивые платья. Дочка делала вид, что примеряет их, и кружилась, красовалась передо мной, а я выставлял вверх большой палец — отлично.

Потом я готовил ужин, часов в семь вечера приходил Алеша (он тогда работал курьером); мы втроем ужинали. Потом по второму каналу показывали очередную серию «Бригады». В целом лживый, но кусочками похожий на искусство фильм про «новых русских»... Я тогда ждал публикации своей большой повести, которая отчасти тоже была про «новых русских», и потому смотрел со вниманием, радуясь явно провальным эпизодам и завидуя удачам... Серия кончалась в десять. Лиза обыкновенно еще не возвращалась... На самом деле она чаще всего была дома, но в памяти остались вечера, когда ее не было...

В течение вечера она по несколько раз звонила и объясняла, что задерживается то на «Мосфильме», то во ВГИКе, то в Доме кино, то на студии «Парадокс». У нее, мол, встречи, переговоры, в общем — дела; она была тогда необыкновенно активна, она снова решила заниматься режиссурой и вот наводила связи, завязывала и возобновляла знакомства. А я, почувствовав себя семьянином, практически перестав пить, злился...

Алеша сидел за компьютером в своей комнате, дочка засыпала, я пылился на кухне в телевизор, где, сменяя друг друга, шли всякие «Окна», «Фабрика звезд», «Секс в большом городе», и представлял Лизу с другим. И с другим она, скорее всего, чтоб помогли снять фильм, ввели в круг. Ведь этот прием, говорят, самый действенный и популярный... Я находил

номер ее телефона в своем мобильнике, но в ответ раздавалось: «Абонент временно недоступен. Попробуйте перезвонить позднее». «Блядь!» Я бросил мобильник на стол и продолжал наблюдать, как две молодые пары выясняют, кто, когда, как и где друг с другом спал, а ведущий ток-шоу подбадривает их время от времени таким искренне-заинтересованным «так-так!.. так-так!..».

Когда жена наконец приходила, я или дулся, молчал, или спрашивал: «Натусовалась?» Она устало морщилась: «Перестань». Я ложился спать, отворачивался к стене; я чувствовал себя обманутым мужем (в тот момент не вспоминалось, что мы вообще-то в разводе и что за те годы, пока были женаты, я несколько раз ей изменял и раза три попадался, а насчет ее у меня особых поводов для подозрений не возникало... не возникало до этой осени). Да, лежа вот так, лицом к стене, и ощущая близость ее тела, я чувствовал себя образцовым, честным, но обманутым мужем...

Мы прожили вместе без малого четыре года. Первые два, когда дочка была совсем маленькой, а с деньгами хуже чем плохо, оказались самыми лучшими. Жена занималась домом, нянчилась и гуляла с Настей, я учился в Литинституте, писал, помогал стирать пеленки, по утрам ходил за детским питанием в молочную кухню. Случалось, я выпивал со своими друзьями-однокурсниками Кириллом и Васей, бывало, не ночевал дома; жена прощала, даже жалела, когда я стонал, болея с похмелья.

Но постепенно, почти незаметно, становилось хуже и хуже. Неправда, что человек ко всему привыкает, — мужчина и женщина, если они еще достаточно молоды, обязательно хотят лучшего и бунтуют против привычного. И я все чаще гулял с друзьями и искал разных женщин, а Лиза бесилась, попрекала, что я не работаю, не обращаю на нее внимания, что квартира превратилась в забитый ломаной мебелью чулан, обои поотклеились; она стала тратить на косметику, а однажды сменила прическу — подстриглась. Я сказал, что так ей не идет, она покрасила свои черные волосы в рыжий цвет, потом в оранжевый. Мне не понравилось, она вернула как было, но с короткой стрижкой сделалась для меня какой-то чужой, не той...

Переломным моментом стало такое событие: отвалилась дверь в ванную. Верхний шарнир давно болтался, я пару раз подкручивал шурупы, но они снова быстро ослабевали. И вот она рухнула, вырвав кусок косяка внизу. Я вынес дверь на балкон, Лиза повесила в проеме большой платок с пионами.

Был конец двухтысячного (нулевого, как шутили тогда многие) года. Я переделывал повесть «Минус», ту, что принесла мне позже кое-какую известность и деньги... Я писал ее больше двух лет, не торопясь, не особенно рассчитывая, что напечатают, — просто писал; она получилась объемом почти четырехста машинописных страниц. Потом, окрыленный мнением Александра Евсеевича, что повесть сильная, отнес ее в один из толстых журналов, ее прочитали и дали понять, что если я сокращу свой «Минус» наполовину, то есть шанс публикации... И вот через силу, злясь, я стал сокращать, выкидывая, как мне казалось, важные (да что там — бесценные просто) эпизоды. Успокаивал себя более-менее оптимистичским: «Ладно, вставлю в следующую вещь». Но все равно работа была тяжелой, неблагодарная, а тут еще эта дверь...

Первое время жена помалкивала, даже, казалось, стала со мной почти такой же ласковой, как вначале, но однажды потеряла терпение... Какие там были слова, точно не помню, а врать в этом случае как-то не хочется; вообще, кстати, я не встречал подробного, достоверного описания семейной ссоры. Как одно цепляется за другое, как постепенно накаляются эмоции, как люди, еще утром целовавшие друг друга, шептавшие нежнейшие на свете слова, через пару-тройку часов готовы друг друга стереть в порошок. Нет для них тогда злейшего врага, чем собственная супруга или супруг.

Да, из памяти стерлись детали — мои оскорбления, какими я долбил Лизу в ответ на ее оскорбления, которые тоже теперь не восстановить. (После той ссоры, разрыва мы несколько раз сходились, решив забыть все плохое, пытались зажить счастливо и снова ругались и разрывали.) Но последние ее слова остались:

— Ну и не нужен мне тогда такой муж! Убирайся!

— Так, значит? — помню, не особенно удивился я. — Хорошо.

И стал собирать вещи. Жена ушла в комнату (мы ругались на кухне) и стала рыдать... На письменном столе была разложена рукопись повести: одна стопочка — то, что на выброс, другая — что войдет в сокращенный вариант, третья — еще не расчлененный, первоначальный текст.

Сгреб все в кучу, засунул в сумку пишущую машинку «Самсунг», туда же — кое-что из одежды. Сдернув полог-платок, зашел в ванную, вынул из стаканчика зубную щетку...

— Роман, вернись! — крикнула жена, когда я, нагруженный, в пальто, шагал к лифту. — Вернись, давай поговорим!

— Да наговорился я с тобой! — тоже крикнул я. — До блевоты.

Из таксофона позвонил бывшему однокурснику Васе, попросился переночевать. Он разрешил. На следующее утро рассказал ректору Литинститута, где я еще учился тогда, на пятом курсе, что так, мол, и так и мне нужна крыша над головой. Он черкнул коменданту записку, к вечеру я уже устраивался в комнате 612, где когда-то, по преданию, жил Астафьев...

С увлечением, нет, скорее с истовостью вырвавшегося на волю я продолжил переделывать повесть, успевая при этом писать новое.

Потом были примирения и возвращения, новые ссоры, уходы; у меня была Таня, а у жены какой-то Андрей, кажется, бывший фигурист; был развод, а вскоре новое примирение, поездки за город на шашлычки, совместные прогулки с дочкой в Коломенском...

И вот — окончательный разрыв...

Дочку решили оставить на ночь в садике; я, как всегда в эти дни, пришел домой рано, почитал, приготовил ужин, посмотрел телевизор. То и дело взглядывал на будильник. Часовая стрелка ползла все выше и выше — к ночи. Наконец не выдержал, позвонил:

— Ты придешь когда-нибудь? — спросил раздраженно.

— Я в Пен-центре, мы тут готовим синопсис сценария...

— А днем его готовить нельзя?

— Я же тебе объясняла — днем у людей другие дела.

Жена говорила громко, стараясь перекрыть гремящую там у них музыку, чей-то смех.

— Ну давай тусуйся. — Я нажал кнопку «OFF».

Посидел немного, покурил и поехал в этот Пен-центр.

Я никогда там не бывал, хотя адрес на всякий случай в записной книжке имелся.

Дом восемнадцать, строение один отыскался без особых проблем, а строение два — никак. Я метался по Неглинной, где должен был быть Пен-центр, но ничего похожего на него не видел. Какие-то облупленные, низкорослые домишки, совсем непристижные... Или я адрес неправильно записал?

В конце концов сунулся в круглосуточный мебельный салон, что помещался в доме восемнадцать, и спросил про Пен-центр. Юноша в белой сорочке посмотрел на меня непонимающе-изумленно, точно услышал бредятину. «Все с вами ясно», — сказал я и вышел.

По Неглинной просвистывали несчастные уже автомобили, по тротуарам двигались бодрые, как мне казалось, счастливые люди. Весело мигали огоньки, блестя глянцем рекламные щиты, висели, как транспаранты, афиши-растяжки...

Меня будто подтолкнули (да, как это ни банально, литературно звучит) в ближайший к дому восемнадцать малозаметный переулочек. Будто кто-то так направил невидимой сильной рукой: «Тебе вот сюда». И в переулочке я увидел зарешеченную темную арку. Дверь-решетка была приоткрыта. Конечно, вошел. Тоже темный, жутковатый двор, посреди него — силуэт кобoboкого двухэтажного здания. Я достал сигареты, закурил, я как-то сразу успокоился. То есть со спокойной уверенностью понял, что вот-вот и случится окончательное... И решил с удовольствием покурить, как перед казнью, прыжком в бездну, атакой на пулеметы...

Вывески вокруг двери. Да, это Пен-центр, а вот и «Студия „Парадокс“». Ла-адно... Нажал кнопку домофона.

— Вам кого? — спросили из щелки динамика.

Секунду-другую я мялся, потом ответил:

— Елизавету Емельянову. — И на душе стало совсем спокойно.

— Минутку. — В щелке динамика хрустнуло, а потом — мертвая тишина.

Я стоял перед обитой потрепанным дерматином с трещинками дверью, смотрел в какой-то кругляш чуть выше щитка домофона... Наверняка на меня глазек сейчас и хихикают, а Лиза торопливо одевается, путается в колготках, кофте, юбке... За полминуты, пока домофон молчал, в моей голове прокрутился целый порнофильм, главной героиней которого была любимая мной женщина. И когда он (чертов домофон) запищал, я, опять распаленный, дернул дверь и ринулся внутрь, тут же запнулся о высокий порожек, чуть не упал...

Состояние было, ясно, не для разглядывания окружающего, но внутренность знаменитого Пен-центра поразила. Коротко, на мгновение, зато глубоко. Узкий, как в подводной лодке, коридорчик, неровно оштукатуренные стены, к которым прислонены рейки плитусов и еще какие-то стройматериалы для бесполезного, косметического, ремонта. Слева — крутая деревянная лестница. И оттуда, сверху, голос Лизы:

— Ром, поднимайся сюда!

Опустив голову, следя за неровностями ступенек, я поднялся на площадку между первым и вторым этажами. Лиза стояла в нескольких шагах выше меня. Утомленная, с сигаретой, глаза красные. Кажется, слегка подпившая. За ее спиной, где-то рядом, слышались голоса, музыка.

— Пошли домой, — сказал я.

— А что такое?

— Ничего... — Слов не находилось, хотя, пока ехал сюда на метро, пока метался по Неглинной, их были на языке сотни и сотни, начиная с обидных, оскорбительных выкриков и кончая разумными, наставительными монологами... И я сумел лишь повторить, но более раздраженно и твердо:

— Пошли домой!

— У меня здесь еще дела...

— Когда ж ты натусуешься?

— Слушай, — Лиза тоже стала раздражаться, — я пять лет просидела дома. Я до тебя занималась кино, у меня были друзья, общение. Из-за тебя, из-за родов, Настьки я потеряла все связи. Сейчас я хочу вернуться, я хочу заниматься любимым делом.

Я хмыкнул:

— Пить пивко в этом сарае хрен знает с кем и лясы точить. Ништяк! Так можно и до старости протусоваться — не надоест.

— Перестань, — лицо ее сморщилось, — мы пишем синопсис...

— Да ладно. Я слышу, что вы там пишете... Пошли домой!

— Я с тобой таким никуда не пойду.

— Да? — Меня затрясло. — Ну тогда — прощай. — Она меня не оставила...

Я почти бежал к метро и чувствовал небывалую, странную легкость. И, кажется, в первый раз я запел дебильненько-жалостливое, которое почти и не помнил, поэтому досочинял на ходу: «Ты не моя мурлыся, а я не твой Андрейка, ведь у любви у нашей сели батарейки...»

Нет, нечто подобное было когда-то — такая же странная легкость. В восемьдесят четвертом году, в ноябре, в родном азиатско-сибирском Кызыле я принял крещение. Мне было тринадцать. Тайком от родителей... Я тогда много думал о смысле жизни и вот додумался до того, что необходимо верить, а веру начать с крещения (чтоб все как положено). И потом, когда после окончания процедуры меня отпустили из церкви, шагая по морозу с мокрой еще и непокрытой головой (как-то страшно было натянуть на нее, освященную, засаленную кроличью шапку), я почувствовал легкость. Будто ноги не опираются на землю, а просто скользят по ней, и — уверенность, что можно точно так же поскользиться по вертикальной стене, по воде...

Потом, когда ходить в церковь стало модно, я превратился в воинствующего атеиста. Тем более из книжки протопопа Аввакума узнал, что это у нас теперь за церковь... Да, я выбросил крестик, я доходил до бешенства, споря с верующими людьми, героев своих рассказиков обязательно делал нигилистами и богоборцами, а теперь вроде бы надломился. Стал завидовать верующим, все равно каким, во что верящим. У них ведь есть этот стержень, у них есть календарь жизни, а у неверующего — лишь набор одинаковых дней. Теперь я подолгу листаю жизнеописание Серафима Саровского, поражаясь его чудачеству, которое было признано святостью, я уже раз пять перечитал биографию Прабхупады, практически из ничего, на совершенно чужой, неподготовленной почве создавшего самую известную на земле секту — Общество сознания Кришны...

— Что случилось? — спросил Алеша, наблюдая, как я отсоединяю провода от принтера.

— Да надоело все... Это не жизнь... Семья должна быть... — с паузами, нервной дрожью пробурчал я.

Мы с Алешей никогда не разговаривали по душам. В лучшем случае он увлеченно показывал мне новую компьютерную игру и объяснял, на какие клавиши жать, как загружаться, как сохраняться, а я, периодически, по просьбе Лизы, вымученно пытался втолковать ему, что, мол, нужно закончить школу, нужно поступить в институт, не загреметь в армию... И тогда меня потянуло все ему рассказать. Я даже бросил собирать вещи и сел на стул... Но что рассказать? Что именно?.. А, бесполезно...

В ту же ночь я раскаялся. И появился душаший, со вкусом крови ком в глубине горла. Он сдавливает грудь, мешает сердцу стучать, и иногда мне кажется, что я задыхаюсь... Да, хорошо б задохнуться, но, скорее всего, это будет продолжаться еще очень долго. Очень долго и однообразно.

Если бы я увидел такое в каком-нибудь фильме, то сразу решил бы, что художник — дерьмо. Простой равнодушный ремесленник. Дескать, режиссер сказал ему: нужно создать бардак в комнате, и художник, не размышляя особо, выполнил задание, использовав свою небогатую фантазию. Но это не фильм, это жизнь. Одна из комнат общаги Литинститута.

Шикарный письменный стол с двумя тумбами-ящиками завален черт знает чем (даже и не выцепишь взглядом что-то конкретное), а ящики вывернуты наружу на три четверти и держатся чудом. В ящиках рваные книги, сморщенные, ссохшиеся клубеньки картошки, провода, тапочки, банки из-под кофе... Штора висит на двух прищепках. Отставшие под потолком обои свисают... Возле батареи раздавленная в зеленый песок, будто на нее надавили стотонным гидравлическим прессом, бутылка... Повсюду раскидана одежда — нижняя, верхняя; обе постели превратились в серые комья. На одной из кроватей лежит в пьяном забытии Саша Фомин. Лицо искажено гримасой страдальца...

Я вышел из своего уютного укрытия-норки, чтобы забрать у одной студентки рукопись, которую будем обсуждать на ближайшем семинаре. Поднялся на пятый этаж, постучал. Закрыто. Зато из соседней комнаты, шатаясь, вывалился Миша Вишневский, пятикурсник-поэт. Побрел было в сторону туалета, но заметил меня, обрадовался:

— Во, Сэн! Давай бухать!

— Да нет, — я первым делом, как всегда, отказался, — спасибо... — Пить совсем не хотелось, хотелось, подзарядившись чтением чужого неважного текста (того, что будет обсуждаться во вторник), переключиться на писание своего.

— Ну, блин, ты чё! Ты меня обижаешь, Сэн! — возмутился Миша. — Мы же, считай, семь лет знакомы! И скоро я обратно уеду к себе... Пошли-и забухаем!

— Пошли...

Мы с Мишей поступили в один год, но его выгнали месяца через три за пропуски занятий, непрерывную пьянку и дебоши. На следующий год он поступил опять и вот теперь, с одним академическим отпуском, подбирается к диплому. Кажется, страдает, что студенческая его жизнь кончается, снова пьет вовсю, орет, спорит о литературе, как на первом курсе, — до драки. Тем более сегодня у него для спора подходящий контингент — трое малознакомых мне младшекурсников, среди которых вроде и хозяева комнаты.

— ...Бродский бес...бесспорно гениален, — говорит Миша Вишневский тоном профессора, но заплетающимся языком, — впрочем, он принес б-больше вреда русской поэзии, р-русскому языку, чем пользы.

Тщедушный паренек в очках с толстенькими линзами мудро усмехается:

— Почему это?

— А вот давай накатим. — Миша плескает «Московскую» по чашкам. — Сейчас накатим — и я тебе объясню.

Видя, что Миша уже набрался до стадии, когда его тянет объяснять при помощи кулаков, я, выпив первым, слегка меняю направление разговора:

— А мне простая поэзия нравится. Искренняя и простая.

Тщедушный переводит свои линзы с Миши на меня:

— Это кто же простой?

— Да кто... Тиняков, например. Не весь, но лучшие вещи — простые у него и, можно сказать, гениальные.

Тщедушный с минуту глядит на меня как на дурака, а потом объявляет:

— Я не знаю такого. — В его голосе — приговор мне: что я неудачно выбрал пример, а потому не имею больше права ввязываться в разговор.

Остальные молчат. Я понимаю, что и они не знают. Лишь Саша Фомин мученически стонет в алкогольном сне.

— А Рыжего знаешь?

Очки тщедушного переползают с меня на задавшего вопрос Мишу.

— Рыжего знаю, да, но поэтом его не считаю.

— Хм! Интересно...

— Он не поэт.

— Поэт! — вдруг громко и резко (все аж вздрогнули) рубит сидевший до того тихо-мирно паренек с миловидным молодым лицом и спортивной фигурой; на вид совсем трезвый. — Он повесился — значит, поэт! Он совершил поступок...

— Если мы по таким критериям будем судить, — тщедушный говорит спокойно и каким-то мудрым тоном, — то и невежу Рубцова в поэты зачислим. Он-то поступков совершил предостаточно...

— Слушай, ты! — шипяще вскрикивает Миша Вишневский. — Ты Рубцова не трагай! Его давно все признали...

— Такие же невежи, как и он сам, признали. Которым от природы не дано настоящую поэзию не то что почувствовать, но и элементарно прочесть. Речевой аппарат, извините, не развит...

Миша подтягивает рукава свитера к локтям. Я торопливо наливаю в свою чашку граммов семьдесят. Глотаю. Встаю и иду к двери. Слышу за спиной Мишино неоспоримо-твердое:

— Сейчас я тебя буду месить, очкарь.

Вот уж точно: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» Да, у Бродского есть гениальные строчки...

За поворотом коридора, напротив кухни, живет Шевчена, хотя в последнее время здесь почти не появляется. Стучу просто так, наудачу.

— Да-а! — знакомый крик с той стороны двери.

Открываю:

— Можно?

— О, Ромочка! Заходи!

Шевчена на кровати подстригает ногти на ногах.

— Как жизнь? Творчество? Здоровье? — не глядя на меня, энергично задает набор традиционных вопросов.

Сажусь к журнальному столику, посреди которого сковородка с остатками подгоревшей картошки. Рядом — пачка легкого «Винстона». Беру сигарету, закуриваю, отвечаю:

— Все так же — все хреново.

— С женой не помирился?

— Нет. А ты-то как?

— А мы вот сегодня с Алексеем Константиновичем в кино идем. На «Кукушку».

Алексей Константинович — это тот романист, что, заикаясь, призывал Сергея и других участников своего мастер-класса на форуме бросить писать; Шевчена там с ним познакомилась, и вот уже месяц они плотно общаются.

— Ты у него, что ли, живешь? — решаю уточнить.

— Ну как тебе сказать... — И по тону становится ясно, что я правильно догадался.

— И как?

— Хорошо... Не смотри на меня, я джинсы надену.

Смотрю в сковородку, затем на прилипшую к стенке чашки чайнику. Справа шевелится сперва желто-розовое, а потом — синее. Шевчена шлепается на стул напротив меня. Тоже закуривает.

— Ладно, Ромочка, не горюй. Алексею Константиновичу сорок шесть, а вот уже несколько раз мне признавался, что только теперь почувствовал себя счастливым. Тебе ведь тридцать всего? Видишь, есть еще время.

— Издеваешься? — Сбиваю пепел в пепельницу; вместе с пеплом вылетает и уголек. Приходится подкуривать заново.

— Да нет, я серьезно.

— А ты изменилась, — говорю. — Раньше шумно-наглой была, а теперь как-то глубинно.

Шевчена пожимает плечами.

— Может, чаю?

— Хм... Я полдня только и делаю, что пью чай. Пью чай и маюсь.

— Не майся. Плюнь. Лучше пиши, как маешься.

В ее голосе наконец появляются нотки искренности, и я сразу размякаю:

— Да как, Оль, не маяться, если с любимой женщиной так... И люблю, и жить вместе не получается...

Она вздыхает.

Некоторое время молчим, не глядя друг на друга. Я ни о чем не думаю, просто жду, что скажет Шевчена. И вот она почти вскрикивает:

— Слу-ушай!

— Что?

— А если тебе поступить как лимоновский Эдичка. Он ведь тоже любимую потерял.

— Как поступить?

— Ну... с мужчиной. Понимаешь?

Я поднимаю лицо, пытаюсь по ее глазам определить, серьезно она или стебается. Вроде — серьезно.

— Спасибо за совет. — Это единственное, что приходит на ум для ответа. Не по роже ведь бить.

— Ты не обижайся. Ведь по поговорке — клин клином...

— Какой клин клином... Все, замолкни... — Давлю окурок в пепельнице. — Ладно, надо идти.

Шевчена не удерживает. Встаю. Напоследок интересуюсь:

— Пишешь что?

— Да ну! Зачем счастливой женщине писать?

— Н-да, правильно вообще-то. Хотя, смотри, можем ведь и выгнать с семинара за творческую несостоятельность.

Вечер. Скоро по радио будет очередная сводка новостей, а пока рассказывают, как хорошо в ноябре в Дубае. Передача под эгидой «На правах рекламы»... Открываю тетрадь, стоя над столом, перечитываю последние строки, которые удалось выдавить за сегодня. Может, еще что придет в голову? В колонках магнитолы пикают сигналы точного времени. И дикторша скороговоркой начинает: «Сегодня в президентской резиденции „Ново-Огарево“ прошла встреча Владимира Путина с Эльдаром Рязановым и Михаилом Ульяновым. Президент поздравил мэтров российского кино с семидесятипятилетием и подарил им часы с гравировкой „От Президента России“. Хозяин принимал юбиляров в уютной каминной и угощал яблочным пирогом». Затем менее важные новости: в Чечне сдались пятнадцать боевиков, в Москве убит очередной ученый, «Локомотив» стал чемпионом страны по футболу...

Ну вот, теперь надо ложиться. Завтра в половине седьмого будильник даст команду «подъем».

Чищу зубы, умываюсь. Разбираю постель, снимаю рубашу, трико, носки. Выключаю свет... Простыня, пододеяльник так приятно прохладны...

В первые минуты кажется — вот-вот отключусь. Голову обволакивает мягким, теплым, сладковатым, будто чьи-то ладони гладят ее. Я чувствую, что улыбаюсь, мыслей нет, точнее, есть какая-то, но такая мелкая, что она не мешает, наоборот, она баюкает, помогает... Но о чем она? Начинаю прислушиваться, вытягивать ее на поверхность, и, опережая понимание, что же именно это за мысль, в горле появляется горький, со вкусом прокисшей крови комок. Появляется и перекрывает дыхание. И сразу все вспоминается. Первый взгляд Лизы, в котором уже были доверие и радость, была любовь. Ее гладкая кожа на бедрах, тугие груди... И глаза дочки, когда я купал ее, беспомощную, не умеющую даже приподнимать тогда голову. И то, как она в первый раз засмеялась и сразу стала человеком, стала членом семьи, а не просто иногда плачущим, писающимся существом в манежике... Вспоминаются ее настойчивые, требующие четкого и ясного ответа вопросы: «Почему ты не ночуешь с нами? С мамой?»

Я ворочаюсь, покашливаю, стараясь проглотить комок, взбиваю ставшую горячей подушку, заворачиваюсь с головой в одеяло, спасаясь от размеренного, однообразного пощелкивания секундной стрелки.

«Ой, Ромочка!.. Мамочка!.. — задыхающийся шепот женщины, моей любимой женщины. — Ой, что ты со мной делаешь!.. Господи!.. Ромочка!..»

Распутываюсь, открываю глаза. За окном белесый мрак. Качаются черные ветви рябины, и по стенам комнаты ползают вправо-влево их мутные огромные тени. За рябиной, разукрашенный подсветкой, шприц Останкинской башни... Мягко и однотонно щелкает секундная стрелка.

Сажусь, дотягиваюсь до сигарет. Оранжево-синее перышко огонька из зажигалки. Горьковатая струйка дыма, обтекая комок, вливается в грудь...

Включаю настольную лампу. Без четверти двенадцать. Пью воду. И проклятый комок при каждом глотке, как поплавок, тонет, кажется, исчезает, но тут же всплывает и занимает свое место. И стрелка щелкает, щелкает...

Снова радио. Бодрый юношеский голос поет: «Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда такие девушки, как звезды, такие звезды, как она...» Не надо!.. И опять тишина. Нахожу в верхнем ящике стола таблетки глицина, кладу одну под язык. В инструкции сказано, чтобы она медленно растворялась. Но ждать невозможно — я измельчаю ее зубами и глотаю крошки... Беру календарик. Сегодня понедельник, восемнадцатое. Через четыре дня мне стукнет тридцать один. Никого не буду приглашать... Нечего отмечать... А ровно через неделю — в Германию. Всего-то неделя. Целых семь, семь бесконечных дней и ночей...

Что же?.. Открываю холодильник. Достая початую, дежурную бутылку «Гжелки», кусок копченой грудинки... Пару рюмок — и наверняка потянет в сон. В теплый, здоровый, непрерываемый сон... А можно ли глицин с водкой? Читать инструкцию лень, то есть — страшно увидеть, что нельзя. Ладно, по крайней мере не умру от одной таблетки и ста граммов...

Не зная, чем занять себя между первой порцией и второй, вынимаю из тумбочки папку. На ней ярлычок «Письма от родителей и других. 1996 — 1999 гг.». Развязываю тесемки, перебираю листы. Большие — в линейку, из школьных тетрадей, а вот, соединенные скрепкой, маленькие — с торпильным, сползающим вправо почерком красной пастой. Это записки жены из роддома. У нее были тяжелые роды — потом врачиха сказала мне, что они боялись ее потерять и речь шла не о ребенке, а о роженице.

Морщась, сопротивляясь, читаю. Зачем-то читаю, зная, что станет хуже.

«Дорогой мой Романсэро! Любимый Сэн! Самый замечательный муж на свете. Самый прекрасный отец. И умопомрачительный любовник! Самый остроумный. Самый мрачный, Великий писатель всех времен и народов. И самый светлый! Я так люблю тебя! Рома, когда меня отсюда отпустят, я снова стану самой страстной, неутомимой, безумной! Я буду хорошей мамой для нашей девочки. Люблю тебя! Позвоню. Вся твоя Л.»

Наливаю в рюмку, отрезаю пластик грудинки. Пью. Жую. Смотрю на часы. Начало первого... Тяжело, когда тебя перестают любить. В общем-то и жить уже не для чего.

«Ромочка, любимый мой. Я договорилась — в среду меня, скорее всего, выпишут. Сейчас я лежу подо льдом, мне сняли швы, но не все, через один, завтра — остальные. Я чувствую себя ничего — главное, что ты рядом. Чувствую тебя. Люблю тебя бесконечно. К окну подойти не смогу. И здесь очень холодно. Привези завтра одежду. Вот, как смогла, нацарапала несколько строк. Я люблю тебя и жду нашей встречи. Целую. Твоя Лиза.

P. S. Пожалуйста, одевайтесь с Алешей теплее. Говорят, что сегодня ночью было за тридцать. Любимый, не могу дождаться, когда мы вновь будем вместе!»

Тянет изорвать, выкинуть эти листочки, завить, побежать к телефону и молить о прощении... Не завязывая тесемок, швыряю папку обратно в тумбочку. А на глаза попадает другая, темно-зеленая. Ее содержимое я ценю не меньше своих собственных публикаций. То, что в ней, — удерживает от воя, истерик, мольбы, заставляет барахтаться, заставляет стискивать челюсти и бороться. И я хватаюсь за нее, вытаскиваю, кладу на свой просторный письменный стол... Перед тем как раскрыть — выпиваю еще. На этот раз не закусываю. Без закуски скорее подействует...

Как всякому нормальному человеку, мне нравятся положительные отзывы. Тем более, когда они с аргументами, с элементами философии, параллелями из истории литературы; приятно, если меня сравнивают с Чеховым или Достоевским, на худой конец — с Макашным. Но для того, чтоб ошутить, убедиться, что я действительно чего-то стою, чтоб продолжать

заниматься тем, чем я занимаюсь и из-за чего живу так, как живу, читаю ругательные слова о себе и своих вещах. Это подстегивает лучше всего.

И как самый захватывающий роман, как самую невероятную новость я пожираю глазами сто раз читанные-перечитанные строки из газет, журналов, из Интернета. Даже о комке забываю (или он исчезает?) — дышится без усилий, дышится глубоко и свободно.

«Правда Сенчина банальна: весь мир — дерьмо. Выхода нет, нет даже света в тоннеле, он давно пропал. Одна темная ночь без конца и без края».

Стою перед окном, скрестив на груди руки. Свет в комнате снова выключен, и окно — как огромный экран. Дерево, дом, башня, еженощное зарево огромного города. Там клубы, наркопритоны, мюзиклы, проститутки по любым ценам, отделения милиции, миллионы семей, и везде черт знает что происходит.

И чего я страдаю? Зачем трачу драгоценное время, теряю силы на переживания, на самобичевание, что живу не как большинство? Судьба дала мне несколько лет семейной радости, дочку, взаимную любовь с красивой женщиной. Дала, а потом забрала. Значит, так надо. Ведь мое назначение не в этом, я здесь не для этого. Да!

Дым зажатой в углу губ сигареты щиплет глаза, но взять ее в руку не хочется. Страшно переменить позу, разрушить настроение... Да, надо писать — писать, двигаясь постепенно вперед и вверх. Да, да, надо писать. Вот ведь Москва — бурлит, извивается, пестрит, завывает, а я о ней еще почти ничего не сказал. Все наблюдаю, готовлюсь и не решаюсь. Даже я — я! — боюсь всей правды. Но я сделаю. Да. Надо хорошо выспаться и приступить. Это моя работа. Судьба. Я буду монахом. Монахом литературы. Лет десять назад я услышал в какой-то передаче: «Чтоб объективно показать процессы сегодняшней жизни, писатель должен стать кем-то вроде монаха. Он должен быть в стороне от хаоса и пожирающей остальных суеты. Он должен стать монахом литературы». Помнится, тогда я — двадцатилетний — посчитал это за выпендрож псевдоумного оригинала, а сейчас понял. Да, так и надо. Только так и надо. К черту вымучивать «ИНН». Завтра возьмусь за настоящее. Отдохну, выплусь, куплю новую тетрадь и приступлю.

Кирилл вернулся из свадебного путешествия, позвонил. Я как раз торчал на работе, внимательно и без эмоций вычитывал заверстаные статьи Синяевского. Звонок, как повод отвлечься, обрадовал.

— Привет! — сказал я. — Ну как Париж?

— Слушай, это не телефонный разговор. — Голос приглушенный — наверное, говорил из офиса, где сидит вместе с еще четырьмя сотрудниками. — Сплошная окказиональная лексика.

— В смысле?

— В смысле восторга. Давай встретимся. Я сегодня смогу пораньше освободиться...

— Хм, — я усмехнулся, — да что ты!

Кирилл пропустил иронию мимо ушей:

— Часов в пять давай где-нибудь в центре. На Пушкинской, например.

В пять вечера я бродил под огромным, на высокой трубе, кубом часов. Кирилла не было. Набрал его номер на сотовом, но в ответ: «Абонент недоступен». Блин, вечно динамит... Неподалеку — «Макдоналдс», где я ни разу ничего не пробовал. Бывал, ясное дело, — там туалет бесплатный и даже бумага есть (в пору бедности я ее иногда воровал); раза два мы пили в этом «Макдоналдсе» на втором, укромном, этаже...

Не считая глазуньи из двух яиц на завтрак и шаурмы часа в два, я сегодня не ел. Надо бы перекусить, тем более что Кирилл, конечно, предложит долбануть водочки.

Вокруг «Макдоналдса» устойчивый, знакомый мне с первого курса (наш Литинститут от него в сотне метров вниз по Большой Бронной улице) дух коровьего хлеба. Но внутри запах иной — вкусный, словно здесь распылили несколько литровых флаконов духов.

Народу — битком. Возле прилавка извилистые змеобразные очереди. За столиками — прикупившие пищу счастливицы. Юноши и девушки с просветленными лицами, в черных бейсболках и черно-желтых (в крапинку) рубашках, шустряют там и сям — убирают подносы с остатками кушаний, протирают пол красивыми швабрами... Озираюсь, решая, занять очередь или перетерпеть. Рядом сидят две девушки, беседуют, то и дело вынимая пальцами из пакетиков золотистые бруски картошки-фри и, макнув их в сосудик с соусом, отправляя в рот.

— Знаешь, он совсем обнаглел, — жалуется одна, темноволосая, но с такой светлой, нереально чистой, кукольной кожей на личике, что тянет смотреть и смотреть, любоваться, — вчера, представь, заявляет: ты слишком много потратила за эту неделю, будь поскромней. И тут же ебаться лезет. Я его, само собой, послала, где раки не ночевали.

— Правильно, — поддерживает вторая, с бесцветной щетинкой волос на маленькой голове, худая и изможденная, страшная, но явно опытная во всех отношениях. — Они, козлы, дай им волю, и на гондон не расщедрятся. Держать их надо знаешь как...

Куколка все же сопротивляется:

— Нет, вообще-то он ничего. И в плане секса. Но его эти расчеты-подсчеты, у меня сразу голова, представляешь, начинает болеть.

Наверное, уловив мой взгляд, она поднимает глаза. Секунду-другую глядим друг на друга. Я — как-то автоматически, увидев красивое лицо, а она — с беззвучным вопросом: «Чё те надо?» Да, красивая. Ухоженная, как любимый фиксус у одинокой старушки, отшлифованная до последней порочки на носу.

— Тварь безмозглая, — говорю ей достаточно внятно, — идиотина.

Краем глаза замечаю приближающегося парня в черно-желтой униформе и бегу на улицу.

А через полчаса сижу с Кириллом в буфете Центрального дома литераторов. Кирилл искупил вину за опоздание, набрав разной вкуснятины, водки, сока, бутербродов с красной рыбой. Теперь, после стопки «за встречу», навалившись грудью на стол и приблизив свое лицо к моему, шелестящей скороговоркой сыплет:

— Роман, ты просто не понимаешь, что это такое. И никто, не бывает пока, не поймет. Вот сколько я читал про Париж, про атмосферу, а только там по-настоящему понял. Такая энергетика! Я там шлялся сутками, бухал как слон, с женой отношения выяснял каждые два часа, а успел целую записную книжку исписать. Гениальные есть куски! Теперь надо из них роман компилировать.

— Про Париж? — спрашиваю с усмешкой.

— Нет-нет, на другую тему. Но влияние Парижа, конечно, ощутится. Еще как! Теперь он в моем сердце. Он навсегда теперь в моем сердце! — И Кирилл вскидывает руку со стопкой дорогого «Золотого кольца». — Предлагаю тост за Париж!

Чокаемся, пьем, закусываем. Здесь довольно вкусные люля-кебаб, только вот порции мизерные — чтоб наесться, надо брать по две на человека...

Кирилл мне очень помог на первых порах в Москве. Я жил тогда практически без денег (родители кое-что присылали, но что здесь это «кое-что?»), стипендия была рублей семьдесят (семьдесят тысяч теми деньгами), и Кирилл меня подкармливал и поил. Мы с ним сдружились, сошлись во взглядах на литературу, читали одних и тех же писателей, слушали одну и ту же музыку, достаточно схоже высказывались на творческих семинарах. Кирилл и тогда бредил Парижем, он привез из родной Самары

Сартра, Камю, сборник сюрреалистов, закупил в магазинах уйма книг Селина, Жене, Миллера, Гюисманса. Он часами мечтал о кабачках на Монмартре, о Булонском лесе, Латинском квартале. Я, с детства увлекавшийся импрессионистами, заразил его живописью Сёра, Моне, Утрилло. И вот мечта Кирилла сбылась.

— Что ж ты вернулся? — интересуюсь. — Помнишь, клялся, что если туда попадешь, то стопроцентно останешься. Готов был бомжом стать парижским.

— Клошаром, — поправляет он и тут же тускнеет: — Был бы я один, может, и остался бы. Но жена... Тем более на башли ведь ее предаков ездили в основном. Две тысячи баксов ухлопали.

Выпиваем еще. Кирилл, пересилив себя, прекращает изливать восторги и интересуется:

— А у тебя как дела? С Лизой не помирился?

— Нет, и не собираюсь. У нее своя жизнь, у меня — своя.

— У вас же ребенок.

— И что? Мало, что ли, таких, у кого вообще отца нет?

— Ну так вообще-то...

— Мое главное дело — писать. А размениваться я не собираюсь.

Я говорю это всерьез, но, сказав, пугаюсь, что Кирилл усмехнется. Напрягаюсь и жду. Нет, он кивает мне без намека на иронию.

— И с Татьяной тоже не общаешься? — его новый вопрос.

— Нет. Ну ее. Она теперь у нас православная. Повестушку тут написала про то, как шлюшонка одна дворовая в Бога поверила. — Повесть на самом деле сильная, и потому я, наверное, злюсь — ведь, значит, правдивая. — Сначала анашой торговала, деньги у метро шукуляла на пиво, петрушилась со всеми подряд, а потом, видишь ли, монастырь, покаяния, послушания. И сама ходит такая. — Я втягиваю щеки. — Непорочная дева.

— Да-а, — вздыхает Кирилл и наполняет стопки. — Трудно в наше время удержаться, чтобы во что-нибудь не поверить.

Когда-то он с полпинка заводился по поводу религии — начинал верующих поносить, собирался написать роман про истинную жизнь Христа, а теперь вот сочувствующе: трудно во что-нибудь не поверить.

Выпили, поковыряли закуску. Градус встречи заметно упал. От кирилловского восторга Парижем сошел к молчанию.

Наш столик в углу. Я сижу к залу спиной, но хватает гула многих хмельных голосов. Как всегда, народу в буфете полно — это последнее место в ЦДЛе, где простому смертному можно выпить и более-менее закутить, а раньше, говорят, Дубовые и прочие ресторанные залы были забиты писателями, здесь гуляли бок о бок секретари союза, модники вроде Аксенова и рванина типа Рубцова. Нам же известен лишь этот буфетик на два десятка столиков, работающий до детских девяти вечера...

— Когда в Берлин? — спрашивает Кирилл, катая пустую стопку по столу.

— Пять дней осталось. А завтра — день рождения.

— Да? — Но в голосе не слышится удивления. — Отмечать будешь?

— Нет, надоело...

Кирилл наливает по новой, заодно почти шепотом произносит:

— У меня, Ром, к тебе просьба.

— Какая?

— Давай сначала накатим.

Накатили. Он глотнул томатного сока и суетливо поднял с пола пакет. Поставил себе на колени. Вынул папку. Я слежу за его действиями, предчувствуя не очень, мягко говоря, приятное.

— Вот закончил переработку «Полета...». — Кирилл говорит по-прежнему тихо, вкрадливо, нездорово-пронзительно глядя в глаза.

— Молодец...

— ...и у меня к тебе просьба такая...

— Ну?

— Ты ведь будешь там встречаться, в Берлине, с издателями, с переводчиками. Тебя туда за этим и пригласили, я так понимаю.

— Наверно...

— И вот... передай, если не трудно, кому-нибудь там мой роман. Скажи, что, дескать, вот одного парня... Написал... В России не хотят печатать из-за экстремальности. Решат опубликовать — отлично, нет — нет. Просто отдай. У, как?

— Давай. Мне не трудно.

Кирилл прячет папку обратно и передает мне пакет с надписью «Майлбог», как кейс с секретными документами — из руки в руку, под столом. А затем, сделав дело, бодро наполняет стопки. У меня же настроение от этой его просьбы окончательно портится. Как ни крути — а напряг.

— Ну, Роман, за удачу!

Чокаемся и пьем. В пол-литровом графине осталось еще раза на два.

— А что в «Галимар» не отдал-то? — спрашиваю и чувствую в своем голосе раздражение.

— Вчера только закончил переработку. Всю ночь сидел, торопился. Думал, ты завтра летишь... Даже с женой поругался. Свет ей, видите ли, на кухне спать мешает...

Роман «Полет на сорванной башне» Кирилл начал писать сразу, как поступил в институт. Писал четыре года. Получив в двух издательствах отрицательные отзывы, решил дать ему год отлежаться. Затем около двух лет перерабатывал. И вот — новая попытка публикации. Через меня.

Закончив жаловаться на жену, интересуется:

— Что сейчас пишешь?

— Да так... — Откровенничать мне не хочется, но и не ответить не получается. — Повесть писал... не пошла. Теперь новую начал.

— О чем?

— Как молодой человек приехал в Москву и что здесь увидел.

— А?.. — Лицо Кирилла искажается. На нем — ужас, обида. Я понимаю — ведь его «Полет...» о том же самом, и «Полет...» ведь уже создан, обработан и переработан, готов для издания... Спыхватываюсь, тороплюсь заверить:

— Да нет, нет, у меня все там будет иначе! Совсем не похоже. Ты что!..

Постепенно, с трудом, пятнами гримаса ужаса исчезает, а рука Кирилла, мелко дрожа, наполняет стопочки.

В последний перед отъездом день созвонился с верстальщиком и отвез ему дискету с набором статей Синявского. Кстати, по пути к метро получил первый в этот день удар. Приемщица стеклотары, помогая выкладывать из сумки мою ежеутреннюю добычу, скорбным голосом сообщила:

— Ликвидировать нас, сынок, собираются.

— В смысле?

— Лужкову не нравится, видишь ли, что торчим на улицах с ящиками своими. Распорядился убрать. Только стационарные пункты оставить.

— Н-да-а... — вздыхаю и в то же время пытаюсь вспомнить, где есть в округе такой стационар.

— Он что, думает, мне, что ли, приятно так целый день стоять?.. Весь остаток здоровья здесь оставила...

А стационара-то, кажется, рядом нет. Ближайший — на Тимирязевском рынке, а это совсем в другую сторону от моего маршрута. Значит, придется сдавать раз в неделю, по субботам. Значит, неслабое нарушение распорядка жизни...

После верстальщика завернул в институт. Нужно было вернуть октябрьские номера журналов. Продержал их недели две, но так толком ни-

чего и не прочитал — листал, искал, что цепанет. Не цепануло... Преподаватель литературы Ренессанса любил повторять слова Боккаччо — что-то вроде того, что главная задача художественной литературы — развлечь людей. Сперва развлечь, а потом уж поучать и прочее...

В библиотеке встреча совсем неожиданная — мой друг и бывший однокурсник Василий. Уж где-где, но здесь увидеть его я не предполагал; его выгнали с третьего курса, и с тех пор он в Лите появлялся раз пять, но восстанавливаться вроде не собирался... А сейчас интеллектуально так стоит у барьера, листает какую-то толстую книгу, и библиотекаря подкладывает ему еще целую стопку.

— Привет! — скорее изумленно, чем радостно здороваюсь. — Ты чего здесь?

— Разрешили возобновить учебу, — серьезно и как-то сухо-официально отвечает он. — Нужно хвосты только досдать.

— Молодец! — Но это прозвучало насмешливо, и Вася моментом озлился:

— Не все же вам, притким таким, пенки снимать. Один — в Париж, другой — в Берлин. Шустрые вы ребята.

Вася — коренной москвич. Живет в районе Пресни...

С первых же дней знакомства он стал напоминать мне героя фильма «Курьер». Там ведь тоже коренной москвич, вроде что-то прочитавший, вроде размышляющий о жизни, не совсем безмозглый, высокий, симпатичный, но и непоправимо, до крайней степени непутевый... В ранних рассказах Петрушевской тоже много таких типажей.

По-быстрому сдаю журналы. Вася перебирает свои учебники и хрестоматии, внимательно читает содержание.

— Я тебя на улице подожду, — говорю ему.

Он, не отрываясь от книги, кивает.

Потоптался (холодно!) на каменном кособоком крыльце, выкурил сигарету. Достал мобильник, глянул, сколько времени. Третий час... Пока до общаги, пока поем, соберусь — уже вечер. А полседьмого утра — самолет... Глянул через стеклянную дверь на лестницу — Васи нет. Ну и хрен с ним, в самом деле...

В воротах, отделяющих тихий литинститутский дворик от в меру шумной Большой Бронной, столкнулся с ректором.

— Н-ну-с, как оно в Германии? — спросил он со всегдашней какой-то плутоватой улыбкой.

— Да... это... не ездил еще. — Я же, как обычно при встрече с ним, теряюсь, пугаюсь, превращаюсь в провинившегося первокурсника. — Сегодня в ночь лечу.

— Что ж, удачи! Смотри не опозорь нас.

— Уху... гм... постараюсь... Спасибо.

Разошлись было, но тут мне в спину — второй, после стеклотары, удар:

— Да, дорогой, я к тебе ведь соседа подселяю. Готовься.

— Как — соседа?!

— Так, — он разводит руки, словно бы сам не рад, а вынужден выполнить чей-то приказ, — мест нет совсем. Парень хороший, новый наш преподаватель физкультуры. Не пьющий, — и ректор переходит в атаку: — в отличие от тебя, Роман.

— Я тоже теперь крайне мало пью...

Щетка его усов усмешливо изгибается. Понимаю: от соседки не откеститься. Чтoб хоть чем-то подсластить неприятность, интересуюсь, почти умоляю:

— А плата в этом случае уменьшится?

— Нет, дорогой, у меня даже те, кто по трое живут, платят тысячу.

Что ж, конечно, естественно, хорошее (поездка за границу) должно сочетаться с плохим... Когда Лиза рожала нам дочку, умерла моя единственная сестра; когда наметились удачи (и деньги) в писательстве, начались ссоры с женой, обиды, претензии; когда вышла моя первая и, само собой, самая дорогая книга, мне тут же по пьяни разбили рожу. Все это естественно, это закон...

И вот я стою на пороге, оглядываю уютную, обжитую комнату, вещи, которые все на своих местах... Несколько месяцев, пусть и внутренне мучаясь, тяготясь общагой и одиночеством, дурея от идиотских обоев под гжель, но я прожил здесь единоличным хозяином, а теперь, после сообщения ректора, мне кажется, что кто-то уже потрогал книги, посидел за моим письменным столом, потряс коробкой со скрепками. Даже вроде принтер слегка передвинут... Но, может (может!), пронесет, может, ректор забудет, может, для этого физрука найдется другое место...

Не успел как следует успокоить себя этой цепочкой «может», синонимом вышедшего из моды «авось», — стук в дверь. Нехороший, решительный, официальный. Не открыть невозможно.

Открываю. Конечно — комендант общежития. Лет на пять меня младше, но в костюме, выражение лица деловое, и я послушно отодвигаюсь, пропуская его, даже, ощущение, чуть кланяюсь. Но он, спасибо, не вошел, говорит из коридора довольно сочувственно:

— Такое, Ром, дело. Звонил ректор, велел тебя уплотнить.

— Да, я в курсе. Но уезжаю сегодня в ночь, на пять дней.

— Далёко?

Отвечаю обтекаемо (не стоит бравировать этой Германией, себя крутым выставлять):

— Так... в командировку... Думаю, с переездом, когда, может, вернусь?

— Понимаешь, — комендант вздыхает досадливо, — он завтра уже прибывает с вещами. Давай так поступим — оставь мне ключи. Он вселится тихо-мирно, я проконтролирую.

— Ну, — сопротивляться, чувствую, бесполезно, — давай так.

Вдобавок к не очень-то мне всегда приятным сборам в дорогу добавляется куча новых хлопот. Нужно освободить от вещей полкомнаты. И еще — как оставить здесь компьютер, сканер, а особенно принтер, дорожный лазерный «Canon», мои самые главные ценности?.. Сажусь, закуриваю, тихо матеряюсь, думаю. Потом звоню Сергею, спрашиваю разрешения привезти ценности к ним. Объясняю, какая на меня навалилась проблема. Соседушка... Сергей, коротко посоветовавшись с женой, разрешает.

— Значит, в двенадцать часов я у вас.

Мы давно уже договорились ехать в аэропорт вместе. Заказать такси — и с ветерком...

— Да, Любка тут напоминает, — голос Сереги, — ты тесты случайно не сделал?

Черт, еще и эти тесты забытые!

— Сделал, сделал, — вру, — привезу.

Засовываю в одну сумку массивный принтер, за который я заплатил целых триста долларов, но зато без проблем, почти со скоростью типографского станка, распечатаваю свои повести. В другую сумку, ту, с которой таскаюсь каждый день на работу, кладу компьютер-ноутбук... С год назад у меня сломалась электрическая пишущая машинка «Samsung» (ее я купил на ВДНХ после успешной сдачи вступительных экзаменов в Литинститут), и эта поломка подтолкнула к приобретению компьютера. Книжки, пакет со сменными трусами, носками, туалетные принадлежности. На глаза попадает папка Кирилла. Толстая папка... Взвешиваю сумки в руках, представляю свой путь от общежития до метро (троллейбуса уже вряд ли дождешься), затем — от метро до квартиры Сереги... Да и, с другой стороны... Еду я, везу свои вещи... А если понравится этот кирилловский «По-

лет на сорванной башне» и они решат опубликовать его, то, логически (а ведь вроде уже наметили купить права на одну мою объемистую повесть), вычеркнут меня из своих планов... Что, в этом случае Кирилл со мной, можно подумать, гонораром поделится?

Закуриваю следующую сигарету. В голове горячая каша — этот треклятый сосед, Берлин, сказочный, но такой близкий, пишушая машинка, занозой засевшая в мозг, тест, на который надо ответить, и еще теперь вот эта дилемма — брать роман Кирилла или не брать... Как там в народной мудрости? — благими делами дорога в ад выстлана. Как-то так. К тому же литература — дело жестокое...

Скажу, что отдал... Пусть сам о себе заботится... Прячу папку в нижнюю тумбочку. Потом придумаю, куда ее деть, чтоб он не обнаружил случайно (иногда снисходит ведь до общаги — заезжает в гости, женатик). Получает пятьсот долларов в месяц — чего ему еще надо-то?.. Машинка, машинка...

Открываю шкаф, снимаю с верхней полки машинку. И сразу же вспоминаю. Блин, там же деньги! В ней я держу свои деньги... Осторожно поставил на стол, откинул панель. Вот сюда, между картриджом и днищем, всунут конверт... Вытягиваю, держу в руке, будто первый раз вижу. Машинально оглядываюсь на дверь. Она не заперта.

Подбегаю, кручу замок вправо. Один щелчок, второй. Стало спокойней... Приседаю перед кроватью и раскладываю на голубом покрывале бумажьи прямоугольнички из конверта.

Сперва ровной парадной шеренгой неброские, но такие надежные, приятно-шершавые (точно Саша Фомин подметил) доллары. С каждого мне сдержанно, зато искренне, надежно как-то улыбается длинноволосый президент Франклин.

Их много, таких прямоугольничков, и по краям каждого, во всех четырех углах, цифра «100». Эти прямоугольнички я заработал своим литературным трудом. Тем, что сидел за столом над бумагами, когда миллионы людей смотрели всякие интересные штуки по телику, тем, что сердился на жену, когда она не вовремя пыталась обратить внимание на себя или намекала, что нужно бы подумать насчет журчащего, как родник в скалах, день и ночь унитаза. Тем, что скорее спешил в норку, когда так хорошо посидеть на скамейке, медленно попивая пиво, любуясь проходящими мимо девчонками, тем, что торчу теперь здесь, в этой общаге, и боюсь выбраться из аскетизма — снять квартиру, ходить по вечерам в клубы, найти подругу (а будет квартира, верю, найдется быстренько и подруга). Тем, что голова моя все время забита проблемами: что написать? как написать? как написать, чтоб понравилось редакторам и дало пищу критикам?.. Но взять и бросить писать, и чем я заработаю такие вот деньги? — я же ничего как следует не умею. Дворником идти, или на машиниста метро обучиться (в каждом вагоне висят объявления: приглашаются мужчины до тридцати пяти лет), или в милиционеры устроиться?..

Вслед за долларами вытягиваю шеренгу рублей. Небесно-голубые, сливающиеся с покрывалом тысячные, яркие бордовые пятисотки... К рублям я чувствую меньшее уважение — тратятся как-то быстро, легко. Последними покидают конверт смешные, не похожие на деньги евро. Серенькие пятерочки, розовато-оранжевые десятки, голубовато-синие двадцатки. С правой стороны этих прямоугольничков блестящая нитка фольги, она переливается, дразнит — тянет ее отцарапать... Евро я наменял на днях специально для поездки. Хоть и обещали заплатить, всем обеспечить, но без карманных денег спускаться по трапу самолета как-то не очень уютно...

Евро положил в загранпаспорт, а остальное вернул в конверт. Конверт же, после продолжительных размышлений, засунул в принтер. Там есть подходящий закуток.

Сварил пельменей, поел и засел за тест. Лень вывихивать и без того перегруженные мозги на заковыристых вопросах, но ведь обещал. Отступать некуда.

Та-ак... Усаживаюсь за стол, закуриваю. По правую руку — чашка с кофе, пепельница. Будильник мерно, как всегда, отщелкивает секунды. Но мне не жалко их — с каждым щелчком все ближе отъезд, самолет (может, и «боинг»), самолет, на котором не летал почти четырнадцать лет, а там — совсем другой мир, что, надеюсь, верю, даст запал дальше работать, писать, а главной (все-таки) — изменить свою жизнь. Финансы мне позволяют, еще бы силы найти...

Одиннадцать скрепленных степлером листов бумаги. Триста семьдесят восемь вопросов. И если просто прочитывать их и ставить плюс или минус, то дело это, наверно, посильное. Но ведь придется думать, сомневаться, чесать затылок, тарашиться на обои.

«1. Вам понравилась бы работа медсестры (медбрата)?» Однозначно «минус».

«2. Вы никогда не выходили из себя настолько, чтобы это Вас беспокоило?» Бывало, бывает. Как-то мы купили с женой стиральную машинку с очередного моего гонорара. Современную, которая все стирает, вплоть до обуви, отжимает почти до сухости. Дорогая машинка... И через неделю, наблюдая, как жена пихает в нее белье, уверенно жмет на какие-то кнопки и еще вдобавок учительским тоном объясняет мне, я почувствовал обиду, раскаянье, что потратил двенадцать тысяч рублей, и ляпнул что-то обидное. Она ответила. Стали ругаться. Я подошел к машинке и опрокинул ее. Собрал вещи, ушел. Потом анализировал, из-за чего все случилось. Вроде бы из-за ничего... «Плюс».

«3. В детстве Вы играли в „классы“?» «Минус».

«4. Вас не беспокоит желание стать красивее?» Хм... Хотелось бы, ясно, быть высоким, подтянутым, для всех симпатичным. С девушками уметь знакомиться. «Плюс».

«5. Вы все чувствуете острее, чем большинство людей?» Если уж я писатель, то странно было бы с этим не согласиться. По крайней мере — я на это надеюсь. «Плюс».

«6. Обычно перед сном Вам в голову лезут мысли, которые мешают Вам спать?» Это уж да, это да. Каждую ночь, если не выпью. Самые страшные минуты теперь. Жирный «плюс».

«7. Вы любите детей?» Дочку люблю, а других... Когда-то мог уверенно сказать — «не люблю», теперь же... Иногда, увидев маленького ребенка, останавливаюсь, смотрю на него и завидую его папаше, который бодро говорит только-только начавшему передвигаться на двух ногах своему этому чаду: «Давай, давай шагай смелей! Молоде-ец!.. А теперь надо к маме, она, наверно, уже ужин сготовила, ждет нас с тобой. Ну, прыгай на руки!..» Но что поставить? Ведь тут мало любви к ребенку... Нет, теперь скорее все-таки «плюс». «Плюс».

«8. Вам говорят, что Вы ходите во сне?» Ну, думаю, до этого еще не дошло. Мычать или стонать я наверняка могу, а чтоб ходить... Хотя появится вот скоро сосед, он мне расскажет. Пока — «минус».

«9. Вы любите ходить на танцы?» М-да... Вопросец... Глотаю кофе, разминаю новую сигарету... Да, я люблю танцы, люблю дискотеки. Но никогда в жизни я не решался войти в клокочущую, извивающуюся толпу и тоже начать извиваться. Я люблю смотреть... Поставлю «плюс» — можно подумать, что я люблю танцевать, а «минус» будет неправдой... Ладно, хрен с ним, пусть будет «плюс».

Так, если такими темпами продолжать, то и рейс на Берлин пропущу. Надо меньше раздумывать. Ведь Люба и говорила, давая мне тест: «Отвечать желательно по первому импульсу, без рефлексии».

В половине первого я на кухне у Сергея и Любы. Передо мной — бутылка семнадцатиградусной «Изабеллы», которую я умудрился, несмотря на тяжеленные сумки, купить по пути от метро до их дома.

Супруги в комнате собирают чемодан. Иногда Сергей заскакивает на кухню, озабоченно постанывая, делает глоток вина и убегает.

— Ну подумай, как я там в нем?! — слышится удивленно-негодующее восклицание моего спутника. — Как жених какой-то!..

— А в чем ты будешь? — в ответ восклицание Любы. — У вас ведь в театре выступление.

— Вот так и буду. Джинсы новые, свитер тоже.

— Сере-ож!..

Иду на вырубку. Они сидят перед старинным кожаным чемоданом с темными пятнами от наклеек, Люба пытается уложить в него Серегин свадебный костюм, светло-серый, блестящий, а муж сопротивляется.

— Вон, — тут же указывает на меня, — сразу видно — настоящий писатель, весь погружен в творчество.

— Ну, Сере-ож!..

— У меня жена несколько лет там прожила, — подаю голос. — Рассказывает, немцы насчет одежды полностью параллельны. Всегда в одинаковом. Действительно, Люб, он как клоун там будет в костюме таком...

— А, как хотите. — Она, обидевшись, уходит на кухню; Серега без промедлений вешает костюм обратно в шкаф.

Мне неловко, что встрял в их семейные дела. Кстати приходит на ум важный вопрос:

— Такси-то заказали?

Сергей смотрит на меня испуганно, потом хватается газету «Из рук в руки», листает. Найдя нужную колонку объявлений, бросается на телефон.

— Да не волнуйся, — говорю, — время навалом еще.

— А-алло! — Кажется, эти слова только усиливают его панику. — А-а!.. Это такси? Нам надо машину. На, это, на четыре утра!.. А?.. Разъединилось, что ли?

Из кухни появляется Люба:

— Давай я поговорю. Они твоего крика пугаются.

— Пойдем, Серега, выпьем маненько, остынем, — предлагаю, воспользовавшись моментом.

Садимся за стол. Я наполняю бокальчики.

— Ну, чтоб нормально пока что до аэропорта добраться.

— Да уж хоть бы, — безнадежно соглашается Сергей.

Чокаемся, пьем сладкое, терпковатое вино. Люба что-то негромко объясняет кому-то там в трубке. Сергей задумчиво смотрит на стену перед собой, кажется, он совсем забылся, успокоился, кажется, он уже летит. Но дернулся, вскочил, выбежал.

— Фотоаппарат-то я еще не собрал! — раздается уже из комнаты жалоба-вскрик.

Появляется Люба.

— Ровно в четыре подъедет «ауди» синего цвета. — Она смотрит в окно. — Объяснила, где остановиться. Увидим, думаю.

— Спасибо... Можно позвонить? С женой попрощаюсь.

— Конечно...

Сергей в одном углу химичит с фотопринадлелностями. Я в другом говорю с Лизой:

— Вот, собрался. В четыре часа такси...

— Что ж, — ее бесцветный голос в ответ, — уверена, все у тебя там будет отлично.

Я усмехаюсь:

— Почему ты в этом уверена?

— Потому что там любят, когда о России так пишут.

— Да? — усмехаюсь опять, на этот раз злобно, но выяснять, что она конкретно имеет в виду, не решаюсь; да и понятно. — Ладно тогда... спасибо на добром слове. До встречи.

— Счастливо.

Вот и весь разговор. Лучше бы не звонил.

— Может, покурим? — зову Сергея.

Стоим в подъезде у мусоропровода, всасываем и выдыхаем дым. Смотрим на разбавленную желтизной электричества темноту за окном. На пустую проезжую часть Второй Рошинской улицы.

— Вот видишь как, — говорю даже не Сергеем скорее, а самому себе, — неплохое мы занятие выбрали — то в пансионат «Липки» бесплатно, то вот в Берлин... Да, выстраивается жизнь, тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сгладить... У тебя-то с книгой как? Договор подписал?

— Что-то мандраж такой, — отзывается он и говорит о другом: — аж до поноса. Весь день в туалет бегаю.

— А-а, у меня это давно. Нервы.

Покурили, вернулись. Люба приглашает поесть. Да, не мешало бы. Голода не чувствую, но перед дорогой...

Спагетти, миниатюрные сосиски с сыром, приправы.

Разливаю остатки «Изабеллы».

— Желаю вам, парни, там прославиться как следует! — шутливым тоном произносит Люба.

Отвечаю шуткой на шутку:

— Прославиться не обещаем, а вот ославимся наверняка. Да, Серега?

Сергея машинально кивает и, чокнувшись, залпом выпивает все из бокальчика. Вскакивает (в который уж раз!) и бежит в комнату. Слышно, как выдвигает ящики письменного стола, что-то ищет.

— Люба, а в походы он так же у тебя собирается? — продолжаю пошучивать.

— Да не-ет! Тогда он знаешь какой — за десять минут рюкзак упакует, оденется и садится здесь покурить, — с удовольствием вспоминает Люба. — Вообще-то я ему не разрешаю в квартире курить, но тут уж... Такой мужичара в сапогах, бушлате... А сейчас как угорелый...

— Не привык еще. И я тоже... Но — ничего. Лиха беда начало.

Занялся своими сумками.

— Люб, куда лучше принтер поставить, чтоб не мешался?

— Давай вот сюда. — Она расчищает письменный стол. — Ух ты! Вот это вещь! А мы думали, у тебя какой-нибудь вроде нашего — простенький.

— Если надо будет, Люб, что распечатать... — Я снова наклоняюсь над сумкой, копаюсь в ней, делаю вид, что что-то ищу. — Блин, а провода-то забыл!..

Провода я специально не взял. Вдруг Любе действительно захочется попользоваться принтером, а он не заработает. Она полезет смотреть и обнаружит конверт с деньгами... Возникло желание взять деньги с собой — мало ли что там ждет, в Берлине, куда жизнь повернет, но, во-первых, без специальных документов такую сумму, кажется, не провезешь, а во-вторых, все-таки, всяко-разно, через пять дней я снова буду здесь, в Москве. Вернусь в общагу, к хлебу насущному...

Последняя пара часов — самый тягостный отрезок нашего ожидания. Сборы закончены, делать нечего, разговор не вяжется. Сидеть просто так невыносимо. Пришлось сбегать в ночной мини-маркет еще за бутылкой вина. Люба этого не одобрила, а Сергей на мое предложение лишь отрешенно пожал плечами — у него свои мысли, свои малопонятные хлопоты. А телевизора у них нет.

— Каким-то эмигрантом себя ощущаю, — говорю я, вытягивая штопором пробку из «Изабеллы». — Тут читал недавно... Один какой-то питерский непризнанный композитор написал. Приходит он к Бродскому попрощаться, а тот ему: «Уезжайте тоже отсюда». Композитор говорит, что, дескать, его никто отсюда не выгоняет. Бродский так на него посмотрел с

жалостью и развел руками. И вот этот до сих пор малоизвестный композитор все гадает, что этим жестом Бродский хотел сказать...

Почти четыре. Торчу на темной кухне и смотрю в окно. Мертвая тихая улица, по асфальту ветер гонит жидкие волны сухого снега... На той стороне пустырек с холмиком в центре; холмик похож на курган... Нигде ни души. Окна соседних домов одинаково черные. Завтра, точнее, уже сегодня — вторник. Очередной рабочий денек. Рядовой рабочий денек.

На семинаре обсуждение Татьяниной повести. Про девчонку-потаскушку, которая пришла к вере в Бога. Хорошо, что я не участвую, а то наверняка что-нибудь сказанул бы...

Желтые, как щупальца, блики. Вытягиваю шею, встаю на цыпочки. Внизу автомобиль. Плавно, точно сомневаясь, остановился возле подъезда. Не «Волга», не «Жигули». Иностранная...

Мчимся в прихожую, мешая друг другу, одеваемся, ворочаем свой багаж. Я кое-как прощаюсь с Любой и прыгаю за дверь, вызываю лифт. Слышу, как Сергей что-то шепчет жене, слышу чмоки их поцелуев. Лифт не едет.

— Да что ж это! — снова вдавливаю пластмассовый кругляш кнопки.

— Ром! — их заполошный хор. — После двух он не работает. Надо пешком!

Спускаюсь по лестнице. Висящая на спине сумка с моими книгами, бельишком при каждом шаге бьется о зад; чувствую на кого-то обиду, что вынужден топтать с четвертого этажа...

Наклоняюсь к приопущенному стеклу дверцы:

— Вы — такси?

— Да вроде. — И водитель выбирается из машины. — Багажа много?

— Нормально...

Он открывает багажник. Я кладу в него большую сумку, затем Сергей втискивает свой чемодан. Садимся. Оба почему-то на заднее сиденье. Водитель отжимает сцепление.

— Куда едем? — спрашивает у перекрестка.

Хм, как будто ему там диспетчер не сообщил...

— В Ше...ше... — заикается нервно Сергей.

Я режу жестко, уверенно:

— В Шереметьево-два.

И водила как-то ободренно давит на газ, лихо выворачивает на широкую, ярко освещенную Люсиновскую.

— Курить можно? — интересуюсь, уже заранее достав сигареты.

— Курите. Там пепельница...

— Я вижу. Спасибо.

Шелкаю зажигалкой, с удовольствием затягиваюсь. Искося, небрежно поглядываю на пролетающие мимо здания, на белые, синие, красные огоньки. Левая сторона лба чуть-чуть касается холодного, влажноватого стекла. Воротник пальто поднят, истертый драп колет, царапает шею и скулы, но опускать воротник не хочется. Уверенней себя чувствую, когда он так... Безлюдная, но все равно праздничная, бодрствующая Москва, и в голове гремит музыка из сериала про крутых ребят, моих сверстников, «Бригада». Этакая смесь марша и менуэта. Очень сильная музыка. Вот под нее стоит мчаться по улицам мегаполиса, не обращая внимания на светофоры, курить, думать о будущем.

Да, кажется, все идет правильно. Постепенно, но все же вперед и вверх. Как ступени пологой лестницы. Нужно просто не теряться, иногда прилагать усилия, чтобы шагнуть. Энергии — вот чего не хватает, а под лежащий камень вода не течет, как говорила одна моя знакомая парикмахерша из минусинского драмтеатра. Ее потом посадили за соучастие в ограблении коммерсанта. Каждый пытается по-своему зажечь как человек. У меня есть писательство. При советском строе, наверное, благополучия

на этом пути достичь было легче. Гонорары, говорят, были тогда неслабые, да и другие плюсы. Хотя вряд ли бы тогда напечатали хоть парочку моих рассказов. Занесли бы в какой-нибудь черный список, принудили к эмиграции... Но, с другой стороны, может, и писал бы я о совсем другом. Написал бы, может, что-нибудь в духе «Коллег» Аксенова.

Будто нарочно — чтоб попрощались — водила везет по заповедным, дорогим мне местам. Вот справа краснеют кремлевские звезды, а слева темнеет глыба Дома на набережной. Мост, Тверская, затяжной подъемчик и — памятник Пушкину, а напротив него, за «Макдоналдсом», в глубине черной сейчас Большой Бронной улицы, — и ненавистное, и почти родное мне место — Литинститут. И я одновременно благодарю его за то, что мчусь сейчас в быстрой машине в международный аэропорт, и глумливо желаю: счастливо, мол, оставаться... Площадь Маяковского. Вот в этом здании пять дней в неделю сидит мой однокурсник Кирилл и тайком пишет, шлифует свои романы; а вот уже зеленоватый Белорусский вокзал, неподалеку от которого живет коренной москвич Вася, в двадцать шесть лет не знающий, что ему делать, чем заняться, на ком жениться...

Вырулили на Ленинградский проспект. Водила подбавляет газку. Из-за домов выныривает неожиданно большая Останкинская телебашня. Как всегда ярко освещенная — один из символов города. А под ней можно отыскать семиэтажный дом буквой «П» — общага. Коридоры-туннели, пеналы-комнатки, где посапывают, похрапывают и наверняка где-то устало пьют будущие прозаики, поэты, бесквартирные сотрудники Лита, какие-то циркачи, студенты финансовой академии, постигающие секреты, как стать богатыми... Там есть и моя норка, письменный стол, набитые рукописями тумбочки. И в них уже, может быть, копается любопытный комендант или соседка... Нет, как вернусь — надо сразу снимать квартиру. Найти девушку, симпатичную, простую, спокойную. Как вторая жена Достоевского, как вторая жена Леонида Андреева, Солженицына. Со вторыми женами писателям почему-то больше везет... И гардероб надо пополнить. Хожу, действительно, как чмо...



ЛАРИСА МИЛЛЕР

*

ГОРИЗОНТА ТЕКУЧАЯ ЛИНИЯ

* *
*

Все «зачем» да «почему»...
Недоступная уму
Жизнь идет себе, идет
И ответа не дает,
Не дает себе труда
Объяснить, зачем, куда
Ей приспичило идти,
Нас теряя по пути.

* *
*

Небо синее, синее, синее,
Горизонта текучая линия
Никогда и нигде не кончается,
В речке облако тихо качается.

Жить легко. От лукавого сложности,
И неслыханны наши возможности,
Наверху небеса безграничные,
Под ногами поля земляничные.

* *
*

Боже, как освободиться?
Надо было не родиться —
Тучкой в небе проползти,
Светлым дождиком пролиться,
Незабудкой расцвести.
Чтобы сердце так не ныло,
Не болело, надо было
Виться розовым вьюнком,
Что с фасада или с тыла
Украшает чей-то дом.

* *
*

Жизнь проста, как буки-веди.
С этим садом мы соседи:
Вот жасмин, а вот пион,
Вот собака. Имя — Федя.
Очень громко лает он.

Жизнь проста, как веди-буки,
И сама плывет мне в руки
То лучами, то дождем,
Неизбежностью разлуки
С тем, кого любить рожден.

* *
*

И нет завершенья. Еще не конец.
И тайное что-то задумал Творец,
Еще продолжается мысли паренье,
Еще Он намерен продолжить творенье:
Нездешнее что-то в волненье слепить
И горькой любовью потом полюбить.

* *
*

Ничего не понимаю.
Пенью птичьему внимаю
И гляжу на синеву.
Жизнь прошла, а я не знаю
До сих пор, зачем живу.

До сих пор одни вопросы...
На траве сверкают росы...
Все при деле. Все в трудах:
Тополя бегут с откоса,
И жасмин цветет в садах.

Все путем, и все в порядке.
Наступает самый краткий,
Самый сладкий летний миг.
Под ногами — только шаткий,
Только зыбкий солнца блик —

Вот и вся моя основа.
Не предвидится иного.
Остальное — только миф...
Боже мой, скажи хоть слово,
Хоть словечко — чем ты жив?

* *
*

Берег, дерево, свет и вода...
Ты откуда? Зачем? И куда?
Небо, облако, дерево, берег...
Век живи — не откроешь Америк,
Будешь жить, как жилось до тебя:
Уповая, тоскуя, любя,
Прямо со свету в темень ныряя
И теряя, теряя, теряя.

* *
*

Хорошо, где нас нет, где нас нет и не будет,
Где не вьется наш след, и заря нас не будит,
Где не наши горят и сгорают закаты,
И не нам говорят что-то тайное даты,
Где не наши дожди льют в июне, в июле,
Где не нам «Подожди» на прощанье шепнули.

* *
*

Свет негаснувший льется и льется...
Мир без нас так легко обойдется...
Ну и ладно. Какая печаль?
Слава Богу, сегодня поется,
И видна негасимая даль.
«После нас хоть потоп», — говорится.
День придет, и дожди будут литься,
И распустятся вновь лепестки,
Будут петь оголтелые птицы
В день, когда задохнусь от тоски.



ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ

*

ФАРМАЦЕВТ

Маленькая повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С кладбища вернулись часам к пяти вечера. В доме горел уже свет, от натопленной печи запотели окна. Сдвинутые столы стояли посреди комнаты. Половики были сняты, выбиты в снегу, свернуты и лежали на печи за белой занавеской.

Пальто и куртки оставляли в терраске, сваливали прямо на пол. Не разувались, сбивали снег колючим веником из прутьев. Усаживались на стулья, лавки, табуретки.

Попервоначалу сидели тихо, молча, глядя на тарелки с салатами, на кутью, на бутылки с холодной самогонкой, с настойками и наливками, потирая замерзшие руки, шмыгая замерзшими носами.

Бабка выметала тем временем снег с терраски вон, на улицу.

Испуганная кошка кинулась из терраски в комнату, взлетела на буфет, под самый потолок, и там просидела весь вечер и всю ночь.

Поминали до утра. Еще подходили люди. Народу набилось. Открыли все форточки. Дым из них валил, будто пожар в доме занимался. В печи огонь не угасал, чайник не простывал, и из трубы шел дым столбом в низкое небо.

Портрет покойного Васеньки Грекова поставили на буфет возле круглых часов.

В церкви Васеньку, Бога не знавшего, не отпевали. Да и слов над гробом не говорили. Будто стеснялись стоявших неподвижно в толпе хмурых парней в черных кожаных куртках. Парни были, вроде монгольских кочевников, бриты наголо. Они глядели, как люди прощаются, как выносят, как крышку опускают, как заколачивают, как в яму опускают, как землей засыпают... И с кладбища шли за толпой, в дом только не зашли, спасибо. Потоптались в саду под форточками. Покурили, побросали окурки в снег и ушли.

— Каждому по его вере, — сказал дьячок и опрокинул стопочку.

На поминки он явился как частное лицо, как дальний Васенькин родственник и приятель. Опрокинул по новой и помидором соленым чмокнул.

— Васенька наш был язычник, ему следовало гроб побольше сделать, чтоб положить рядом мотоцикл его...

— Раскопали бы, — заметил родной Васенькин дядя, Михал Ильич, пожилой милиционер. — Осквернили бы могилу, и все.

— Ясно, что раскопали бы, — согласился дьячок. — Я не к тому. Я чисто теоретически рассуждаю.

— И чего б ты ему еще в багаж сунул? — спросил Васенькин однокашник, Егорка, сварщик на «стрелочном».

— Настюху, — сказал кто-то. Многие засмеялись.

— Не спорю, — сказал дьячок. — Настюха Васеньке нравилась.

— Она тут многим... — захихикали.

— Но я бы Васеньке в гроб положил, — невозмутимо тянул свое дьячок, — короб целый лекарств, чтобы ему там не скучно было, на том свете.

Про лекарства все думали, хороня Васеньку и поминая, но никто вслух не говорил. Но вот — было произнесено. Многие даже перестали есть и пить. Дрова в печи потрескивали.

Без лекарств нельзя было Васеньку помянуть, через них он и погиб в конце концов.

— Странное дело, — раздумчиво произнесла захмелевшая Васенькина мать. — Рос он вроде бы самым простым парнишкой. Учился с тройки на двойку, но ведь не хулиган был. На мотоцикле даже не успел вволю погонять.

— Курицу мою загнал! — вставила вдруг хвастливо старуха Савельева.

— Да, — продолжала мать. — Как все мальчишки. Если б не эта его страсть — все смешивать и пробовать, чего выйдет.

Все не все, но было даже у Васеньки прозвище — химик — по этой его страсти. Жаль только, в химии он ничего не смыслил, едва-едва тройку натянули. Как говорила едкая химичка: «Прощаю тебя по скудоумию твоему».

Но началось все даже не с лекарств, а с обыкновенных продуктов. Не было Васеньке и пяти лет, когда принялся он за опыты. Уйдет бабка за молоком, оставит его одного, он тут же кастрюльку на печь, в кастрюльку воды плеснет, яйцо туда сырое вобьет, крахмалу всыплет или перца, или и то и другое, да и третье что-нибудь, хоть горелую корочку хлеба, например. Сахару добавит, масла растительного нальет. Помешивает и смотрит, как это варево на огне доходит, и запах его не смущает, и цвет не отталкивает. Возьмет ложку, зачерпнет, подует и попробует. Такая гадость!

Надо правду сказать, готовить Васенька все-таки научился, люди ели и хваливали. Хорошо мог сготовить, если только не входила ему блажь опыт ставить. Но бывало, что и с опытом еда не портилась.

— Ты, Васенька, из тех, — химичка ему говаривала, — кто случайно может открытие сделать: бомбу изобрести или эликсир бессмертия. Или помрешь молодым.

Она через дом жила, Васеньку знала с пеленок и за поминальным столом по Васеньке со всеми плакала и всем объясняла, что давно Васеньке его судьбу предсказала.

Лекарства Васенька стал смешивать, когда прабабка его заболела в глухой деревне Стригино. Он ей в центральной аптеке, что у рынка, лекарства покупал и носил в деревню. Пешком ходил. Красные таблетки, белые, микстуры в темных склянках, порошки в бумажках. Через лес нес, через речку Илевну вброд, полем. В дороге не отдыхал, к прабабке приходил уставшим, валился сразу спать.

Проснулся он как-то ночью бодрый. Прабабка храпела, утонув в перине, сложив сухие ручки поверх одеяла. Лекарства лежали все на стуле у изголовья. Васенька взял красную таблетку с блюдца и проглотил. Прислушался к себе, что будет. Голова немного закружилась. Он еще таблетку взял, присел к столу, к лунному свету, в ступку таблетку кинул, растолок, микстуры капнул, сахару зачем-то добавил, ложку окунул, лизнул. Горько оказалось. Стал Васенька ждать, что с ним станет. В сон потянуло.

Иногда у Васеньки в ступке, как при химическом опыте, взрывалось, или дымилось, или так воняло, что прабабка, рванув на себя раму, швыряла его ступку в окно.

— Мертвый встанет! — кричала она.

От проб своих Васенька иногда менялся лицом. То оно у него шишками зарастало, то синими пятнами исходило, а то вдруг выравнивалось и розовело, как у младенца. И потому фотография на буфете давала о покойном Васеньке представление неточное.

Дотянул Вася девять классов, и химичка устроила его по блату в центральную аптеку.

Васенька попросился в лабораторию. К изготовлению лекарств его, понятно, не допускали, но смотреть не возбраняли. Предложили даже поступать в медучилище на фармацевта. Но учиться Васенька не смог. Сколько ни бились с ним, так и не растолковали, как взвешивать по писаному, нагревать... Все Васенька делал на глазок. Для борща это и ничего. Но не для лекарства. Так что Васенька рецептурных дел не касался. Мыл-кипятил колбы, поливал цветы, таскал ящики, ходил в магазин за чаем, печеньем да конфетами. С зарплаты набирал себе лекарств, бог знает чем приглянувшихся — цветом ли облатки, формой ли капсулы, размером, запахом... Васеньку жалели. Понимали, что или помрет от своих опытов, или изуродуется вконец.

Рос он без отца, в бедности. Мать мыла полы в школе, бабка и вовсе никогда зарплаты не получала. Но на шестнадцатилетие Васеньки все родственники постарались — даже прабабка из глухой деревни со своей нищей пенсии внесла лепту, — собрали денег, чтоб он купил то, что ему во сне снилось.

Во сне мотоцикл был черный, матовый, с большой круглой ослепительной фарой, круторогим рулем. Высокий, мощный.

По складам, шевеля губами, Васенька читал объявления на остановке у аптеки; заходил в автосалон на рынке — только посмотреть, — новые мотоциклы были дороги. Подаренные деньги всегда были при нем: зашиты на живую нитку во внутреннем кармане школьного пиджака.

Месяца через три после дня рожденья, в середине осени, Васенька прочел на остановке, что продается недорого мотоцикл фирмы «Ямаха», почти новый. Дело было вечером, после работы. Васенька спросил у людей, дождался нужного автобуса, втиснулся и поехал. Уже в темноте он добрался.

Отворила ему женщина.

— Я по объявлению, — сказал Васенька.

Она посмотрела на него жалостливо.

В этот день лицо Васеньки было чистым и гладким, ребяческим.

Мотоцикл стоял прямо в комнате, вымытый, черный, блестящий, круторогий. В уютной маленькой комнате с цветами на подоконнике, с вышитой салфеткой на тумбочке он смотрелся так же нелепо, как смотрелся бы танк.

Васенька постучал ботинками о половики, подошел к машине и погладил. Включил фару. Она ослепила. Женщина печально за ним наблюдала.

— Сколько? — спросил Вася, облизнув пересохшие губы.

Женщина в самом деле просила недорого.

— На ходу бы его поглядеть.

— Снеси вниз и гляди. Только денег мне хоть половину оставь.

— Берите все.

Он снес мотоцикл на руках с третьего этажа. Женщина спустилась следом. Она стояла у подъезда и глядела.

Васенька оседлал машину, завел мотор.

Рванул круг по двору, выскочил, промахнул по трассе до железнодорожного переезда и решил к женщине не возвращаться — деньги заплачены. Развернулся и погнал домой.

Шлема на нем не было, ветер рвал волосы. От ревушего, как снаряд, мотоцикла шархались к обочинам автомобили, пешеходы жались к стенам домов, кошки взлетали на деревья.

На светофоре Васенька встал, напряженно ожидая зеленого стартового сигнала. В это время длинноногая, ярко намазанная девушка с фиолетовыми волосами сошла с тротуара, пересекла дорогу и подошла к Васеньке.

— Привет, — сказала она ему.

— Привет. — Васенька заалел, раньше такие девушки никогда не обращали на него внимания. Да и он на таких не засматривался, ему Настюха нравилась, продавщица из винного.

— Подвези меня, — сказала девушка. — На Мичурина. Знаешь? Она уселась за ним, прижалась, обхватила, выдохнула в затылок.

Зеленый сигнал уже горел, автомобили вежливо объезжали Васеньку.

Он рванул.

На Мичурина они встали у частного дома с палисадником.

— Давно у тебя этот мотоцикл? — спросила девушка, не выпуская Васеньку из объятий.

— Сегодня.

— Ясно.

— Чего?

— Я знала парня, который на нем раньше гонял.

— Мне не парень продал.

— Еще бы. Парень разбился на прошлой неделе. Лихой был. Я как тебя на светофоре увидела, аж вздрогнула, думала — он, призрак. Ты видел когда-нибудь призраков?

— Не знаю.

— Как же это можно не знать?

Она отпустила его и сказала, сойдя с машины:

— Пойдем в дом, согреешься.

Васенька и в самом деле продрог на осеннем льдистом ветру.

В жарко натопленной комнатухе торчали бритые, как монголы, парни в черных кожаных куртках. Они курили по кругу одну папиросу. От сладковатого ее дыма подташнивало. Двое сидели на диванчике, остальные — прямо на полу, затоптанном, грязном, но, впрочем, теплом.

Васенька прошел, держась девушки, в уголок. Опустился возле нее на пол. Она ему и передала папиросу. Васенька затянулся, как она, два раза. Но закрывать глаза, как она, не стал. Смотрел с любопытством на ее будто спящее лицо. Вдруг она сказала:

— Я вижу, что ты на меня смотришь.

— Подглядываешь, — простодушно решил Васенька.

— Нет, — сказала девушка, — я от травки всегда с закрытыми глазами вижу. А ты?

— Я? Нет.

— Да у тебя же глаза открыты.

Васенька закрыл глаза.

— Нет, ничего не вижу. — И открыл.

Девушка смотрела на него в упор.

— А что ты чувствуешь?

— Да ничего.

— Никакого кайфа?

— Пусть еще затянется, — промолвил бритый с дивана. И Васеньке протянули папиросу вне очереди. Он затянулся пару раз.

— Ну?

— Что?

— Вообще это бывает, — сказала девушка, — когда человек не может призраков видеть.

— Чего? — не понял Васенька.

— Призраков видеть, кайф ловить, отрываться, торчать, улетать.

— Так это наркотик, что ли?

— О, — сказал кто-то с пола, — догадался.

— Это не обыкновенная травка, — сказала девушка, — а такая штука, от которой нормальные люди в откат идут.

— Ты цвета все нормально видишь? — спросили с пола. — Музыка которую не слышишь?

— Не знаю, — сказал Васенька, — я ничего не чувствую. Я вот на днях смешал два порошка у нас в аптеке...

— Ты в аптеке работаешь?

— У рынка. Чего-то я еще туда капнул. Не помню. Лизнул. И сон! Будто я... Ну. Не знаю. Здорово будто. Лучше не бывает.

Васенька не умел пересказать свое видение. Но отчетливо помнил, как качался на ветке ужасно громадного, до самого неба, дерева. Качался, как малая птица воробей, а прабабка далеко внизу грозила ему коричневым кулачком.

— Что за порошки такие? — спросил бритый с дивана. Он набивал травкой новую папиросу и на Васеньку не глядел.

— Не знаю.

— То есть как?

Дело в том, что Васенька никогда не помнил, чего и с чем он смешивал, а тем более — в какой пропорции.

Но бритый этому не поверил и попросил Васеньку все-таки изготовить ему тех порошков. Он как будто и не слышал, что Васенька никогда не может повторить раз вдруг найденное; что не умеет он взвешивать, не умеет записывать; что всегда что-нибудь просыплет или прольет во время опытов... И что единственное, что понял в химии, — важна всякая мелочь. Пылинка, попав в колбу, может изменить результат, а Васенька не умеет следить за пылинками. К тому же ему и не хочется повторять раз найденное, ему именно неожиданности интересны, сюрпризы, случайности.

Ничего этого бритый не слышал. Сказал, сквозь приторный дым взглянув на Васеньку, что заплатит триста рублей за смесь. Для начала. И что пришлет за ней в аптеку завтра. Но если, конечно, Васенька не хочет поделиться с товарищами чудесным лекарством, он может его и не делать. Тогда бритый подумает, как добиться, чтобы Васенька захотел поделиться с товарищами. Подумает и придумает.

Васенька не был даже уверен, что разговор их слышали остальные в жарко натопленной комнате. Все остальные пребывали в состоянии от реальности отрешенном, блаженном. И даже если девушка у ног Васеньки продолжала его видеть и сквозь закрытые глаза, слышать она его вряд ли уже слышала.

Мышь, шуршавшая за стеной, слышала больше.

И понимала больше, чем Васенька. И если бы Васенька принял в тот миг порошок, позволяющий разуть мышиный язык, она бы ему объяснила, что монгол на диване не просто монгол, а хан. Что он жесток, коварен, злопамятен и себялюбив. Что лучше бы Васеньке с ним и вовсе не встречаться. Но теперь, конечно, поздно и судьба Васеньки решена.

Но Васенька по простоте своей этого не понимал. Он все-таки надеялся, что как-нибудь вывернется. И на другой день в аптеку просто-напросто не пошел.

С утра вывел за рога из сарая новый мотоцикл. И гонял до ночи. По поселку. Через поле помчал к деревне, где жила, не помирала прабабка. У нее поужинал картошкой с соленым огурцом. Рванул домой, врубив во тьме слепящую фару.

Ни один фонарь в одноэтажном поселке, считавшемся, правда, частью города, не горел. Непролазные осенние улицы освещались неспящими окнами домов, редкими, как населенные миры в нашей Галактике.

Мотоцикл благополучно пронес Васеньку через все топи и хляби.

На пустыре у родной калитки Васенька остановился и отер с лица грязь. Тишина оглушила. Оглушило безветрие. Холодный воздух предрекал зиму, снег, низкие тучи, гололедицу.

Васенька отворил калитку и повез мотоцикл к сараю. В огороде все давно было снято, земля лежала пустая, черная.

Сарай закрывался на амбарный замок. Ключ висел на гвоздике под балкой.

Васенька отомкнул замок, распахнул дверь, припер ее булыгой.

В сарае темень была кромешная, но Васенька все там знал вслепую. Мотоцикл он завел за поленницу. И вдруг из темноты Васеньку кто-то ударил в пах. Васенька вскрикнул, метнулся в сторону, наткнулся на кого-то, получил страшный удар в лицо, отлетел к стене, с которой упало на него оцинкованное корыто. В нем когда-то Васеньку купали.

Чьи-то руки Васеньку подняли, согнули, поставили на колени, голову пребольно ухватили за вихор.

— Завтра я еще зайду за лекарством, — прошипели в ухо. — А послезавтра уже не пойду, послезавтра я тебя прямиком на тот свет отправлю. Чтoб другим неповадно.

Никто на другой день в аптеке особенно не обратил внимания на опухшую, избитую Васенькину физиономию. Привыкли, что он часто лицом меняется.

Васенька явился на работу рано, раньше всех. Ночь он не спал, пытался вспомнить, что, с чем и как смешивал в тот раз. И утром разглядывал в витринах корбочки и пузырьки.

Девочки пришли, включили свет в отделах. Открылись.

Васенька вздохнул и — как в реку прыгнул — купил то, купил сё. Что глазу захотелось. Растолок, смешал, всыпал в пустой пузырек, заткнул пробкой. Его и отдал бритому, безликому посланцу хана.

Лишь только посланец ушел с пузырьком в кожаном кармане, Васенька спросил девочек, чего они хотят к чаю. Они попросили взять на рынке «Юбилейного» печенья вразвес, лимон и на остаток — московских конфет. Васенька с общими деньгами отправился.

Он не вернулся.

Искали его. Дядя-милиционер подключил уголовный розыск. Бритые монголы все вверх дном перевернули, дав слово достать Васеньку, отрезать ему уши и заколоть раскаленным гвоздем в сердце. Все в городе об этом шептались. От Васенькиного порошка монголы несколько дней жестоко страдали поносом.

В родном Васенькином доме посланцы монголов несколько раз били окна. Сарай с черным мотоциклом был сожжен. Зарево видели из окрестных деревень.

Под конец октября из мелкой речки Илевны мальчишки выловили труп неизвестного. В местной газете поместили объявление. Родственники и друзья опознали Васеньку. Совпадали рост и пропорции. Одежды на трупе не было. По вздутому лицу ничего понять было невозможно. Да никто и не надеялся опознавать Васеньку по лицу.

Через неделю родственники забрали труп из морга и схоронили. Памятник решили ставить весной, управившись с картошкой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

От студеного ветра прохожие отворачивали лица, поднимали воротники, натягивали шапки, заматывались шарфами, руки прятали в карманы. Закуривали, согнувшись к ветру спиной.

У мужчины была потрясающая лыжная шапочка. Из Швеции. Вязаная, темно-зеленая, с козырьком и особым отворотом. Можно было отворот развернуть и натянуть на лицо. Тогда отверстие для козырька становилось отверстием для глаз. В его случае — для очков.

В таком виде мужчина смахивал на грабителя. Но ему было все равно, на кого он смахивает, его это не заботило. Так что на выходе из метро он развернул свою шапочку, натянул, поднял воротник старого удобного

пальто и направился к киоску с булочками, слойками, печеньем, лавашем и сладостями.

Он попросил у продавщицы пахлаву. Защищенная в своем ларьке от ветра и холода, она поглядела на покупателя с подозрением. Он протянул в окошко сотенную. Продавщица развернула купюру и посмотрела на свет электрической лампы.

— Могу дать мельче, — сказал мужчина.

Но она отсчитала сдачу.

Он сгреб ворох бумажек, взял белый лоток с пахлавой, повернулся и увидел посиневшего на ветру мальчишку лет шестнадцати в замызганной одежонке, в огромной, с какого-то великана, куртке.

Лицо у мальчишки было грязное, осунувшееся. Ввалившиеся глаза с голодным остервенением глядели на сладкую пахлаву в лотке, затынутом туго в целлофан.

Мужчина вдруг протянул лоток:

— Возьми.

Мальчишка взглянул в вязаное лицо, из которого торчали окуляры очков. Схватил лоток и отпрыгнул вбок, за ларек.

— Ну что? — сказал мужчина продавщице. — Давайте мне еще пахлавы.

От киоска он направился к большому административному зданию со множеством этажей, пристроек, входов, указателей и подворотен.

Мальчишка успевал следом. Ветер уносил пустой белый лоток в разорванном целлофане.

Зачем, на что надеясь, следовал Васенька за мужчиной с вязаным лицом?

Васенька пропадал. И цеплялся за всякого, подавшего копеечку или хлеб, за всякого, взглянувшего с жалостью. Васенька цеплялся к этим людям. Они пугались, отшатывались, как от паршивой собачонки. Тогда Васенька и сам пугался и отставал.

Погруженный в свои мысли, мужчина не замечал преследователя.

В конце узкой, низкой, но очень длинной, как пулей пробитой, подворотни чернела дверь. За ней он скрылся. Васенька постоял у двери, выждал и потянул за холодную ручку.

Поднялся по лестнице, отворил еще одну дверь.

И очутился в небольшом, глухом, без окон, вестибюле.

Горел огонек только что ушедшего лифта. Что-то задумчиво говорил допотопный радиоприемник. За низким барьером маленького пустого гардероба сидел худой, долговязый человек. Он слушал стоявший на барьере приемник и разглядывал пришельца. Смотрел он на Васеньку без всякого омерзения и даже без неприязни. И вдруг спросил, как давно знакомого:

— Холодно там?

— Ага, — вымолвил Васенька.

Глаза его увидели закипающий на стойке чайник.

— Ты к нам по делу зашел или погреться? — спросил человек.

— Дяденька, — жалобно протянул Васенька, всему на свете уже ученый. — Я сирота, у меня дома нет, можно, я у вас посижу немного, погреться?

Человек за стойкой удобно сидел в низком кресле с вытертой засаленной обивкой, вытянув далеко босые, с твердыми желтыми ступнями ноги.

Он наклонился и достал из-за барьера большой заварной чайник и жестянку с заваркой.

— Чай у меня хороший, от всего дурного излечивает. Пьешь чай?

— Спасибо, дяденька. Очень пью.

— Если дают.

— Ясно что. Только я, это... в туалет хочу, очень, — сказал Васенька.

— Понятное дело. Ступай в проход, и в конце коридора, пожалуйста. Куртку можешь скинуть.

Васенька положил куртку на черный лаковый барьер.

Все было невероятно, непонятно, странно и даже чудно. Что это была за контора в таком серьезном здании и без вооруженной охраны, без запертых на кодовые замки дверей, с такой уютной, домашней пылью по углам? Почему так спокойно разрешили пройти нищему бродяге и даже не смотрели вслед?

Коридорчик был глухой, короткий — тупичок.

В туалете лежало душистое мыло, висело чистое махровое полотенце. В зеркале Васенька увидел себя.

Сходя в туалет, он вновь поглядел на себя в пятнистое, щербатое зеркало. Пустил горячую воду. Стянул грязный свитер. Залез под кран. Намылил лицо, голову, шею, подмышки. Смыл грязную пену. Обтерся сухим полотенцем. Вновь погляделся в зеркало. Лицо стало розовым, детским. Мочки смешно оттопыренных ушей покраснели. Васенька быстро натянул свитер, пригладил мокрые вихры. У стены стояло ведро с тряпкой. Васенька собрал с пола воду. Ополоснул руки.

На барьере ждала его кружка черного, горячего, как огонь, чая. Сладкого, мятного, душистого. На тарелке лежали белые бутерброды с вареной колбасой.

Человек за барьером уже попивал из своей кружки.

— Вон стул у стеночки. Придвигай.

Человек за барьером ничего не спросил, просто выключил радио. Это было как желание слушать. И Васенька рассказал свою историю. Что мамка его умерла, что папка его неизвестно где, что сродственники его из квартиры погнали насовсем.

Выслушал человек внимательно. Ничему не удивился. Васеньке стало спокойно, как будто уже все испытания он прошел и беседовал сейчас в тишине с самим апостолом Петром, простым, босым, все повидавшим, хранителем ключей, висевших на щитке в гардеробе на гвоздиках. За чаем Васенька их углядел. А еще — круглые, бесшумно идущие часы. Да свою собственную куртку на пустой вешалке.

— Интересно, — сказал Васенька, — а вот человек прошел в пальто, с такой шапкой, где его пальто?

— Они у себя в кабинетах раздеваются, — сказал апостол.

Васенька зевнул вдруг и покачнулся, забывшись на мгновение сном.

— Это я от горячего.

— Иди-ка ты туда, в тот же проход, только не направо теперь, а налево. Там закуток с лежанкой. Только обувку скинь.

Васенька обувку скинуть не успел, уснул сидя. Но проснулся он босым, лежащим под одеялом в кромешной тьме. Шуршала мышь, как давеча, в злополучном том доме.

Когда он очнулся в другой раз, из прохода падал электрический свет, доносился чей-то разговор. Женский голос и мужской. Васенька сквозь дрему слышал эти голоса, невесть о чем говорящие, — Васеньке все казалось, что о нем.

Окончательно он проснулся в тишине. Падала полоса света. Васенька откинул одеяло. Надел свои ботинки, настоящие солдатские, купленные по осени на рынке. Расправил на лежанке одеяло. И вышел из закутка.

В гардеробе на месте апостола Петра сидел совершенно другой человек.

Это был солидный седовласый мужчина, в костюме, белейшей рубашке, с узким, под горло подвязанным галстуком, с гладкими, тщательно выбритыми щеками, впалыми от старости.

Приемник исчез. На лаковом барьере лежала газета. На газете — очки. В очках отражалось электричество.

Человек за барьером смотрел на Васеньку холодно.

Прямо министр, подумал Васенька. И поздоровался.

— Здравствуй, — важно ответил министр.

— Я это, — сказал Васенька, — а где тут вчера был дядечка?

— Наверху, — сказал министр.

Надел очки.

Развернул газету.

Васенька подошел к лифту и нажал кнопку, тотчас же загоревшуюся. Надо сказать, что до этого он видел лифты только в кино.

Двери замкнулись, а Васенька еще не нажал ни одной кнопки в кабине. Он сообразил, что кнопки с цифрами означают этажи. В этом лифте таких кнопок было всего две: с цифрой «один» и с цифрой «пять». Первый этаж был, очевидно, тот, на котором лифт стоял. И Васенька нажал на кнопку с цифрой «пять».

Лифт был просторный, с зеркалом во всю стену. На боковой стене криво чернела надпись. Вася склонил голову и шепотом прочел по складам: «Аня, я тебя люблю». Лифт разомкнул двери.

За лифтом следовало фойе с буфетной стойкой и довольно большим цельным окном напротив, с сереющим за ним декабрьским небом. Уборщица мыла паркетный пол, переставляя стулья. На столах в вазочках стояли сухие цветы. За стойкой в стене было окно раздачи. За ним горел свет, слышались голоса, стук ножей, горячее масляное шипение, россыпь смеха.

— Здравствуйте, — сказал Васенька уборщице.

— Здравствуй. — Она выпрямилась и посмотрела на него.

— Я это... Дядечку ищу. Босой он. Он снизу.

— Филатыча? На шестом этаже погляди.

— А это какой?

— Это пятый.

— Как же? В лифте шестой кнопки нет.

— Без лифта. В тот проход и по лестнице.

Из прохода можно было повернуть на лестницу, а можно было в коридор, просторный, высокий, со множеством фотографий по стенам. С фотографий смотрели очень красивые женщины и не менее красивые мужчины в не виданных Васенькой нарядах, шляпах, шляпках. Глаза прекрасных женщин и мужчин были печальны и смотрели, конечно, не на Васеньку, а устремлены были в какую-то дальнюю даль. Фотографии объясняли надписи. Но Васенька не стал их читать: слишком мелко, слишком много, слишком тесные буквы. И по пустому коридору он прошел совсем чуть-чуть, опасаясь этой пустоты. Да и взглядов со стен из черных глазниц...

Васенька вернулся к лестнице. Поднялся на пролет и услышал пение.

Он приостановился.

Пел мужчина. Хорошо, как будто по телевизору. Без музыки, прямо так.

Васенька послушал, но не понял, о чем он поет. Как будто на иностранном языке. И стал тихо подниматься навстречу голосу.

Он оказался в коридоре шестого этажа, очень похожего на пятый, только фотографии по стенам висели другие. Даже знакомые лица вдруг угадал на них Васенька. И сообразил, что знакомы они ему по телевизору, но только очень немногие. Человек, может быть, десять из всех лиц, глядевших со стен.

В стене справа оказались двустворчатые запертые двери, большие, как ворота.

Пение оборвалось, и Васенька замер, будто только голос его и вел. И так он стоял некоторое время как потерянный. Вдруг он услышал еще чьи-то голоса. И надвигались они с той лестницы, по которой Васенька сюда поднимался. Васенька бросился по коридору дальше, но испугался грохота своих солдатских башмаков, остановился. Прижался к стене.

Говорили совсем по-иностранному. В основном мужской голос. Вступали иногда другие. Говорили громко, свободно. Смеялись.

Они вошли в коридор. Человек шесть. Их вел седой мужчина в сером свитере, почти таком же затрапезном, как свитер Васеньки. Что Васеньку почему-то и успокоило. Лицо у мужчины было умное, внимательное.

Очень внимательное. Всецело занятый иностранным разговором, отвечая на какие-то гортанные вопросы, улыбаясь своим собеседникам, он проскочил очень быстро мимо Васеньки — а шагал он стремительно, несмотря на склонность к полноте, — Васеньку он тем не менее заметил и запомнил. Во всяком случае, короткий и внимательный его взгляд Васенька уловил. И еще Васенька почувствовал, что прошедший мимо человек — птица важная, хоть и неяркого оперения. Быть может, самая важная птица из всех, что встретились Васеньке в жизни.

Отряд, ведомый седым Вороном (как тут же окрестил его Васенька), прошел до конца коридора, приостановился у каких-то дверей. Двери эти отворились и, пропустив гомонящий отряд, замкнулись.

Васенька подошел. Дернул за железную скобку. Но двери не подались.

На стене Васенька увидел железную пластинку с кнопками и подумал, что это тоже что-то вроде лифта. Кнопок было двенадцать. Васенька нажал на седьмую, но ничего не произошло. Пovyше пластинки торчала кнопка обыкновенного электрического звонка. Васенька подумал и надавил. Звонok прозвенел. Некоторое время ничего не происходило, но вдруг послышались за дверью шаги. Шаги приближались.

Дверь отворила стройная темноволосая красавица, чудно пахнущая чем-то сладким, слобным, изюмным.

— Вы к кому? — спросила она предельно вежливо, сощурившись, как будто видя Васеньку сквозь туман.

— Я это, — сказал Васенька. — Тут дяденька. Филатыч он.

— А. — Красавица тут же от Васеньки отвернулась и пошла по коридору, покачиваясь на подкованных каблучках.

И Васенька потопал за ней. Но красавица скрылась вдруг за боковой дверью.

Васенька постоял у этой двери в пустом узком коридоре, довольно пыльным, и — вновь услышал, как поет мужской голос. Теперь — совсем близко. Васенька пошел на голос и увидел проем и лестницу.

Босой Филатыч мыл ступени и пел. За высоким узким окном шел снег. Кошка сидела на узеньком подоконнике. Белая снежная рухлядь за окном ее занимала.

Филатыч оглянулся и увидел Васеньку.

— Это, — сказал Васенька. — Доброе утро.

— И тебе.

Филатыч ждал, чего Васенька еще скажет.

— Я. Ну. Помочь могу. Вам.

— Чего?

— Там. Помыть.

Филатыч смотрел на Васеньку доброжелательно.

— А я чего делать буду?

— Отдохнете.

— Ты назад дорогу помнишь?

— Куда?

— Как на улицу отсюда попасть.

— Нет, — сказал Васенька. И подумал, что сейчас заплачет, как маленький.

— Бестолковый, — огорчился Филатыч. — Ладно. Берись тогда за тряпку. Домоешь лестницу, повернешь в коридор. В кабинеты пока не суйся, дожись меня. А я пойду мешок с мусором снесу на помойку, раз ты выход не помнишь.

И он подхватил из угла здоровенный черный вонючий мешок.

К тому времени, когда Филатыч вернулся с запасными ведром и тряпкой (шваброй он не пользовался, мыл только руками), к тому времени Васенька уже управился и с лестницей, и с пыльным коридорчиком. И дожидался у двери, за которой скрылась изюмно пахнущая красавица. Ее Ва-

сенька окрестил про себя Аней — по Ане из любовного признания на стене лифта.

В ее кабинете сквозь серебряную пыль смотрели со стен, со столов и даже прямо с пола картины. Васенька сроду не видел настоящих картин: в рамах, на холстах или без всяких рам и обрамлений, на листах бумаги. Он был поражен. Драил пол и оглядывался на изображенных на картинах людей, места, корабли. На некоторых картинах были странные черные провалы. Совершенно непонятно, что они означали. Пустоту? Сон? Бывает, во сне идешь, спотыкаешься и падаешь в никуда-а-а.

Аня сидела за компьютером, не обращая на них ни малейшего внимания, и стучала по клавишам. Компьютер Васенька тоже впервые видел.

В другом кабинете топтались мужчины, курили едкие сигареты. Работали сразу три «видака» («видак» Васенька видел как-то у одноклассника, да и в школе у них был, пока не сперли). Работали без звука. Шли какие-то почти бесцветные фильмы.

Здесь мыли осторожно, стараясь не задеть проводов, переходников, стабилизаторов. Пепел с сигарет тут же сыпался на влажный пол.

Вдруг дверь распахнулась и стремительно ворвался Ворон.

Васенька водил тряпкой по чистому, не поднимая головы, боялся, что Ворон его заметит и спросит — кто ты такой?.. И знал, чуял, что уже замечен.

Мужчины с приходом Ворона оживились, окружили его, загалдели. Затем стихли, потому что он говорил. Васенька полз со своей тряпкой к выходу. Вдруг Ворон спросил:

— У вас помощник?

Спросил просто, без неудовольствия, без удивления.

— Вот, — сказал Филатыч. — Племянник мой. Сирота он, не знаю, как помочь. Супруга моя вряд ли его примет... Может, он у нас пока, на вахте, под мою ответственность?

— Да? — сказал Ворон растерянно.

Видно, что не понравилось ему предложение Филатыча, но и отказать почему-то он не смог, будто не умел. Это удивило Васеньку. И он поднял пылающее лицо. Ворон взглянул быстро, внимательно.

Ничего определенно и четко он не ответил Филатычу, кроме того растерянного «да?». Попрощался со всеми и вышел.

— Ты чего? — сказал Филатыч. — Уснул тут? Нам еще на шестом кабинете мыть.

Поднялись по чистой лестнице на шестой, в такой же узкий коридорчик, очевидно, так же, как и на пятом, ведущий под прямым углом к коридору большому, с фотографиями странных красавиц и красавцев.

Пока не домыли все, Васенька никаких вопросов не задавал.

Увидел он много чудес: и кукольных человечков с кукольными же птицами и зверями, домами и даже горами. И людей, этих кукол укладывающих в коробки. Видел и даму, которую окрестил тут же Феей. За хрупкость, за хрустальную ясность глаз, за быструю иголку в сухой ручке. Дама подшивала подол старинного парчового одеяния цвета червленого золота и такого же тяжелого на вид. И нитка в иголке была золотая. По стенам в келье у дамы висели ружья и пистолеты, почти как настоящие. Кинокамеры смотрели стеклянными круглыми глазами со стеллажей.

Увидел Васенька и того мужчину, из-за которого оказался здесь. Узнал по пальто, висевшему на гвозде за шкафом, да по вязаной шапке, из кармана пальто торчавшей.

А вот мужчину Васеньку не узнал. Хоть и взглянул сквозь очки. Но взглянул рассеянно.

Он сидел за столом среди стопок бумаг, книг, газет, листов, листиков — белых новеньких, старых желтых, в пятнах, измятых, исписанных и чистых. Он писал, низко наклоняясь. Писал карандашом, стирал ластиком.

Книг было множество в этом кабинете. Как в районной библиотеке. И Васенька подумал, что, наверно, все их мужчина прочитал.

Когда все было наконец вымыто, когда спускались в просторном прохладном неторопливом лифте, Васенька спросил у Филатыча (которого по-прежнему звал про себя Петром-апостолом):

— Он, это?

— Что?

— Разрешил? Что вы сказали. Про меня.

— Не запретил, — усмехнулся Филатыч.

Васенька хотел еще спросить, почему Филатыч за него заступился, чем ему Васенька показался. Прямо на языке вертелось и жгло. Но Васенька вопрос проглотил, боясь спугнуть привалившее счастье. И глаза опустил, чтобы Филатыч не прочел вопрос в них.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

По вечерам все преображалось. Ближе к шести собирался народ. Очередь выстраивалась в буфет. Толпились в больших коридорах на пятом и шестом. Маленькие коридоры — перпендикуляры, аппендиксы — для посторонней публики были запретны.

Звонков здесь не было. Отворялись двери четырех кинозальчиков. Контролерши разрывали билеты. Кино начиналось. Старое. Черно-белое. А если и цветное, если даже и новое, то такое, что сразу понятно — музейная редкость, коллекционное вино, и через сотню лет будет отличный вкус. Если кто решится через сто лет стереть пыль с этой бутылки и откупорить... Скороспелок здесь не давали. И публика вся была знатоки, ценители, смаковали каждый кадр.

Васенька наслаждался их разговоров и на площадках, где белый сигаретный дым ел глаза, и в буфете, где пили они, сдвинув столы, чай-кофе-пиво, заедая бутербродами подешевле, с сыром. И у книжного лотка.

В кино Васенька еще ходил, а книжки — нет, не открывал, не интересовался. Читал он все ж таки медленно, по складам и только если очень уж надо было — как тогда, объявления о мотоциклах или, как сейчас, объяснения про лекарства.

Иные были любители — наслаждались не сюжетом, не игрой, не работой оператора даже, не монтажом, не мизансценой, не репликами, а вещами посторонними, вроде пролетевшего в кадре, вдалеке, крохотного, никому по фильму не нужного самолетика. Или походкой случайного прохожего, или всем видом его: пальто, шляпой, ботами, авоськой с пустой молочной бутылкой. То есть случайно или нечаянно попавшей в кадр, как в рыбацкую сеть, жизнью.

Но кино, шумные, многолюдные вечера Васенька не любил.

Он любил, когда все, до последнего зрителя, расходились, когда механики выключали свои аппараты, когда зрительницы гасили свет в опустевших больших коридорах и сами спешили домой. Когда засидевшиеся допоздна сотрудники собирались наконец на выход. Когда все ключи оказывались на щитке на гвоздиках. Когда дежурный вахтер запирает на засов дверь и ложился спать в достопамятном закутке. И наступала до утра тишина.

Васенькино жилье обустроили в кладовке за гардеробом. Света там не было. Васенька зажигал свечку в майонезной банке. Матрац и белье Филатыч приволок из дома и кое-какую одежку. Дома у него, в Ясенева, Васенька бывал, но Супругу (так он ее величал про себя — с заглавной буквы) видел только на фото. Дородная была женщина.

Филатыч водил Васеньку к себе раз в неделю — мыться. В служебные часы Супруги. После душа Васенька стриг ногти. Проводил над губой для порядка бритвой по нежной, детской еще коже. Как-то раз Филатыч Ва-

сеньку подстриг, ловко, как записной парикмахер. Он все в жизни пере-пробовал: и в оперетте пел, и в тюрьме сидел (за что — не говорил). Сидел недолго, с год, но успел выучиться там стричь, плотничать и читать книги о смысле жизни.

Москва Васеньку не соблазняла, пугала скорее. Кроме Филатыча, он никуда и не высовывался. Ел в буфете. Ходил только в аптеку в ближнем переулке. Брал там что-нибудь на те деньги, что выделял ему из своей зарплаты Филатыч.

С лекарствами Васенька ничего не предпринимал. Открывал коробочки, читал, шевеля губами, при свете свечи инструкции. Иногда выколупывал таблетку и рассматривал, как она лежит на ладони. И прятал. Для лекарств он завел коробку из-под обуви, кем-то из сотрудниц оставленную в мусоре.

И ничего он с этими лекарствами не делал, ничего. Просто покупал и складывал.

Сказавши вахтеру «спокойной ночи», Васенька уходил в свою кладовку. Ложился. Иной раз засыпал сразу, а иногда нет. Думал о чем или так лежал, слушая, как шуршит, не спит за стеной мышь.

Васенька рад был, что есть неспящее живое существо рядом. Одному бы ему не хотелось остаться здесь ночью.

Но больше всего Васенька полюбил утра, когда сотрудники тянулись по одному. Все они с Васенькой здоровались. Многие спрашивали, как дела. Даже Ворон, кажется, привык к простому лицу Васеньки. И если б вдруг не встретил его утром, ощутил бы порядок дня нарушенным.

Все были люди культурные, вежливые. Не очень Васенька понимал, чем они занимаются целыми днями. И беседовал об этом, как и о многих других вещах, с Книжником, подавшим ему тогда пахлаву, как соломинку.

Васенька был убежден, что все книжки, которые есть в мире, Книжник прочел. Даже те, которые еще только сочиняются, в которых только-только ставится автором последняя точка. И эти неизданные, но существующие уже книги известны Книжнику.

Книжник обычно приходил часов в десять. Васенька засекал время по круглым часам и минут через двадцать поднимался за ним следом. Здоровался с уборщицей, мимо буфета шел в проход. По лестнице. По большому коридору, побыстрее, мимо глядящих из черных глазниц.

В служебном коридорчике сидел уже за чайным столом одинокий Книжник. И чашка стояла перед ним, накрытая крышкой. Чай он пил только свежезаваренный.

— Можно? — спрашивал Васенька.

— Пожалуйста.

И Васенька брал из шкафчика кружку. Включал электрический чайник. Насыпал по примеру Книжника ложку заварки, заливал кипятком, накрывал свободным блюдцем. Всегда было что-нибудь на чайном столе: конфеты, печенье, булочки, пахлава — любимое лакомство Книжника. Все, что было на общем столе, было общим, и Васенька не стеснялся брать к чаю то конфету, то печенье, то булочку. Иной раз и сам приносил что-нибудь, загодя купленное.

— Ну что? — неизменно говорил Книжник. — Как дела? Что нового?

— Да ничего, — неизменно отвечал Васенька.

Это у них было вроде приветственных поклонов.

Книжник снимал крышку с чашки и долго перемешивал. Пил он с сахаром, но непременно с чем-нибудь еще сладким.

Затем он рассказывал Васеньке об одном человеке, режиссере, давным-давно умершем. Он исследовал его жизнь по каким-то крупицам: письмам, обрывкам воспоминаний, газетным статьям.

Он объяснил Васеньке, что такое игра в пазлы. Он сравнивал свои поиски с этой игрой, с восстановлением картины из кусочков, лежащих бес-

порядочной кучей. Только в случае Книжника кусочков было недостаточно. Картина восстанавливалась не полностью, неизменно оставались черные провалы. И Васенька вспоминал черные провалы на настоящих картинах в кабинете на пятом этаже. Как-то раз, моя там полы, он осмелился завести разговор со сдобной Аней и спросил о черных провалах. Она предельно четко, как доклад, изложила Васеньке принцип комбинированных съемок. Когда отдельно снимают море, отдельно актера в лодке, а в результате выходит — актер в лодке в бушующем море.

Васенька совершенно не понял, как это так получается и при чем тут черные провалы на картинах. Но черные провалы в картине жизни давно ушедшего человека — это было понятно. (Как провалы в памяти родной Васенькиной прабабки из деревни Стригино.)

Но больше всего Книжник походил на следователя, восстанавливающего чью-то жизнь, как картину преступления.

Почему он рассказывал все это Васеньке, ни аза не смыслившему ни в кино, ни в психологии, ни в политике, ни в истории собственной страны? Зачем растолковывал простодушному мальчишке, что дневниковые свидетельства его героя не всегда соответствуют истине, что приходится проверять по косвенным показаниям (очные ставки)? Он рассказывал Васеньке о хитроумнейшей своей догадке, подтвержденной вдруг заметкой в пять строк в газете восьмидесятилетней давности, как о точном выстреле в копейку со ста шагов. (Васеньке было удивительно уже то, что где-то еще хранят столь старые газеты; и даже то, что были уже газеты восемьдесят лет назад.)

Книжник был одинок. Дочь его жила в далекой северной стране. Каким-то образом приходили от нее письма прямо в компьютер. Их можно было распечатать. И не раз Васенька был свидетелем того, как Книжник перечитывал эти письма, хмурясь и восклицая:

— Коварная! Что она хотела этим сказать?

Он искал в письмах то, что в них не было сказано, то, что и не хотелось говорить, а хотелось, напротив, скрыть. И Васенька понял с ужасом, что и в простом письме от дочери к отцу есть черные, как во сне, провалы. И что заполнять их можно целую жизнь, да так и не заполнить. И что, может быть, лучше их вовсе не замечать.

Утренний Васенька был для утреннего Книжника самым желанным собеседником по той простой причине, что слушал его, и слушал с истинным интересом.

Васенька полюбил задавать Книжнику сложные вопросы, потому что Книжник на эти вопросы отвечал.

К примеру, на вопрос о том, почему Филатыч пожалел Васеньку, Книжник нашел несколько ответов. (А надо сказать, Васенька заметил, что Филатыч далеко не ко всем людям бывал добр, не ко всем снисходителен, иные просьбы — вынести, скажем, лишний раз мусор — легко пропускал мимо ушей.)

— Итак, ответов может быть несколько, — объяснил Книжник. — Первый ответ. Романтический. Вы, — а Книжник называл Васеньку, как, впрочем, всех и каждого, на «вы», — вы напоминаете ему самого себя в юности. Возможно, он был в юности в сходном с вами положении... Ответ два. Даже более романтический. Когда-то был у него действительно племянник. И сирота, и бездомный, и пришел за помощью. Но Филатыч его прогнал. С тех пор мучается. Вами — спасается. Ну и третий. Самый, я думаю, реалистический. Стих нашел. Настроение было. Пожалел. Поверил. Вам, между прочим, легко поверить.

Васенька не побоялся задать Книжнику этот щекотливый вопрос, так как давно догадался, что никто, ни один человек, кроме, пожалуй, изумительно простодушной Феи, не верит в историю о сироте-племяннике.

Спрашивал Васенька и насчет того, почему его тогда терпят, не гонят. Особенно Ворон, которому стоит только глазом посмотреть.

Книжник усмехался. Смеялся. Хохотал сипло. Так, что где-то в полутемном коридорчике дребезжало стекло. Смех был нервный. Васенька к этому смеху не сразу привык.

— Интеллигентные люди, — отсмеявшись, отвечал Книжник. — Неловко им... нам... почему-то вас прогнать. Хотя черт знает, кто вы такой. Вдруг вы шестерых человек зарезали?

— Нет, — пугался Васенька. — Я — нет.

Книжник хохотал.

Иногда, особенно посреди смеха Книжника, находившего на того как удушье, на Васеньку находила вдруг тоска, и хотелось ему оказаться в ту же секунду дома. Как прежде, до монголов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Премьера погибшего фильма...

Великий французский режиссер встречается со своим фильмом в России...

Коробки с позитивной копией считавшегося погибшим фильма найдены в подвале московского дома...

Событие в Музее кино...

20 января...

Долгое ожидание встречи...

В газетах рассказывали о фильме, о режиссере, об истории гибели лучшего его фильма, снятого в молодости и оставшегося в молодости, обернувшегося тоской, ностальгией не только автора-режиссера, но и поклонников-зрителей, до сих пор вспоминающих те несколько сеансов, после которых не хотелось расходиться. И казалось невозможным, что после этого фильма мир не переменится к лучшему. И люди после просмотра этого фильма становились братьями и сестрами. Но фильм не был проповедью или отповедью, а был простой историей о людях, примечательных тем, что они живут и знают, что не навсегда. Они чувствуют, что жизнь должна быть необычной, раз скоро закончится, но в ней почему-то все идет тяжело и скучно.

Так писали в газетах в ожидании удивительного нескудного события.

Правда, опасались, что фильм окажется не таким уж замечательным после стольких лет отрешения от жизни, и современные зрители не те, что прежние. Скептики даже говорили — а не лучше бы оставаться фильму в подвале, как в мавзолее. Мертвецы не должны воскресать.

Фильм был снят в Польше (и сам французский режиссер был тогда поляком), после нескольких просмотров запрещен и уничтожен. Вышел строгий указ смыть все копии. Как оказалась одна из них целой и невредимой в московском подвале, оставалось загадкой, требовало еще исследования, изучения. У историков работа не переводится.

Васенька газет не читал, но знал, что все ждут 20 января, ждут приезда какого-то режиссера и премьеры какого-то фильма.

Событие в Музее кино!

Эти слова он читал, шевеля губами, на афишах в маленьком фойе. Слова были набраны ярко, обращали внимание, таранились, и Васенька оборачивался и читал заново, хотя знал наизусть.

Ожидание было во всем. Оно походило на ожидание Нового года, чудесной ночи с подарками и исполнением желаний. Сходство было именно в этом. Люди словно загадывали желания, которые должны были исполниться вечером 20 января. В 19.00.

Впервые Васенька услышал о том, чего все ждут, в буфете. Он ходил обедать в одно время с сотрудниками, хотя садился робко за отдельный столик. В буфете он мог видеть их вместе: и Книжника, и прекрасную Фею, и Анечку, и других. Ворон, правда, обедал редко, не успевал.

Васенька полюбил за ними наблюдать. Он подсматривал и подслушивал, не обращая на себя особого внимания, как не обращает на себя особого внимания домашний зверь кошка. Говорили они о книгах, которые Васенька никогда не читал, о фильмах, которые он никогда не видел, о спектаклях, на которых никогда не бывал, о своих детях, с которыми Васенька никогда не был знаком.

Разговоры о детях были самые удивительные. Васенька никак не мог привыкнуть к ним. Люди беспокоились не только о том, чтобы их дети были сыты, обуты, одеты и здоровы, они как будто хотели, чтобы их дети успели еще все прочесть и увидеть, везде побывать, в одну свою жизнь вместить весь мир.

Васенька, поедая ложкой суп, иногда забывался так, что суп простывал. Он представлял себе этих детей ангелами с шелковыми кудрями, похожими на святого младенца Христа у прабабки на бумажной иконке.

И вот как-то раз, поедая наваристую куриную лапшу, разогревшись, разомлев, Васенька стал свидетелем следующего разговора за ближайшим столиком (сидело за ним сразу восемь человек, тесно сдвинув стулья):

— Светик, так вы мне позволите переночевать у вас двадцатого?

— Ну разумеется.

— А хочешь, у меня ночуй.

И Васенька понял, что двадцатого намечается что-то очень важное. Просившаяся на ночлег сотрудница жила за городом, автобусы от станции к ее поселку ходили только до восьми вечера. И на поздние мероприятия сотрудница оставалась только в чрезвычайных случаях, когда никак нельзя было пропустить.

— А что будет двадцатого? — спросила Фея.

И тут ей объяснили. А Книжник сказал, что это такое событие, что он даже подстрижется.

— И ботинки почистите, — посоветовала Книжнику живущая за городом сотрудница. Правда, казалось, что живет она не близко к лесу и открытому воздуху, а в мрачном подземелье. Такой уж она была бледной и тихой. Говорила она редко и все остальное время, когда не говорила, как будто отсутствовала. Васенька про себя называл ее — Тень.

Через несколько дней появились афиши, появились свежие, пахнущие улицей газеты со статьями. Как-то раз утром даже в приемнике Филатыча сообщили о предстоящем событии.

Васенька заразился всеобщим ожиданием чего-то необыкновенного. Накануне двадцатого он попросил Филатыча купить ему новую рубашку.

Двадцатого утром он вышел из своей каморки, когда вахтер еще сладко спал в закутке. Васенька, стараясь особо не греметь, взял ведро, тряпку, моющий порошок и принялся за тщательную уборку всего музея, всю уютную пыль повывел.

Оттер полы, лестницы, коридоры и туалеты со всеми зеркалами, умывальниками и унитазами. Все сияло и благоухало. Затем, когда пришли сотрудники, — их кабинеты. Все сам, вне очереди, за всех уборщиков постарался.

Отдышался, умылся в нижнем служебном туалете, причесался, облачился в свежую рубашку. Круглые часы показывали чуть более полудня. Заняться больше было нечем, оставалось ждать. Ждать предстояло долго, семь часов.

Васенька не знал, куда себя деть. Механики проверяли аппаратуру в самом большом зале. Проверяли микрофоны на сцене. Говорили: «Раз-два, раз-два». Сотрудники занимались своими малопонятными Васеньке делами. В буфете готовили праздничное меню на вечер и к обеду разогревали вчерашнее.

Васенька все посматривал на окна, бродя по пустому дневному музею, скоро ли начнет темнеть. Скорей бы. И тогда зажгутся огни и появятся

зрители, молодые, шумные, нанесут снега, натопчут, набьются в большой зал. Что будет дальше, Васенька не представлял.

В это утро он даже не пил чай с Книжником. Книжник провел утро в парикмахерской и пришел с остриженными вокруг блестящей лысины волосами, с ботинками начищенными, но уже и замызганными уличной грязью.

Многие сотрудники пришли принаряженные, душистые, с цветами, завернутыми от холода в газеты, но больше всех поразил Васеньку Ворон. Томящийся от бездельного ожидания Васенька столкнулся с ним в коридоре. Ворон спешил в зал, проверить, все ли в порядке. Васенька, увидев его близ себя, вдруг оторопел.

— Привет, — быстро и весело сказал онемевшему от изумления Васеньке Ворон. И исчез в зале, оставив, как всегда, впечатление прошедшего у лица сквозняка.

Ворон был в темно-синем, похожем на парадную адмиральскую форму костюме, в белой рубашке и синем, чуть ярче костюма, галстуке. Гладко выбритый, возбужденный и взволнованный. Он тоже не находил себе места и не знал, что еще проверить, что с кого спросить, чтобы забыться до вечера.

В три часа открылась касса. Билеты расхватили в полчаса. Но публика не уходила. Стояли в подворотне черной толпой, мерзли, пили пиво, курили.

Фильм в круглых жестяных коробках лежал уже в аппаратной. Уже звонил режиссер. Он говорил по-французски с Вороном, с которым знаком был еще по ВГИКу и с которым в те давние времена прекрасно говорил по-русски. Но сейчас он забыл значения русских слов. Он тоже волновался.

Режиссер прошел в музей тихо, даже не замеченный томящейся публикой. Ворон его встретил у лифта.

Сначала пускали по билетам. Затем открыли двери всем.

Устраивались как могли. На полу, под самым экраном, на стульях, притаившихся из буфета, в проходах. Теснились, не роптали. Затихали постепенно.

Васенька потерялся. Он уже не видел, где сидят Книжник, Светик (хранительница игрушечных людей, зверей, гор и городов), где сидят Тень, Анечка, Фея и другие. Столько было людей, что Васенька боялся не услышать и не увидеть фильма за их голосами и головами. Но когда в зале погас свет, сцена же, напротив, осветилась, голоса в зале стихли, а через головы оказалось видно выходящих на сцену режиссера, Ворона и еще каких-то людей.

Последовал рассказ о фильме. Говорили по очереди. Все, что Васенька уже знал. Люди в зале хлопали.

Васенька немного устал от духоты, от разговоров. Кто-то из зала выкрикнул вопрос, но режиссер (от так и говорил по-французски, через переводчицу) сказал, что на все вопросы ответит после фильма, который сам уже почти забыл. На этом, под аплодисменты, они сошли со сцены в зал, где для них держали места.

Погас свет и на сцене. Экран осветился. И стало тихо совсем.

Тысяча глаз смотрела на экран из темноты. Васенька от усиленного внимания стиснул кулаки.

Дорога. А в дороге тяжелый грузовик. Идет долго. Местность пустынная, однообразная. Как он долго едет. И ничего не меняется за ветровым стеклом.

Дождь начался. Дождь все смазал.

Дождь. Мокрая дорога в пляшущем свете фар. И хоть бы побыстрее шла машина! Катит и катит, будто ее так несет, по инерции.

Ничего, думал Васенька, дальше еще что-то будет.

Стоп машина. Человек на обочине.

Человек влез в кабину. Покатила машина.

Долго катит. Шофер молчит, и человек молчит.

Дождь кончился. У Васеньки глаза стали слипаться, смыкаться, забылся он в душном тихом тепле без сновидений, как будто из жизни ушел на время.

Очнулся от яркого света, оттого, что шевелились вокруг люди. И лица у них тоже были, как и у Васеньки, проснувшиеся, но другие — будто они все счастливый сон видели, от которого не хотели отходить.

Они свой сон обсуждали. Смотрели влюбленно на растроганного режиссера, спрашивали его что-то детскими голосами. Он отвечал. И переводчицу не слушал. Отвечал сразу по-русски.

Так Васеньке стало обидно за свою слабость. Ждал-ждал, дождался — и уснул. Как самый маленький глупый ребенок Новый год проспал. Еще было то обидно, что Васенька знал: и в другой раз уснет на этом фильме, и на том же месте уснет — когда дождь кончится.

Наутро он спросил Книжника, что дальше было в фильме.

— Они рассказали друг другу о себе, шофер и попутчик. И расстались.

— И все? — удивился Васенька.

— Этого бывает достаточно, — сказал Книжник. И добавил как-то грустно: — Очень хороший фильм.

И Васеньке показалось, будто они стоят с Книжником на разных берегах широкой и очень глубокой, хотя и безмерно спокойной реки.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Как-то раз Васенька оказался свидетелем разговора, точнее, даже ссоры между Книжником и Вороном.

В этот день началась оттепель, грязи нанесли больше обыкновенного. И Васенька так задержался с уборкой, что опоздал на полчаса к чаепитию с Книжником. Когда он вошел в полутемный коридор, то увидел, что Книжник за столом не один, что на месте Васеньки уже сидит Ворон. Но чай не пьет.

Васенька тут же хотел уйти, но его остановили. Мужчины смотрели на него. Они как будто были рады его приходу. Хотя и смолкли на полуслове, когда он вошел. Но отпускать они его не хотели, тут же придвинули к столу свободный стул.

— Берите чашку, — сказал Книжник.

— Садитесь, — сказал Ворон.

Оба они были красные и всклокоченные, как после драки. Что, конечно, совершенно невозможно представить.

Они упорно молчали, пока Васенька включал чайник, доставал чашку. Пока заварку заливал кипятком. Пока усаживался.

— Как дела? — спросил Книжник.

— Ничего, нормально.

— Ну что ж, — сказал Ворон, посмотрев на растекшуюся по клеенке воду. (Васенька, заметив его взгляд, потянулся за тряпкой.) — Мне пора. Телефон там, наверное, разрывается.

Но уходить все-таки медлил.

— Мы еще поговорим, — обратился он к Книжнику.

— Что говорить, — раздраженно ответил Книжник. — Письмо было написано в двадцать пятом году. С этим уже не поспоришь.

— Да, но что это меняет по существу дела?

— Позвольте! — вскричал Книжник. — Это все меняет!

Васеньке ужасно захотелось забраться под стол.

— Хорошо. — Ворон вскочил. — Обсудим. После. Увидимся.

В одну секунду он оказался у выхода из коридора. Васенька думал, что дверь за ним захлопнется с треском, и даже зажмурился. Но дверь закрылась легко, вежливо.

Васенька опасался спросить Книжника, что случилось, и молчал. Но Книжнику надо было выговориться — все равно перед кем, перед Васенькой даже лучше.

Он довольно сумбурно рассказал о письме к какой-то женщине давно умершего режиссера, чью жизнь изучали со всех сторон они с Вороном (как, впрочем, и некоторые другие люди). Выплыл из архива некий документ, позволявший считать письмо написанным не в 1928 году, как думали раньше, а в 1925-м. И это, по мнению Книжника, существенно меняло оценки иных фактов из жизни режиссера. В частности, это говорило о его любви к этой женщине, а не о простом товарищеском чувстве. Но Ворон так не считал.

Книжник выговорился и замолчал.

Васенька осторожно опустил сахар в свой чай и размешал.

— Голова болит, — устало сказал Книжник.

— Погода. Меняется.

— Да нет, это я устал, все думал над этим письмом, бумаги разные в архиве перечитывал, чтоб сопоставить. Не выдерживает уже головка такой нагрузки.

— Хотите, я вам таблетку от головной боли дам?

— Какую?

— У меня разные есть.

— В самом деле? Ну принесите, посмотрим, какие у вас таблетки.

Он знал, как почти все уже знали, что Васенька держит у себя в каморке целую аптеку. Васенька не первый раз предлагал свою скорую помощь.

Дело в том, что все таблетки лежали у него нетронутыми. У него как-то пропало безоглядное желание все смешивать и пробовать наудачу. Страх в Васеньке появился перед этими порошками, микстурами, капсулами. Ему не хотелось уже чего угодно, не хотелось неожиданности, как прежде, а хотелось определенного. Если бы он смог разумно составить тот порошок, через который можно было бы вновь оказаться малой птицей на Дереве (а прабабка грозила бы снизу коричневым кулачком)!

Определенная цель сделала невозможной бесстрашную игру со случаем. Она сковала Васеньку в бездеятельности и тоске.

Васенька спустился на первый этаж. Филатыч сидел в прохладном пустом фойе, прислушивался к радио. При виде Васеньки он приветственно поднял руку.

Васенька зашел в каморку, зажег свечу в банке. Маленькое пламя осветило малое пространство. Васенька прикрыл дверь, открыл свою коробку с лекарствами, свойства которых он знал из объяснительных листов, выбрал таблетки и микстуры от головной боли. Выколупнул одну таблетку и проглотил, хотя голова не болела. Но Васеньке хотелось, чтоб она заболела, чтоб заныл висок или заломило в затылке.

Как ни странно, но Васенька впервые ясно понял, что никто и никогда в будущем не будет восстанавливать картину его жизни, что он, как безымянная былинка, сгинет без следа. Никто и никогда ни в каких архивах не будет читать, мучительно разбирая почерк, бумаги, освещающие темные, неизвестные углы его жизни. Не будет просто таких бумаг на всем свете. И даже свидетельство о рождении (а было уже и свидетельство о смерти, о чем Васенька, конечно, и не догадывался) сгинет. Даже для статистики он никто. Был — не был. Никто не спросит.

Жутко стало Васеньке от этой мысли.

Он взял в горсть лекарства, задул пламя.

Филатыч, как механизм, вновь приветственно поднял руку.

У лифта стоял Ворон, оказавшийся тоже на первом этаже за какой-то надобностью. Скорей всего провожал кого-то из гостей. Он загасил сигарету, прежде чем войти с Васенькой в лифт.

Старая машина поднимала медленно. Ворон был уже спокоен и даже весел.

— Что вы такой грустный? — спросил он вдруг Васеньку.

— Я? — испугался Васенька, что все по нему видно. — Это... голова болит.

— Да-а, — участливо протянул Ворон, — это потому, что вы на свежем воздухе мало бываете.

— Да, — согласился Васенька.

— А вечерами, наверное, в кино сидите.

— Нет. Редко.

— Почему? Не любите кино?

— Нет. Не знаю.

— А я ведь вас видел пару раз в зале. — («Все замечает», — поразился в который раз Васенька.) — Не понравилось, значит? Или вы не на то кино попали. Не потому, что оно плохое, а потому, что не для вас. — («А что, есть и для меня?» — хотел спросить Васенька.) — Мы же разное кино показываем. Вы походите еще, попробуйте, вдруг нападете на свое.

Это оказалось — как лекарства смешивать наудачу. Правда, безопасно. Единственная опасность — уснуть. Но Васенька спал тихо, не храпел. Не страшно. Он даже полюбил спать в темном зале среди людей, из темноты глядящих напряженно в несуществующий на самом деле мир.

Обычно он спал без сновидений, но как-то раз, на большом двухчасовом сеансе, Васеньке приснилось, что он сидит малой птицей на ветке громадного, до самого синего неба, дерева, а прабабка грозит ему снизу маленьким коричневым кулачком.

После фильма Васенька шел со всеми в толпе задумчивый. Он думал о том, что видение его оказалось не от лекарств, а заветным сном. И что никто, кроме Васеньки, его не увидит, никто и никогда, а пересказать Васенька не сумеет.

Что касается снов, так называемой свободной работы подсознания, то как-то раз Книжник рассказал Васеньке о своем жутком сне.

Как будто он, Книжник, едет в метро, а к нему пристает цыганка: покажи руку да покажи, я тебе погадаю.

Плюнул Книжник и показал.

Та посмотрела, покачала головой и сказала:

— Ты, милый, был когда-то, в прошлой еще своей жизни, режиссером, очень уж знаменитым. А сейчас ты, бедняга, ничего из этой прошлой жизни не помнишь. Сидишь читаешь свои собственные письма и даже не догадываешься, что сам их когда-то писал. Мучаешься, силишься вспомнить, но не можешь.



ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ

*

В ТЕНИ СТИХА

* *
*

Разве можно так бездарно терять время?
А откуда ты знаешь, что ты его потерял?
Откуда ты знаешь, что эти часы
мучительной пустоты —
не самое важное в жизни твоей?
Может быть, та тишина,
что стоит внутри,
и есть сгусток искомого смысла...

* *
*

Помоги мне смириться.
Дай мне силы остаться тем,
кем я был испокон:
мужем, отцом,
человеком, чья жизнь занята целиком
тяжелым, невнятным трудом,
не дающим ни радости, ни покоя;
посвящена
попыткам немного еще заработать
на хлеб насущный...

Я плакал, слушая «Апокалипсис».
Я слышал, как тает мое ледяное сердце...
Под сводами Домского,
протестантского собора,
в заснеженной Риге, в Старом городе
холодным ноябрьским вечером.
(В Домском жесткие,
неловкие лавки,
к тому же не топят.)

Разбуженные, вознесенные
хором мужским, детским хором,
колебались огромные ветви
тревожного звука.

И своды собора гудели,
как паруса, плотно набитые ветром.
И осыпался серебристой фольгой
гул металлического огня.
И шумело под ветром,
и, тяжелое, падало на пол,
и взлетало, рассекая пространство
голосом чистым и женским,
Слово.
И возглашало дитя:
«Первый ангел вострубил».
Силы какие проснулись во мне,
что откликнулось в сердце
на слова Иоанна?
Если бы знать.

Смирись. Пусть будет что есть,
пусть твое сердце болит.
Я хочу, но я не смогу, не выдержу, нет...

Судьба, как телега, увязла
в чавкающей колее
по самую ступицу.
Какие же силы нужны,
чтобы стронуть ее.

Дай мне помощь в труде ежедневном,
в каждом шаге моем.
Нет больше надежды,
гордых прав одиночества нет.
Слаб я.
Не верю в абсурд бытия.
Мир прекрасен, но я-то ничтожен.

Ничем я не заслужил твоей помощи,
нет во мне веры, и грязны мои помыслы —
славы хотел я. Прости мне, Господи.

Дай мне знак.
Чудо, которое совершилось,
слишком легко объяснить —
случайностью, совпадением, ошибкой...
Мир не любит чудес, не выносит —
слишком они тяжелы — тонут.
Мир смыкается топью,
ровняет разрывы ряской.
Не нужны чудеса, нет в них пользы.
Прячут венцы творенья
головы в песок материальный.

Прости мне.
Прегрешения тяжкие,
неверье ничтожное,
окаянную гордость мою.
Если Ты хочешь...
Если Ты хочешь.

Одна ночь в аду

Я жил легко до последней ночи.
 Но ее решил провести в аду.
 Непреднамеренно, между прочим.
 Но если все-таки проведу,
 доживу до утра, дотяну до света,
 пересыпанные песком глаза
 отворив в темноту, я запомню это
 утро, свежее, как слеза,
 отмывающая изображенья или
 преломляющая семицветный луч...

Люди лежат, где они стелили
 свои постели, двери на ключ
 заперев, замерев в неудобной позе,
 чутко вслушиваясь в тишину внутри
 собственных тел. Метаморфозе
 не мешай совершиться. Перегори:
 до земли, дотла, до угля, до праха,
 если хватит сил, если будешь жив,
 то уснешь, не зная сорного страха,
 голову на руки уронив.

* *
 *

Я — щука на белом песке.
 Крючки в моем плавнике.
 Кровоточит блесна.
 Вероятно, это — конец.
 Вероятно. Bravo, ловец!
 Развязка моя близка.

Удар — хвостом по песку
 изгибая тело — блесну
 ломая плавник — к воде.
 Песок залепил глаза.
 Неужели уже нельзя?
 Неужели сейчас и здесь?

Как томно, как тяжело!
 Скулу от боли свело.
 Ничего не могу.
 Ударом весла по лбу
 венчает мою судьбу
 хмурый рыбарь.
 На солнечном, нестерпимо
 сияющем берегу.

* *
 *

Кочую по квартирам,
 зимой снимаю дачи,
 а жизнь бежит пунктиром:
 пробелы и удачи.

Питаюсь черным хлебом
и супом из пакета
между землей и небом,
посередине где-то.

Сижу до полуночи
и чаем горло грею.
Удачи — все короче,
пробелы — все белее.

Разговор с историком

Здесь воздух горек,
а суть — суха.
Постой, историк,
в тени стиха.
Здесь то, что было
и не сбылось,
хоть волком выло
и ввысь рвалось...
— Попасть в анналы
не значит взмыть.
Совсем не мало
по волчьей выть.



АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

*

ЗДЕСЬ НИ ЗА ЧТО НЕ ЗАБЛУДИШЬСЯ

Рассказ

«**Ч**то ж ты делаешь, принцесса?!»
Пора бы перекурить. Вот выбраться из ельничка и отыскать поваленный сухой ствол.

«Ведь все странствия и приключения заканчиваются, едва герой находит свою принцессу. И далее живут они долго и счастливо. А что из того? Подвиги-то совершать уже некому. Извлечен герой из процесса. И некому схватиться с нечистью... Что ж ты делаешь, принцесса?! Похоже, ты совсем не думаешь головой. Или ты царевна-лягушка? И не царское это дело?»

Пичуга малая открыла себя за густой игольчатой ветвью. Сидела себе на пенечке, красуясь буроватой грудкой, и не собиралась страшиться.

Бадьин бесшумно отпустил колкую тяжесть, и ветка вновь скрыла пернатое виденье.

«Гнездо, наверное».

Серединой сентября повелевало бабье лето. Сухое, в полдень просто жаркое. Лишь к вечеру, к первым звездам в ясном небе, пробивало воздух, как кристаллами, грядущими ощущениями заморозков.

Днем же, как сейчас, лес с наслаждением подставлял привстающие на носочки стволы солнечному потоку. Легко и бережно обтекая высокие кроны сосен, лучи ровного желтого теплого света одевали объемной плотью невесомую паутину и улетающие в зиму хрупкие листья. Вдруг вставляли из черничника невысокие, не ставшие деревьями березки без вершин и, слепя и чаруя грибника, вспыхивали семейками прилепившихся опять. Пятнистые и пушистые, те замирали под взглядом, испуганно, но тщетно прижимаясь к ветхой сероватой коре.

Бадьин пристроился на гладкой толстой, давно поваленной осине, аккуратно поставил корзину с добычей. Но закурить не успел. Рядом, метрах в трех, приземлилась пичуга. Наверное, та же самая. Бочком, вприпрыжку подобралась на расстояние вытянутой руки. Той пришлось сдержаться, чтобы не вытянуться.

— Рассказывай, — ободрил пичугу несколько опешивший Бадьин.

Та молчала. Видимо, собиралась с мыслями. Бадьин ее не торопил, осторожно, одними пальцами извлекая сигарету из пачки прямо в кармане куртки.

Пичуга вдруг вспорхнула, подлетела к корзинке с грибами и клюнула в прутья плетения. Показалось, что сердито клюнула.

— Что я — один? Все собирают, — попробовал оправдаться Бадьин. — И, собственно, почему ты против?

Пернатая задира вернулась на ствол. Склонив серую, слегка взъерошенную головку набок, оглядела говорящего. Затем бурый зобок ее дернулся. Послышались звуки. Тонкие, переливчатые. Но странно приглушенные, словно доносящиеся не из птичьего горлышка, а из невидимого источника метрах в трех позади нее.

Взволнованно пошебетав несколько секунд, она смолкла и вновь пылливо глянула. Бадьин ощутил себя полным идиотом.

— Ну не понимаю... Но ведь не это же самое главное, правда? — попросил он снисхождения.

Показалось ли ему, но пичуга притопнула лапкой — словно с досады.

Вполне возможно, они бы и договорились. Но послышался треск, и из другого ельника, отчаянно распахивая лапник палкой, выбрался Иван Иваныч. Пыхтя, он добрел до осины и радостно устроился на птичье место, шурша выгоревшим брезентовым плащом. Пичуга, понятно, растворилась в воздухе.

— Нешто это лес? — забубнил дед привычное.

Из-под солдатской кепки и сердито разросшихся бровей маленькие глазки оглядели окружающую флору неодобрительно.

— Два километра туда, два — обратно! Тьфу! Тут и заблудиться-то толком негде. Вот, помню, забросили нас в тайгу...

— Я был в тайге, — бестактно и не без вызова сказал Бадьин, пока дед прикуривал.

Выпустив мощные сизые струи из широкого, в крупных порах носа, Иван Иваныч так же неодобрительно оглядел и Бадьина.

— Был он... Ты с мое поезди! Я аж до Сахалина добирался. То-то! — торжествуя провозгласил он, победно поднимая вверх сухонькую ладонь с вытянутым крохотным указательным пальцем.

— Я был на Сахалине, — не уступил в жестком противостоянии Бадьин. При этом ругая себя мысленно за мальчишество.

— Бы-ыл, — презрительно протянул дед. — А оставь одного хоть вот в этом лесу, так и ау!

— Ладно, — примирительно сказал Бадьин, заглядывая в дедово лукошко. — Ну а где же грибы-то?

Дед вздохнул:

— Так ведь дальтоник я. Не вижу в этих листьях да траве ни хрена!

— О! А чего ж в лес-то поперся? Подышать? Мог бы и на участке...

— Так ты же со мной на рыбалку не пошел!

— Да не люблю я рыбалку! Сколько раз говорить-то? И вообще, почему я должен повсюду с тобой ходить? Ты мне ни сват, ни брат, так — сосед по даче... У тебя свои дела, у меня свои.

— То-то, что свои, — хмыкнул дед. — Вот я тебя из виду-то и не выпускаю. Чтоб без присмотра своих делов с моей Валькой не наделал!

Бадьин смущенно стал затаптывать окурки. Тот под ногой погружался в мох и никак не хотел расставаться с последними струйками дыма.

На дедову невестку Бадьин и в самом деле заглядывался. Тронула чем-то. Впрочем, не чем-то. Глазами, сияющим взглядом. Он затыгивал в себя, ничего конкретного не обещая. Бадьин загорался, как школьник. И казалось ему — не без взаимности. Муж тридцатилетней Валентины, штурман то ли морской, то ли воздушный, где-то далеко и подолгу то ли плавал, то ли летал. Однако десять отпускных дней, проведенных на даче по соседству с соломенной вдовой, так и не разрешились бурным романом. И все явно из-за Иван Иваныча, бдительно несущего свекровью службу. Причем уже не первую осень...

— «Ты уж стар, ты уж сед...» — затянул Бадьин. — Нужна мне твоя Валька.

— То-то, нужна... А как встренетесь у забора — так съест готов глазом-то. — Дед сердито засопел. — И как это так, без понятия? Ведь муж у ей!

— А я что — против? Я и не собираюсь разрушать здоровую семью. Так сказать, ячейку общества. А только вижу — скучает девушка. Чего ж ей не улыбнуться? От меня не убудет. А девушки без мужского внимания чахнут и вянут. Это к твоему сведению, дед. Медицинский факт! Вернется муж, а супруга вся в расстройстве. С тебя же и взыщется.

— Мели. Фа-акт. Да еще медицинский. Насмотрелись срамоты по телевизору! Да трепать языком выучились. А совести нет!

— И у Валькиного мужа?

— И у него, — чего-то горестно вздохнул дед.

— Ты, дед, может, для себя ее, Вальку-то, бережешь? — вырвалось у Бадьина.

Дед вдруг резко встал, едва не опрокинув лукошко с жалкой своей добычей, зло сплюнул. Хотел еще что-то сказать, но махнул рукой, подхватил корзинку и почапал, сердито тыча палкой в траву. На ходу обернулся:

— За мной не следуй, коли так. Коли такой умный — сам из лесу выходи.

— Ой-ой-ой, — дурашливо, но тихо отозвался Бадьин. — Сам же сказал: тут не заблудишься.

А в голос крикнул:

— Погоди, Иван Иванович... Я тебе ствол покажу... С опятами...

Но дед уже скрывался за деревьями. Вскоре стих и треск сучьев под его ногами.

Бадьин вновь закурил, огляделся. Пичуга не появлялась. «Жаль, не договорились», — вздохнул грибник.

Солнце грело правую щеку. Вспомнилось: когда входили в лес, светило слева. Оставалось просто развернуться и припустить что есть духу обратно. И успеть на дачу раньше деда. Тем более, что тот направился в противоположную сторону. А Валентина дома одна...

Бадьин никогда не слыл записным сердцеедом. Больше того, с браком ему попросту не повезло. После трех месяцев замужества супруга охладела к не нужному никому инженеру настолько, что закрутила роман с первым же встречным. Но теперь Бадьину казалось ясным, откуда это сияние во взгляде соседки по даче. Конечно же, от одиночества! И его мужское, одинокое, брало свое. Он потрусил по вянущему ломкому черничнику, с некоторым стыдом увидев себя со стороны часто-часто перебирающим кобелиными лапками. Трава цеплялась за сапоги. А тут и солнце скрылось.

Минут через десять Бадьин понял, что заблудился. Лес, казавшийся знакомым как собственные шесть соток, мгновенно преобразился, обретая хмурую физиономию недоброго чужака. Ветвь тут же смахнула с головы испуганного дачника бейсболку, а острый сучок с маху болезненно ткнул в голень, чуть не споров сапог. Бадьин упал, выпуская корзину из рук. Богатая грибная добыча желто-белым потоком радостно хлынула на землю, стремясь поглубже зарыться в траву и мох. Выколупывая мелкие, крепенькие, самая сласть, опеночки из крапивы, мрачно ругался человек.

Собрав-таки шустрое грибное воинство, Бадьин заполошно проскочил еще метров сто, но затем постарался взять себя в руки. Остановившись и замерев, прислушался. Где-то вдалеке брехал пес. Звук размывался, разбиваясь о деревья, и определить направление было трудно. Но вот взревела лесопилка у кого-то на участке, мощно взревела, не скрываясь. Бадьин выдохнул и двинулся на жизнерадостный рев механизма.

Зная за собой слабость городского человека видеть во всем происходящем нечто символическое, имеющее непосредственное отношение именно к нему, Бадьин принялся утишать разыгравшиеся комплексы: «Ну и что произошло? Прямо лес на тебя рассердился... За что? Деда я обидел? Или за мысли о прелюбодеянии? Да ничего страшного не произошло. Ровным счетом. Солнце зашло? Заблудился? Упал? Крапивой нажгло? Эка... Что за беда? И что я сделал такого, за что меня не взлюбить? Я такой же человек,

как и все. И ничего в человеке не изменилось. Неправда, что времена другие. Телевизора насмотрелись... Не в этом дело. Что телевизор? Что теракты? Человек-то все тот же... И мир знаком и открыт каждому, если ничего не усложнять... И желающему по-прежнему доступна сладостная мечта о царевне. Пусть лягушке...»

Вскоре лес стал редеть, кустарник же, наоборот, сгустился. А значит, вот-вот покажутся участки. И точно, засветились впереди жестяные да шиферные крыши, послышались голоса, стук молотков, звяканье лопат. Кипела выходная дачная жизнь.

Найдя лаз в ограждении из колючей проволоки, Бадьин выбрался на грунтовую дорогу между двумя рядами незнакомых домов. Ну да не беда, теперь уж и спросить можно.

Тревожные мысли остались позади, в ворчливом лесу. Солнышко вновь показалось. Высоко вверху гудел дельтаплан — утеха богатых отдыхающих.

Детвора возилась у дощатого забора. Два мальчугана и девочка, одногодки, лет семи. Играли во что-то. При виде грибника ребяташки оживились:

— Ой, дяденька, есть грибы?

— Смотри, опята...

— А наши тоже с утра ходили...

Обступив уже благостно настроенного Бадьина, детишки на ходу забрались ручонками в корзинку, доставали грибы, восхищались, радовались. «То-то, — расчувствовался он, — ничего не меняется. Пока есть детская радость этому миру, ничего не меняется... И что тут телевизор?»

— До свиданья, — кричали ребяташки, отставая.

— Счастливо оставаться, — отвечал усталый, но радостный Бадьин.

Лишь отойдя метров на пятьдесят, краем глаза отметил он что-то лишнее в корзине, что-то чужое.

Поверх грибов лежала лягушка. Ободранная. Без царской своей кожи. В кровавой плоти. Бадьин подцепил ее острием ножа и гадостно отшвырнул в сторону. Со странно замеревшим сердцем задвигал ногами — как чужими.

Сзади смеялись дети. Чье-то будущее...

Выйдя к своему участку, он увидел стоящего на крыльце соседского дома Иван Ивановича.

— Я... В тайге был... На Сахалине, — дразнился дед. — А сам в трех соснах заблудился! А? То-то.

Из-за плеча деда улыбалась Валентина. Сочувственно улыбалась.

Осень промчалась, как ветром гонимая. После летних отпусков народ резко активизировался. Бадьин с головой окунулся в дела.

Бывший выпускник МФТИ в годы дикого предпринимательства не потерялся. Пережив неудачу семейной жизни и забыв о дипломе инженера, торговал всем, что покупалось. Кроме оружия, наркотиков и живого товара. Ходил под крышами, оказывался на «стрелках», бывал и бит, научился давать взятки ненасытным чиновникам. Когда более-менее улеглись над страной шторма, Бадьин выплыл из бурных волн владельцем небольшого предприятия и этой вот дачи. Участок по Ленинградке с просторной избой свалился на него после прохождения по длинной цепи долгов одного из бывших компаньонов. Предприятие изготавливало пищевые добавки к кормам для домашних животных. Бадьин поначалу изумленно качал головой — откуда что берется? Но дело есть дело. В конце концов, добавки, прокат или тушенка — все продается и покупается по одним законам. Тем более, что на этом рынке конкуренции со стороны зарубежных компаний пока не предвиделось. Слишком дорогая получалась у них продукция. Наша ничем не уступала, но стоила раза в три дешевле. Бадьин торопился успеть выжать из ситуации максимум. На личную жизнь давно махнул ру-

кой. Царевны не попадались. Зато лягушек развелось в избытке. С ними надолго не связывался.

Лишь изредка, словно на зов из прошлого, Бадьин оглядывался в начало осени, в солнечный грибной лес, пытаясь разглядеть улыбку Валентины. И однажды его поразило воспоминание: ведь они ни разу не разговаривали, даже словом не перемолвились. Чертов дед появлялся как из-под земли, пресекая любую попытку контакта, точно бдительнейший из телохранителей. Вспоминалась лишь улыбка женщины. Практически незнакомой...

Как-то в октябрьский вечер Бадьин даже набрал их номер. Гульнул после удачной сделки, рука вступила в предательский сговор с памятью. Ответил дед. Долго соображал, что за пьяный мужик звонит.

— Ну и чего надо?

— Да так, — замялся Бадьин. — Чего-то вспомнилось... Хорошо за грибами ходили...

— Опять, что ли, заблудился? — хмыкнул дед.

Бадьин задумался.

— А пожалуй, что и так. — И с пьяной решительностью брякнул: — Валентину позовешь?

— Щас, — буркнул дед. — Разбежался. Ишь кобели...

— Муж, что ли, дома? — нахально осведомился Бадьин. — Налетался-наплавался?

— Налетался, — зло отрезал дед. — До того налетался, что к другой улетел. Кобели неугомонные! Ты тут еще... Напился и звонит, орел! Что тут тебе? Этот... интим по телефону?!

— Погоди, не бросай трубку, — взмолился Бадьин. — Погоди... Я, что ли, в этом виноват?

— Все вы одним миром...

— Погоди... Как... она-то? Позови, слышь, Иваныч, позови, а?

В трубке ненадолго стихло. Иван Иваныч словно размышлял. Затем все же ответил отказом.

— Не будет она с тобой разговаривать. Не будет. Забудь об этом, — решительно сказал дед.

Дело должно развиваться. Хоть в какую сторону. Иначе оуклится, скукожится, завянет. Вместе с тобой.

Поздней осенью Бадьин выехал в Старую Руссу. Минеральные добавки к кормам неожиданным образом вышли на минеральную воду. В Старой Руссе старый курорт целебных вод влачил довольно жалкое существование. А перспективы тем не менее проглядывались весьма неплохие. Требовались, известное дело, инвестиции. Бадьин в группе бизнесменов оказался в древнем городе.

Поразили тишина, храмы, колокольные звоны. Случайно узнал, что именно здесь Достоевский написал «Братьев Карамазовых». История открывалась не с забытых школьных страниц, а дышала тайной из каждого полутемного переулка.

Дальше — больше. Пропуская дежурные официальные церемонии, Бадьин бродил по городу. Старательно уходя от каменных домов, погружался в неширокие улочки. Дряхлые домишки по окнам уходили в землю, недоуменно поглядывая на пришельца из-под раскидистых кустов сирени.

В конце одной из улиц как-то мелькнули голубоватые купола невысокого храма. Бадьин двинулся по разбитой асфальтовой дорожке. Подойдя к храмовой ограде, прочитал, что церковь возведена в память святого великомученика Георгия Победоносца. В представлениях Бадьина святой никак не связывался с образом великомученика. Наоборот, этот богатырь вся и всех сокрушал.

В пустынном храме Бадьин почувствовал себя неловко. Конфузясь, расспрашивал девушку, продающую свечи, словно экскурсовода. Облачен-

ная в косынку, скуластенькая и совершенно спокойная, та словоохотливо и как-то даже утешительно объясняла. Поставив по ее подсказке свечи, на выходе Бадьин купил икону Чудотворной Старорусской Божьей Матери. Чуть было не сказал «Сдачи не надо», когда девушка отсчитывала с пятисотенной. Неловко покрутив бумажки в руке, наконец заметил ящичек для пожертвований.

Ближе к Новому году дела вновь пошли в затишье. Знакомые предприниматели разлетались на зимние каникулы. В основном за рубеж, в теплые страны, к ласковым лучам и волнам.

Возвращаясь по вечерам в новую, но так и не отделанную квартиру, Бадьин автоматически в дверях вновь давал клятву заняться ремонтом. Затем шел на кухню, останавливался, привалившись к косяку, вглядывался в икону, любовно пристроенную в красном углу. Знающие люди рассказали, как правильно обойтись с образом.

Три рюмки водки снимали напряжение дня. Закусывал маринованными опятами. Сам мариновал. Сам и собирал. В лесу около дачи. В светлом осеннем лесу. Под ясным взглядом Валентины...

Ну ее к черту, эту Турцию! Бадьин принял еще рюмочку. Решимость возросла, затем окрепла. Осторожно сняв икону, прихватив пару бутылок водки, банку грибов, еще какой-то снеди, Бадьин вышел из кухни.

Внедорожник спокойно справился с небольшими заносами. Похоже, утром проходил бульдозер, более-менее расчистил подъездные пути к дачному кооперативу. Безлюдные темные дома угрюмо нахохлились под снежными шапками. Фонари горели лишь на перекрестках, радужными искрами рассыпая свет на нетронутым снегу участков. Выше, в бездонной мгле, мерцали звезды, грозя морозной ночью.

Бадьин вылез из теплой машины, вдохнул полной грудью. От обжигающего свежего воздуха даже поперхнулся. Срочно печь натопить!

И только тут он разглядел на обочине следы. Слегка припорошенные. Может быть, суточной давности. Сторожа, наверное, делали обход.

Электричества не было. Пришлось повозиться, подключиться к генератору, стоящему в подвале. Ладная кирпичная печь жадной тягой начала страстно пожирать сухие березовые полешки, заготовленные еще осенью. Той осенью...

Бадьин прикрыл поддувало, наполовину задвинул вьюшку. Рев пламени немного стих. «Ну, с наступающим!» Холодная водка легко прошла в горло, следом юркнул маринованный опенок. Икона, лежащая на столе, глянула укоризненно.

Бадьин закурил и вышел на террасу. Промерзшие доски закрипели, жалуясь на заброшенность и одиночество. К редким кустарникам на участке, петляя, подбирались заячьи следы, разбегались в разные стороны. Уходили и к забору с соседним участком...

Почудилось? Неверные световые блики пробивались сквозь занавеску крайнего окна дома Иван Ивановича. Бомжи, что ли, обосновались? Да только в этой дощатой халабуде что за спасение от стужи? Бадьину стало противно от мысли, что чьи-то грязные руки шарят по комнатам, где жила Она... Она? А он ни разу и не был у них в избе...

Бадьин не стал вызывать сторожей. Прихватив топор, сунул ноги в холодные валенки, стоящие в прихожей, накинул тулуп и направился к соседнему участку. К соседскому дому вели следы. Ступая в них, Бадьин почти бесшумно добрался до крыльца, сунул руку за пазуху, проверил малокалиберный, оснащенный патронами со стальными шариками. Затем извлек из кармана тулупа сильный фонарь.

Дверь открылась почти бесшумно. Бадьин включил фонарь и вступил в тихий холод прихожей. В свете фонаря замелькали развешанные на стенах

и под потолком пучки каких-то трав, запахло осенним лесом. Луч уперся в плотную дверь из свежеструганой древесины. Дверь под рукой даже не дрогнула. Дивясь собственной смелости, Бадьин пару раз решительно ударил обухом в косяк. Не особо рассчитывая на ответ и размышляя (не позвать ли все-таки сторожей?), ударил еще пару раз.

Дверь неожиданно открылась, чуть не выбив фонарь из руки Бадьина. Он машинально шагнул назад, выставя перед собой для защиты и топор, и слепящий луч. В ярком свете застыл нелепо одетый человек, прикрывающий глаза ладонью. Казалось, одевался он в спешке, натягивая на себя все, что попадалось под руку. Из-под короткой куртки торчал подол свитера, из-под него — подол какого-то халата. Шапка была нахлобучена на платок, завязанный на подбородке. В другой руке человек держал зажженную свечу.

— Какого тебе тут надо? — выдохнул Бадьин.

Человек не отвечал. Зато откуда-то из глубины дома донеслось хриплое, протуженное:

— Кого несет? Да заходи быстрее, дом застудишь, черт! Носит неладная!

Нелепо одетая фигура так же молча повернулась и двинулась в дом, освещая себе дорогу свечой. Бадьин не поверил ушам своим:

— Иван Иванович, ты, что ли?

— Я-то уж шестьдесят пять лет как Иван Иванович, — отозвался слабый, едва различимый голос. — А вот кого тут ночью по чужим домам носит?

Бадьин закрыл за собой двери и, минуя небольшие проходные комнаты, прошел на голос.

В полутемной кухоньке, едва освещенной свечой, на узкой кушетке под грудой одеял и верхней одежды лежал Иван Иванович. Бадьин осветил свое лицо, чтобы успокоить хозяина, направил луч в сторону, осмотрелся. В углу раскаленной дугой слабенький калорифер пытался одолеть зимний холод. Без особого успеха.

— Дед, — оторопело проговорил Бадьин, — ты... вы что тут делаете? Не май месяц-то...

Иван Иванович слабо шевельнулся:

— Не май. Уж и нутром чувствую. А у нас и дрова... тово... Вишь, в лес пошел, да снегу по пояс... Нахватал в обувь-то... Боюсь, не воспаление ли...

Недвижная молчаливая фигура, до сих пор сидевшая в ногах у деда, протянула руку и положила ладонь на старческий лоб. Дед затих.

— Температура? — шепотом спросил Бадьин.

Фигура не отозвалась, но протянула ладонь к руке гостя, пожалала ее. Рукопожатие оказалось теплым и ласковым. Луч фонаря выхватил из полумрака глаза под платком. Глаза, отвечая лучу, ясно и влажно сверкнули в ответ. Бадьин уткнулся в бесконечное влажное пространство неверящим взглядом...

Минут сорок ушло на то, чтобы перетащить деда и, с помощью Валентины, нехитрые причиндалы в жарко натопленные комнаты Бадьина. Все еще не веря в случившееся, устраивал деда ближе к печке, вливал в него водку, суетливо метался по комнатам, роняя по дороге какие-то пузырьки и таблетки. На ходу урывками вслушивался в отрывистые фразы Иван Ивановича:

— Я и сначала-то ему не верил... Кому нужна глухонемая?.. Так он ее с квартиры-то и попер... И я, как отец, значит, проклял его... Вот как перед Богом... Взял и проклял... И всего у нас и есть теперь, что этот домик... Плесни-ка еще чарочку... Мы уж неделю тут... Да не смотри ты так, Валентина... Когда еще выпью... Может, последняя...

Дед расчувствовался, затем стал затихать, что-то проборматывая под нос.

— Она же... Как можно сиротинушку?.. Грех — обижать-то...

И все это время, даже не оборачиваясь, Бадьин ощущал на себе взгляд Валентины. Но боялся, что, стоит только поднять на нее глаза, — случит-

ся непоправимое. Что происходящее окажется нелепым хмельным сном. И лишь когда дед негромко захрапел, Бадьин немного перевел дух, остановился в ногах у деда, где вновь пристроилась Валентина. Она уже избавилась от своего неуклюжего наряда, оставшись в свитере, юбке и валенках. Светлые вьющиеся волосы, слегка растрепанные, короной окружали высокий лоб.

— Даже не знаю, что и сказать, — чувствуя себя полнейшим идиотом, пробормотал Бадьин.

Этот сумасшедший, из другого века дед сводил с ума. А Валентина, Валентина...

— Я еще тогда, в храме, что у Достоевского.... — говорил Бадьин то-ропливо, — понял это... Там девочка, в храме, в платочке... Она так мне все объяснила. Толковая такая девчужка, слова такие ладные и ясные... И я у образа загадал... Нет, попросил... и свечку поставил... Вот образ привез, посмотришь потом... Он чудотворный... Понимаешь?

Он вдруг испуганно замолчал и посмотрел на нее.

Валентина подняла на него взгляд и понимающе улыбнулась. За окном мерцали-подмигивали таинственные звезды. Может быть, там существовали загадочные принцессы. Но Бадьину туда не хотелось... Что-то важное надо было договорить и доделать именно здесь.



ЕВГЕНИЙ ЭРАСТОВ

*

РУССКАЯ ШТОЛЬНЯ

* *
*

Там, где колкий снег и коварный лед,
Мировой ковчег, неземной полет,

Запредельный свет, стоаршинный мост,
Полоумный бред, ледяной нарост,

Там, где тонкий лед и зернистый снег,
Человек идет уж который век.

И не вынет нож, и не вскроет вен.
Ледяная дрожь, стопудовый плен.

Там, где тонкий лед, запредельный свет,
Ты иди вперед — ведь исхода нет.

Ты один, один — посреди снегов.
Ты иди, иди — не страшись врагов.

Ветер гнет в дугу дерева вокруг,
И стоит в снегу шестикрылый друг.

А у белых крыл роковой размах.
Может, ты забыл о чужих мирах,

Где свечу задуть, как зерно смолоть,
Где видна чуть-чуть неземная плоть?

* *
*

Белый-белый, мучительный свет
Льется с неба, а в небе высоком
Ни пылинки, ни облачка нет —
Только свет над путем одиноким.

Неужели вся родина здесь —
В этом яблоке, тронутом гнилью,
Где диктует осенняя спесь —
Лебединую песнь изобилью?

А в овраге лепечет родник,
Где такие познаешь глубины,
И свербит онемевший язык
Терпкий вкус черноплодной рябины.

Памяти Андрея Платонова

То не призрак гуляет над родиной,
Мировым коммунизмом страша, —
То крыжовником, черной смородиной
Прорастает тихоня душа.

Прорастает шершавой крапивою,
Серебристой полынью-травой,
Наземь падает спелую сливою
В безучастной тоске мировой.

Как же нам это дело распутывать,
На какую катушку мотать,
Легким коконом тело укутывать
И над пепельным небом летать?

Черноокою ночью морозною,
Где печурка сжирает дрова,
С первозданной душой паровозною
Породнились сухие слова.

Над твоей инженерской смекалкою
Тяготеет вселенский провал,
Что тебя и манил, и отталкивал,
И к бесхозной груди прижимал.

Где белела фуражечка царская,
Где мерещился щучий улов,
Прорастает трава пролетарская
Сквозь железо царевых орлов.

Чтоб душа — заводская, фабричная —
Поднялась над земной суетой,
Воспарила б она, горемычная,
Над холодной, седой пустотой.

Воспарила б она над соборами,
Что смиренно стоят без креста.
Над лесами, полями, просторами,
Где свистит голытьба-нищета.

Над костлявой колхозной буренкою,
Что давно не дает молока,
Над советской резной шестеренкою,
Что железом вцепилась в бока.

Над гробницей на площади каменной,
Над державной Москвою-рекой,
Над идеей — высокой и пламенной,
Над бескрайней российской тоской...

* *
*

Ничего-то толком не осталось —
Только ветер, дующий в висок.
Что такое память? Это жалость
К прошлому, ушедшему в песок.

Что такое память? Это сети
С рыбками, застрявшими внутри.
Обветшалый сон тысячелетий,
Тление обветренной зари.

Но пока хрусталик не мутнеет,
Смотришь вдаль, мгновеньем дорожа.
Сухорукий тополь пламенеет,
На ветру простуженном дрожа.

Дорожить, наверное, и нечем —
Разве только дождиком сырым,
Что прошел, почти и незамечен,
По знакомым улицам кривым.

Да заштатной тучкой-невеличкой,
Что едва видна из-за плеча,
Да сырой и сломанною спичкой
Фабрики «Заветы Ильича».

* *
*

В лес тенистый дорога уводит,
Вдоль дороги орешник растет.
И никто меня в лес не проводит,
И никто-то меня не спасет.

Нет печальнее детской утехи
Рты плотвичек дырявить крючком,
Обдирая лесные орехи,
Выбираться из рощи бочком.

Так, чтоб веточки тихо хрустели
Под ногой, удивленно смотря,
Как ползет по чешуйчатой ели
Золотистый поток янтаря.

О шиповник ободраны руки.
Чуть доносится крик петуха.
И о вечной, бездонной разлуке
На опушке вздыхает ольха.

В этот лес я уйду без оглядки
Под ореховый кров тишины,
И меня перекрестит украдкой
Скособоченный куст бузины.

* *
*

Не страшно ни на грош, что канешь в пустоту,
В расколотую тьму, бездонную, немую,
Что плавно перейдешь за узкую черту,
В непостижимый мир, в пучину мировую.

Прозрачная роса по ветке проползет
И канет навсегда в суглинок горемычный.
Быть может, и тебе когда-то повезет —
Ровесник мой, скворец, певец русскоязычный.

В молочных облаках, в нетронутой тиши
Пируй на высоте и пей из лунной чаши.
Сгоревшего угля в себе не вороши —
Обломки не круши — там все уже не наше.

Пускай осенний лист кружится и шуршит
Над горестной землей, над братскою могилой.
Сквозь трепетный эфир уже к тебе спешит
Воспитанник небес, посланник шестикрылый.

* *
*

Не зарастет народная тропа.

А. С. Пушкин.

Я споткнулся на пятой стопе,
Прочитав о народной тропе, —
Пробежали мурашки по коже.
Много видел я троп и дорог,
Но высокий Небесный Чертог
Был назойливой славы дороже.

Двести лет захудалый народ
Рифмовали со словом «вперед» —
В Лету канули бойкие строчки.
А народ средь глухой нищеты
Стерегут нумизматы — менты
Да свистят в жестяные свисточки.

Мы — как птицы. Поем никому.
Ну а родина тонет в дыму —
От Архангельска и до Кавказа.
Зарифмованный бедный народ
Все на те же приманки клюет —
Корку хлеба да лживую фразу.

Есть награда повыше толпы
И протоптанной ею тропы,
И загробной медовой коврижки,
И завистливой лживой молвы.
...Разве шелест несмятой травы
Чем-то хуже прочитанной книжки?

* *
*

Я в советской ночи, в закупоренной темной бутылке,
Где свербят кирпичи, где мерещится рана в затылке,

Там, где каждый ларек суматошно ругается матом,
Там, где каждый царек величает себя демократом.

Что за скрежет и хруст! Что за боль в обнаженных суставах!
Воздух ясен и пуст, только слышится грохот составов.

И на фоне грозы, накануне всемирного взрыва,
Две заштатных слезы, две росинки блестят сиротливо.

Не пробить этот шквал, эти россыпи, русская штольня,
Мой коленчатый вал, золотая моя мукомольня,

Пряник сахарный мой, Боровицкие чудо-ворота,
Где окутана тьмой молодая кремлевская рота,

Где казенный снежок заметает луженые лужи.
Трудновато, дружок, да мы тертые — выдюжим, сдюжим.



АНДРЕЙ КУЧАЕВ

*

ДРУГАЯ СТОРОНА УЛИЦЫ

Рассказы

ВСЕГО-НАВСЕГО ОН

Только оставшись один, человек обращается к себе в третьем лице. Думает о себе в третьем лице.

В этом нет никакой патологии. Такой взгляд на себя помогает переносить одиночество, отсутствие собеседника.

Человек видит себя словно со стороны. Иногда со спины. Как бывает с двумя зеркалами, когда клиенту подносят в парикмахерской второе зеркало, чтобы он посмотрел на свой затылок — все ли ему нравится. А он пугается в первое мгновение: кто это там, чей свежестриженный затылок он видит?

Вспоминать в третьем лице — «он» — еще забавней! Еще дальше человек отходит от себя: неужели то прекрасное видение имеет отношение ко мне?

Он любил вспоминать те моменты жизни, когда ему грозила опасность. Настоящая опасность, которой он счастливо избегал. От этого ощущение жизни усиливалось. Избранность судьбы и жребия обещала, таким образом, исключительность и будущей судьбы — форма малого бессмертия.

Особенно вспоминался один случай. Он когда-то очень любил некую девушку, в общем-то, как выяснилось позже, пустую и жестокую, мелко жестокую, посредственность, но тогда он готов был на все ради нее. Измучила она его в те давние времена довольно-таки сильно.

Ее родители когда-то жили на Волге, там и в то время еще оставалась ее тетка. Они к ней ездили, куда-то в район Калязина.

Волга в тех местах широкая, деревня тетки находилась на крутояре, где и чернел весь порядок застарелых изб, в которых редко доживали наследники деревенских, чаще — новые владельцы из городских.

Вечерами они сидели над самым береговым обрывом, небо над широкой рекой раскидывалось неохватно. Один край его падал за далекий лес, уже за избами, долго горел шафраном и синькой, удерживая летний закат, в то время как противоположный край, заречный, на полмира распахивал стылую бездну, наполнялся звездами и был столь высок, несмотря на темноту, что захватывало жутко дух, и река, широко текущая и одновременно стоящая на месте, начинала пугать своей живой мощью.

Тяжелые баржи медленно одолевали течение или покорялись его воле, влеклись с тяжелыми гудками и одиноким огоньком топ-сигнала. Они гляделись привидениями жутче и внушительней пресловутого «летучего голландца», а сама река становилась загадочной и потусторонней, как Стикс.

Кучаев Андрей Леонидович родился в 1939 году в Москве. Окончил Московский институт связи. Автор нескольких книг прозы. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Москва» и др. В «Новом мире» публикуется впервые. В настоящее время живет в Германии.

Впрочем, развешанное на иной барже бельишко, шальной пес, перебегавший с кормы на нос, делали всю картинку уютной и будничной.

В одно из утр они махнули на другой берег, поссорились, и он в сердцах прыгнул из лодки, хотел вплавь вернуться домой, голова была дурной от выпитого, тут как раз подвернулся пароход, деваться было некуда, и он ушел под борт, к вящему ужасу и восторгу пассажиров.

Как его не утянуло под винт, как он выплыл — непонятно. Спасли его рыбаки на моторке, заметившие столичного дурилу пловца...

Спустя годы после разрыва, уже в новой жизни, свободной, он опять решил навестить ту деревню, то место на Волге, чуть не ставшее для него роковым.

Сел на пароход, как был, с авоськой, в которой крутилась бутылка «Столичной», с закуской и даже вилкой, — ужинали с друзьями в ресторане речного порта.

Он нашел тот деревенский дом, дом оказался обитаем — отец давней подруги, верзила волгарь принял его с мрачным равнодушием, с тем самым, с которым живут эти люди и которое рассеивается только с выпивкой. Бутылка оказалась кстати. Они выпили. Время было совсем неподходящее для возлияний — вставало утреннее июльское солнце, начинало припекало спозаранку, что обещало несусветную жару днем.

Хозяину взбрело в голову отправиться на дощанике — утлой плоскодонке — по реке за топляками — мокрым притонувшим лесом, отставшим от сплавных плотов. Бревна эти, черные и тяжелые, как чугун, плавали недалеко от поверхности, повинуясь вихревым потокам в затонах и проливах между островами. Они могли проломить дно неосторожного судна или моторки, отчего волгарь и взял дощаник, сидящий в воде неглубоко.

Захмелевший на жаре гость вызвался от нечего делать помогать. Поплыли вместе. Шальной местный житель таскал бревно за бревном, пока дощаник не переполнился настолько, что от кромки борта до воды оставалось не более ладони. Начнись зыбь, самая легкая, — их бы залило и они б перевернулись. Счастливая безалаберность простых людей... Он с ужасом смотрел, как его могучий спутник тащит еще одно бревно, плоскодонка опасно наклоняется и борт начинает зачерпывать.

Под стеклянной, темной, цвета дегтя, поверхностью воды он различал в темной глубине черные провалы омутов и силуэты ленивых рыб, висящих над ними. Он живо представил себе, как двое опускаются туда со своими бревнами, а небо начинает меркнуть, уходя вверх, пока не превращается в жалкое мерцание. Холодная черная жуть обступает их, и они сами наливаются тяжестью свинца, обреченные стать топляками — полуутопленниками-полубревнами...

Он видел себя со стороны. Его лицо белым пятном погружалось и исчезало в зелено-дегтярной глубине.

«У него не было сил больше бороться...» — подумал или сказал кто-то.

И сразу пришел покой. Он даже скривился в зевотной судороге.

А солнце пекло нещадно. Голова раскалывалась от выпитого и жары. Они были как раз на опасном расстоянии от фарватера, здесь проходила «Ракета» на Москву. Она поднимала такие буруны, что и менее груженная лодка могла перевернуться. Что и происходило не однажды: рыбаки, которые спасли его когда-то, утонули, хоть и выросли в этих местах, у воды.

«Ракета» как раз и появилась из-за ближнего острова. Высоко поднятая над водой ее носовая часть вздымала разваленные на две стороны крутые волны.

«Конец», — спокойно подумал он.

Детина за веслами, его Харон, казался абсолютно невозмутимым.

Он повернул дощаник кормой к уже бегущей волне и бросил весла.

В этот час закон Архимеда действовал как-то не так, как обычно. Они вместе с посудиною поднимались на гребнях крутых валов, чтобы ухнуть

чуть не на дно, и каким-то чудом вода не смыкалась над углым суденышком. Он закрыл глаза. Ему показалось, он даже заснул. Кормчий был сама невозмутимость. Он не скинул ни бревнышка! Они выплыли.

— Ну, парниша, Бога благодари, что жив остался, — весело сказал волгарь, когда они причалили.

Второй раз на том же самом месте он чуть не расстался с жизнью.

Воспоминание это часто приходило к нему, и он спрашивал себя: «Во имя чего сохранена мне была жизнь? Ведь не просто так, а для чего-то». Спасение оба раза выглядело если не чудом, то совершенно неправдоподобным везением. Эти воспоминания тешили самолюбие, настраивая на ожидание чего-то счастливого. Когда же на него посыпались вместо того удары, он подумал, что жизнь может быть сохранена ему, и не обязательно для счастья. «Но для жизни же! А разве это не счастье?!» И он жил в ожидании счастья. И не заметил, как стал обращаться к себе в третьем лице. Словно сверх плана доживал за него кто-то другой. А он будет жить потом. После.

Немецкий городок, где он теперь жил, стоял тоже на большой реке, как та волжская деревня, — широкой, полноводной реке, если и уступающей Волге, то немного. На реке были построены две плотины, обводные судоходные каналы служили дорогой для речных судов и яхт местных любителей.

Была и электростанция с водосбросом на второй плотине, он часто проезжал по ней на велосипеде. Внизу, метров на пятнадцать ниже гребня плотины, гремели потоки, извергаемые из жерл водосброса. Тугие буруны вставали из вспененной глубины, кипя и беснуясь в каком-то яростном бессилии, словно не в силах были излить эту свою ярость на врага, которого давно и тщетно здесь ожидают.

«Если он зазевается перед последним поворотом с плотины, то как раз угодит в их свирепые объятия! Враг он подходящий, всем чужой, лишний...»

Однажды он припозднился в городе, возвращался на велосипеде и решил ехать через плотину, чего не делал в поздние часы, так тут было жутковато-пусто в эти предзакатные сумерки.

Он разогнал велосипед по набережной, на крутом вираже въехал на плотину и налег на педали — тут не было ни души.

Он издали смутно видел опасное место, парапет, перед которым надо было успеть повернуть, чтобы не перелететь через него в клокочущий каньон водосброса. Он уже слышал рев водяной круговерти внизу.

Неожиданно для самого себя он еще налег на педали, разгоняя велосипед навстречу едва различимому ограждению.

Удар был не слишком сильным. Как в цирке или в кино, он вылетел из седла и полетел куда-то в пустоту. Упругая вода подбросила его, протащила и аккуратно положила на бетон, у подножия аварийной железной лестницы.

«Чудеса. Если бы ехал не ОН, а Я, то я бы разбился в лепешку до того, как утонуть».

А ехал всего-навсего ОН. Что взять с мертвеца?

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Дело было весной, когда погода здесь, на северо-западе Европы, особенно неустойчива. А в эту весну она выдалась просто на редкость непостоянной. Ветер с моросью сменялись коротким солнечным получасом, чтобы потом исхлестать осмелившихся высунуть нос холодным, секущим ливнем.

Вечера наваливались как-то сразу ночным сумраком, в котором трудно было разобрать, что сыплет с неба: снежная мокреть, суховатая крупка или

жесткий колющий дождь. Звезды появлялись словно для того, чтобы пробудить надежду и сразу же погаснуть. Мутный месяц катался среди серых лохмотьев, не в силах засиять, и истаивал в изнеможении, вой ветра в низких кронах мокрых деревьев, казалось, раздается из-под земли, а небо готово было поменяться местами со своим отражением в мелких холодных лужах.

Понятно, что сидеть дома с книгой и пить бесконечный чай оставалось единственным, на что был обречен одинокий необщительный человек. Он и сидел.

Когда никого не ждешь, ночной звонок особенно тревожен. А в такую погоду еще и зловещ по-своему. Звонили от двери снизу. Потому что в глазок он никого не увидел. Надо было дистанционно снять блокировку двери, так и не зная, что за посетитель, — переговорное устройство не работало на его памяти никогда. Он нажал кнопку блокиратора. «Может, не ко мне?» Внизу хлопнула дверь. Затопали чьи-то ноги по лестнице — посетитель знал, куда идет, он не замешкался у дверей нижнего этажа. Шел прямо сюда, к нему, шаги остановились у самой его двери. Посетитель не спешил звонить, ждал уже здесь. Надеялся, может быть, что он догадается открыть? Так они и стояли по разные стороны двери, тяжело дыша: он от волнения, тот — от подъема. Ночной гость не выдержал первый и позвонил. У хозяина над ухом загудел зуммер. Только тут он приник к глазку вторично. На него смотрел в упор чей-то чужой глаз. Как ни странно, в нем была не угроза, а, как ему показалось, мольба.

Он открыл дверь, повернув ключ и потянув ее вовнутрь.

На коврике перед дверью смирно стоял, как стоят только местные жители-немцы, пожилой мужчина. Со шляпы его текло, хотя он и тряс зонтиком, который успел сложить. С зонта тоже набрызгало. Хозяин молча отступил и жестом пригласил незнакомца войти.

Последовали извинения со смущенной улыбкой и попытки объяснить по-немецки, кто и зачем пожаловал в лице ночного гостя, без приглашения и предупреждения, как не принято теперь уже даже и в России.

Он не понял почти ничего. Если бы гость говорил по-русски, он бы тоже вряд ли понял больше, — посетитель волновался, путался, обрывал свою речь на полуслове, замолкал, как-то безнадежно махая рукой. Чаше других произносилось дежурное слово извинительного происхождения — «ферцаунг».

Положение не хотело упрощаться. В конце концов он пригласил гостя снять пальто и пройти в комнату. Между делом включил свой электрочайник — «вассер-кохер».

Здесь не случайно приводятся слова из немецкого в русской транскрипции, — их присутствие должно подчеркнуть ту бездну, что пролегает между немцем и пришлым, эмигрантом. Если бы эмигрант понимал меньше, не пытался зацепиться за спасительные вспышки смысла отдельных, уже знакомых слов, его путь к собеседнику, возможно, был бы светлее, короче. От вспышек же отдельных смысловых значений темнота по законам оптики и зрения делалась только гуще. В комнате сидели за чаем два абсолютно чужих человека, оттого вся их мимика вместо благожелательности и добродушия источала фальшь и притворство плохой актерской игры, а улыбки и смущенные мины выглядели гримасами ненормальных в доме для умалишенных. Еще так бывает в зоопарке, в террариуме, когда разделенные стеклом существа разного зоологического вида упрямо стараются постичь душу друг друга.

Ночной посетитель, когда он оставил попытки объясниться и немного успокоился, оказался пожилым, чуть старше хозяина, застенчивым господином с доверчивыми, не вполне соответствующими возрасту живыми глазами. Стало казаться через некоторое время, что он доволен и приемом, и вообще всем происходящим, как бывает доволен человек, попавший в конце концов именно туда, куда давно стремился.

Хозяин тоже оставил попытки наладить видимость контакта и ушел в себя. Он зачем-то встал, достал из шкафа со стеклянными створками, заме-

нявшего ему и секретер, и сервант или горку, толстый конверт, набитый фотографиями. Он разложил эти фотографии перед посетителем. Тот надел очки и принялся с видимым интересом их рассматривать. Здесь были фотографии из жалкого семейного архива эмигранта, давно растерявшего не только близких, но и всякую надежду восстановить даже подобие семьи.

Неожиданно гость засмеялся, вытащил из пачки снимок и стал его подносить к глазам, отстранять от себя, щелкать по нему указательным пальцем и совать под нос хозяину.

Хозяин, наш герой-эмигрант, взял покорно снимок, посмотрел на него в тысячный, наверное, раз и сказал по-русски: «Да, это мой отец. Он умер как раз в год моего отъезда сюда, в Германию... Живи он, я бы никогда не уехал из России!»

Посетитель замотал головой, засмеялся и заговорил по-немецки неожиданно горячо, страстно.

Наш эмигрант длинно и пристально смотрел на говорившего, и на его лице проступало удивление, граничащее с изумлением, все нараставшим по мере того, как гость распялялся и жестикулировал.

«Я брежу? Сплю? Этот пришелец, этот немец как две капли воды похож на моего отца! Да что там — он точная копия моего отца! Это более чем копия — живое воплощение моего отца!»

Немец попросил еще чаю. Он перебирал снимки, находил среди них какие-то, которые напоминали ему, надо полагать, эпизоды прошлого, словно у них с нашим эмигрантом могло быть общее прошлое!

Хозяин перестал удивляться. Он зажмурился и слушал бормотание немца, ему стало казаться, что он слышит голос покойного отца, что они с ним сидят, как бывало, и пьют без конца чай, болтая о всякой всячине.

Вот кухня, так же бедно обставленная, вот плита с вечно кипящим чайником. Вот вазочка с печеньем, она и сейчас стоит на своем месте. И чайник для заварки тот же самый, и так же хорошо заварен хороший, душистый чай... Дело за малым — не открывать глаз, сделать усилие и не вслушиваться в речи ночного гостя. Вспомнить мягкую манеру покойного отца говорить с легкой укоризной, вечно подтрунивая над уже совсем не молодым сыном.

Он вспомнил, как однажды сказал отцу, что хочет со временем уехать на, как он выразился, Запад. «Ну и дурак!» — сказал тогда отец.

Он посмотрел опять на своего позднего гостя. Тот улыбался, как умел улыбаться только отец, и сказал по-немецки так, что он понял: «Ну и как ты? Счастлив?»

Отвечать было бессмысленно. Сидевший напротив него человек был так бесконечно далек от него, что мог быть кем угодно. Он был дальше, чем был сейчас отец. И это почему-то тревожило.

После некоторого размышления наш эмигрант понял, что его тревожит сама возможность быть дальше того мира, в котором пребывал теперь отец. Раньше он думал, что *дальше* никакого «мира» быть не может. Выходило, что может. И что в этом отдаленном мире находятся его ночной посетитель и до некоторой степени и он сам, эмигрант.

«Значит, прав был отец? Дурак?» — заключил он. Вероятно, он только потому и видит этого странного гостя, что забрел неведомо куда. «Дурак».

— Я намерен вернуться в Россию! — сказал он вдруг гостю и собрал фотографии.

Гость закивал, словно понял, словно этих слов и ожидал от него и для того, собственно, и приходил. Он суетливо засобирился.

Он долго прощался на пороге, а провожавший его наш эмигрант никак не мог понять, почему самый близкий ему человек уходит.

Отец ушел.

А он понял, что ему, вероятно, придется возвращаться в Россию. Иначе ему никак не попасть туда, где теперь находится его отец...

ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ

Перед тем как уехать надолго за границу, он сдал две комнаты из трех в своей квартире. Третью комнату запер, закидав туда свои вещи и частично вещи отца, что оставались после его смерти, — бумаги, книги, словари, старый арифмометр и «костяные» архистарые счеты (на память) и даже драное кресло, в котором любил сидеть отец, хотя оно давно просилось на свалку.

Чета аспирантов, что сняли квартиру, смотрела с любопытством.

— Ради этого старья вы готовы потерять в деньгах? Три комнаты можно сдать подороже.

— Считайте, что тут будет жить мое второе «я», — хмуро пошутил он. Он вообще с радостью не сдавал бы, да деньги были нужны на отъезд.

Как и ожидалось, он вернулся. Промыкавшись на чужбине несколько лет, лишь изредка наезжая в Россию, он не выдержал и воротился.

За предыдущие свои наезды он не навещал сданного внаем жилища, ограничивался звонками, останавливался у друзей, — так ему было удобней. А в уголке сознания жила неприязнь к чужим, хозяйничающим в родных его стенах людям.

На этот раз он предупредил их, что возвращается и аренду прекращает. Они расстроились, стали уговаривать продлить: «У вас же есть комнатка, как-нибудь поместимся!» Он был непреклонен и попросил съехать, а ключи оставить соседям.

Через месяц он приехал с одной сумкой, ткнулся к соседям. Они молча отдали ключи — выразили неодобрение его прибытию, как раньше выражали неодобрение его отъезду. Их ампула образцовых соседей и коренных насельников этой дыры было — неодобрение.

Он открыл квартиру, поморщился. Сквозь чужие запахи с трудом пробивался забытый свой — табака, отцовских книг и его болезни, специфический. Он все-таки еще держался до сих пор.

Там и тут валялись ошметки схлынувшей временной жизни молодой пары: кассета с бородой узенькой пленки, варежка с одной руки, сломанный зонт, бессмысленная брошюра — кажется, свидетелей Иеговы, призывающая прямо в праведность и транзитом в рай.

Дверь его комнаты стояла запертой.

«Представляю, какая там пылища! Лучше пока не соваться».

Он прошел в кухню, нашел беспризорную кастрюлю, поставил на газовую плиту, чтобы приготовить чай, — чай у него хватило ума захватить.

Сел на стул у стола, который помнил отца. Посмотрел на дохлых мух на подоконнике, на окна дома напротив, такого же серого, невзрачного, с казенными какими-то балконами и рухлядью на них, сохнувшим бельем, и с ужасом понял, что пяти последних лет как не было, словно их вычеркнула чья-то безжалостная рука. Пустота. Дырка.

А они ведь были!

Где отец?

Где Кёльнский собор? Париж?

Где он прежний? Неужели вот этот человек за столом, который сидит в пустой гулкой квартире и не понимает, кто он, и есть ОН?

Зачем ОН сидит? И с ужасом думает, что через короткое время стул, на котором он сидит, опустеет? И кто же будет думать о нем? О том, куда он подевался? Стул?

Он криво улыбнулся, заварил в кружке, которая всегда стояла на краю раковины, чай и закурил.

«С дороги надо вымыть руки» — у него был «комплекс Пилата»: он мыл руки при каждом удобном случае.

В ванной комнате, совмещенной с другим удобством, валялись, как и следовало ожидать, клочки салфеток, которыми промокали крем и помаду,

судя по отпечаткам рекламных губ. Лежали забытая зубная щетка и грязные вкладыши к станку бритвы «Жиллетт», что напомнило ему за границу, — напомнило как о чем-то, что следует прочнее забыть.

Взгляд его упал на рулон туалетной бумаги. Он был едва начат. А в углу, рядом с корытом ванной, лежала упаковка с другими рулонами.

«Интересно, если меня... не будет, сколько бумаги останется? Успею я израсходовать ее всю?»

Такие мысли теперь частенько посещали его, он только кривился, не пытаясь ни отвечать, ни философствовать. Хотя ехидно толкалась в дверь следующая мыслишка: «Жизнь можно измерять в количестве израсходованных рулонов туалетной бумаги...»

Потом он подумал: почему забыли постояльцы эту бумагу? И дурацкое предположение, что никто не забывал, а куплена она невидимым жильцом, проживающим за запертой дверью его комнаты, заставило его опять покривиться и даже ругнуться про себя: «Завороты!»

Он стал жить в своей квартире, но комнату не открывал. Отложил до генеральной уборки.

Постепенно обростал он хозяйством. Старый холодильник натужно гудел, пытаясь еще выжать холод из остатков фреона. Хотя в холодильнике особой нужды и не было: питался хозяин квартиры кашей на воде. В морозильнике дежурили упаковка маргарина да покрытые инеем и плесенью огурцы в пакете.

«Если я, живя за границей, практически не жил и годы эти как бы исчезли из моей памяти и, таким образом, из жизни, — выходит, где-то кто-то жил за меня?»

Естественно, он обратился мыслями к запертой двери. Постояльцы несколько странно говорили с ним по телефону, словно он от них скрывал что-то: «Мы понимаем, вам нужно не афишировать некоторые вещи... Мы вам не помешаем, даже если вы будете приглашать к себе девушек... Время не имеет значения...»

Сначала он не придал значения этим словам, только теперь сообразил: его наниматели намекали на то, что он тайком являлся в запертую комнату и так же тайно уходил.

Ему стало немножко неприятно. Все эти призраки и раздвоения душ, вся эта чертовщина, он считал, — выдумки прощелыг для дамочек и слабонервных. Но дверь молча стояла, скрывая тайну, и гипнотизировала его.

Он твердо решил не открывать ее.

«А вот это уже в самом деле чертовщина!» — поймал он себя на трусости, приступ которой вызван был подозрением, что в его квартире обитает кто-то еще.

Шло время, он привык к присутствию «жильца», стал понемногу разговаривать с ним. Потом купил еще тарелку и чашку и за ужином ставил на стол второй прибор.

Настал день, когда он решил наложить в тарелку за завтраком своему «соседу» каши и налить чаю. Когда он вышел за сигаретами и вернулся — тарелка и чашка были пусты.

«Пока „он“ меня боится, — подумал он с какой-то странной, неожиданной нежностью. — Ничего, привыкнет, и мы подружимся, все-таки не чужие...»

Он честно пытался рассматривать все происходящее как вяло текущий шизофренический кризис, вызванный прежней жизнью за границей и жизнью теперешней — вынужденным одиночеством и одичанием.

«Еда исчезает, потому что я сам ее куда-то выбрасываю в трансе, вызванном самовнушением. Говорю я сам с собой. Все признаки „шизни“. Если так дальше пойдет, я закончу в дурдоме».

Но когда он стал замечать, что запас туалетной бумаги тает вдвое быстрее, чем обычно, он встревожился всерьез.

«Что-то надо делать!»

И, как всякий трус, он решил бежать.

«Ночую последнюю ночь — и рву когти». Он лег не раздеваясь, не выключая свет, потому что страх рос лавиной. Лежал, курил и прислушивался. Квартира постепенно наполнялась звуками. Он отчетливо слышал, как отворяется и закрывается дверь в «запертую» комнату, стучит дверь ванной, шумит вода.

«Нельзя, похоже, уйти от самого себя. Жалко, нет выпивки. Так я просто не выдержу. Надо сбежать, работают ночные ларьки».

Когда он выходил, дверь в ванную захлопнулась, словно кто-то не хотел обнаруживаться.

Он купил бутылку и бегом кинулся назад. Почему-то он решил, что надо спешить.

В квартире пахло горелым, он не стал искать источник запаха, сразу прошел в кухню, налил водки в чашку и выпил залпом. Страх отступил, стало почти весело. Запах усилился, из-под двери ванной выползал дым. Он попытался открыть — дверь не поддавалась. Он вышиб ее плечом. Эмалированная ванная была черной, в ней полыхала грудa размотанной туалетной бумаги. Огонь уже добрался до занавески из пластика, тлели полотенца, плавился пластмассовый таз. Он в ужасе открыл оба крана. Дым быстро заполнял ванную, выползал в коридор, нечем было дышать. Он бросился к входной двери, но она была заперта, а ключа в ней не было. В большой комнате было уже полно дыма, не продохнуть, — когда успел сюда проникнуть дым? Им овладела паника.

Грохнуло в ванной комнате, — видно, огонь добрался до химии, которая там стояла в шкафу. Для спасения от огня и дыма оставалась единственная комната, дверь в которую как бы звала его, приглашала. Он разбежался и ринулся на эту дверь. На этот раз она не была заперта, он влетел и грохнулся, словно пол ушел куда-то из-под ног, как бывает на роликовых коньках...

Проснулся он наутро с дикой головной болью. Он, видно, прикончил водку и заснул прямо за столом в кухне. Запах гари оставался в воздухе.

Он пошел в ванную, сунул голову под кран. Воняло, как и следовало ожидать, от сваленных в корыто ванной рулонов туалетной бумаги. Они в *смотанном состоянии* так и не разгорелись, просто мерзко обуглились, он их ночью залил водой, хотя уже не помнил, когда и как. «Надрался!»

Дверь в «запертую» комнату он таки вышиб спяну. Там было пыльно и пахло мерзостью запустения. Валялись разбитые счеты, костяшки раскатились — это на счеты он наступил ночью, когда грохнулся...

Все остальное было сном. Затянувшейся галлюцинацией.

Галлюцинация, «шизня», после ночной встряски закончилась, и он понял, что надо просто жить дальше с той точки, на которой жизнь остановилась перед его отъездом за рубеж.

Но жить почему-то не хотелось, словно он прожил все, что было отмечено ему.

Он или кто-то другой — это теперь не имело значения.

ДРУГАЯ СТОРОНА УЛИЦЫ

По одной стороне улицы он ходил на пути из дома, по другой — домой. Это стало сначала привычкой, потом приметой.

Для него было жуть как важно — уйти одной дорогой, воротиться другой.

Однажды затеяли какие-то работы на крыше и улицу на «той стороне» перекрыли. Не пройти. Он так испугался, что сначала просто застыл, потом завертелся на месте, а потом полез напролом через заграждения под

проклятия обычно сдержанных рабочих. Пролез и два дня просидел дома. Пока, по его расчетам, работы на крыше не кончились.

Он задумался: в чем тут дело? И довольно быстро сообразил. Если человек одной дорогой идет «цу унд цурюк», как говорят немцы, «туда и обратно», то он как бы перечеркивает свой путь. Обесмысливает идею пути. Если надо тот же путь совершать в двух прямо противоположных направлениях, можно и вообще не ходить.

В случае же «другой стороны» он делает петлю вроде круга. Совершает некое вращение вокруг некоего центра. В этом центре, возможно, спрятана идея кружения.

Размышляя дальше, он сообразил, что в жизни человек совершает многократное кружение, которое и есть жизненный путь. И у каждого человека, как у светила или планеты, свои орбиты со своими центрами.

Как-то, идя уже по другой стороне домой, он почувствовал скуку. Ему надоела и дорога туда, и, что самое досадное, дорога обратно. «Как приговоренный!» — сказал он себе. И сразу вспомнил, что в тюрьме человек в камере ходит из угла в угол, то есть туда и обратно по одной, как правило, диагонали. Лишь на прогулочном дворе идет по кругу. В этом ему почувдился глубокий смысл.

«Если поглядеть на мою улицу с высоты птичьего полета, то она — прямая, и, ходи я по одной или по разным сторонам, я черчу путь туда и обратно по прямой моей зачуханной улочки. Та же камера!»

Он стал придумывать круговые маршруты, чтобы идти по просторной петле, кругу. Он теперь сверялся с картой и свои немногочисленные маршруты рассчитывал таким образом, чтобы пункт назначения был где-то на конце диаметра, соединяющего его дом с этим пунктом, а сам путь представлял бы окружность этого диаметра.

«Я схожу с ума в этой эмиграции. Все это издержки того моего прискорбного образа жизни, который привязал меня к чужому месту, так что пути к подлинному дому отрезаны».

То есть эти пути были не совсем отрезаны. Он ездил раз-другой домой, в Россию, но всякий раз возвращался. Таковы были обстоятельства. Ему не было места дома, в России, мосты он довольно легкомысленно сжег. И ему его поездки домой представились абсолютно бессмысленными. Дорога назад пролегла по тому же маршруту, будь то самолет или автобус (билеты приходилось брать «цу унд цурюк» — туда и обратно, — скидка!), так что путь назад обесмысливал путь туда. Зачеркивал его. Надо было или оставаться в России, или совершать кругосветное путешествие.

Он отложил решение вопроса на неопределенное время и пока от поездок воздерживался.

Он вспомнил, как незадолго до смерти жены они ездили с ней в Париж на один день, который они должны были провести, предоставленные самим себе. Ну, разумеется, они посетили Монмартр, постояли у Сакре-Кёр. Сходили к Эйфелевой. Прошлись по Елисейским Полям, а потом просто блуждали. Произвольно. Заблудились.

Пытаясь найти дорогу хоть к какому-то метро, они резко свернули, как бы перестав кружить и ринувшись к притягивающему их центру. Это оказалось старое, очень престижное и, вероятно, знаменитое кладбище. Нехорошее предчувствие шевельнулось в нем.

«Всегда в каждом блуждании есть центр. Если его знать, можно построить круг жизни хотя бы на ближайшее будущее. Зря я не верю гадалкам, они определяют круги человеческих орбит-судеб. Оттого и пользуются астрологическими гороскопами».

К гадалкам он не пошел, но довольно быстро вычислил по своим немецким адресам свою орбиту. Центр ее оказался в евангелической больнице, куда он и попал в скором времени.

Обошлось. Он вышел, в социальном ведомстве ему предложили поменять квартиру на более дешевую. Дали вариант. Довольно приличный — полуторка с отдельной спальней. Он стал по карте города вычислять будущие орбиты своих возможных походов к знакомым, в театр и магазины. С заходом в старый город, неизбежным для праздного одинокого обитателя маленького городка. Центр его орбит оказывался неизменно на городском кладбище, где было предусмотрено место для неимущих.

«Фиг вам!»

От квартиры он отказался.

Он стал сам искать себе район. И нашел. Вскоре ему удалось найти и квартиру в том районе.

Центром его новых орбит стала католическая кирха. Он обрадовался — храм все-таки.

«В конце концов, можно принять и католичество, как Чаадаев!» — решил он.

По телевизору он как-то смотрел передачу об уличных беспорядках в одном из спокойных уголков планеты. То ли это был Ольстер, то ли Иерусалим или Филиппины.

«Чего я сижу? — спросил себя он. — Блуждание по кругу еще хуже, чем хождение по прямой туда и обратно. Ван Гог не случайно написал свой тюремный двор. Надо взорвать этот круг, потому что он порочный!»

Он уехал в Россию, его видели среди первых, кто карабкался на баррикады во время известных событий.

Автор еще только предчувствует эти события и участие его героя в них, но недрогнувшей рукой отправляет его туда.

А сам, закупив дешевые продукты в дешевом магазине, бредет в свое убежище «по другой стороне улицы».



ДАВИД РАСКИН



ЖИВОЕ ЖЕЛЕЗО

Коротко, сжато, сухо, мужественно, жестко, четко, чеканно... Я мог бы подобрать еще несколько подобных наречий для определения особенностей поэтической речи Давида Раскина — и попробую это сделать: безутешно, сдержанно, бескомпромиссно... Эти стихи похожи на латынь, на алгебраическую формулу, они констатируют суровый смысл земного существования так, как будто речь идет о физических законах: земного тяготения, атмосферного давления и т. д. В человеческой жизни, частной и общей, по Давиду Раскину, действуют столь же непреложные, неотменяемые, непреодолимые силы. Зная поэзию Раскина давно, могу сказать, что и в советские, и в нынешние времена герою этой лирики живется нелегко, — и в этом смысле характерны даже названия двух его книг: «Доказательства существования» и «Запоздалые сообщения». Научись мы доверять стихам, нам легче было бы принять и сегодняшние условия пребывания на земле: поэзия смотрит зорче, говорит точнее, чем политика с ее обещаниями, экономика с ее цифровыми выкладками. Казалось бы, стихи Раскина не должны мне нравиться: я предпочитаю в стихах «возвышающий обман»; ласточка, ныряющая в небо, способна внушить мне радость и надежду, моя душа живет «всем смыслом вопреки, никак, ничему». Вот и Анненский полагал, что музыка уверяет человека в возможности счастья. И здесь я подхожу к самому главному: в стихах Давида Раскина мне слышна музыка, не было бы ее — никогда не пленился бы такими доказательствами и сообщениями. «Но видит Бог, есть музыка над нами», — сказал поэт. Возможно, применительно к стихам Раскина предлог «над» следует заменить на предлог «под». Под его стихами, как подо льдом, сковавшим поэтическое слово, не в небесных сферах, а, может быть, в царстве Плутона, на грани замерзания слышно пение подводной, пульсирующей, живой речевой струи, преображающей мрачный смысл, сносящей его в другую, непредвиденную сторону. Поставленные в единственно возможный для данного случая неопровержимый звучащий ряд, самые точные, самые необходимые, отобранные безошибочным поэтическим слухом слова внушают радость.

Александр Кушнер.



Наши дни сократились. Усохли и оскудели.
Словно в школьном актовом зале — торжественный запах пыли
И знамена, тяжелые от позумента и канители.
Это время не стоит доброго слова, но мы в нем жили.
Просто выцвели все тетради. Но в каждом знаке и в каждом пробеле
Полагался смысл, а заботились только о стиле.

Ничего не решают годы, тем более месяцы или недели.
 Измениться уже не удастся, да и не стоит усилий.
 Комментарии к нашей жизни мельче петита и нонпарели.
 Все слова остались на сцене. На деревянном настиле.
 Только мигает свет и сквозняк задувает в щели.
 А за окном сигналият чужие автомобили.

* *
 *

На экране заставка Windows в виде трубопровода
 Напоминает о навсегда ушедшей эпохе,
 Измерявшейся киловаттами, миллионами тонн чугуна и стали.
 Паром дышало железо, содрогаясь при каждом вздохе,
 Дымили кирпичные трубы, покорялась прорабам природа,
 Рельсы звенели, и города на пустырях вырастали.

Впрочем, нам уже не досталось ни этого дыма, ни этих строек.
 Но вспоминаю подвал, где из стены торчали какие-то скобы
 И проходила труба отопления, окутанная стекловатой.
 И почему-то хватало на всех черно-белой злобы
 Зимнего дня, и был особенно стоек
 Запах спиртного и сырости, крепленный и кисловатый.

Студия или скорее, кажется, мастерская.
 Выпито это вино, не осталось даже похмелья.
 И до конца сохранились лишь кое-какие привычки, скажем,
 Тяга к огню и железу, преклонение перед целью,
 Надежда на перемены и, подробности опускаю,
 Вера в прогресс и любовь к индустриальным пейзажам.

* *
 *

Как вспомнишь лыжное Токсово, холод охватывает опять,
 Запах печного дыма, непривычного, как всегда,
 Тоска по слову, когда нечего, в общем-то, и сказать,
 Приметы прошлого века, узнаваемые без труда,
 Все многочисленные оттепели и холода,
 Рассыпающаяся бумага и неотчетливая печать.

Почему-то снежные яблоки теряют запах и вкус.
 Мандаринной коркой стали любые праздники. И потом
 Все равно не избавиться ни от одной из обуз,
 Обступающих жизнь и заполняющих дом.
 Лишь холсты в Эрмитаже лоснятся фламандским льдом
 И на Зимней канавке биты тройка, семерка, туз.

Обухово

Любой отдельный предмет и любое
 Одушевленное существо
 Теряет свою единственность,
 Перемещаясь в пространстве.

Но кроме одиночества
В дороге нет ничего.
И кроме бессилия и упрямства
Нет ничего в постоянстве.

Еще мерцает гнилая ночь
Огнями грузовиков,
Еще дрожит живое железо
И дышит морозным паром.
Перед тобой — лишь гаражный замок,
Тяжелый ржавый засов,
Стальная дверь никуда,
Нечувствительная к ударам.

И так в этой жизни душно и сыро,
Холодно и темно.
И так очевидно, что ждать другой
Нет никаких оснований,
Что вся полоса отчуждения, все
Дорожное полотно —
Лишь узкий мост через пропасть
Значений, имен и названий...

* *
*

Ничего не знаю о вечности. Но как отвратителен этот снег,
Вся эта оттепель, ветер, соленая грязь,
Пузырьки из-под настойки боярышника у аптек,
Экран, духота семинара, и голоса коллег,
И мысли о том, что жизнь, пожалуй, не удалась.

Любые явления пеняются и быстро сходят на нет,
Как пиво в пластиковом стакане (в стекляшке, рядом с метро).
Какая-то сущность горчит, мигает какой-то свет.
Случайный вечер засунут в какой-то прозрачный пакет,
А смысл словно выброшен в мусорное ведро.

Прогулку не нужно описывать, да и вряд ли нужно гулять
Под мокрым снегом, по скользкой тропинке, пересекающей двор.
Вообще бывает иначе, в частности — переписывается опять
Конспект декабря в очередную ученическую тетрадь,
И все ошибки при этом воспроизводятся до сих пор.

* *
*

Сухость гортани, саднящая тяжесть любых изменений,
Действие, за которым следишь, дыхание затая,
Все остальное оставляет лишь след невысказанных сомнений.
Так и переживаешь день, летний, прохладный, скорее осенний,
Беспричинность и пустоту наличного бытия.

Кварцевые часы, не требующие завода,
Гонят по кругу все те же стрелки. Но выцвел давно циферблат.
Время обозначает только забота,

Гудение ос, переживание перехода
Из неуверенности в боязнь. И беспричинной тревогой объят

Безличный воздух, насыщенный сухими частицами пыли.
Мелко дрожит паутина на слегка раскачивающихся кустах.
Словно все подчиняется какой-то недоброй и безымянной силе
Или же все настолько случайно, что все о тебе забыли,
Как в детстве. И каждая тень вызывает страх...

* *
*

На снегу обозначен след разобранной загородки,
И брошены в кучу остатки нераспроданных елок.
С морозов год начинается, и, если верить сводке
Погоды, — лишь холод вечен, во всяком случае, долог.
От праздника остаются сморщенные ошметки
Серпантина. И ветер жалит, как стеклянный осколок.

А выход к высшему смыслу или иной развязке
Не нужен и невозможен, лишь ближе к полудню примерно
Молочная белизна заменит любые краски.
Судьба, как известно, загадочна, слава недостоверна.
Беспорны только вагоны, раздерганные от непрерывной тряски,
Платформы, на запасных путях ржавеющая цистерна.

* *
*

Недоверие вызывает любой незнакомый предмет,
Потому что все должно находиться на одних и тех же местах,
Несмотря на то что время по встречной бежит полосе,
И боишься столкнуться с ним, потому что в природе нет
Ничего прекрасного, лишь беспорядок и вечный страх
Потеряться, отстать, оказаться вдруг не таким, как все.

И находишь радость лишь в звуковой оболочке слов,
Без которой бессилен разум и жизнь была бы совсем
Неотличима от смерти. Вливаясь в общий поток,
Первоначальный смысл никогда не бывает готов
К самораскрытию в рамках примеров или каких-то систем.
Но любой отчетливый звук по определению одинок.

* *
*

По ночам непонятные звуки пронизывают весь дом:
То ли урчит холодильник, то ли скрежестет электродрель.
Если проснешься, то засыпаешь медленно и с трудом.
Теряется счет часов, порядок дней и недель.

А если слякотным утром зазвенит, как всегда, телефон —
Не знаешь, что и ответить, тем более — что сказать.
Кажется, все еще длится прерывистый и тяжелый сон
И все повторяется и пропадает опять и опять.

Только по-прежнему чернеют оттаявшие кусты.
Короткий день остается случайным, неделимым, простым.
С каждым годом все непонятнее жизнь, да и ты
Все меньше и меньше в ней закономерен и необходим.

* *
*

Приходится если не полюбить, то по крайней мере
Примириться (поскольку любить вообще ничего не надо)
С этой рассеянной влагой, ждущей электрического разряда,
Чтобы пролиться и превратиться в непролазную слякоть
Пыльную землю. (Здесь, в лесной ойкумене, в речной болотистой сфере,
Дождь имеет право идти, но совсем не обязан плакать.)

Смысл ржавеет, словно некрашенная проволочная ограда.
И, как всегда, ненавистна безвольная, немощенная мякоть.
Если перед тобой закрывают двери —
Не стоит стучаться. Да и жалеть о мнимой потере
Не обязательно. Скорее кончит окать по-новгородски и по-московски
акать

Глагол отдаленного грома, чем прольется покой и отрада.
Так что отчетливость ожидания (почти равнозначная вере)
Зависит от точки зрения или от силы взгляда.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Архимандрит АВГУСТИН (НИКИТИН)



«В БОЛЬШОЙ СЧАСТЛИВОЙ ЗОНЕ»

Кубинские тетради

Необходимое предисловие

В XX веке в сфере политики возник «вождизм», бич Божий. О «голом короле» хорошо сказал Владимир Маканин:

«Вдруг — и все кричат:

— Керенский!

Или:

— Фидель! Фидель!..

И образ создан, слеплен, и хоть бы вы сто раз знали некую истину, отличную от знания толпы, вы ничего не докажете. Вы просто умолкнете в бессилии, почувствовав себя лающей на слона москвой. А людская масса знай продолжает жить и творить своей подспудной *мифологической мощью*».

Сегодня ясно и ежу, даже противотанковому: Куба в параличе, как Союз в последние годы правления Брежнева. В цивилизованных странах политическая атмосфера не может быть затхлою: сквозняк очередных выборов быстро выметет «засидевшихся». Но при диктатуре весьма велика «роль личности в истории».

Психологи знают, что «настрой» нации во многом зависит от внешнего вида лидера. Но могут ли телезрители «подзарядиться», глядя на экран, где каждый вечер появляется дряхлеющий диктатор? А ведь Кастро побил все мыслимые рекорды, и ему пора в Книгу Гиннеса. Он пересидел Стреснера, Ким Ир Сена, Салазара, Хо Ши Мина; кубинский команданте переиграл и испанского каудильо. Кстати, с Франко у Кастро были особые отношения: оба они родом из провинции Галисия. За плечами Фиделя пять наших генсеков и два президента, он их уделывает, как котят.

При упоминании о Кубе у многих из нас возникают сложные чувства. С одной стороны — романтический ореол революционеров-барбудос, беззаветное служение высоким идеалам. С другой — развал экономики страны, подавление свобод, массовое бегство с острова Свободы. Как примирить «борьбу противоположностей»? В социальной психологии есть такой термин — «расщепленное сознание». Если в мозг испытуемого одновременно поступают мощные сигналы, противоположные по смыслу и взаимно исключают друг друга, то, как учил еще Иван Петрович Павлов, происходит «сшибка» и у человека может «поехать крыша», ведь в переводе с греческого «шизофрения» — это и есть «расщепленное сознание». Чтобы этого не произошло, включается защитный механизм: «левое полушарие не ведает, что творит правое». С одним потоком информации «соглашается» одна группа клеток мозга, с противоположным — другая. В эпоху истмата это называлось диалектикой.

Архимандрит Августин (Никитин Дмитрий Евгеньевич) — богослов, путешественник, литератор-публицист и очеркист. Родился в 1946 году. Окончил физический факультет ЛГУ; затем учился в Ленинградской Духовной академии, где защитил кандидатскую диссертацию. В 1973 году пострижен в монашество; автор исследований по связям Российской Православной Церкви со странами Запада и Востока. С 1991 года действительный член Российского Географического общества, посетивший около 70 стран мира. Неоднократный автор нашего журнала.

В Восточной Европе «большая зона» давно распалась: от соцлагеря остались только покосившиеся пограничные столбы с ржавой колючей проволокой. Но за пределами Европы от былого ГУЛАГа сохранились ОЛП (отдельные лагерные пункты): Вьетнам, Северная Корея, Куба. Удивительное совпадение: полное имя кубинского вождя — Фидель Кастро Рус. «Кастрировать» Латинскую Америку не удалось: Никарагуа, Гренада, Сальвадор со вздохом облегчения могут сказать: «Я от дедушки ушел». Фидель в переводе — «верный», ну а с ним в паре Рус сойдет за Руслана. Итак, «верный Руслан» — гражданин начальник «большой счастливой зоны», о которой мечтал оставшийся не у дел владимовский пес.

Казалось бы, и после 1991 года надо следовать в фарватере политики «большого брата». Но лидеры этих стран «сорвались с поводка» и, как Руслан, тоскуют по минувшим дням. «Верхнее чутье» их не обмануло, и когда Горби затеял перестройку в Союзе, они были готовы сделать «контрольный укус». Кастро в ряде своих выступлений решительно отверг возможность осуществления подобных реформ на Кубе. Эта позиция была подтверждена в декларации «К народу Кубы», принятой 25 декабря 1989 года на сессии Национальной ассамблеи народной власти. В том же контексте следует воспринимать и введенный в августе 1989 года кубинскими властями запрет на распространение в стране двух периодических изданий — «рупоров перестройки»: еженедельника «Московские новости» и журнала «Спутник». Но от помощи «ревизионистов», в размере 5 млрд. рублей в год, несгибаемые члены ЦК КП Кубы не отказались. У Фиделя были все основания злиться на советских вождей: те могли винить своих предшественников, в то время как у Кастро не было «предтеч». Он сам создал партию, сам диктовал политику и идеологию. Он сам принимал все решения. Это полупарализованный Ильич, сидя в Горках, выводил дрожащей рукой: «Кажется, я крепко виноват перед рабочим классом». А команданте идет верным путем.

После подавления путча ГКЧП в августе 1991-го пришло отрезвление и в отношении острова Свободы. «По трезвянке», благодаря энергичным действиям ряда депутатов, несколько месяцев в Верховном Совете шла перестройка в отношении режима Кастро. Верховный Совет наконец-то занял более или менее четкую позицию, которая была представлена сначала на парламентских слушаниях в феврале, а потом в Женеве на заседании Комиссии ООН по правам человека в марте 1992 года.

Россия осудила массовые нарушения прав человека на Кубе. Но, как сообщала в те дни радиостанция «Свобода», на территории России продолжали проходить обучение офицеры секретных служб Кастро. И хотя вопрос об отмене субсидий режиму был в принципе решен, две страны по-прежнему связывал целый комплекс отношений военно-политического характера. На Кубе сохранялась, хотя уже в значительно сокращенном виде, советская военная бригада, и переговоры об окончательном ее выводе всячески откладывались. В порту Сьенфуэгос действовала база для советских подлодок, а в местечке Лурдес функционировала станция электронного космического слежения, которая обслуживалась огромным числом военных специалистов из России.

Вспомним, как неохотно наши военные уходили из Восточной Германии. Ведь служба в ГДР была самой престижной: жалованье в ЗГВ выплачивалось в СКВ. А на Кубе еще и ласковый бриз, и шелест пальм, и шум прибора. А для прапорщиков в самоволке — страстные мулатки-интернационастки. На столе — кубинский ром, манго, сигары. А если передислокация? — Уральский военный округ, казармы в деревянном бараке; на табуретке — водка, огурцы и «Беломор». Самой действенной угрозой для проштрафившихся было: «Отправим на Родину в 24 часа!» В глазах подчиненного — ужас: «Только не это!» Говорят, только однажды был достойный ответ: «Вы меня Родиной не пугайте! Я в десантных войсках служил!»

В России начала 90-х «правая рука не ведала, что творит левая». И, сохраняя контакты с кубинскими военными и спецслужбами, российские власти,

по существу, дискредитировали едва наметившийся курс на отказ от поддержки тоталитарных режимов.

В конце апреля 1992 года в Международном торговом центре в Москве была проведена международная конференция «Россия и Куба: от тоталитаризма к демократии». В ней участвовали такие видные деятели кубинской оппозиции в изгнании, как писатель Карлос Альберто Монтанер, бывший команданте революционной борьбы в Сьерра-Маэстре Карлос Франки, президент кубинского Комитета защиты прав человека Рикардо Бофилл. Еще до открытия конференции ее участники встретились с официальными представителями Верховного Совета, российского МИДа, а также были приняты в редакции «Известий». И если раньше контакты между российскими властями и кубинскими лидерами оппозиции носили стихийный характер, то теперь можно было говорить о том, что отношения между двумя сторонами установлены де-факто. И на эти контакты, очевидно, уже не смогут повлиять официальные отношения с Гаваной, которые никто не отменял, а также демарши кубинского посольства в Москве.

О желательности диалога с «другой Кубой» говорилось как во время встречи кубинских правозащитников с тогдашним госсекретарем Г. Бурбулисом, так и во время беседы в Белом доме. Госсекретарь России заявил, что его правительство готово оказать помощь кубинской оппозиции в освобождении ряда политзаключенных на Кубе. Была достигнута договоренность, что информацию об узниках совести на Кубе предоставит правительству Управление по правам человека российского МИДа.

А еще через неделю, под майские праздники, телекомпания «Останкино» и Российский канал выпустили в эфир целую серию передач, которые Гавана восприняла как «недружественные». Российское телевидение показало почти полуторачасовой документальный фильм «Никто не слушал» кубинского режиссера-диссидента Хорхе Ульи, в котором в весьма доходчивой и шокирующей для простого советского зрителя форме было продемонстрировано царство террора на острове Свободы. В программе «Центр» появился сюжет о визите в Москву группы видных кубинских оппозиционеров и их встречах с соотечественниками, постоянно проживающими в России. Программа «Панорама» рассказала о том, что собой представляет «другая Куба» — кубинская оппозиция в изгнании. Короче, «процесс пошел», и, глядя на Москву, начали почесывать макówki те левые, которые долгие годы заигрывали с режимом Кастро.

Осенью 1992 года в антикастровский стан переметнулся Жоржи Амаду, выдающийся бразильский писатель, считавшийся одним из самых верных сторонников кубинского режима. «Кастристка революция на Кубе, — заявил он в интервью мексиканскому еженедельнику „Просесо“, — вылилась в диктатуру». В стране «полностью отсутствуют политические свободы».

Сегодня уже немногие помнят, что еще в 1962 году, после первого своего посещения Кубы, Амаду говорил о том, что испытал «некоторое разочарование». «Я верил в демократическое будущее, ибо, как латиноамериканец и писатель, не мог по совести отрицать завоевания и величие кубинской революции, — пояснил он. — Но свобода для человека так же необходима, как хлеб».

С начала 60-х годов Жоржи Амаду вместе с другими выдающимися писателями континента, такими, как Карлос Фуэнтес, Марио Варгас Льоса, Габриэль Гарсиа Маркес, активно сотрудничал в выходящем на Кубе литературном журнале «Каса де лас Америкас». Это был период бурного расцвета латиноамериканской литературы. Культурная политика Кубы приобрела в те годы континентальный размах. А кастризм стал идейным символом, объединившим устремления разных литераторов, вооружив их идеологическими ориентирами и осознанием своей культурной общности. Но с годами это единство начало распадаться. Именно отсутствие демократических свобод на острове стало причиной отхода от Кастро, в одних случаях явного, в других — постепенного, ведущих писателей континента. Резкое осуждение кубинского режима со

стороны Жоржи Амаду означало, что Фидель потерял в его лице последнюю прочную опору среди латиноамериканской интеллигенции.

В интервью итальянской газете «Стампа» Амаду заявил: «Когда социализм пробуют строить на основе каких-то идеологий (а все идеологии — одно дерьмо), он неизбежно вырождается в диктатуру. Причем левые диктатуры еще хуже, чем правые: против этих последних хоть можно бороться открыто».

По мнению Амаду, упадок кастризма был предопределен союзом с СССР, который заставил Гавану покупать себе советскую поддержку «ценой идеологии». «Я не антикоммунист, — пояснил свою мысль Жоржи Амаду, — просто коммунизм перестал воплощать в себе демократический социализм. А я продолжаю верить в социальную справедливость».

Вход — рубль, выход — два

На протяжении семидесяти с лишним лет коммунистической диктатуры ложь пропитывала жизнь нескольких поколений, живших «под глыбами». На лжи замешен и кубинский агитпроп.

Ложь начинается уже в кубинском консульстве, куда на всякий случай захожу перед отлетом в Гавану.

— Вообще-то въезд на Кубу безвизовый, — вкрадчиво говорит консульский работник. — Но вам лучше приобрести у нас туристическую карту за двадцать долларов, на всякий случай.

— Так что, без карты не пустят?

От прямого ответа дипломат профессионально уклоняется:

— С картой при въезде вы будете чувствовать себя увереннее.

Рисковать поездкой из-за 20 долларов неразумно, и я выкладываю исковую сумму в обмен за бумажку-пропуск на остров Свободы. За свободу нужно платить!

Надо ли говорить, что ни при въезде, ни во время пребывания на Кубе про этот квиток никто нигде и не заикался? Так работают кубинские «лохотронщики».

В аэропорту Гаваны — паспортный контроль. В паспорт ставят небольшой квадратный штампик, размером с ноготь. Это — для внутренней отчетности. Ведь туристы-западники, приезжающие сюда из Канады, Франции и других стран, заигрывающих с режимом Кастро, рассчитывают задешево отдохнуть на местных пляжах. Побережье Варадеро считается одним из самых чистых в Карибском бассейне. Зачем ехать, к примеру, на соседнюю Ямайку и переплачивать четверто?

Въезд на Кубу действительно безвизовый и бесплатный. Живи себе целый месяц и «не бери в голову». А если захочешь продлить время пребывания — нет проблем. Высотный отель «Гавана либре», построенный еще при американцах, знает любой житель столицы. Здесь при входе — столик, где за 25 долларов вас могут быстро оформить на «новый срок». И не забудьте, что при отъезде в аэропорту нужно будет заплатить еще 20 «зеленых» — за право покинуть остров Свободы. «Вход стоит рубль, выход — два».

После паспортного контроля — получение багажа и таможня. На россиянина здесь — ноль внимания: это направление особого интереса у местных спецслужб не вызывает. Ведь мы — бывшие солдаеры. Зато в глазах аэропортовой obsługi — откровенная неприязнь. Они — «невыездные», а тут все время кто-то мотается по миру. Ждем чемоданы у движущегося транспортера. Грузчики выносят чей-то «негабарит» и с размаху бросают его на пол. Слышен хруст стекла. Владелец — художник, с которым в самолете перебросились парой слов. Романтик 60-х, он везет на Кубу выставку своих картин. И тут — столкновение с «соцреализмом». Романтический флер рассеивается как дым, и маэстро в гневе кричит: «Твари! Коммуняки!» А в ответ — довольные улыбки и — «транкилада!» (спокойствие!). Дескать, сбавь обороты!

Действительно, что-то разбили. Но кто будет платить за ущерб? Это рядом, в Штатах, владелец багажа, поврежденного при перевозке, без лишних слов у специальной стойки получает от авиакомпании минимум 20 долларов, если, например, у чемодана треснул угол. Престиж фирмы дороже. Но здесь, в «предзоннике», «у кубинских собственная гордость». Служащие аэропорта и сотрудник муз лезут с кулаками друг на друга. С испанского переходят на английский: «What's up?» — «Shut up!» («О чем базар?» — «Заткнись!»)

Наверное, это один из последних романтиков, рискнувший иметь дело с Кубой на свой страх и риск. Еще в 1990 году на режим Кастро пахали тысячи советских специалистов, а после развала Союза «подпитка» кончилась и народ потянулся с острова. Тайфун по имени «Михаил Горбачев» «сдул» с острова Свободы 12 тысяч советских специалистов. К маю 1992 года число «спецов» из стран СНГ на Кубе сократилось до беспрецедентного уровня: их осталось всего 250 человек. И не просто уезжали, а навсегда исчезали из поля зрения своих ведомств. Всем памятен случай, когда в транзитном аэропорту Гандер (Канада) десятки «возвращенцев» стройными рядами шли в полицию и просили политического убежища, становясь невозвращенцами...

А тем временем у стойки ветеринарного и растительного контроля разыгрывается еще одна сценка. Чиновница извлекает из сакvojа «нового русского» несколько яблок — «предметы, запрещенные к ввозу в страну». А он и не возражает, но хочет, чтобы все было «в законе»: ждет акт на «конфискат». А «девочка с яблоками», положив добычу в свою сумку, уже работает с очередным клиентом. Она довольна уловом: сегодня за семейным ужином к столу будут витамины.

«Малиновый пиджак» идет на принцип — так нагло и откровенно его еще не «кидали». Он подходит к шмональщице и жестами требует накладную. На секунду оторвавшись от очередной кошелки, она мотает головой, мол, разговор закончен. Но плохо она знает «русо нуово», ох плохо! Это вам не закомплексованный «совок», которому раз в жизни дали бесплатную путевку от профсоюза, а перед поездкой накачали «товарищи из органов».

«Лоб» вырывает у добытчицы сумку, достает свои законные фрукты и начинает с аппетитом хрумкать у нее на глазах. Кубинку трясет, но «трогать его не моги», и надо делать вид, что она действует по инструкции. Наша очередь медленно движется, и мы следим за развитием событий. Вот от яблок остались только огрызки в полиэтиленовом пакете. Их-то и хочет получить «законница» для «дальнейшей утилизации». Но едок, решив, что пакет ему еще пригодится, высыпает огрызки прямо в руки ошалевшей работницы санэпиднадзора: «Куба — си, фрукты — но!»

Выхожу в зал прилета и, как обычно, иду мимо водителей такси, предлагающих свои услуги. Ведь как бывает в нормальных странах, в нормальном аэропорту? Таксисты клянутся, что автобусов здесь нет, и готовы за это «жрать землю». Но где-то сбоку — неприметная остановка автобуса, и до города можно добраться за копейки вместе с простым людом. Ведь не на лимузине же аэропортовская уборщица каждый день мотается на работу из Гаваны?

Интуиция не подвела, и остановка действительно есть. Но что-то не видно жаждущих воспользоваться общественным транспортом. У таксистов глаз наметанный, и они «пасут» клиента в зоне видимости. К одинокому чудаку пассажиру отправляют гонца. И он популярно объясняет мне реальный расклад: с бензином на Кубе плохо и автобусы ходят очень редко. Можно прождать и час, и три. Вот, кстати, один из них — загнан в отстойник.

Это огромное чудовище с невероятно длинным салоном. Потом я узнаю, что такие экипажи здесь называются «трактобусы» или «автотраки». Фидель решил перехитрить американцев с их эмбарго на поставки нефти. Было решено клепать коробки-салоны на 150 — 200 пассажиров и ставить их на платформы с тягачами от советских ракет. Вот и ползают по острову ракетовозы, «гремя огнем, сверкая блеском стали...». И простой народ, по мысли высшего руководства, должен в автобусной давке проклинать Дядю Сэма.

Почти все пассажиры уже разъехались, но на стоянке такси еще дежурят несколько машин. Это музей под открытым небом: такое можно увидеть только на Кубе. После прихода коммунистов к власти торговля с Западом прекратилась. Точнее, полуофициально режим закупает в свободном мире для острова Свободы товары «первой необходимости». О таких «предметах роскоши», как автомобили, и речи быть не может. Вот и бегают до сих пор по острову допотопные американские «шевроле», «бьюики», «паккарды». Местные козлевики дают своим колымагам вторую и третью жизнь. На послекастровской Кубе у американских коллекционеров им цены не будет.

А пока можно доехать до Гаваны за 20 долларов в «прижизненном „форде“». Такой тариф держат здесь все «мастера», обслуживающие западников. Лучший способ сбить цену — сразу сказать, что вы — «советико». Не в том смысле, что для амиго скидка, а просто со странника, приехавшего из бедной России в нищую Кубу, много не слупишь. Один из «штрейкбрехеров», который все равно собирается возвращаться домой, тихо соглашается на десятку, и вот мы уже катим в Гавану.

Апартаменто привадо?

У водителя естественный вопрос: в какой отель? Лихорадочно листаю путеводитель. И вот — удача. И как это раньше не заметил? В перечне отелей — «Амбос мундос»: цена всего 30 долларов. Да еще он и знаменит: здесь когда-то останавливался сам Хемингуэй; его номер теперь показывают и туристам, и постояльцам. Расплачиваюсь с водителем и с трепетом вхожу в историческое здание. У стойки администрации — прејскурант: постой — от 80 долларов, номер Хемингуэя — 2 доллара. За осмотр. Такой удар со стороны классика!

А как же расценки в моем путеводителе? Видимо, *оченятка*. И ничего странного — в Союзе для иностранцев тоже был интуристовский валютный коридор, и с восторженных «овечек», влюбленных в загадочную Россию, деловито стригли шерсть.

В Гаване с большим трудом удалось отыскать сравнительно недорогой отель «Санта Клара». Это бывший монастырь клариссинок; при Кастро монахинь выгнали, а обитель переделали под гостиницу. Бывшие кельи с сохранившимися изображениями святых сдаются по 25 долларов. Завтрак — за отдельную плату: «один кофе и один булочка», «ждите в течение часа». А потом — с вещами на выход, поскольку днем ожидается плановый заезд участников партконференции: «броне обкома». («Какие старые слова, а как кружится голова!»)

...Навьюченный поклажей, бреду мимо огромного здания бывшего Капитолия. План таков: пока не вытрясли из бумажника «соцнакопления», надо бежать с Кубы в безвизовую Колумбию. Хоть там и наркомафия, куда ей до кубинской госмафии с ее валютными ловушками-удавками! И вдруг слышу: «Сеньор! Апартаменто привадо?» Передо мной молодой мулат-посредник, он предлагает поселиться на частной квартире. Называет и цену: около 10 долларов; при встрече хозяева уточнят на месте. Это то, что нужно, и Колумбия отодвигается в «запасник». Филиппе, так зовут моего чичероне, уводит меня от Капитолия, и мы какими-то улочками пробираемся в глубь жилых кварталов, где обитает простой люд.

Кубинцы от природы жизнерадостны, и тяготы режима не в силах заглушить их эмоции. Но за стенами домов — порой невидимые взору трагедии. Филиппе стучит в дверь, и на пороге появляется хозяйка. Она называет цену: 15 долларов, — и приглашает в комнату. В кресле-каталке — ее полупарализованная мать; мое место будет в углу. Становится как-то не по себе, и я вопросительно смотрю на дилера. Он понимает меня без слов, и мы приносим извинения за беспокойство. Еще два квартала — и поворот на тихую улочку. Филиппе стучит в окно условным стуком. На окне наклеен лист бумаги с какой-то надписью. Неужели так, в открытую, объявление о сдаче жилья? Мы входим в дом, и в беседе с хозяевами многое проясняется.

Во-первых, «в случае чего», вы — гость, а не съемщик. Если соседи стукнут, всем несдобровать. А объявление на окне — это мы продаем кровать, стеснены в средствах. Если сдавать жилье официально, задушат налогами. А у нас — парализованная бабушка, почти год не встает с постели. Во-вторых, договариваемся о цене. Поскольку я буду жить в Гаване не один день, то с меня возьмут всего по 8 долларов в сутки. Для гостя-постояльца освобождают отдельную комнату: подросток-сын переселяется в гостиную, где будет спать на полу. И застенчиво, с неловкостью просят деньги вперед — старушке на лекарства.

Вечером за чаем — откровенный разговор. Супруги — научные работники, химики, трудятся в каком-то местном НИИ. У главы семьи ежемесячная зарплата (в пересчете) — 17 долларов, у жены — еще меньше. Оба — «вынужденные» коммунисты, а куда денешься? Из-за нищенского жалования приходится «химичить» — нелегально сдавать комнату. Только вот постояльцев не было уже давно, и для них мой приезд — нечаянная радость. Я скромно помалкиваю: все мы должны мысленно благодарить Филиппе за его наводку. И комисионные взял скромные — всего пару «зеленых», — и велосипед обещал с утра дать напрокат.

Семья смотрит телевизор; он старой модели. Зачем нам цветной, если жизнь черно-белая? На экране — непременный Фидель, уже пятьдесят лет подряд кому-то что-то доказывающий. Супруги переглядываются, и глава семьи выразительно проводит по шее ребром ладони: вот он у нас где! Вслух говорить об этом не принято: откуда взять персональный скремблер, забивающий прослушку? Если «жучка» в стене и нет, то за стеной — местные шариковы и швондеры — тайное ухо домового «комитета защиты революции».

Впрочем, и у нас в свое время встречались отдельные несознательные. Когда, при Хрущеве, организовывались «стихийные» демонстрации у американского посольства в Москве, то некоторые при скандировании отклонялись от «канонического» текста и клеветали на социалистический строй: «Куба — да! Мяса — нет!»

«Апартаменто привадо» легко отыскать и в других городах Кубы. Но там свои тонкости. Скажем, в полдень нужно освобождать комнату, но мне еще хочется погулять по городу перед отъездом. Хозяин «патентованного» жилья не возражает, чтобы мои вещи побыли у него в доме, но просит все сложить в рюкзак. Иначе, объясняет он, могут быть проблемы. Власти уже смирились с тем, что частники сдают комнаты туристам. Но государство наложило свою длинную руку на этот источник дохода. Чтобы открыть дело, нужно получить лицензию (патент) и ежемесячно платить в казну 100 долларов.

Данные постояльца вносятся в квитанцию, ее копия передается в полицию, часто бывают внезапные проверки. Если инспекция застанет «неоформленного» клиента, с хозяина штраф 200 долларов. Но не каждый может наскрести сотню на «вмененный налог». Ведь в небольших городках туристы бывают редко. Приходится работать в подполье, и на провинциальном автовокзале всегда можно услышать вкрадчивый шепот: «Сеньор! Каса партикуляре?! Апартаменто привадо?!» И по-английски: «Вэри чип!» («Очень дешево!»)

В режимной Гаване

В любой столице мира имеется комплекс правительственных зданий. Где-то их можно видеть с противоположной стороны улицы, с площади, а в Вашингтоне, выстояв в очереди, можно попасть и внутрь Белого дома. В Гаване такой квартал находится близ площади Революции; ее украшает мемориал Хосе Марти. Охранник машет рукой: закрыто!

Обожу внушительное сооружение и направляюсь к административному кварталу. За спиной слышу крики: нельзя! Но я не вижу никаких ограждений; запретительных надписей тоже нет. Значит, у «русланчика» — усердие не по разуму. Продолжаю двигаться в прежнем направлении, но вскоре попадаю в

поле зрения очередного вертухая. А он, глядя на меня, уже переговаривается по радиации с «опорным пунктом», что на площади у мемориала.

Под наблюдением «стража революции» возвращаюсь обратно, где, само собой разумеется, проверка документов «на предмет установления личности». А как же! Изучал подходы к «объекту!» Охранник близок к истерике: «Зона милитаре!» А я ему — как грузчики в аэропорту: «Транкилидад!» («Спокуха!»)

В июне 1999 года здесь состоялось крупнейшее — из случившихся когда-либо на Кубе — оппозиционное собрание: десятки тысяч людей пришли на площадь Революции в Гаване, чтобы провести свой съезд. Его вынуждены были посетить, с кривыми улыбками, и Кастро, и другие руководители страны. Казалось бы, «лед тронулся», но и сегодня на этой площади — огромный портрет Че Гевары.

Сегодня на Кубе идеологический фронт трещит по швам; идут арьергардные бои. Над «верным Русланом» на «зоне» смеются — он уже превратился в прижизненный анекдот с бородой. А смех, как известно, убивает. Ничего хорошего нельзя ждать и от компаньерос, «сидящих на идеологии»: сегодняшние сусловы — это завтрашние яковлевы и волкогоновы. Что делают диктаторы, чтобы «не подставляться»? Как опытные кукловоды, они предпочитают держаться в тени, за кулисами, а доверчивым зрителям впаривают «светлый образ» своего погибшего предшественника или соратника. Предварительно уничтожив реальных конкурентов в борьбе за власть.

Кубинский диктатор, ликвидировав свое раннее окружение, поставив к стенке генерала Очоа, расчистил себе место на политической арене. (Брат Рауль — не в счет.) Но самозванство нуждается в идеологическом обеспечении, и здесь как нельзя кстати Че Гевара. Соратник Фиделя Кастро по революции на Кубе в 1959 году, аргентинский врач Че Гевара стал популярен здесь еще в расцвете своей политической карьеры. Отказавшись от министерского кресла, он продолжил повстанческую борьбу. Чтобы семейные узы его не связывали, он послал своего сына в московскую школу КГБ. Есть фотография: Че на Красной площади в Москве. Но он больше склонялся к китайскому опыту и был убежден, что «винтовка рождает власть».

В 1965 году, совершив рейд по Конго, Гевара убедился, что «ловить там нечего». Конголезские повстанцы не желали идти в бой против войск Чомбе без благословения местного колдуна. Да и бойцами они оказались неважными: нередко в страхе разбегались, оставляя кубинцев один на один с противником. Осенью 1965 года Че тайно вернулся на Кубу, но пробыл там недолго. Для «экспорта революции» он на этот раз избрал Боливию, после чего его с боевиками перебросили в провинцию, которая граничит с его родной Аргентиной, чтобы в случае успеха перекинуть туда революционный пламя. 8 октября 1967 года в боливийских Андах отряд Че попал в засаду, и команданте был ликвидирован армейским спецназом.

Образ революционера-романтика стал путеводной звездой для западных левых: троцкистов, маоистов и прочих «гошистов». Сегодня он считается и «лицом» движения антиглобалистов, и врагом «эксплуататоров всех мастей». Майки с его изображением носят даже очень богатые люди в США и Европе: это модно.

Кастро вовремя оценил ту выгоду, которую можно извлечь из эксплуатации этого персонажа. В течение нескольких десятилетий на Кубе невозможно было и шагу ступить без того, чтобы не наткнуться на изображение Эрнесто на стенах домов, лозунгах, уличных растяжках. На Кубе нет ни одной улицы, которая носила бы имя Кастро. Его изображения отсутствуют на денежных купюрах, нет ни бюстов в кабинетах, ни гигантских портретов на улицах. Он давно понял, что свой культ можно навязывать иначе. Например, через телевидение. Там он — по восемь часов в день на каждом из двух каналов. (Кубинцы шутят, что к их телевизору надо прикреплять «дворники», как на ветровое стекло автомобиля: чтобы стирать плевки, которые летят на экран во время прямого эфира.) Кастро — в каждой брошюре, выпускаемой в стране. Зачем ему убожество в кумаче или гипсе?

На острове, где больше половины населения — христиане-католики, культ Гевары должен был вытеснять образ Христа из сознания «несознательных». (Коммунизм как идейная доктрина скончался. Но он еще способен трансформироваться, накладываться на примитивные языческие верования, этническое и религиозное сознание масс.) Глаза, устремленные к небу, лик, обрамленный бородой, голова в «нимбе»-берете — вот вам и лже-Христос. Но в Евангелии сказано: «Многие придут под именем Моим». Еще в 60-е годы Гевара предложил создать союз левых и католиков. Пламенный команданте, которого многие его последователи часто сравнивают с Христом, является культовой фигурой для «теологов освобождения», да и вообще для многих католиков. В Боливии, в тех местах, где он сражался, в каждой семье молятся святому Санто-Эрнесто-де-ла-Игера — Че Геваре. Сопоставим два высказывания. Че Гевара: «Массы почти всегда готовы подняться на борьбу». Бакунин: «Чтобы поднять массы, надо быть одержимым бесом». Без комментариев...

А в 1997 году последовало «обретение мощей»: братскую могилу, в которой были тайно захоронены Че и шесть боевиков его отряда, обнаружили только тридцать лет спустя, в июне 1997-го. По свидетельству участника «зачистки» «полевого команданте» — боливийского генерала Марио Варгаса Салинаса, трое солдат глубокой ночью 11 октября 1967 года при свете фонарей выкопали вблизи аэродрома в окрестностях городка Вальягранде яму глубиной три метра. В нее и были сброшены трупы Че и других партизан. Впоследствии это место при расширении взлетно-посадочной полосы было забетонировано. Но подтвердилась древняя истина: все тайное становится явным.

Останки Че перевезли из Боливии на Кубу. В городе Санта-Клара был сооружен мавзолей, в котором нашел свое последнее пристанище Гевара. Там же захоронены останки боевиков, погибших вместе с ним в Боливии. Мавзолей устроен в основании воздвигнутого еще в 1988 году многометрового памятника «неистовому Эрнесто».

В постройку мемориала вбухали кучу денег, но он давно уже себя окупил: сюда постоянно возят иностранцев, а сувениры стоят в два раза дороже, чем в остальных местах. В начале 90-х годов кубинский Минфин ввел в обращение памятные монеты с ликом Гевары. «Достоинство команданте» было оценено в 3 песо (стоимость стакана «рефрешко»; вспомним — на советских юбилейных монетах 1970 года Ильича приравнивали к рублю). Вокруг головы Че — сакральная фраза-нимб: «Патриа о муэрте!» Вариант этого девиза — «Социализм или смерть!» — можно видеть повсюду; особенно впечатляюще он выглядит в аптеках, над рядами склянок, стоящих на полках.

Признак распада социалистической системы — это когда бывшие «святыни» втюхивают иностранцам за валюту. Так, в конце 80-х — начале 90-х годов у интуристовских гостиниц рублевые «черепашки» уходили по баксу за монету. Дороже просили за погоны, звезды, медали, ордена. Особенно ценилась «гертруда» — золотая медаль Героя Соцтруда. Сегодня то же — в Гаване, аккурат к 75-летию Гевары.

— Сеньор, купите сувенирчик! — Щелчок пальцами — и в руке негра появилась блестящая монета с ликом знаменитого команданте в берете. — Всего один доллар, отличная память о Кубе! Не хотите? У меня есть выжженный на дереве, могу и чеканку сделать, если договоримся. А может, военный беретик купите за пять баксов? Совсем как у Че!

И еще одна параллель. В начале перестройки «дети Арбата» выставляли на продажу наборы матрешек с ликами генсеков — от «Ильича до Ильича» и Михаил Сергеевича. Поначалу «деревянное Политбюро» милиция конфисковывала, а потом привыкла, да и проплатили. То — на Арбате в 80-х. А это — на Кубе в 2003-м.

— Раньше Че Гевару запрещалось изображать на кружке, — говорит Антонио Диас, менеджер туристического магазинчика в Сантьяго. — За это могли посадить в тюрьму, поскольку такие вещи считались кощунством. А сейчас я

могу напечатать Эрнесто хоть на туалетной бумаге: главное, чтобы это покупали туристы с Запада и платили наличными долларами.

Отовсюду из имени команданте выжимают доллары. Туристические магазины бойко торгуют его лицом на кружках, майках, плакатах, магнитах и значках: только за последний год на Кубе туристами было куплено полтора миллиона маек с Че (каждая стоимостью в 10 долларов). На бульваре Прадо в Гаване на ценнике, прикрепленном к майке, написано: «Че Гевара. Всего 12 долларов. Можете торговаться».

В юбилейном году на фестивале песен о Че было продано несколько тысяч компакт-дисков с партизанскими песнями тех времен. Правда, мало кто знает, что большинство из песен срочно написали недавно по спецзаказу. Ходят слухи, что под Санта-Кларой планируется построить туристический кемпинг «Эрнесто Че», где одна ночь будет стоить 100 долларов. Кроме того, в планах туркомпаний организация «отрядов» из домохозяек и бизнесменов из Канады и Западной Европы, чтобы они могли пройти по партизанским тропам гор Сьерра-Маэстра в полном облачении повстанца с бутафорским автоматом. Три дня такого «похода» обойдутся в 500 долларов. Во Франции продается одеколон «Че Гевара», в Англии — пиво, в Швейцарии — часы, в Финляндии — кофе с ромом.

Правда, в 1998 году у Че на Кубе появился серьезный конкурент. На острове Свободы с пастырским визитом побывал папа римский Иоанн Павел II. Кастро, отчаянно нуждавшийся в прорыве идеологической блокады, был вынужден отпустить папу в свой заповедник. Режим пошел на некоторые уступки Церкви. Так, было разрешено помещать на воротах храмов изображение папы с надписью: «Папа благословил кубинцев». Мало-помалу портреты папы стали появляться и на стенах обычных домов — это был своеобразный протест против засилья кубинских Чекистов. Так и идет негласная борьба за души молодого поколения: на одной стене — папа с Распятием в руках, на другой — Че с «калашниковым».

— А мы просо сеяли, сеяли...
— А мы просо вытопчем, вытопчем!

Власти надеялись, что в юбилейном году культ Че обретет второе дыхание. В канун 14 июня, на 75-летний юбилей Гевары, в кубинских гостиницах цены выросли почти в два раза, и все равно номер было найти невозможно. В музеях Че (а их по всей Кубе больше десяти) серьезно приготовились к туристическому штурму и увеличили цены на билеты. Над Гаваной развесили плакаты с девизом, которым Че обычно подписывал свои письма: «Hasta la Victoria Siempre!» («Всегда к победе!»)

Но вот юбилейная лихорадка позади. Че идет на экспорт, а островитян все чаще можно увидеть в футболках и майках с изображением «звезд и полос» — американского флага — или просто с надписью «USA». Теперь здесь за внешний вид не сажают, а только наблюдают в «режиме фиксации».

Гавана — это не только столица, но и крупный морской порт. В портовой бухте еще с советских времен — огромные доки с надписью по-русски: «Тихий ход!» А с холма, на противоположном берегу, Гавану благословляет большая статуя Христа Спасителя. Ее успели возвести к 1958 году, за год до переворота, — «прямо как чувствовали». Придя к власти, Кастро не дерзнул ее убрать, хотя наверняка кремлевские товарищи советовали.

В центре города, неподалеку от Музея Революции, дежурят рикши. Куба — едва ли не единственная из стран Латинской Америки, где существует этот вид извоза. Чем отличается капитализм от социализма? Правильно: при капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме — наоборот. Но это еще не все. Как нам долго внушал агитпроп, рикша — это забытое существо, тянущее коляску с развалившимся в ней белым господином. Нас также учили, что только при социализме произошло раскрепощение женщин. И доказатель-

ство налицо: за рулем повозки — белая кубинка, она в поте лица крутит педали. А в коляске — два темнокожих компаньера с деловыми бумагами в руках.

Среди уличных торговцев большой популярностью пользуется продажа знаменитых кубинских сигар. Оптовик закупает их по госцене: 1 сигара — 1 песо. А иностранцу впаривает по доллару за штуку. Наметанным глазом отыскав «вольняшку», продавец действует по отработанной схеме. Первый вопрос: который час? Второй: из какой страны? И, наконец, третий: интересуется ли сеньор настоящими кубинскими сигарами? Рано или поздно это надо едает, и если у вас в десятый раз за день спросят: кэль оро? (который час?), можете сразу отвечать: спасибо, не курю.

Близится время обеда, и надо перекусить. В Гаване, как, впрочем, и в других городах страны, это решается просто. Искать казенную столовку — себе дороже, потеря времени. Зато здесь есть «Макдоналдс» по-кубински. Вы подходите к зарешеченному окну на первом этаже. Это обычная квартира, но хозяин держит патент на торговлю. Он протягивает клиенту бутерброд с бужениной или ветчиной, и вы кладете его в свой пакет. Из холодильника извлекается трехлитровая банка с «рефрешко» (прохладительный напиток), и жаждущий получает свою порцию в стакане. А самые «веселые и находчивые» имеют при себе пластиковую бутылку на два стакана. Теперь все при нас, и можно не потреблять продукцию на месте, а отойти в сторону, отыскать скамейку в ближайшем сквере и разложить снедь на газетке. Главное — не дергаться, не комплексовать, здесь так обедает каждый второй: «Он может кушать пончик и газировку пить. Лишь при советской власти такое может быть!» (Александр Галич).

Вдоль по Малекону

Каждый, кто приезжает в Гавану, обязательно должен пройтись по набережной. Она так и называется — Малекон. Морское лицо столицы было сформировано еще в докастровскую эпоху. За прошедшие десятилетия «дома на набережной» изрядно обветшали, и на потемневших фасадах лежит налет трущобности.

Неподалеку от моих «апартаментов» расположился китайский квартал, и перед выходом на прогулку довелось побродить по его улочкам с уютными ресторанчиками. Как ни старался режим постричь все под общую гребенку общепита, китайская община сохранила свою самобытность. Китайцы стали селиться на Кубе еще в XIX веке. На Малеконе высится черная гранитная колонна с надписями на испанском и китайском языках: «В память о китайцах, которые отдали свои жизни за независимость Кубы в ходе войны 1898 года». Памятник воздвигнут в 1931 году и к нынешним «борцам за свободу» не имеет отношения.

А какую свободу дал Кубе Кастро? Да, Батиста был авторитарным правителем. Но советская пропаганда намеренно смешивала два понятия: авторитарный и тоталитарный режимы. Ни Пиночет, ни даже Франко не были тоталитарными вождями. Тоталитаризм узурпирует (а часто и подменяет) все стороны жизни общества, в то время как авторитаризм только одну — политическую, оставляя в покое частную собственность, профсоюзы, университеты. Прессу он тоже ограничивает, но не подминает. Ну а «верный Руслан», догнавшись до власти, подмял под себя все и вся и до сих пор не разжал своих челюстей на горле страны.

Правда, уже меньше навязчивого бреда о мировой революции — отказ, впрочем, прямо нигде не сформулированный. Ею просто явочным порядком перестали клаяться на каждом шагу. А ведь какой был замах! Никарагуа, Сальвадор, Гренада. Кубинские воины-интернационалисты в Эфиопии, Анголе, Мозамбике.

Украшение Малекона — конная статуя Антонио Масео (1845 — 1896) с саблей в руках. Памятник изысканной работы — сразу видно, что «старорежимный». Почему не снесли? Кастро может считать его своим предшествен-

ником: в апреле 1895 года с отрядом патриотов Масео высадился на Кубе и возглавил повстанческую армию провинции Ориенте. Напротив — старинный храм Непорочного зачатия Девы Марии. Захожу под своды церкви. В алтаре, справа от престола, — статуя Божией Матери, а рядом, на древке, — кубинский флаг с пятиконечными звездами. Да... Такого не было даже при большевиках. Церкви они закрывали, взрывали. Но чтобы «социализм с человеческим лицом» совался внутрь, в «калашный ряд»...

Впрочем, прецеденты уже имелись. После Французской революции 1789 года «присягнувшие» священники должны были помещать в алтаре триколор. А при Гитлере в протестантских храмах по обе стороны от престола колыхались национал-социалистические штандарты со свастикой.

Могут возразить: а как же в США? Ведь там государственный флаг — атрибут каждого церковного здания! Верно, но Штаты — это вам не боготорчеческая диктатура. Американцы — народ верующий; они умудрились даже на банкнотах изобразить надпись: «Мы верим в Бога».

Кстати об американцах. Еще четыре квартала по Малекону на запад — и перед нами семиэтажное здание из стекла и бетона. Ухоженное, в обрамлении пальм, оно выглядит белой вороной на фоне серых, закопченных трущоб. Это американское посольство, но флага на нем не видно; отсутствует и прочая государственная символика. Это и неудивительно, ведь дипломатических отношений между обеими странами нет с тех пор, как на Кубе власть захватили коммунисты. Поэтому официальное название офиса — «Представительство интересов США на Кубе». Такое же кубинское заведение есть и в Штатах — на взаимной основе.

На Кубе Советский Союз догнал и перегнал Америку. Памятником прошлой эпохе высится над Гаваной двадцатиэтажное российское посольство, построенное в форме кинжала, вонзенного в каменистую землю острова.

Все подходы к американскому представительству просматриваются видеокамерами. Их и не пытаются скрыть, и прохожие стараются за квартал обходить «нехорошее место». Вдоль ограды — четыре сторожевые будки, а в них — кубинские охранники.

Десятки кубинцев томятся в очереди, тянущейся вдоль забора. Кто-то лишь готовится «встать на путь измены родине» и намерен подать документы на въезд в страну «потенциального противника». А другие уже «в подаче» и надеются получить въездную визу. Для того, чтобы занять место в очереди, надо сначала отметить в будке, где сидит местный гэбэшник. Это, по сути, — донести на самого себя: назвать «установочные данные» — имя, адрес, место работы. И когда «перебежчика» регистрируют в амбарной книге, он сможет присоединиться к таким же «гусанос» (червякам), как именует их официальная пропаганда.

А для этого нужно решиться идти до конца. Как только «Малекон перейден», «отщепенец» попадает в оперативную разработку: контакты, связи, компромат. И увольнение с работы не только главы семейства, но и всех домочадцев. А впереди — неизвестность: у американцев квоты для эмигрантов с Кубы — 20 тысяч человек в год, и любой, кто «в подаче», может оказаться «в отказе». Даже если во Флориде его ждут родственники.

Изображая на лице наивность и неведение, иду вдоль очереди. Но у гэбэшника, что в будке, — собачий нюх. Из окошечка раздается «лай»: перейти на другую сторону улицы! А там оперативник в штатском уже изучает мой паспорт.

Интересно, помнит ли Кастро, закончивший в молодости католический коллегийум, библейское изречение: «Отпусти народ Мой» (Исх. 5: 1)? Из-под власти диктатора бегут не только простые кубинцы, но и ближайšie родственники Кастро. Майами с давних пор славится как эмигрантский центр для кубинских беженцев. В том числе — это прибежище для дочек, внуков и прочих родственников Фиделя. В конце 90-х годов в Майами на постоянное место жительства прибыла представительница знаменитого клана, родная дочь

Кастро Алина Фернандес. Убежденная противница отцовского режима, она покинула Кубу еще в 1993 году. В парике, гриме и с поддельным паспортом в кармане неблагодарная дочка выехала в Испанию и первые годы эмиграции провела в Европе. Все это время она не прекращала разоблачать деяния собственного отца, выступала на митингах и в прессе, призывая к свержению диктатора. Не найдя в Испании должной поддержки, она переехала в США, где, по ее мнению, противникам диктатуры живется легче. Кроме того, Алина Фернандес говорит, что соскучилась по родине и хочет быть к ней поближе. Вообще дочка явно пошла в папу — тот ведь тоже, происходя из богатого клана, восстал против режима Батисты. Вслед за сестрой в Майами в 1999 году переехали еще одна дочь Кастро, Франсиска, и ее тетка, родная сестра кубинского «харизматика», Хуанита.

Помнится, сходный путь проделала в свое время и дочь Сталина Светлана Аллилуева. Не пожелал жить в России и сын Хрущева. Кто следующий?

Экологически чистый Варадеро

Отдыхать на режимной Кубе могут только «толстокожие» или недоумки. Тем не менее таких «леваков» набирается больше миллиона в год. Конечно, пляж Варадеро — один из самых чистых в Карибском море, и отели, по западным меркам, дешевые. Но поехали бы вы на отдых в деревню близ гитлеровского Освенцима потому, что овощи там растут «без химии», на натуральных удобрениях? Скажете, такого не бывает? А дом отдыха НКВД, с баньками, на территории Катыни, на рвах с трупами тысяч польских офицеров, расстрелянных в 1940 году по решению сталинского Политбюро?

Ехать на кастровскую Кубу можно как дантовскому Вергилию, чтобы побывать хотя бы в «круге первом». Но либералы-леваки на Западе не переводятся, и, чтобы выкачивать из них валюту, на Кубе создано несколько туристических фирм. Одна из них — «Гавиота» («Чайка») — этакий горьковский «Буревестник», ушедший в бизнес. День-другой прогрессивных толстосумов держат в Гаване, а потом на спецавтобусах отправляют на кубинские «золотые псы».

Таких «широко мыслящих» можно видеть у гостиницы «Гавана либре». В шортах, они группками ходят по тротуару, стараясь не удаляться от отеля дальше чем на 300 метров. Некоторых местные торговцы уже успели «обуть» в майки с портретом Че. В руках у них дорогие видеокамеры, цифровики. Кубинцу не заработать на такую игрушку за всю свою жизнь.

О том, что сегодня творится на Кубе, не знает только ленивый. Но зачем «кинооператоры» снимают понурых гаванцев, бредущих по улице? Зачем просят позировать оборванную ребятню, расплачиваясь дешевыми шариковыми авторучками? Пощекотать нервы? Для остроты ощущений? Пообщавшись с местными «пейзанам», довольные, они садятся в автобусы и едут в экологически чистый Варадеро.

А теперь проведем небольшой опыт: попробуем вместе с простыми гаванцами отправиться на пляж. Не обязательно в Варадеро, а на ближний, лежащий на пути к знаменитому курорту.

С трудом удалось выяснить, откуда пойдет нужный автобус. Раннее утро, а на площади многолюдно. Здесь две автобусные стоянки, иду к ближайшей. Мне показывают на «ульtima» («последнего»); кто-то занимает очередь за мной. Полчаса ожидания под солнцем — и уже тянет в тень, под огромный баньян, где тоже кучкуются страждущие. И каждый держит в поле зрения своего «ультиматума». Еще через каких-нибудь полчаса на площади появляется автобус, и мы сбиваемся в стаю. При таком хаосе накладки неизбежны, и компаньерос начинают собачиться. Слышны крики, понятные и без перевода: «Вас здесь не стояло!»

Итак, нас «построили», и дежурные полицейские начинают раздачу посадочных талонов. Система такова: на дальней площадке — очередь из льготни-

ков: они в списке еще с вечера, и им достанутся сидячие места. А нам — талоны, оставшиеся от брони. Полицейский отсчитывает очередников пятерками, и счастливых обилечивают квитками с печатями. Жажущих попасть в очередную пятерку много, и между претендентами начинается драка. Мне, как иностранцу, вручают персональную картонку, и я с трудом выбираюсь из свалки. Ждать автобуса не меньше часа, но на душе радостно: я в списке лимитчиков! Ведь теперь можно вернуться в тень под баньян, а не торчать на жаре. И еще утешает то, что у меня это первая и последняя поездка по данному маршруту.

Автобус по-прежнему стоит в дальнем углу, а его место на ближайшей посадочной площадке занимает изношенный патрульный «пежо». Из салона вылезает «сладкая парочка»: белый оперативник и помощник-мулат. Начинается выборочная проверка документов: корочки спрашивают у молодых людей — лет так до тридцати. Нынче — будний день, и нетрудно понять суть проверки. Это — «андроповщина» в чистом виде: почему в рабочее время отправляешься на пляж? Устное объяснение перепроверяется по рации: по каждому подозреваемому запрашивают данные из центра. Полицейские лениво опрашивают «подследственных», не торопятся; а те так же лениво отвечают. Рутинный быт, публика привычная — ведь все равно надо как-то убить время, автобуса не будет еще час.

Народ вроде бы расслабился, но это только кажется. Каждый — как десантник-профессионал, готовый в долю секунды среагировать на звук и попасть в «десятку» из любого положения. Неподалеку притормаживает еще один автобус, судя по всему, ведомственный. И толпа тут же бросается на штурм; в том числе и мой «ультиматум». Значит, мне туда же. Удастся попасть в поток, и меня вносит в салон, правда спиной вперед, — хорошо, что не ногами. И несет дальше, в хвостовую часть. Но там уже все забито ребятишками-заднескамеечниками. Они ухитрились первыми проникнуть сюда через окно. Прочие окна либо забиты фанерой, либо замазаны краской. Значит, всю дорогу придется ехать вслепую: где уж тут до красот побережья!

Водитель собирает плату за проезд: по 5 песо. Это в десять раз больше, чем госцена, и у мальчишек таких денег нет. Они молча покидают автобус через то же окно, и я занимаю место у единственной отдушины. Это большая удача.

Еще через час, покрутив по Гаване, тягач-ракетовоз ныряет в тоннель под бухтой и выползает уже в «заречь». Потянулись пригородные микрорайоны. Теперь понятно, что у пассажиров и в мыслях нет никаких пляжей. Просто они возвращаются домой после ночной вахты, по месту прописки. Выхожу на конечной, моросит дождь. Смотрю на часы. Еще надо к вечеру успеть в Варадеро.

Быстрым шагом до берега — и сразу обратно. Ведь здесь все так непредсказуемо... Берег пустынный, лишь где-то вдалеке стая подростков. Почему-то вспомнились умирающие деревни русского Нечерноземья.

Интуиция не подвела: оказию до Варадеро пришлось ждать еще полтора часа. Мимо то и дело проносятся автобусы фирмы «Транстур», груженные западниками-леваками. На это бензин всегда найдется: тур в Варадеро оплачен твердой валютой. Напротив автобусной остановки — большой портрет Гевары и девиз: «Твой пример жив, и твои идеи не будут забыты». Есть время поразмышлять на эту тему. Да, Куба — это не концлагерь в чистом виде: газовых камер и печей здесь нет. Но зато не прекращается ежедневная пытка: в социалистической «топке» ежечасно, ежеминутно сгорают нервные клетки, попусту растрачивается здоровье, в борьбе за лимитную пайку уходит жизнь.

В 2000 году здесь отдыхала чета Путиных. После Северной Кореи Куба стала второй страной оставшегося соцлагеря, которую посетил российский лидер. Для отдыха гостям была предоставлена одна из лучших правительственных резиденций — «Лагидо», излюбленное место отдыха кубинской партэлиты. В качестве отпускного развлечения Фидель предложил Путину поохотиться в его компании на хищных акул. Но наш лидер выбрал более мирный вид рыбалки на яхте.

Иностранцы, отдыхающие на пляжах Варадеро, живут в гостиницах на полном пансионе. Но иногда им хочется выпить на набережной стаканчик прохладительного «рефрешко». К их услугам — бары, кафе, где цены обозначены в долларах: перед цифрой — латинская S с двумя вертикальными чертами. Интересно, как питается в этой резервации для белых местная хозобслуга? На отшибе, среди хибар, нахожу будку с «рефрешко». Цена в песо: S, перечеркнутая одной палочкой. Беру бутерброд и протягиваю плату. Хмурый продавец отказывается принимать кубинские дензнаки: с тебя доллары!

— Почему? Я — руссо, совето!

Но ему плевать на «классовую солидарность»: давай доллары!

— Амиго! Ты — трабаходор (труженик, рабочий) и я — трабаходор!

В глазах торговца — ненависть к «шибко грамотному», но не будет же он на глазах у всех вырывать у меня из рук «законную пайку»! Он швыряет монеты в ящик и в сердцах бросает: «Совето! Да у вас в России капитализм!»

Я молчу, а про себя думаю: может быть, злость оттого, что в 20 километрах от Варадеро в начале 90-х был массовый исход беженцев на «подручных плавсредствах» во Флориду, а он не успел свалить вместе со всеми? Теперь-то катера-перехватчики дежурят день и ночь и «в случае чего» открывают огонь на поражение...

А может быть, продавец «делает жизнь» с вождя? В ноябре 1940 года молодой Фиделито отправил письмо аж самому президенту Франклину Рузвельту с поздравлением по поводу переизбрания на третий срок. «Я еще ребенок, — писал двенадцатилетний Кастро, — но я очень много думаю... Если можно, пришлите мне в письме американскую зеленую десятидолларовую купюру, потому что я не видел американской десятидолларовой купюры, и мне хотелось бы получить ее». По понятиям нынешних кубинских спецслужб, это была попытка «измены родине через намерение». Тем более, что шустрый пацан в постскриптуме предложил, что если Рузвельту нужно железо для постройки кораблей, то он покажет ему крупнейшие железные рудники. Президент ответил кратко, а денег юному «агенту-инициативнику» не прислал.

(Окончание следует.)



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Н. НИЛЛИ

*

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Впечатления

1. В «Вольфиле»

Маленькая комнатка, 8 рядов стульев, стол посередине, на нем свеча, — дальше комнатка с мягким ковром, с кушеткой и тремя большими креслами — там темно.

Это петербургская «Вольфила» — Вольное Философское Общество — любимое место Андрея Белого, Блока. Первое место, с которого послышалось огненное благовествование о «12-ти».

Основатели этого общества — А. Белый, Блок, Штейнберг, Иванов-Разумник, Константин Эрберг. Каждый понедельник устраиваются здесь собрания.

Первый понедельник, как я приходил, был посвящен Григорьеву. Кудлатая толстая фигура с очками, лицо добродушное, ворчливое в губах, — это тот, кто на каждом понедельнике ругает докладчиков.

Выручали Блока за «12» там же. Это самый старый член «Вольфилы».

«„Вольфила” идет!» — всегда встречает его Иванов-Разумник.

Григорьев читал новый роман Бурже и разбирал его так беспорядочно, так скрипучим голосом, что почти нельзя ничего разобрать.

Добродушно улыбались члены и слушали — что-то улавливая.

Бледный молодой человек с черно-огненными глазами сел около меня. Сидел неподвижно, только тихая рука подносила ко рту папироску — и опускала огонек. Это был Арон Захарович Штейнберг. У меня как раз было приглашение к нему от «Передвиж<ного> театра» на открытие зимнего сезона. Я сунул ему в руку пригласительный билет. Шепотом мы объяснились, и в шепоте нежно он закрепил встречу крепким пожатием руки.

«Вы попали к нам так неудачно, — сказал он, — докладчик-то не очень...»

В следующий понедельник читал я и поэтесса Елизавета Полонская, — она читала о новом романе Эренбурга — выдержки из него. Председательствует — Иванов-Разумник. Роман Эренбурга недавно вышел в Берлине — это интересный роман приключений. Герой романа — Хоти Хоути — играет своей волей. Он хочет доказать ненормальность положения современности всей своей жизнью — увеличивая эту ненормальность до предела всеобщей катастрофы. Имеет ряд последовательных учеников.

Этот роман вызвал оживленный обмен мнениями, многие осуждали этот роман за его бульварность. Иванов-Разумник сказал, что он с большим интересом прочитал его, но по прочтении почувствовал тошноту. В авторе чувствуется наполненная ядом душа. Ко всему этот человек живет разрушением. Много в его душе болезненности, непримиримости с человеком.

Беседовал с председателем «Вольфилы» Пинусом о внутренней работе.

2. У серапионовцев

«Серапионовы братья» — это один из ценных литературных кружков Петербурга, который безусловно оставит яркий след в литературе.

Всех серапионовцев 8 человек, из них выдвинулись своей яркой талантливостью В. Иванов, Конст. Федин, Ник. Никитин, Елизавета Полонская.

Беседовал с Фединым. Он подчеркнул, что новое в их работе — это техническое совершенствование стиля, чтобы ни одного лишнего слова не было в стиле.

М. Горький руководит их работой, он пишет им: «Работать очень трудно, но нужно всегда работать, стараться делать, чтобы было все труднее и труднее! В этом литературная яркость жизни — всегда стремиться к этому».

Все «Серапионовы братья» спаяны между собой. Собираются каждую субботу у Саломирского, читают свои произведения, рассказывают о жизненных приключениях, обсуждают недостатки своей работы. Маленькая дружеская попойка — и расходятся.

Конст. Федин весь ушел в игру технической красоты стиля. Он вдохновенно роется в книгах А. Белого, любит переживаниями его слов. В восторге от Шмелева. Вот его не поймаешь ни на одном слове, все имеет свою ценность, все гармонично у него.

Федин весь в Петербурге — он любит его.

3. Ник. Никитин

Ник. Никитин весь в искании словечек, выражающих быт провинции, человека земли. Он колеблется в споре о технике слога, хотя и отстаивает его просто, может быть, из братственных чувств к своим. На его лице что-то набросано недоделанное: мальчик в семействе и выпрыгнувший из путешествия, куда-то мучительно собирающийся человек. Человек этот постоянно теряет записные книжечки. Эти книжечки — его произведения: рассказы Ник. Никитина.

В будущем он даст гениальнейшие ноты литературы, по которым кто-то сыграет. На чистом лице очкавятся думающие глаза, рот — жабы.

Он любит провинцию, интересуется ею. Часто покидает Петербург, чтобы работать в деревне.

Вспоминаю, как переписывались, его интерес к Дому нар<одного> творчества. Говорит, как он хотел бросить Петербург в то время и ехать в Симбирск работать в ДНТ со мной.

4. Вс. Иванов

Вс. Иванов — добродушный, хитрый, себе на уме паренек. Он весь пропитан жизнью Сибири, весь в звоне и мире тайги, больших дорог, пропитан холодом и яркостью солнца. Очень сдержанный. Посмеиваясь, мурлычет себе под нос танку да посматривает на все серебристо из щелок глаз на блиннике, посаывая трубку. В нем чувствуется смех, этот смех тихо щекочет сердце, хочется приблизиться к этому толстому человеку, сидящему на кругленькой подогнутой ноге, и поесть существующее.

Все серапионовцы интересуются провинцией. Мечтают летом прокатиться по волжским городам и давать литературные вечера.

5. В журналах и изданиях

Книжные магазины переполнены книгами стихов. Владельцы книжных магазинов жалуются, что стихов никто не покупает. Отказываются брать. Устраивалась выставка пролетарской поэзии с 1919 г. по 22 г. Есть любители, которые собирают исключительно поэзию всякую — только чтобы были стихи, — составляют словари поэтов и поэтесс.

6. Пролетарские поэты

Пролетарскими поэтами выпускается большой журнал по типу «Красной Нови». Собираются материалы. Некоторые пролетарские поэты мне говорят, что у них свой кружок, состоящий из нескольких человек.

Я сижу в чайной с пролетарскими писателями.

7. Театры

Из всех театров Петербурга, которые влачат жалкое существование, где творчество своим творческим «нужно» совершенно отсутствует, — выделяются «Передвижной театр» Гайдебурова и Скарской, «Театр юного зрителя», «Студия Шимановского» при Политпросвете и студия «Живого слова» Веселовского. Театр Гайдебурова и Скарской выделяется среди других своим творческим пафосом, какой-то художественной религиозностью пропитана вся игра артистов, в истинном смысле творцов. Играют без суфлера. Коллективная работа над пьесой вырисовывает не только художественную ценность работы, но и научную.

«Театр юного зрителя» дает много восторженных, непосредственно свежих впечатлений о сказочном мире. Об этом театре много говорят в «Передвижном».

Обмен мнений студийцев раздается щебетанием во время обеда.

Основатель этого театра — Брянский, артист театра Гайдебурова и Скарской. Павел Павлович Гайдебуров не все принимает в этом театре, много театрального в нем, нужно побольше интимности. Я сказал ему:

«Нужно, Павел Павлович, чтобы дети сами создавали сцену».

«У нас, — сказал он, — несколько раз предпринимались такие детские постановки. Артист ходил со сцены к детям и вместе с детьми играл».

«Студия Шимановского» при Политпросвете, руководит ею Шимановский. Сцены нет. Просто зрители, и на возвышении игра артистов. Декорация условная. Артисты — все молодежь. Живые радостные лица, создаются импровизации. Сами артисты драматурги.

8. Мих<аил> Алекс<еевич> Кузьмин*

Оживленный человек, с большой головой, где только прядка волос, полуседая, на голом черепе. Большие глаза с поволокой и мягкое, изящное затягивание папироской.

В нем много женственного, изящного и простого детского. Он любит пить чай, всегда покупает массу сладостей.

«Многому научила нас революция, — говорит он, — привыкли к суровой жизни, углубились как-то...»

Кузьмин говорит о Блоке:

«А. А. был уж очень серьезный человек, он все воспринимал трагически — нельзя же так».

9. Юркун

Вместе с Кузьминым в одной комнате живет Юркун, автор романа «Шведские перчатки» и др. Молодой человек с бледным лицом Оскара Уайльда.

«Вы, пожалуйста, — говорит он мне, — не считайте меня писателем, пожалуйста. Я не писатель, просто рассказываю о жизни». Сейчас он работает над большим романом, работает среди чая, разговора. Попишет немного, потом говорит, пьет чай. Очень интересно, работа на виду.

10. Ган

Колочий старик. Много в нем насмешки, ненависти к людям. Говорил мне: «Пишите фельетоны о провинции — сейчас фельетоны нужны — быт. Вы там Пильнякам подражаете, все Пильняки, а что Пильняк — косматый писатель — да-с».

...Пришел в «Вольфилу», говорить с Ивановым-Разумником.

«Хочу почитать у вас об измерении чертей».

«Как?»

«О реализации первобытной религии, об измерении чертей».

После его ухода мы долго смеялись.

* Sic! — Е. Б.

11. Замятин Евгений

Высокий, лицо огурцом, розовое. Что-то деревенское настезено на нем.

Руки длинные, большие, красные, обросшие волосами, жилистые. Заведует издательством «Иностранной литературы». У него почти каждый день собираются «Серапионовы братья», Ахматова и др. Много у него времени проводят в своей работе над литературной формой серапионовцы, особенно Николай Никитин.

12. Анна Ахматова

Прежде всего бросается в глаза — это женское на виду: женское любопытство, потом утомление до страдания.

«Какой ваш любимый поэт?»

«Вяч. Иванов!»

«Ах, как мы сходимся! Мой любимый поэт тоже В. Иванов».

«Где он теперь?»

«В Баку, он там уже год, учительствует».

«А как вы представляли меня?»

Она полулежит на кушетке. Я вижу — тень утомления целует ее лицо с челкой, глаза расплываются жуткой чернотой, уста кривятся пьяностью...

13. Чайные

Я хожу по чайным. Русский человек всегда познается в чайных. Чайные — это живая газета — там складывается новый быт.

Там разгорается душа, плачет о человеке.

«Хожу и записываю, как встречаться с моим человеком, что сделал человек».

Плеснулось Достоевским.

Что положительного вынес я из впечатлений о Петербурге?

Интерес среди писателей к провинциальной жизни.

Искание новых форм в театре.

Театр даст великие творческие возможности.

Короткие, словно «вспышки магния» фотографа-любителя, и (как, вероятно, заметит внимательный читатель, знаток литературного Петрограда начала 20-х годов) весьма курьезные мемориальные портреты и заметки некоего Н. Нилли на самом деле представляют немалый интерес:

во-первых, как своеобразный документ эпохи;

во-вторых, тем, какие причудливые формы подчас принимает так называемая аберрация памяти;

и далее:

по стилю, я бы сказал — «розановскому», этих «впечатлений»;

по буквально нарочитой путанице в именах писателей и в названиях их произведений, которые в ту литературную пору были на виду и на слуху не только на тогдашнем петроградском литературном и театральном Олимпе;

по причудливой, подчас иронической и тонкой словесной подаче их внешнего вида («тихая рука» Арона Штейнберга¹; «очкавятся глаза» и «рот жабы» Никитина²; «волосатые руки» и «лицо огурцом» Евгения Замятина; «блинное» лицо бормочущего «танку» Всеволода Иванова; «ворчливое в губах»

¹ Штейнберг Арон Захарович (1891 — 1973) — философ и общественный деятель; был в числе членов-учредителей «Вольфины» и секретарем ее совета; главная книга, написанная уже в эмиграции, — «Система свободы Достоевского» (Берлин, 1923). (Примеч. ред.)

² Никитин Николай Николаевич (1895 — 1963) — плодовитый прозаик и сценарист. (Примеч. ред.)

лицо Григорьева; «птичье щебетание студийцев» Шимановского за обедом и фамильярно выполненный словесный портрет Ахматовой;

наконец, по раритетному печатному источнику (ибо вышел в свет лишь один-единственный номер симбирского журнала «Синбир» (1923), учрежденного Симбирским губисполкомом).

Это не говоря уже о судьбе самого автора — Николая Николаевича Ильина (петроградско-симбирского провинциального поэта, философа и доморощенного театрала-любителя, выбравшего себе незатейливый псевдоним «Н. Нилли», за которым, если прочесть это слово справа налево, легко угадывается его настоящая фамилия). Он публично и дерзко спорил с Дмитрием Философовым, доверительно знавался с Ивановым-Разумником и Ароном Штейнбергом, его принимал на Офицерской Александр Блок, о нем писал сам В. В. Розанов в 1914 году в своей книге «Среди художников»: «Вдруг он мне сделался необыкновенно мил. Сам разносит свою газету! Хромой!! Сам ее всю „пишет“...»

Отметим сразу же некоторые образцы этой самой нарочитой аберрации памяти автора и допущенные им курьезные вольности:

Анна Ахматова сильно слукавила, если действительно сказала гостю, что Вячеслав Иванов ее любимый поэт;

«Серапионовы братья» собирались не у некоего «Саломирского», а в известном «обезьяннике», то есть в угловой комнате на третьем этаже по черной лестнице — на задворках Дома Искусств (Мойка, 59); «в трюме» так называемого «Сумасшедшего корабля» (см. известный роман О. Д. Форш), то бишь легендарного «Елисейского» дома, у Михаила Леонидовича Слонимского и его молодой жены Иды Исаковны (урожденной Каган);

«Театр юного зрителя», основанный Брянским, — это «Ленинградский театр юных зрителей», основанный в 1921 году А. А. Брянцевым;

«настежно» одетый (деревенское словцо — благо он из близкой сердцу Н. Нилли провинции, из глухой Лебедяни родом) Евгений Иванович Замятин, в то время «синдик» и «штурман» серапионов, служил всего лишь редактором переводов английского отдела в знаменитом издательстве «Всемирная литература», (а не «Иностранная»), заведующим же издательством был Максим Горький;

героя первого романа Ильи Эренбурга звали Хулио Хуренито, а отнюдь не Хоти Хоути;

«председатель „Вольфилы“³ Пинус» — это один из ее членов-организаторов Д. М. Пинес, а одним из председателей ее был избран Андрей Белый;

среди выдвинувшихся «яркой талантливостью» серапионов странным образом не помянуты ни Лев Лунц, ни Михаил Зошенко, ни Вениамин Каверин и Михаил Слонимский, ни поэт Николай Тихонов; не может быть, чтобы никто из собеседников-знакомцев Н. Нилли в ту пору — ни Федин, ни Никитин, ни Всеволод Иванов — не назвали их имена в первую голову;

не было в окружении «Вольфилы» никакого такого «колючего» старика по фамилии «Ган», правда, в журналистской братии Петрограда мелькала в это время парочка мелких публицистов «Ганов» — это А. Гутман и Б. Гриннбаум, — подписывающих свои труды этим именем (см. 4-й том «Словаря псевдонимов» И. Масанова), однако на самом деле этим «странным» посетителем «Вольфилы» был не кто иной, как серьезнейший и известнейший в Петрограде ученый муж, профессор-антрополог Владимир Тан-Богораз (подсказано В. Г. Белоусом⁴), вполне возможно, не любивший «косматого» Бориса Пильняка и предложивший «Вольфиле» антропологический доклад на тему «об измерении

³ «Вольфила» — Вольная Философская Ассоциация в Петрограде-Ленинграде (1919 — 1924), созданная по инициативе Р. В. Иванова-Разумника и членов его группы «Скифы» с целью исследования и пропаганды философских вопросов культуры. См. соотв. статью Т. В. Воронцовой в «Литературной энциклопедии терминов и понятий» (М., 2001, стр. 137 — 139). (Примеч. ред.)

⁴ См. также: Белоус В. Г. Петроградская Вольная Философская Ассоциация (1919 — 1924) — анти тоталитарный эксперимент в коммунистической стране. М., 1997.

чертей...». (Ради курьеза — в стиле Н. Нилли — добавим, что в те годы в Петрограде жили и служили науке, музыке и врачеванию еще двое Ганов и один Гун: ученый-химик и преподаватель, профессор Николай Дмитриевич Ган, известный царскосельский фотограф и музыкант Константин Ган, написавший несколько камерных произведений на стихи Ахматовой, и известнейший в Петрограде детский врач-ортопед Боткинской больницы, но по фамилии Гун, Николай Федорович, год рождения — 1857-й, одна из работ которого по детской медицине так и называлась: «Об измерении горбов!»);

наконец, вызывает некоторые сомнения, что Михаил Кузмин (да еще с ошибочным мягким знаком посредине фамилии) даже и в частной беседе (за морковным чаем с бисквитами из ржаной муки и сахарина) столь странно и холодно отозвался о трагически умершем Блоке!

Что же до сходства Юрия Юркуна с Оскаром Уайльдом (и оно, упрямо культивировавшееся, как известно, самим Юркуном, было не только чисто внешним) — это подмечено точно, равно как и все, что касается изображения жизни гайдебуровского «Передвижного театра», брянцевского ТЮЗа, молодежной студии артиста В. Шимановского (наш автор, как видно из текста, да и на самом деле человек, явно близкий к «Передвижному театру»), а также «пролет-чайных» и «пролет-книжных магазинов», лавок и киосков...

По справочным книгам Петрограда тех лет, в городе насчитывалось около полутора сотен частных и иных питейно-закусочных заведений для самого простого, деревенского, фабричного, разночинного и беженского «достоевского» люда. На одной Гончарной и в Перекупном переулке близ Николаевского вокзала их было с добрую пару дюжин с хвостиком («плеснулось Достоевским»). Да и книжных лавок, летучих редакций и издательских контор, где возможно было приткнуться деревенскому поэту или лаптежному дервишу-пролетарию с котомкою самодельных стихов за плечами, было предостаточно...

Короче, наряду с приведенными выше курьезами, промахами и неловкостями в этом тексте проблематизируют (на фоне общеизвестных событий и лиц) яркие крупитцы новых фактов и фактиков культурного быта Петрограда... Из всего этого наиболее ценными (на наш взгляд) являются описания двух понедельников «Вольфилы» в Мариинском дворце 1922 года, на которых лично присутствовал автор. Ибо они ранее не были учтены исследователями (см. тщательно, с любовью и знанием источников составленную и откомментированную А. В. Лавровым и Джоном Мальмстадом переписку Андрея Белого и Иванова-Разумника (Белый Андрей, Иванов-Разумник Разумник Васильевич. Переписка. 1910 — 1920-е годы. СПб., «Atheneum-Феникс», 1998), а также весьма подробную публикацию Е. В. Ивановой «Вольная Философская Ассоциация. Труды и дни» — «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1992 год». СПб., 1996). Правда, Е. В. Иванова отметила, что как раз «Хроника...» жизни «Вольфилы» за 1922 — 1923 годы — этого последнего глотка «вольной» и свободной мысли в большевистской России — ввиду отсутствия пока полного комплекта «протоколов заседаний» страдает неполнотой и лакунами.

Первый из понедельников — это тот, на котором некий «кудрястый критик» Григорьев читал какой-то роман Поля Бурже...

И вслед за ним — второй, где выступали сам Н. Нилли со стихами и поэте-са Елизавета Полонская, представившая фрагменты нового романа Ильи Эренбурга «Жулио Хуренито» с последующим обсуждением романа собравшимися.

Итак — Григорьев! Кто этот незнакомец, чье имя ни разу не упоминалось среди участников и гостей «Вольфилы» за все годы ее существования? Можно было бы предположить, что это Рафаил Григорьевич Григорьев (псевдоним критика и публициста Крахмальникова; 1889 — 1968). Григорьев-Крахмальников — друг, соратник и единомышленник Горького и Короленко, знакомец Евгения Замятина. После 1917 года активно сотрудничал во «Всемирной литературе», возможно привлеченный туда Максимом Горьким, где Григорьевым были составлены предисловия к изданным той самой «Всемиркой» собраниям

сочинений Лили Браун, Г. Д'Аннунцио, О. Мирбо, Г. де Мопассана, Г. Уэллса и других (см. статью о нем А. В. Ратнера во 2-м томе биографического словаря «Русские писатели. 1800 — 1917»; тут же «очкавистый и с шевелюрой» портрет Р. Г., весьма схожий со словесным портретом в публикации).

Правда, серьезное сомнение в достоверности имени предложенного персонажа вызывает весьма далекая от истины аттестация, данная в тексте Григорьеву Ивановым-Разумником: «Самый старый член и постоянный критик „Вольфила“». Но, учитывая, что Нилли расположен к преувеличениям и даже к мистификациям, этот «кандидат в Григорьевы» представляется вполне возможным. Дело в том, что Рафаил Григорьев был известен в близких «Вольфиле» кругах и как задиристый оппонент самого Евгения Трубецкого, и как критик и публицист народнического и эсеровского толка, не чуждого тогда Горькому. В пользу нашего предположения мог бы служить и тот факт, что именно на этом «понедельничном» заседании «Вольфила» и именно Григорьевым, знатоком, в частности, французской литературы (как видно из его «послужного списка» публикаций в указанной выше словарной статье), вполне могли быть зачитаны и представлены для обсуждения фрагменты и главы из романа Поля Бурже.

О том же, что Елизавета Григорьевна Полонская действительно представляла в «Вольфиле» новый роман И. Г. Эренбурга «Необыкновенные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (Берлин, «Геликон», 1922), давно и хорошо известно (см. вступительную статью петербургского исследователя творчества писателя Б. Я. Фрезинского к 1-му тому собрания сочинений И. Г. Эренбурга (М., 1997), где он ссылается на недатированное письмо Е. Г. Полонской к Ю. Н. Тынянову).

Теперь можно, во-первых, подтвердить этот факт; во-вторых, приблизительно обозначить дату чтения Полонской, а именно не позднее декабря 1922 года (на что уверенно указывает дата 29 ноября — день отъезда из Петрограда в Берлин Арона Захаровича Штейнберга (см. письмо Андрея Белого Иванову-Разумнику от 16 января 1919 года, примеч. 7 — Указ. изд., стр. 170), который, по абсолютно достоверному свидетельству Н. Нилли, присутствовал на предыдущем «григорьевскому» заседании «Вольфила»; а в-третьих, познаться с отношением к роману Эренбурга Р. И. Иванова-Разумника. Заметим, что Андрей Белый, в те годы во многом сходявшийся в оценках людей и в творческих пристрастиях с Ивановым-Разумником, тоже не любил Эренбурга как писателя (см. письмо Андрея Белого от 18 ноября 1923 года в указанном издании, стр. 256)... И, быть может, роман Эренбурга Разумник Иванович получил по оказии из Берлина (скажем, от тамошних членов «Вольфила») чуть раньше, чем Елизавета Григорьевна Полонская от самого писателя (см.: Попов В., Фрезинский Б. Илья Эренбург. Хроника жизни и творчества. Т. 1. 1891 — 1923 гг. СПб., 1993), и успел его прочитать до нее.

Однако все точки над «i» относительно мнимого «Григорьева» расставил исследователь судьбы «Вольфила» и ее членов Владимир Григорьевич Белоус. Он любезно сообщил нам, что в Архиве Иванова-Разумника (ИРЛИ, ф. 79, оп. 5, № 8, л. 45) сохранилось рукописное объявление, которое анонсирует «понедельничные» заседания Вольного Философского Общества на октябрь 1922 года по адресу Фонтанка, 50 б, кв. 25. В частности, на 2 октября был запланирован доклад А. А. Чебышева-Дмитриева «Строители и разрушители» по поводу романа Поля Бурже «L'étape» (Алексей Александрович Чебышев-Дмитриев (? — 1942) — преподаватель математики, постоянный участник заседаний «Вольфила», руководитель кружка «Введение в философию математики» — см. о нем в издании переписки Белого с Ивановым-Разумником, стр. 226), а на 23 октября — выступление Елизаветы Полонской о романе И. Эренбурга (так!) «Хулио Хуренито».

Теперь наступила пора кратко поведать о самом авторе публикуемого очерка — Николае Николаевиче Ильине (1886 — 1944). Сразу же отсылаем читателя ко 2-му тому биографического словаря «Русские писатели. 1800 — 1917»

(М., 1988), где нашему автору посвящены два столбца убористым шрифтом (автор — С. В. Сучков), с портретом (куда-то вдаль смотрит вдумчивый, кроткий человек с бородкой клинышком, в косоворотке, на голове — смятая, чуть приземистая дорожная шляпа).

Из статьи следует, что Н. Н. Ильин, «прозаик, поэт, публицист, издатель», был весьма заметной общественной фигурой в Симбирске в среде писателей-самоучек, народных учителей и доморощенных философов, много и разнообразно печатался, даже выпускал тоненькие философские брошюрки («Крик жизни», «Живая жизнь», «Слова жизни», «Жизнь. О творчестве женщины» — прочитав эту книжицу в Публичке, я понял, откуда у Нилли получился *такой* «женский портрет» Анны Андреевны Ахматовой) и, часто наезжая в Петербург, был с 1915 года, так сказать, культурным проводником между Невой и провинцией, состоял в давней дружбе с Николаем Никитиным по Уралу и Всеволодом Ивановым по Сибири.

Как уже упоминалось, Н. Нилли был в самом начале 20-х годов в гостях у Александра Блока. Сам поэт этого визита, похоже, не заметил (быть может и так, что сведения об этом оказались среди уничтоженных им самим или утраченных писем, бумаг и дневниковых записей). Но осталось восторженное стихотворение Н. Нилли, посвященное Александру Блоку. Оно называется «Встреча». В 1922 году Ильин выпустил в Симбирске на гектографе самодельный поэтический сборничек под названием (взятым из Гейне) «Глаза, обращенные к солнцу» (сейчас этот сборничек — превеликая библиографическая редкость). В нем среди прочих было и это стихотворение. О его поэтическом качестве не приходится говорить, важен сам факт, ранее блоковедам неизвестный. Стихотворение начинается строками: «С губами красными, с глазами ясной дали / Блок проходил в застывшем сюртуке...» И далее: «Курчавостью своих волос во тьму / Он уходил, овеянный страданьем, / И кто-то пел о счастье ему». И наконец: «А я читал его стихи ему, и бережно до солнца, до рассвета трудилась музыка его души к нему».

Напоследок об источнике — симбирском журнальчике «Синбир», 1923 года (название это восходит к первому имени Симбирска-Ульяновска, крепости Синбирск, основанной в 1648 году и прославленной разбойничьими набегами Стеньки Разина). Журнале «литературы, искусства и культуры», как объявлено в подзаголовке. В нем все дышит историей «новой России». Перед нами большая тетрадь (in folio) в почти 50 страниц (стоимостью 350 рублей серебром). Серая дешевая оберточная бумага с неровными краями. Вступительное слово (самый настоящий *манифест*) набрано жирнейшим шрифтом и «уложено» в вытянутый во всю страницу футуристический ромб. «Читатель, — говорит в нем в частности, — если у тебя есть общественные и культурные запросы, если у тебя есть интерес к знанию, — хочешь постичь или ты сам силен, что можешь поделиться своими достижениями с другими, — дерзай, приходи, помоги, и „Синбир“ будет жить и свои задачи выполнит. Нет????!!! — пусть и „Синбир“ постигнет участь многих славно почивших. Не жалко!!! Значит, „Синбир“ никому не нужен, не наступило еще для Симбирска время иметь свой журнал... Видимо... А может, потребность есть, но „Синбир“ не может попасть в точку. Может, бездарно груб „Синбир“, что не уловил биение твоего сердца, не удовлетворил твои запросы, то скажи, еще есть возможность исправиться... В узкой скорлупе симбирской жизни „Синбир“ хочет сделать маленькое дело. Но знай, что это дело требует много усилий, много труда. И если это делать дальше не стоит, скажи! „Синбир“ хочет жить! „Синбир“ может жить! „Синбир“ должен жить! Ради Тебя!»

Открывался «Синбир» большим графическим портретом Ильи Николаевича Ульянова, сделанным в модной «угловато-лучистой» манере (в духе Ю. Анненкова). Рядом — скромный рисуночек скучно вытянутого по линии улочки одноэтажного домика семьи Ульяновых, с небольшой пристройкой в два приземленных окошечка, палисадничком и самодельным заборчиком. Подписи

под картинками — краткие, спокойные, без подобострастия. «Наш Симбирск — весь потонувший в зелени садов, захолустный, сонный — является родиной выдающихся людей России в различных областях деятельности... Достоевский (?!), Карамзин, Гончаров, Григорович, Анненков, Языков, проф. Богданов (?), Минаев... В 1870 г. род. вождь революции, самый популярный гражданин РСФСР — В. И. Ульянов (Ленин)».

Что же до собственно содержания «Синбира» — стихов, прозы, публицистики, — имена авторов мало что скажут современному литературному старателю (разве что — симбирским краеведам).

Отметим лишь, что вслед петроградскому литературному очерку «впечатлительного» Н. Нилли «Синбир» старался держать своих первых читателей в курсе всех новинок тогдашней литературы. Вот красноречивый пример из раздела «Книжная полка»: «„Словарь революционных писателей“. М. А. Булгаков работает над составлением словаря русских писателей — современников великой русской революции. В словарь войдут биографии и освещение литературной работы, в особенности за годы 1917 — 1922, современных беллетристов, поэтов и критиков по всем городам республики». Нынешним булгаковедам этот факт биографии Михаила Афанасьевича хорошо известен, но сама редакция текста «объявления» новая...



КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА



ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Сборник статей Дмитрия Галковского «Пропаганда» тихо вышел в Псковском издательстве и остался незамеченным как московскими книжоторговыми фирмами (тщетно искать его в продаже), так и широкой прессой.

Дмитрий Галковский, скорее всего, опять увидит тут заговор, осуществление давнего пожелания Александра Архангельского «не обсуждать, не бранить» его, а «подвергать умолчанию». Считает же он, что изданию «Бесконечного тупика» воспротивились «влиятельные силы», не то он бы стал человеком «очень популярным». «С моим мнением стали бы считаться, вип-персоны искали бы моей дружбы, от моих действий в жизни страны что-то бы зависело, иногда очень важное». И все это случилось бы, если бы «Бесконечный тупик» издали до 1993 — 1995 годов, «то есть до окончания эпохи массового чтения».

Если уж «влиятельные силы» были так озабочены тем, чтобы помешать публикации книги мало кому известного тогда Галковского, то почему бы им вкуче со «стадом литературных обезьян» не «перекрыть кислород» яростному полемисту, ненавидимому за то, что он «умнее и талантливее» их всех?

На самом деле, конечно, никакого заговора против Галковского никогда не существовало. Не было центра, который руководил бы действиями против него: обдумывал, как преградить путь «Бесконечному тупику», как «напечатать для смеха» из него отрывки, чтобы ослабить, осрамить и извести, назвать «подлецом, антисемитом, евреем и гермафродитом...». Не выполнял Игорь Золотусский, впервые публикуя в 1991 году отрывки из «Бесконечного тупика» в «Литературной газете», задание каких-то таинственных влиятельных сил, как утверждает Галковский в интервью в «Континенте» («Блатари собрались на толковище и решили Галковского опустить»; «Со стороны Золотусского тут была расчетливая литературная подлость»). Не перекрывала заметка Зиновия Паперного, возмущившегося античеховскими инвективами Галковского, путь к публикациям на многие годы. Скорее наоборот — привлекала интерес к автору и стимулировала новые предложения. И, конечно, не ненавистью к Галковскому руководствовалась Золотусский, печатая отрывок из «Бесконечного тупика» (как и все другие его публикаторы). Но и не интересами Галковского. Редактор почти всегда руководствуется интересами издания, которое он представляет. Этой простой вещи Галковский никогда не мог понять, вступая в очередной конфликт с прессой.

Роман с «Литературной газетой» закончился быстро: как только газета напечатала отклик на публикацию, Галковский счел, что его «подставили», и шумно возмутился. Роман с «Независимой газетой» длился гораздо дольше — целых полтора года. Галковский, видимо, понял, что полемика вокруг его статей лишь закрепляет успех, или его убедил в этом Третьяков, делавший ставку на скандальность газеты. Галковский, блестящий парадоксалист, с его провокационно звучащими текстами был для Третьякова настоящей находкой. С конца 1991-го по июнь 1993-го в «Независимой газете» были напечатаны четыре программные статьи Галковского, ставшие сенсационными и вызвавшие бурю откликов, и некоторое количество его текстов, так или иначе связанных с возникшей полемикой. Все они потом, когда Галковский демонстративно порвал со всякой прессой (упорно называемой им советской) и объявил

об издании собственного журнала «Разбитый компас», были там напечатаны в первом же номере за 1996 год.

Несмотря на демонстративное заявление Галковского, что его журнал — единственный НАСТОЯЩИЙ («Это не нэповская контора-однодневка для отмывания денег и не приватизированная советская фабрика, в которой „спасаются“ несколько десятков литературных чиновников»), что у него за плечами тысячелетняя русская история, тогда как у всех остальных — только 75 лет советской власти, и что спорить с ним у всех прочих изданий «денег не хватит», просуществовал «Разбитый компас» недолго. Вышло всего три номера. В журнале помимо всех статей Галковского, появившихся в «Независимой газете», была сделана выборка из материалов полемики с ним, которую Галковский называет то травлей, то «пропагандистской войной», не отрицая, что «пропагандистскую кампанию» развязал сам.

Этот блок материалов и составил основной корпус сборника с иронично звучащим названием «Пропаганда». К нему примыкают выступления и интервью Галковского, относящиеся в основном к тому же периоду 1992 — 1993 годов. Сюжет пропагандистской войны органично завершается победой автора — изданием «Бесконечного тупика», присуждением премии Антибукер и гневным отказом от нее.

Как же выглядит некогда скандальная публицистика сейчас, спустя десятилетие, когда страсти вокруг имени Галковского поулеглись и он стал привычным и, как нередко говорят, культовым персонажем русской литературы, что не мешает даже почитателям помещать его в некое дostoевское подполье, а то и в нору. (Так, называющий Галковского «культовым и гениальным» Михаил Золотоносов замечает, что после скандальных и агрессивных статей 1991 — 1992 годов «Галковский отполз обратно в нору и на три года затих».)

Основной пафос публицистики Галковского начала 90-х — это борьба с советской культурой. В то время как в прессе бушевали идеологические бои между националистами, либералами и демократами и враждующие стороны обменивались ударами, Галковский выступил примерно как Маргарита, наблюдающая спор двух соседок по коммунальной кухне: «Обе вы хороши». Тотальность отрицания ставила его вне рамок идеологических дискуссий — поэтому он мог печататься в «Нашем современнике», «Литературной газете», «Континенте» и «Новом мире», прекрасно вписываясь (или, скорее, нисколько не вписываясь) в направление этих изданий. 1991 — 1992-й — годы максимальной свободы нашей печати. Закончилась эпоха перестройки с ее сначала осторожными, а потом все более откровенными попытками демонтажа советской идеологии. В 1991-м уже крушили ее остатки. Ельцин имел намерение запретить коммунистическую партию и вполне мог это сделать.

Галковский выкрикнул свои обвинения советской власти, ее культуры, литературы, искусства, философии, права тогда, когда вся пресса была наводнена ими. Но умудрился сделать это так, что в короткий срок, четырема статьями в «Независимой газете», не просто завладел вниманием аудитории, но восстановил против себя «общественное мнение», существование которого он, впрочем, отрицал. Поток «антигалковских» публикаций не иссякал очень долго, и сейчас кажется самым удивительным одно: да как же он сумел всех так разозлить?

Первым досталось шестидесятникам. Статья в форме письма Михаилу Шемякину в связи с предполагавшейся «Энциклопедией Высоцкого» была опубликована в «Независимой газете» 12 декабря 1991 года, когда уже было ясно, что период перестройки завершен. Действующими лицами перестройки были шестидесятники, вскоре оттесненные с политической арены более молодыми прагматиками. Искренность, мечтательность, непрактичность поколения, чьи надежды были обмануты, обычно подчеркивалась в публицистике тех лет. Галковский издевается над привычным портретом. Лица-то у них, может, и человеческие, но вместо сердца — булыжник. «Шестидесятники были крепкими ребятами, забивавшими железными копытами насмерть всех и вся». Это

они «прошли по головам слабо сопротивлявшихся и малочисленных старших братьев и отцов, сожрали и изгадили золотой запас природы». Невежественные, наглые, страдающие нравственным дальтонизмом, лишенные индивидуальности («„Возьмемся за руки, друзья” — это песня тестообразной массы, азиатского монстра, утратившего свое „я”»), шестидесятники давно исчерпали себя и «заживают чужой век». Вот Владимир Высоцкий вовремя умер — и «лучше выдумать не мог». «Освободил место». И в этом его «благородная непохожесть на свое поколение».

Понятно, «общественность» возмутилась. Поколение шестидесятников и до того покусывали, но никто еще так нагло не предлагал им сойти со сцены и уступить дорогу другим. Позже, задним числом, Галковский стал говорить, что письмо Шемякину — это «пародия на стиль русской литературной полемики XIX века», что только «полная потеря филологического слуха» может заставить не почувствовать в ней карикатуры («Я не только нарисовал карикатуру, а еще под карикатурой подписал большими буквами „КАРИКАТУРА”. Но не понял никто»). Что-то пародийное в статье, конечно, чувствовалось (как, впрочем, и во всех статьях Галковского). Однако ж выпад был сделан всерьез. Газета устроила дискуссию, отголоски которой докатывались и до других изданий, клуб «Свободное слово» затеял обсуждение (материалы его Галковский тоже поместил в книгу). А тут подоспели журнальные публикации отрывков из «Бесконечного тупика», добавившие масла в огонь.

Галковского обвинили в «поколенческом расизме», «мальчишеском нигилизме», антисемитизме, русофобии, агрессивности, закомплексованности, интеллектуальном мардерстве, завистливости, бессердечии, невежестве, хамстве, нравственной деградации, у него обнаружили параноидальный синдром, манию величия, шизофрению, раздвоение личности и установили его происхождение от «подпольного человека» Достоевского. Последнее сравнение само напрашивалось — в манере Галковского излагать свои мысли, в способе аргументации, в просматривающихся комплексах, детских психологических травмах, одиночества, уязвленности и в самом деле узнавался подпольный парадоксалист Достоевского, доказывая живучесть открытого писателем типа. «Литературная газета» назвала Галковского «ярким представителем советского андерграунда». Учитывая, что именно подпольная культура стремительно выходила в эти годы на поверхность и деятели ее гордо именовали себя «андерграундом», газета, очевидно, считала, что делает Галковскому своего рода комплимент, выводя его из рамок советской культуры.

Но Галковский нарочито упрощает сложную семантику слова, делая вид, что «андерграунд» — это «подонки» общества («То, что меня советская интеллигенция определила как „представителя андерграунда”, — это цинизм», — заявит он позже в интервью в «Континенте»). «Это вы — андерграунд, — отбил он подачу в огромной статье, напечатанной в двух номерах „Независимой газеты” под занавес 1992 года. — Вы все, кто считает себя писателями, художниками, учеными. А в действительности — вы советская местечково-пролетарская интеллигенция, уничтожившая русскую культуру».

«Это не ваша земля, не ваша родина — моя», — сообщал он под конец, пообещав «извести всех» быстро и НАСМЕРТЬ. Тут многие обиделись. Не говоря уже об отчетливой ксенофобии автора, к которой интеллигенция причена относиться с брезгливостью, получалось, что все, кто имел несчастье родиться в советскую эпоху, так или иначе пытались в ней выжить и заняться каким-то делом, — все они прокляты, все — ничтожества, все — советские интеллигенты, и маятник истории «сметет их в небытие». А Галковского — нет. Он не интеллигент — он интеллектуал и наследник всей уничтоженной русской культуры.

«Независимая газета» невозмутимо и педантично еще печатала мнения оппонентов Галковского, закрепляя успех, а тут подоспела и новая его статья «Разбитый компас указывает путь». Компасом была марксистская философия.

К 1993 году в спину марксизма была уже всажена дюжина ножей. Интеллигенции давно обрыдло, что ее заставляют в предисловии к диссертации по филологии и истории, математике или медицине цитировать Маркса — Энгельса — Ленина — Брежнева. Над «самым передовым учением», жаргон которого заставлял изучать шахтеров, сталеваров и доярок, над философскими тетрадами Ленина — ученическим конспектом Гегеля с недалекими замечаниями марксиста-начетчика, над диссертациями советских философов о роли марксизма-ленинизма в увеличении энергетического потенциала страны вдоволь насмеялись. Так что статья Галковского, снабженная редакционным подзаголовком «К вопросу об организации XIX Международного философского конгресса в Москве», пинала если не дохлого, то подыхающего льва, как заметил один из доброжелательных оппонентов Галковского В. Кравченко, чем, впрочем, обратил на себя внимание автора и был немедленно наотмашь бит: «Кравченко утверждает, что он философ, тогда как и по способу аргументации, и по фамилии видно, что автор не философ, а украинец». Но переполох случился страшный. Не то забрало за живое, что советская философия названа псевдонаукой, «безмозглой курицей», что она названа системой, построенной на «сознательном обмане», что «научный коммунизм» провозглашен «эталонном глупости и подлости, хранящейся под стеклянным колпаком в советской палате мер и весов».

Галковский, в сущности, призвал к искоренению всего «сословия советских философов», не делая особой разницы между мракобесами, давившими всякую живую мысль, и носителями этой живой мысли, кумирами интеллигенции — Мерабом Мамардашвили, С. С. Аверинцевым. Учился на философском факультете МГУ, ну не на философском, так в другом месте, сдавал экзамен по мракобесию? Значит, советское быдло, нет тебе места в будущей России.

Еще больше оплеух досталось за годы перестройки на долю советской юстиции. К 1992 году был опубликован и наконец всеми прочитан «Архипелаг ГУЛАГ», мемуары бывших лагерников наводнили журналы, правозащитники получили легальный доступ на страницы прессы, «Мемориал» вовсю развернул свою деятельность, пресса кишела статьями, которые ставили под сомнение сами основы советской юстиции, одобрявшей бессудные расправы, массовый террор и отменившей презумпцию невиновности.

«Стучкины дети» — статья яркая, емкая, блестящая, но в своей аналитической части вовсе не сенсационная. «Основой советского права было полное отрицание законности» — вот основной посыл Галковского, далеко не оригинальный. Но те, кто уже с готовностью кивают головой, ожидая одобрения словам «демократизация», «права человека», «свобода предпринимательства», «свобода слова», снова получают отлуп.

«Только ТЫ-то тут при чем?» — ехидно спросит Галковский. «Вас тут не стояло». Веревку на шею, пулю в затылок — никакого иного развития у советского права быть не может. Как! — обескураженно восклицает юрист, правовед, журналист, правозащитник, я же всю жизнь мечтал о свободе, я твердил о правах человека, когда о самом Галковском никто ничего не слышал. «Все вы оккупанты российского государства», — отвечает Галковский, Стучкины дети. «Но сейчас русские постепенно начинают появляться. И они свое государство восстановят, а всех этих Ельциных, Хасбулатовых и Кравчуков¹ прогонят. Разумеется, прикладом... А еще лучше — сделать Стучкиным детям небольшую операцию на головном мозге. Опустить их в первобытное состояние, чтобы ни они, ни их дети и внуки не поднялись больше по социальной лестнице. Никогда».

Тут интеллигент окончательно теряется. Совсем недавно обзывавший «противников перестройки» шариковыми, он никак не может поверить, что

¹ Цитируется по книге, где устранена правка «Независимой газеты», заменившей собственные имена на «президенты» и «спикеры».

это его, с университетским дипломом, с либеральными идеями, приравняли к шарикову, и начинает кипятииться, возмущаться тем, что Галковский предлагает такой же террор и бессудные расстрелы, как теоретик беззакония Стучка, — неизбежно попадая в комичное положение, потому что пафосный текст Галковского пронизан иронией, а аргументы заменяет метафора. Ведь не предлагается же, в самом деле, массовая лоботомия.

Спорящий с Галковским почти всегда тускло выглядит на его фоне, даже если логика и здравый смысл на его стороне. Вот Галковский ставит вопрос: «Во что превратилась русская интеллектуальная культура?» «В огромном соборе слышен глухой скрип. Приглядевшись, в боковой стене различаешь открывшуюся грязную дверцу. И там, между мусорных ведер и швабр, за небольшим столом сидит низколобое существо в ватнике и ушанке». С этой выразительной метафоры начинается памфлет, цель которого — уничтожить марксистскую философию в СССР и само сословие философов, насаждавших «мракобесие».

А возмущенные выпускники философского факультета МГУ в ответ рассказывают о тернистом пути советской науки, о процессе «освобождения от всеильной коммунистической идеологии», в ходе которого были защищены ряд замечательных диссертаций. «Читателя не должно смущать то, что проблематика этих диссертаций и тезисов гносеологизма была „привязана“ к принципам философии марксизма и, в частности, к „Капиталу“ Маркса. Иное тогда было невозможно».

Вот-вот. И Галковский о том же. Его памфлет неисторичен, несправедлив, оскорбителен, но блестящ. А ответ философов с нелепыми потугами на остроумие нуден, дурно написан, лжив и уклончив и невольно подтверждает аутентичность той картинки, которая предшествовала словесной аргументации Галковского.

Это не значит, что тексты Галковского не вызывают отторжения. Вызывают, конечно. Неприятен уже «образ автора», злобность, закомплексованность, вечная готовность ужалить, подозрительность и мелкость. Неприятна неспособность видеть себя со стороны, что рождает несметное количество противоречий в текстах и в литературном поведении.

Вот примечательный эпизод. В статье «Разбитый компас указывает путь» Галковский называет учебник Соколова по истории философии «лепетом советского кретина». Соколов не пожелал числить себя «советским кретином» и обратился в суд, потребовав от «Независимой газеты» извинений. «По моему глубочайшему убеждению, — пишет Галковский в связи с иском В. В. Соколова, — любой человек в любой форме, в том числе и самой резкой, может публично выражать свое мнение по поводу любых представленных на его суд произведений... Это основа основ свободной прессы».

Однако тут же он ставит в вину Третьякову, что постоянно видел на страницах «Независимой газеты» площадную ругань в свой адрес. «Это грубое нарушение основ журналистской этики, которое не потерпел бы никто. Кому же это вынести?»

Браня всех и каждого, Галковский ужасно удивляется, что вызывает ответный огонь. Он оскорбляется бездоказательностью обвинений против себя, но ему ничего не стоит сказать, что Окуджава сорвал публикацию его книги, а Третьяков присвоил его деньги, что при ближайшем рассмотрении оказывается полной чушью.

Он иронизирует над логикой своих оппонентов с философского факультета МГУ, принявшихся высчитывать, что стоит за статьей «Разбитый компас указывает путь». «Первым делом ужаснуло место публикации. Статья опубликована во влиятельной газете, близкой к ОФИЦИАЛЬНЫМ КРУГАМ. Статья большая по объему — значит, УСТАНОВОЧНАЯ. Значит, статью ЗАКАЗАЛИ. Раз заказали, значит, „ЕСТЬ МНЕНИЕ“». «Вы сумасшедшие», — смеется он над ними. Но сам демонстрирует ту же логику, когда утверждает, что его решили «опустить», что вокруг него организовали кампанию травли, клеветы,

когда подозревает писавших статьи о нем в «выполнении задания». «Люди просто не понимают, что мне затыкают рот».

Он настаивает на том, что его мнение частное. «Я хочу приучить читателя к выслушиванию именно частного, человеческого мнения». Но он не допускает мысли, что у других людей тоже может быть частное мнение по поводу Галковского. Сам Галковский страшно обиделся, когда его назвали «представителем поколения» («я никогда не считал себя представителем какого-то поколения»). Он — личность. Но шестидесятиникам в праве быть личностями отказано. У них нет индивидуальности.

Даже присуждение премии Антибукер, являющееся следствием сложного взаимодействия индивидуальных мнений пяти разных членов жюри, — для него результат некоего заказа «властей предрежащих», санкционированных действий некоего единого организма, «советских». «Сначала советские меня хотели просто извести. Увидя, что я не спился, не повесился и, более того, несмотря ни на что, издал свою книгу, они перешли к следующему этапу дискредитации и хотят поместить на глянцевого обложки своих журналов изображение русского писателя, который во время общенационального кризиса и позора жрет в дорогом ресторане сэврюжину с хреном».

Прочитую одного из «заговорщиков», оказавшегося членом жюри премии «Антибукер», — Михаила Золотоносова. «Автор предстал агрессивным, закомплексованным и эрудированным инфантилом, который сделал симбиоз из обид и ненависти к миру и людям строительным материалом своего сочинения, — пишет Золотоносов о „Бесконечном тупике“». — Произведение получилось впечатляющим, оно было, так сказать, равномощно текстам Достоевского и Розанова. Я тогда был членом жюри премии Антибукер и выбрал Галковского. Оказалось, что и все другие члены жюри не колебались с выбором². После триумфального присуждения премии Галковский отказался от \$ 12 500, и это было настолько логично для антисоциального автора, закодировавшего себя „человеком из подполья“ Достоевского, что сам поступок обрел эстетический смысл и нуждался в премировании».

То, что Михаил Золотоносов, который в жизнь, кажется, никого не похвалил, насмерть раненный темой антисемитизма, преодолел естественную неприязнь к Галковскому и проголосовал за него, мне кажется поступком, возвышающим самого Золотоносова и отнюдь не унижающим Галковского. Думаю, что и остальные члены жюри не более принадлежат советскому социуму, чем Золотоносов. И все же для Галковского это — «они», «советские», масса, стая, азиатчина. «Я потерял из-за вашей тупости и равнодушия лучшие годы жизни», — швыряет он обвинение некой безличной массе, в которую вплавлены и те, кто присудил ему премию, возлагая на всех и каждого ответственность за собственную литературную судьбу. Галковский утверждает, что он европеец — единственный европейский индивидуалист среди общинной азиатской массы, — но при этом совершенно не хочет понять, что индивидуалист не может иметь претензий ни к обществу, проявляющему равнодушие к таланту, ни к издательству, проявляющему равнодушие к его книге.

Он обижается на все и на всех: на тех, кто ему помогал, и на тех, кто не помогал вовсе, на тех, кто его ругал, и на тех, кто хвалил. Пообещал, например, Курицына извести в ответ на его лестную рецензию о «Разбитом компасе» — не понравилась Курицыну рубрика «В гостях у Сосипатыча». Мне тоже не нравится, особенно памфлет на Георгия Гачева, прожившего достойную отшельническую жизнь. «Зачем вам понадобилось издеваться над незащитным человеком?» — стонет Галковский. Что ж он сам так любит издеваться над «беззащитными»?

Галковский жалуется на ненависть окружающих, на то, что его все время травили, потому что он был «личностью», выше, лучше, талантливее, умнее

² Подтверждаю. Я как раз был членом этого жюри. (Реплика Андрея Василевского.)

всех. Но похоже, что он может существовать лишь в условиях тотального конфликта с миром, что этот конфликт и есть та питательная среда, бульон, из которого произрастает литература Галковского.

Перечитывая спустя десятилетие некогда скандальные статьи Галковского, видишь, как устарел по тональности их антисоветский пафос, как потускнел «пропагандистский» накал. Как провалились все пророчества автора. Сколь искажена картина мира взглядом из подполья. Мелкой злобы и неумной раздражительности было достаточно и у оппонентов Галковского. Но очень часто на их стороне оказывались и логика, и здравый смысл, и представление о литературных приличиях. А на стороне Галковского (или, может быть, Одинокова, который делит с ним авторство) лишь одно — сама литература.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЛА МАРЧЕНКО

*

ВМЕСТОРОМАНЬЕ

В одном из рассказов Евгения Шкловского из цикла «Питомник» (Большая книга рассказов, «Новый мир, 2003, № 1) есть эпизод, показавшийся мне при первом чтении не то чтобы надуманным, а как бы зависшим, ни сюжетом, ни фабулой не востребованным — не в данном конкретном фрагменте, а вообще в цикле. Я имею в виду сцену в кафе в Сокольниках, где знакомец повествователя, выяснив, что соседи по столику заявили в столицу из города С., обрушивается на них. И как это так — старожилы-уроженцы, а имени знаменитого земляка, Михаила Михайловича Бахтина, слухом не слыхали?

Рассказчик пытается приструнить приятеля, но тот не унимается. Мы ждем столкновения, сшибки, полупьяной драки меж москвичами и приезжими из Саранска, и ждем напрасно. До стычки — провинция супротив столицы — не доходит; старая распря, не разогревшись до накала новой вражды, рассасывается. Все растворяется в похмельном послевкусии, все, кроме имени: *Бахтин*. С чего бы это и зачем?

Не знаю, что ответил бы Шкловский, задай ему напрямую этот вопрос, — признался бы, что писать большие романы вместо больших книг рассказов филологу по образованию и критику по первой литературной квалификации мешает Бахтин, или искренне удивился самой возможности такого вопроса. Не в том смысле мешает, в каком Лев Толстой мешал Блоку, а Пушкину — Байрон, а как создатель теории русского романа, его, так сказать, эталонного образца, где «каждый характер представляет собой сложный, изменчивый, но внутренне законченный и цельный мир. И каждый из них раскрывается в сложных и изменчивых отношениях с другими характерами, не только главными, но и второстепенными» (Э. Г. Бабаев). Но все-таки я не стала спрашивать, допустив самовольно, что в рассказе «Бахтин, Эрьзя и прочие» саранский законодатель жанра появляется не случайно, а ежели и случайно, то — «чем случайней, тем вернее». Вот ведь и Нина Горланова (в беседе с Татьяной Бек) при всем своем демонстративном «наиве» не обходится без раздраженной полемики с Бахтиным, хотя, конечно же, имени его и не называет: «Я считаю, что для романа главное не полифония даже (у Достоевского она есть, а у Рабле нет), но приключения идеи. А если еще проще, то я вам, Таня, так скажу. Роман — это суп, где очень много ингредиентов и все перемешано».

В женском варианте, особенно в изготовлении самой Горлановой, такого рода «супы» порой получаются съедобными и даже питательными. В мужском исполнении, скажем в «Дикополе» Евгения Даниленко («Знамя», 2003, № 11), переварить их труднее. Годы учения чудо-снайпера и первые его подвиги: разминка в восточной провинции, высадка в тропиках, афганские забавы, подводная охота на президента страны «чебурашек» — подаются как фарс, повествователь откровенно косит под нового Мюнхгаузена. Следующая часть: захват Грозного — компьютерная «стрелялка». К «стрелялке» на скорую руку

Марченко Алла Максимовна — критик, литературовед. Окончила филологический факультет Московского университета. Автор книг «Поэтический мир Есенина» (1972; 2-е, дополненное издание — 1989), «Подорожная по казенной надобности» (о Лермонтове, 1984), многочисленных статей о современной поэзии и прозе и других книжных и журнальных публикаций.

примешивается вариация на тему «Кавказский пленник» (раненый русский плюс красавица горянка). Ну а в финале почти римейк: «Подвиг разведчика»...

Лично у меня стилистические затирухи — множество ингредиентов и все смешано — вызывают индигестию (то бишь несварение).

Однако вкусовая (или аллергическая) реакция ничуть не мешает принять к размышлению факт оглядки на Бахтина даже там, где она, казалось бы, неуместна, — в домашних заготовках тандема Горланова — Букур. Похоже, что это своего рода знак, свидетельствующий, что без Бахтина с метаморфозами современной прозы не разобраться. Да, Михаил Михайлович Бахтин показал, что в присутствии романа романизируются и смежные с ним жанры. Нынешняя ситуация этому выводу вроде бы противоречит. Массовое производство лжероманов по причине затоваривания идет на спад, налицо, по всем приметам, кризис крупноформатной прозы, по мнению некоторых наблюдателей, даже «системный», но этот кризис почему-то сопровождается повальной романизацией граничащих с якобы умирающим мастодонтом жанровых формообразований. Причем оба эти процесса не конфликтуют и не аннигилируют, а тайно взаимодействуют: чем меньше романов, тем больше вместороманов. Прочитайте толстые журналы последних двух-трех лет: прозаики, и вновь пришедшие, и ведущие, определяя жанровую разновидность своих крупных, вполне романного листажа вещей, называют их как угодно, но только не романами! Александр Кабаков: «Хроники частной жизни»; Александр Терехов: «Воспоминания бывшего студента Московского университета»; Олеся Николаева: «Конспект романа»; Олег Дивов: «История»; Евгений Бестужин: «Письма без конвертов»; Дмитрий Быков: «Опера в трех действиях». Дело, разумеется, не в подзаголовках, они лишь внешние сигнальные признаки поисков жанра, способного компенсировать *скукоживание* полноценного романа. Аналогичная тенденция, хотя и не столь ярко выраженная, наблюдается и в поэзии, где традиционные крупные формы (поэма, повесть в стихах) заменяет книга стихов, «почти роман в стихах», как определила этот нарождающийся — или возрождающийся? — жанр Ирина Василькова в рецензии на «Колыбельную для Одиссея» Ирины Ермаковой. Почти семейным романом (из рассказов и верлибров) является, на мой взгляд, и только что вышедшая книга Георгия Генниса «Сгоревшая душа Кроткера» (М., «Время», 2004, «Поэтическая библиотека»).

В связи с вышесказанным хочу предложить к размышлению вот какой вопрос: а что, если бурная романизация смежных с романом жанров происходит не только тогда, когда он королевствует, но и при его мнимом (временном) отсутствии-анабиозе и что этот анабиоз — род самосохранения жанра в неблагоприятных для него условиях, а не дистрофия романного мышления?

Возьмем, к примеру, в дополнение к «Питомнику» еще и книгу Сергея Боровикова «В русском жанре», до выхода отдельным изданием широко печатавшуюся в толстых журналах. Из лиц и положений, какие оба автора собрали в своих «вместороманах», вполне можно было сделать остросовременный роман. И притом не семейный и не автобиографический, а общественный, многофигурный и полифонический.

Подчеркиваю: сделать, сконструировать, придав поврозь, поодиночке бедующим совестникам видимость сообщества, где все друг с другом по жизни связаны, силами притяжения или отталкивания — не важно, важно, что связаны. Подчеркиваю: ходом вещей связаны, не хотением-монтажом автора. В постсоветской реальности таких естественных объединений (кроме разве что «бандитских формирований» и криминальных структур) уже давно нет.

Проза безответственная, надежда и опора книгопрядильной промышленности, успешно и ловко имитирует утраченную общность посредством искусственных стяжек и натяжек, не считаясь с правдоподобием обстоятельств.

Проза ответственная отвечает на этот вызов решительной романизацией всех разновидностей «нон фикшн», с одной стороны, и циклизацией новеллистики — с другой. В одном только «Знамени» в минувшем году появилось сра-

зу несколько незаурядных произведений, жанр которых я бы определила так же, как и жанр «Питомника»: попытка романа из отдельных рассказов. (Называю не все, лишь самые заметные: «Рассказы» Ирины Полянской, «Чемодан Якубовой» Анны Бердичевской, «Председатель летальной комиссии» Ольги Ильницкой, «Человек войны» Ольги Грабарь, «Тридцать девять слов» Владимира Березина.) Показателен, по-моему, и первый за 2003 год номер «Нового мира», где вместо одного романа — две книги рассказов: Большая (Шкловский) и Малая (Дина Рубина) — плюс «Вниз по лестнице в небеса» Олега Павлова. Правда, Наталья Иванова в статье «Клондайк и клоны» оценила эту вещь как самоповторение. Дескать, очередной «клон»: «насилие молодых людей друг над другом, лидерство и подчинение, гной и кровь, сопли и слезы, прыщи и кирза, хоть и не армейская», — но это как раз тот редкий случай, когда я с ней не согласна. На мой взгляд, именно в этом рассказе Павлову, во-первых, удалось преодолеть сопротивление совершенно не освоенного российской прозой материала — назовите хотя бы одного смельчака, который дерзнул бы спуститься в страшный мир нынешних беспризорников. Это даже не ад, это — по ту сторону ада. Во-вторых, Павлов наконец-то нашел подходящий для себя формат — достаточно поместительный для громоздкого слова и умеренно тесный для чересчур раскидистой мысли: между большим рассказом и маленькой повестью.

Конечно, я несколько утрирую, предполагая, что второстепенные (малые, подсобные, сопутствующие) жанры, сменив, заменили роман, во всяком случае — на журнальных страницах. Ежели проигнорировать тенденцию, с не меньшим основанием можно допустить и прямо противоположное, поскольку не только поворотливые дельцы, но Действующие *Личности* нынешней литературной *наличности* (позволю себе вкусное вяземское словцо) наперекор стихиям все еще и производят, и публикуют, и раскручивают мнимороманное, суперинтеллектуальное громадьё. Пусть и в меньшем количестве и не с прежним коммерческим успехом, тем не менее с уверенностью в стопроцентной его востребованности и первостатейности.

Михаил Бутов, рецензируя книгу Кристофа Рансмайра «Ужасы льдов и мрака» («Новый мир», 2003, № 7), с присущей ему пунктуальностью перечислил вернейшие «рецепты», посредством которых романоподобие самоутверждается: постмодернистские ребусы, испытание на прогиб возможностей конструирования сюжета или лексических, культурных пластов, реализация необычной структуры, критика современной цивилизации, психоаналитическая, феминистская, гомосексуальная подоплека и т. д. Все это, может, и хорошо — на благоустроенном Западе, вот только *на нашей взбаламученной земле*, в исполнении «постного модерна» (Н. Работнов), получается плохо, ибо цапается (оттуда), пусть и жадными глазами, да и прилаживается (здесь) кое-как. Показателен в этом отношении «Город Палачей» Юрия Буйды. Тут вам и реализация туманной интенции — злокачественное, бессистемное, нефункциональное, неструктурированное разрастание повествовательных заявок, — и критика деградирующей цивилизации, и психоаналитические экивоки, и лексические коктейли (роза плюс жаба — и *очертанья Фауста вдали*!), и смятка из культурных пластов: немного от Гарсиа Маркеса («Сто лет одиночества»), чуток от Андрея Белого («Петербург»), еще чуть-чуть от пильняковского «Голого года», — и все это при постоянных оглядках на Милорада Павича («Пейзаж, нарисованный чаем»). А главное — тотальная ребусоизация. Ребус за ребус, тянут-потянут, а вытянуть не могут, ибо ничего, кроме тины общих мест (типа «чем невероятнее вымысел, тем ближе истина»), из моря житейского не вытягивают...

Кто-то из критиков проговорился: писать об авангардных «крутых» романах интереснее, чем их читать. Может, и так, но при одном неперемennom условии: в загаданных автором загадках (ребусах), как и во всяком правильном ребусе, должна быть заложена возможность разгадки. И не на уровне допущения разнообразия истолкований, а *при помощи вещей* — обдуманно-тонкого соотношения духа и знаков, то есть строго выверенной структуры, не встроен-

ной, а вживленной в текст самим автором; настаиваю — автором, а не критиком-читателем. В псевдороманах Юрия Буйды, равно как и крупноформатных импровизациях Анатолия Кима и Анатолия Королева (и прочая, и прочая), такая возможность не только не предусмотрена, а начисто, в замысле, исключена: не шкатулка с двойным или тройным дном, а калейдоскоп, то есть сплошная «созерцательная красота» или, наоборот, «созерцательное непотребство», что, в сущности, то же самое, только вывернутое наизнанку. Осязаемо нов здесь не авторский взгляд на природу вещей, а сдвиг в том, что М. Бахтин называет «ценностной атмосферой». За последние десять лет она самовидоизменилась так, что появление «Голубого сала» Владимира Сорокина — сочинителя до 1992-го в России не публиковавшегося, — не вызвало ни скандала, ни даже легкого замешательства. А почему бы и нет? Окрест: кладбища идей, энергия распада, «гнилостное брожение»... Лафа-разгуляй грабителям могил, особенно знаменитых! В таком деле, как Российская Словесность, все профессии нужны, все профессии важны, в том числе и профессия штатного осквернителя священных останков...

Конечно, чтобы выстроить по столь сомнительному «плану» нечто впечатляющее, нужно обладать изобретательностью, а то и «изобретательностью до остервенения», это вам не затирухи а-ля Горланова. Недаром Михаил Шишкин сравнил работу покорителей постмодернистских высот со «штурмом Измаила». Названные выше авторы «почти романов» из отдельных рассказов на штурм *измаилов* не идут из принципа, предпочитая все еще ходкой обманке честное вместороманье, хотя некоторые из этих попыток, и прежде всего тексты Шкловского, романодостаточны и по качеству, и по количеству художественно освоенного вещества и существа современной жизни. Я имею в виду не только «Питомник», но и вышедшую три года назад (в издательстве «НЛЮ») «Ту страну». Сказать, что этот неожиданный вместороман прошел незамеченным, не могу. Однако в отзывах рецензентов, даже благожелательных, чувствовалось некоторое недоумение, уж очень резко отличалась «Та страна» от обычного сборника рассказов. Ничуть, казалось бы, не связанные — ни скрытым сюжетом, ни длинной мыслью, ни образом повествователя (у Шкловского он никогда не снимает шапки-невидимки), — эти коротышки, эти минимумы тем не менее аукаются, перекликаются, обмениваются «информацией» и тем самым восполняют сюжетную недостаточность. Что до С. Боровикова, то он вместо свободного мозаичного романа, который в сжатом виде спрятан в его записках «из жизни читателя», написал еще «Крюк» — блистательную пародию на романские претензии российской прозы в ее наискучнейшем, филологическом изводе («Знамя», 2002, № 11).

Типичным вместороманом, на мой взгляд, является и книга Татьяны Набатниковой «День рождения кошки» («Вагриус», 2001), хотя, судя по ее давнему, но забытому яркому сочинению — «Каждый охотник», работа с большой формой непреодолимыми трудностями ей не угрожала. И тем не менее Татьяна-охотница вернулась в большую литературу (после столь долгого отсутствия) не с традиционным женским романом, а с попыткой романа из отдельных рассказов, главную длинную мысль которого разъяснила в авторском предисловии: «Бессмысленные действия любви. Именно так я хотела сначала назвать эту книгу». Правда, ее выбор, как и выбор Евгения Шкловского, для дебютантов начала 90-х годов не характерен, так как заглавными фигурантами, а то и призерами в растянувшейся на десятилетие игре в Большой ребусовидный роман оказались прирожденные рассказчики, то есть те, кому и многофигурность, и крупноформатность, и протяженность по определению противопоставлены: Ирина Полянская, Борис Евсеев, Марина Палей, Людмила Улицкая, ну и, конечно же, Юрий Буйда.

Впрочем, понять новелистов можно: рассказ, даже замеченный, даже мигом обласканный критикой, ни денег, ни повышенного внимания литературной общественности в ту пору явно не обещал. Иное дело повесть. Недаром сочинители повестей (Александр Терехов, Александр Кабаков, Андрей

Дмитриев), хотя и объявляли иной раз свою прозу романом, по-прежнему продолжали работать в жанре повести — самом русском, самом безалаберном, самом простом, самом свободном от жанровых обязательств и, подозреваю, самом любимом читающей публикой жанре. Ведь только здесь, в повести, восвояся, позволено беззаконно вдохнуть-выдохнуть: *каждый пишет, как он дышит...* Подозреваю также, что ажиотажного спроса на большой, отменно длинный роман, вопреки утверждению и убеждению некоторых моих коллег, Павла Басинского к примеру, на самом деле нет, по крайней мере у того думающего читателя, который считает себя еще и читателем толстых журналов, и что видимость «заказа» на него создана искусственно, в результате чего русская проза почти на десятилетие оказалась в ситуации, которую П. А. Вяземский называл *эпохой насильственного развития*, когда «и воздух тяжел, и плоды как будто искусственные; тогда возбуждаются и рождаются фальшивые ложные аппетиты. Толпа кидается на эти несвежие, непитательные плоды»... Однако долго искусственное возбуждение продолжаться не может. Уж как раскручивали толстовскую «Кысь»! Журналы печалились: золотая рыбка с крючка сорвалась. Издатель павлинился: дескать, до ста тысяч тираж доведу и все до единого продам. А что вышло? А вышло вот что: «После бледного успеха романа „Кысь“ Татьяна Толстая издала малую прозу последних лет» (С. Боровиков) и не без подмоги «Школы злословия» вернула убегающего читателя! Не от «Кыси» конкретно убегающего, а от той натуги, с какой наследница всех Толстых раздула сюжет для коротенькой, на три четверти авторского листа, сатиры до премиального объема. И не только потому нет интереса, что выживающему интеллигенту недосуг читать длинные и запутанные тексты, а главным образом потому, что наша сегодняшняя жизнь «во всей своей полноте, в своей ценностной весомости: социальной, политической, познавательной и иной» (Бахтин) и полнометражный правильный роман — вещи несовместные. Какой роман, ежели «все разворотилось», «смешалось» и «никто не знает настоящей правды»? Какой роман, когда нет не то что гражданского общества, а и вообще общества: вместо десятилетиями сраставшихся близнецов-сообществ (крупный завод, НИИ, коммунальная квартира, колхозная деревня, репертуарный театр и т. д. и т. п.) — нечто, чему нет имени?

Да, конечно, хоть посреди ночи растолкай, как на экзамене выпалим, по Бахтину: дескать, настоящий роман обручен-повенчан с неготовой, не дающей конца действительностью. Вот только что понимать под неготовостью? Незавершенность нового устройства или расстройство старых неустойчивостей, помноженное на разрыв прежних тяготений?

В этом отношении постсоветское перестроечное двадцатилетие подобно, а в некоторых аспектах еще и страшно похоже на послереформенную смуту. Странное это подобие (две перестройки «с разницей в сто лет не проливают ли какой-то свет на смысл всего?»), раздвинув зрение, помогло, во всяком случае лично мне, разглядеть нечто, еще недавно незамечаемое и в близком, и в далеком. Например, то, что «Война и мир» (1863 — 1869) — роман не исторический, а ностальгический, своего рода реквием по уходящей России, какою она была до крестьянской реформы. А «Анна Каренина» (1873 — 1877)? Последний великий дворянский роман, но еще и памятник уходящей культуре! В том числе культуре чувств... Говорят, будто Чехов, который очень хотел написать роман, отредактировал «Анну Каренину», да так лихо, что получилась недлинная повесть... По нынешним укороченным меркам: «Дуэль» — чем не роман? Но дело не в листаже, а в том, что не только действующие лица дуэльной истории (первый в российской словесности римейк «Героя нашего времени»), но и сам Антон Павлович Чехов в 1891 году не знает, не понимает и угадать не умеет, куда же несет раскрепощенную Россию «рок событий»...

Настоящего романа он не успел осилить даже десять лет спустя. Зато написал, сократив до степени ремарок текст от автора, четыре полифонических многоголосых весторомана: «Чайку», «Дядю Ваню», «Три сестры», «Вишневый сад». Причем одну из сюжетных линий для «Дяди Вани» позаимствовал у

автора «Анны Карениной» — естественно, с поправкой на свои надобности. Судьба главного героя этой пьесы, Ивана Петровича Войницкого, — это как бы один из возможных вариантов судьбы Константина Левина, если бы он: а) как когда-то Войницкий, не узнал в семнадцатилетней девочке женщину своей жизни; б) если бы Анна Каренина вовремя не «отбила» у Кити блестящего жениха. Иного выхода, кроме как вернуться насовсем в свое имение, общее, не разделенное со знаменитым на всю Россию единоутробным братцем Сергеем Ивановичем Кознышевым, у него ведь фактически не было! Как и дядя Ваня, Левин был бы вынужден выжимать из неразделенного имения «последние соки»! Чехов даже оставил нам знак того, что сходство положения Левина и дяди Вани не случайно. Вспомните у Толстого эпизод из VII главки первой части. Приехав в Москву для решительного объяснения с княжной Щербачкой, Левин хотел было посоветоваться на сей счет со старшим братом, но у того сидит «известный профессор философии, приехавший из Харькова» специально для того, чтобы «разъяснить недоразумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу». Ученый муж из Харькова возникает и в чеховской пьесе, и тоже в самый неподходящий момент:

«Мария Васильевна. Забыла я сказать Александру... потеряла память... сегодня получила я письмо из Харькова от Павла Алексеевича... Пришлал свою новую брошюру».

Как и Левин, Иван Петрович Войницкий гордится своей истинной родовитостью, тем, что он — сын «сенатора и прочее, и прочее», и презирает шурина за то, что тот «сын простого дьячка, бурсак».

Или вот еще какой момент. Как известно, Антон Павлович был очень недоволен тем, что в Художественном театре не обратили внимания на крайне важную для него деталь — «щегольской галстук» дяди Вани — и одели актера, исполняющего эту роль, как опустившегося до торговли постным маслом и горохом захудалого землевладельца. Не помню, исправил ли эту оплошку Станиславский, но в современных постановках авторская ремарка не учтена, да она и не вяжется с общим рисунком роли. Может быть, щегольской галстук, изобличающий привычки порядочного (комильфо) человека, к Ивану Петровичу и впрямь не имеет отношения? Может быть, это просто итог неутомимой наблюдательности Чехова, тонко заметившего, что автор «Анны Карениной», хотя по видимости и опростился до «мусорного старика», внутри себя так и остался графом?

В подтверждение догадки сошлюсь на Сергея Боровикова («В русском жанре»):

«Он до конца оставался тем графом Толстым, что воевал, кутил или писал „Войну и мир“. Последний листок из последней записной книжки его содержит два рода записей, сделанных уже во время великого Ухода.

„Замыслы. Их всего четыре. Один — лошадь. Другой — священник. Третий — любовный роман. Четвертый — охота и дуэль“. И это воображение старца на краю могилы!

И еще: опростившийся, собиравшийся поселиться в крестьянской избе граф записывает предметы первой для него необходимости:

„Мыло.

Ногтевая щеточка.

Блок-нот.

Кофе.

Губка”».

Щегольской галстук — ногтевая щеточка...

Отступление в век минувший получилось длинноватым, но не искусственным, ибо именно Чехов (как легенда и как проблема) за последние два-три года передвинулся из ностальгической периферии в самый центр пристального внимания как читателей, так и писателей. Книгу Елены Толстой о Чехове «Поэтика раздражения», впервые изданную в 1994-м и не вызвавшую тогда ни толков, ни кривотолков, сегодня обсуждают даже те, кто литературоведческих

расследований, как правило, не читает. Первый любовник чеховского кино господин Гуров зачислен по другой, более актуальной, части: его судьбу — кончил университетский курс, а служит в банке — примеривают на себя нынешние сорокалетние гуманитарии... О Чехове пишет и ироник Игорь Клех («Знамя», 2003, № 2), и лирик Дмитрий Шеваров («Новый мир», 2002, № 7).

Сделаем скидку на демонстративный клеховский эпатаж, мол, «воля ваша, я не большой любитель чеховской прозы», да и драматург Антон Павлович так себе — средний: определенно не Брехт. А вот главную идею эпатажной «версии» возьмем на заметку. При всей ее парадоксальности, она достаточно зримо, хотя, на мой взгляд, слишком уж прямолинейно, прогнозирует будущее русской прозы:

«...Его (Чехова. — А. М.) письма — собранные и изданные, снабженные пространным, разветвленным комментарием, отсылками и сносками, обширным справочным аппаратом — представляют собой в жанровом отношении эпистолярный новый роман („нужны новые формы” — это не Треплев, это слова Чехова Потапенке)».

Вернемся, однако, из будущего в настоящее, к возможностям и невозможностям литературного сегодня, к его насущным проблемам. И прежде всего к самой главной — проблеме языка, точнее, речи и слова.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не страшно остаться без крова, —
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

(Напомню еще и тургеневское: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий... русский язык».)

И полувека не прошло, а от незыблемой опоры остались лишь ностальгические воспоминания. Президент и бомж, банкир и поп-звезда, слесарь и офицер, солдат и дипломат изъясняются на каком-то странном, скудном и тупом псевдорусском. И говорят одинаково — один и тот же набор слов и словесных клише, ибо выучились (переучились) этому не-языку у одного и того же домашнего учителя, благо дешев и говорит, говорит, говорит двадцать часов в сутки...

Для носителей сего наречия, адаптировавшегося до словарного запаса Эллочки-людоедки, не только русская и мировая классика, но даже отмеченные черной меткой Сталинской премии «Петр Первый» Алексея Толстого или «Спутники» Веры Пановой — иностранная литература.

Попробуйте выжать из такового сырца («голодает слух и взор») хотя бы видимость «речевой самохарактеристики»! А впустив в роман, заставить говорить сообразно со своим характером! Не получится. О чем бы ни завели речь: о качестве пива «Клинское» или о происках мирового терроризма, — и словарь, и синтаксис, и словесная походка одинаковы до неразличимости, что на слух, что на глаз. И характеры вроде бы разные (широк русский человек), и убеждения полярные, да только в слове изреченном разность-полярность не отражается, а, наоборот, нивелируется. И рассказ, и повесть справляются с этой бедой, иногда даже без особых потерь — способом синхронного перевода прямой речи персонажей на авторский язык. Конечно, ничто не мешает и романисту проделать ту же самую операцию, да только удачи здесь столь редки («Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», к примеру), что лишь подтверждают правило...

Впрочем, эта проблема возникла не сегодня. На излете застоя, в *той* еще стране я прилетела в Ереван, чтобы сделать для «Вопросов литературы» бесе-

ду с Грантом Матевосяном. Не обошлось, конечно, без разговора о потрясающем, не притушенном переводом многоголосье «Цмакутской хроники», куда более богатом, чем разноголосье дебютной его повести «Мы и наши горы», хотя формально это одно и то же «языковое море» — лорийский диалект, который, благодаря Ованесу Туманяну, стал общеармянским языком. Эту разность Матевосян объяснил так: «Дело не в диалекте, не в словарном запасе того или иного диалекта, хотя и это фактор немаловажный, а в словесной походке сказа (рассказывания. — А. М.), в его колебаниях, в том, что рассказчик пропускает, и в том, что подчеркивает...»

И далее, для нашего сюжета самое актуальное: «Современные сюжеты... еще и потому не удовлетворяют меня, что им с лихвой хватает части языка, малой его части. Они не пробуждают во мне весь тот великий армянский, что, я почти уверен в этом, спрятан в тайниках моего подсознания, дремлет там — не востребуемый, ненужный... Сам я, одним головным усилием, проникнуть туда не могу. Открыть их может только Великое Препятствие, Великая Нужда. Только она может взломать кладовые наследственной языковой памяти».

Не знаю, сумел ли Грант Матевосян найти сюжет, для которого ему потребовался весь родной язык... А вот Евгений Бестужин, впервые опубликованный в 10-й за 2002 год книжке «Знамени», нужный сюжет нашел, и нашел там, где его почему-то никто не искал. Может быть, потому, что находка — из тех, какую надо сначала найти и лишь потому искать:

«Представленная здесь книга была задумана как сочетание некоторых идей с несколькими стилями... Речь идет, по сути дела, о бесконечном царстве духа, заключенном в сосуд конкретного лица, который и через сотни лет можно найти и распечатать, как находят замурованный в стену клад. Надо только соблюдать известную осторожность, чтобы в тот момент, когда кладоискатели откроют крышку, найденные ими сокровища не рассыпались и не обратились в прах, соприкоснувшись с воздухом чужой эпохи».

Замысел, скажем прямо, рискованный, но Бестужину удалось осуществить его почти без потерь. (Недостаточно сохранным, на мой вкус, выглядит только один фрагмент — «Послание мэтра Эсперена к Людовику 11 Анжуйскому по поводу биографии и творений Юка де Брие, прозванного Тюренцем».) Что касается стилистического эксперимента в целом, то он реализован с таким артистизмом, что, читая и перечитывая «Письма без конвертов», я восхищалась не только несомненностью авторского дара и безупречностью исторических реконструкций (и притом реконструкций скрупулезных, а не стилизаций), но и гениальной гибкостью, всемирной отзывчивостью русского литературного языка. Языка, все еще способного (!) изъяснить: лапидарность древнеримской латыни, витийство византийского словесного изографства, джентльменскую выправку деловой переписки по-аглички, важную (без вальяжности) обстоятельность немецких спорщиков, волхвующую *прелесть* родимой речи, навсегда «очарованной» прелестью «русского пейзажа», даже если пейзаж, как в последнем из «Писем без конвертов», — всего лишь вереница кленовых деревьев, сопровождающих провинциального учителя по дороге в школу и обратно из года в год и во все времена года:

«Время идет так быстро, что, когда я снова отправляюсь в школу, на улице уже октябрь. Клены стоят наполовину голые, как стропила обрушившихся зданий, — крыши нет, но на разной высоте осталась кусками живая черепица, которая продолжает рдеть, шевелиться и рассыпаться на глазах. Листопад, и без того уже устлавший всю тропинку, ставит на земле последние заплатки: лист, упав в траву, застревает стоймя и коробится кривой розеткой... От этой падалицы на улице... сухой и сладкий дух, какой бывает в коридоре, когда на газетах сушат яблоки; особенно он заметен сейчас, после обеда, когда аллея из конца в конец и наискось прострелена холодным солнцем и вертящиеся на черенках кленовые трилистники светятся насквозь, как осколки витража, а я все не могу надышаться этой острой, пьяной прелостью листвы, сыреющей прохладой вечера, слегка отдающей баннным мылом».

Читала-перечитывала и — недоумевала: как могло получиться, что произведение столь безупречной выделки не получило причитающейся ему по праву традиционной для «Знамени» годовой премии за артистизм? Или хотя бы за незаурядный дебют?

Впрочем, знаменцы, похоже, все-таки почувствовали, что дали маху, и год спустя опубликовали «Письмо Евгению Бестужину» от Лидии Иогансон, ведущего научного сотрудника Института физики Земли РАН. Лидия Иогансон сравнивает прозу Евгения Бестужина с «Записками Адриана» Маргерит Юрсенар, грустно шутит: дескать, приятно узнать, что и в наше время где-то живет талантливый человек, к тому же знающий, кто такой Квинт Фабий Максим... Но я цитирую этот документ не только для того, чтобы подкрепить свое мнение о «Письмах без конвертов» мнением читателя, но и потому, что хочу обратить внимание коллег, литературной, так сказать, общественности, вот на какую фразу из письма госпожи Иогансон к Бестужину: «Я по старой привычке слежу за толстыми журналами, хотя так редко находится там что-нибудь такое, что не вызывает досады и недоумения...»

Вот какого просвещенного любителя российской словесности теряют толстые журналы! Читателя, способного угадать в никому не известном авторе художника той же складки, что и Маргерит Юрсенар, знающего, кто такой Фабий Максим и почему женщина из захваченного войсками Ганнибала Тарента так сильно беспокоится за судьбу своего брата, ушедшего из города вместе с Семпронием, а рассказывая ему же о своей связи с офицером вражеской армии, вместо оправдания уточняет: «Он не карфагенец, а уроженец Бруттия»... Казалось бы, характерный для «физиков» западный уклон, но даже это, как выясняется, ничуть не мешает Лидии Иогансон оценить и русскую часть «Писем без конвертов», увидеть в них не просто ряд мастерски выполненных словесных пейзажей, но и «реабилитацию провинции»... (Подозреваю, что «читающая публика» того же высшего состава заглотала и четыре тысячи экземпляров «Лета в Бадене» Леонида Цыпкина, да так быстро, что «НЛО»-издательство тут же запустило второй тираж.)

Уходит настоящий читатель журналов, скудеет подписка... А мы, критики, продолжаем играть в свои постмодернистские постные игры, по выкройкам масслита сшитые и лишь при отделке (тесьма-кнопки-пуговики) слегка приукрашенные с учетом «высокой моды». Вот как Марина Вишневецкая (рекордсменка по части соответствующих операций), удостоенная в прошлом году за свои «Опыты», и прежде всего «Опыт любви», сразу трех литературных премий (Аполлона Григорьева, Ивана Белкина, журнала «Знамя»), описывает сию методику: «Премия за артистизм я принимаю с благодарностью и гордостью... Артистизм — это тонкий, это тончайший слой культуры. Когда мы наносим его на поверхность лица, он называется косметикой. Если столь же тонкий слой артистизма привнести в выражение своих чувств, возникает культура общения. А если сделать еще одно усилие и толику артистизма привнести в свой труд, возникает художественный текст или литературно-художественный журнал».

По иронии судьбы («бывают странные сближения!») главный из премированных «Опытов» («Опыт любви») опубликован в том же (11-й за 2002 год) номере журнала, что и переписка Пастернака с Роменом Ролланом, и уже одно это не дает никаких оснований проникателю читателю предполагать, будто учредителям журнальной премии неизвестно, что Борис Леонидович придерживался на сей счет иного мнения: «...Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией».

Казус Вишневецкой можно объяснить по-разному. Но в том, что коллективный разум единогласно проголосовал за сочинение откровенно посредственное да еще и претенциозное, ничего, кроме застарелой усталости от Большой игры в Большой Элитарный роман, не вижу. А где усталость, там и пофигизм...

Предполагаю также, что и серьезная проза охотно, без попыток ревности, почти с облегчением, уже несколько лет назад уступила бы этот жанр масслиту, если бы... не вмешательство в естественный ход вещей его сиятельства Букера.

Попробую разяснить свою еретическую мысль. Вспомните: российскую словесность, оставшуюся и без погонщиков, и без вожатых, и без тягловой силы, пристегнули к английскому respectable Букеру в тот самый момент, когда молодая наша проза, огрызаясь и злясь на засилие «бывших», с трудом выкарабкивалась из-под рухнувших на журнальные страницы тяжелозвонких глыб полусоветского и антисоветского романоподобного, сработанного под Толстого якобы эпоса. На принципиально новый роман в ту пору никто (из вновь пришедших) и не замахивался... Впрочем, на художественное освоение постсоветской нови дебютанты начала 90-х, даже самые талантливые (Ирина Полянская, Ольга Славникова, Борис Евсеев, Олег Павлов), также не кинулись: вышли на подмостки хотя и с апломбом, но все-таки *коленками назад* (Славникова со «Стрекозой...», Павлов с «Казенной сказкой»). Убеждена: окажись на месте Марка Харитонова (первого из призеров Большого Букера), литератора отменной выучки, ума и вкуса, но совершенно не известного ни широкой публике, ни литературной общественности, любой из общеизвестных и уже заслуженных — Астафьев, Маканин, Петрушевская, — сила воздействия заморского новшества не была бы столь долгосрочной. Потому как соблазн был не в одних лишь премиальных купюрах. Лауреатам Сталинской, а потом и Ленинской премий никто, кроме подонков, в карман, насколько я помню, не заглядывал и завистливым взглядом не провожал. 12 тысяч фунтов в «сундучке Милашевича» не столько реальные деньги, сколько румяная улыбка случая на балу удачи, не рулетка, а чара, в чем-то подобная гипнозу приснопамятной «Чары». Приплюсуйте к сему соблазну «тоску по мировой культуре» — и получите самое то: роман, роман, роман... лонг-лист... шорт-лист... Уж на что, казалось бы, далека от всех этих страстей простодушная Горланова. А ведь и ее захватило! Цитирую (все из той же упомянутой выше беседы с Татьяной Бек):

«Татьяна Бек: *Почему роман-монолог?* (Речь идет о прозе, опубликованной в 6-м за 2002 год номере «Знамени». — А. М.)

Нина Горланова: «Сначала был просто „монолог“. А Сеня (муж и соавтор. — А. М.) говорит: „Не выдвинут ни на одну премию. Назови — ‘роман’“. Я не хотела. Я хотела быть скромнее... Но Сеня настоял».

Ни жанровая широта покойного Антибукера, ни позолота пока еще живого «Триумфа», ни купеческий жест «Росбанка», исправно, в течение целых шести лет, отчислявшего «Аполлону» соизмеримые с фунтами долларовые чеки, не остановили романной свистопляски. Похоже, что наши новые романисты попали в ту же мышеловку, что и литературоведы новой волны. Вот как описал (применительно ко вторым) ее нехитрое, но безотказное устройство Игорь Шайтанов: «Мы не умеем жить без надежды, что за граница нам поможет. Тексты теперь мы издаем сами, сами их изучаем и комментируем, но нам по-прежнему нужны гранты, под которые пишутся заявки в ожидаемых от нас терминах и предписанных направлениях мысли: постколониализм, гендерные исследования, культура меньшинств...» («Вопросы литературы», 2003, сентябрь — октябрь).

Романная лихорадка и премиальный ажиотаж начали полегоньку осаживаться лишь после того, как англичане, а затем и водочные скоробогатцы покинули русское дикое поле. Допускаю, что прямой связи тут нет. Но факт есть факт: именно в последние два года у играющего Букера изменилось выражение лица: оно вдруг сделалось совершенно серьезным. Настолько серьезным, что, сообщая о выборе Букер-жюри 2003 года, обозреватель канала «Культура» Владислав Флярковский не смог скрыть глубокого разочарования: две кислые фразы «в адрес» лауреата — и тут же десятиминутная развлекаловка на тему: «Митьки», дескать, полиняли, но товарной привлекательности не утратили... Скажете: серьезность романа Рубена Давида Гонсалеса Гальего тут ни при чем. Просто наша умненькая-благоразумненькая «Культура» на всякий случай

подостлала соломки, дабы не заподозрили в сочувствии к опальному спонсору нового Букера. А вот и нет! В прошлом году от гражданина Ходорковского ТВ-номенклатура еще не шарахалась, наоборот, льнула-заискивала, и тайная неблагожелательность, с какой ведущие СМИ все-таки отодвинулись от автора «Карагандинских десятин», с фигурой мецената никак не была связана. Воротило от сути, от запаха солдатских портянок, а цеплялись к пустякам: гневались за отступление от правила — 12 тысяч английских фунтов за недлинную вещь?

В случае с финалистом-2003 и этой зацепки не было. В редакционной аннотации жанр «Белого на черном» плотно подогнан к требованиям русского Букера: автобиографический роман в рассказах. Но без острого недовольства решением жюри и на этот раз не обошлось. Для неочернухи в духе нашумевшего «Пластилина» Василия Сигарева, лауреата «Дебюта»-2001, слишком бело, для сцен из жизни детского дома — слишком черно...

Разворот (от нон-фикшн к просто фикшн) разочаровал даже тех, кто был уже заинтригован и личностью, и судьбой автора — загодя, по журнальному варианту «Белого на черном». От книжного полного издания ожидали подробностей, тем паче что в «Иностранке» первопубликация называлась иначе: не «Белое на черном», а «Черным по белому». Черным по белому пишутся мемуары, а не романы, даже автобиографические. Впрочем, и в автобиографии, пусть и беллетризованной, не должно быть пробелов, ни черных, ни белых. А тут, у Гальего, пробел за пробелом, причем на самых судьбоносных поворотах сюжета. Как выжил — почти понятно. А вот как выбился в люди? Что делал в Америке? И почему там не остался? И так далее, и так далее... С теми же вопросами набросились на призера и интервьюеры, но, не получив ответов, заскучили и «отлипли». Даже сверхпрофессиональное радио «Свобода», славящееся умением разговорить самого неразговорчивого, осталось при дырке от бублика. Рубен Давид Гонсалес Гальего упорно стоял на своем: «Белое на черном» не его уникальная автобиография, а роман, написанный хотя и по личным мотивам, но об общей судьбе.

Честно говоря, до знакомства с книжным текстом «Белого на черном» упорство автора и мне казалось несколько нарочитым и даже отчасти лукавым. Журнальный вариант до меня не дошел, а новомирская рецензия на него рекомендовала текст Гонсалеса Гальего как «превосходный образец мемуарной прозы, написанный русским языком просто и спокойно, каким рассказывают сказки на ночь».

Прочитав книжку, я вынуждена была признать правоту лауреата. Да, пусть и маленький, но роман, вот только не автобиографический, в расхристанном — все на продажу — исполнении, а роман воспитания, жанр, когда-то необычайно популярный, а ныне настолько старомодный, что, кажется, почти обречен снова войти в моду.

Андрей Устинов, автор послесловия к «Лету в Бадене» Леонида Цыпкина, утвердив этот роман на «роль эпилога, завершающей главы в эволюции „великого русского романа“», все-таки несколько смущен тем, что он по своим формальным признакам и, главное, из-за невеликого объема («Прежде всего это очень короткий роман») как бы не соответствует предполагаемой и налагаемой на него творческой задаче. На мой же взгляд, краткость в данном случае в оправдании не нуждается. Во-первых, потому, что роман-эпилог и не должен быть длинным. А во-вторых, потому, что «Лето в Бадене» столько же эпилог, сколько и пролог. Недаром маленький шедевр Леонида Цыпкина сразу и без всякой натуги вписался в текущий литературный процесс, в самодвижение русской прозы, вектор которого я бы навскидку, на глазок определила так: от Милорада Павича к Антону Павловичу. А это в числе прочего предполагает, что книга маленьких рассказов может быть большой, повесть — какой ей заблагорассудится, а вот настоящий роман — непременно очень коротким. Благо ни авторский гонорар, ни продажная цена книги от листажа теперь почти не зависят.

РУССКИЕ ИЛИ ОБЗОРЫ

ЗОРИ НАД РАСПУТЬЕМ

Валентин Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана. Повесть. — «Наш современник», 2003, № 11.

Леонид Зорин. Забвение. Маленький роман. — «Знамя», 2004, № 1.

После первого беглого отъезда в «Огоньке» я все собирался подробней и основательней написать о новой повести Распутина, но что-то мешало. Что именно — стало ясно после публикации зоринского «Забвения», вещи, казалось бы, не имеющей к Распутину, его стилистике и проблематике, уж вовсе никакого отношения. Но коль скоро мы пока еще живем в мире бинарных оппозиций — разговор об этапной и в каком-то смысле итоговой повести «почвенника» немислим без тоже, можно сказать, итоговой повести либерала. Эти вещи высвечивают друг в друге главное, не осознаваемое, быть может, и самими авторами: окончание двадцатого века, полное и бесповоротное. Скомпрометированность и неполнота прежних идеологических обозначений, отпадение ярлыков, выход русской истории на новый... не скажу пока еще «виток», ибо спираль не просматривается, но уж точно на очередной круг.

Оппозиция тут действительно бинарная: что общего между шестидесятишестилетним прозаиком Распутинным и семидесятидевятилетним драматургом (и уж только потом прозаиком) Зориним? Распутин по умолчанию считался талантливейшим из «деревенщиков» — это признавали даже «горожане», для которых в силу его городского происхождения и высшего филологического образования он был почти своим. Зорин ни к какому клану средю не принадлежал — положение его очень обособленное. Это хорошо для независимости, но плохо для славы. Сквозной персонаж Распутина — сельский страдалец. Сквозной персонаж Зорина (говорю о прозе, а не о драматургии) — скептически настроенный представитель городской элиты, остряк, завсегдатай московских салонов, коллекционер антиквариата и амурных приключений, «трезвенник», неучастник, писатель или адвокат. «Дочь Ивана, мать Ивана» — калка «Ворошиловского стрелка», история простой и русской (такой олеографически простой и прокламированно русской, что неудобно за хорошего писателя) женщины Тамары Ивановны, своими руками пристрелившей растлителя дочери (кавказца, разумеется) в условиях тотальной коррумпированности и импотенции иркутской милиции. «Забвение» — продолжение давней и самой удачной покамест повести Зорина «Алексей», вечная зоринская история встречи преуспевающего скептика и пассионарной революционерки. Тут и намечается первое сходство: оба автора снова и снова разрабатывают свой сквозной сюжет.

У Зорина это — встреча, краткая — на одну ночь — влюбленность и неизбежная разлука пассионарной девушки, наделенной темпераментом народоволки, с принципиальным скептиком, для которого государство и диссиденты одинаково тоталитарны и, что называется, narrow-minded (Шишков, прости! — «узкоумны», что ли). Наиболее строго этот конфликт разрабатывался в самой яркой — и потому почти нигде доньше не поставленной — пьесе «Пропавший сюжет», которую мне случалось разбирать подробно. Любопытно, что Зорин оба раза возвращается к этой истории — сочиняя десять лет спустя второй акт «Пропавшего сюжета» и вторую часть «Алексея», стремясь доказать отечественному сознанию, что и его скептик-софист, и пылкая разоблачительница обречены на одинаковый крах — что им делить-то? Не лучше ли было «лежать в объятиях друг друга», поглощая яблоки, арбузы и спелые дыни? В «Пропавшем сюжете», как ни крути, моральная правота оставалась у постаревшей, раздавленной, изломанной эсерки. В «Забвении» Зорин понял, что читатель традиционно сочувствует угнетенным, и проиграл новый вариант сюжета, сделав бывшую диссидентку начальницей, пусть и небольшого масштаба. Она теперь редактор в издательстве.

Сквозной сюжет Распутина — утеснение честных и кротких тружеников злобой и нерассуждающей волей, носителем которой выступает в том числе и госу-

дарство: пожалуй, Валентин Григорьевич — единственный наш деревенщик, стоящий на четкой, последовательной антигосударственной позиции; когда это государство сильно — как в «Живи и помни» или в «Прощании с Матерой» — или когда слабо — как в последней повести, относящейся к эпохе демократического всевластия, — оно по определению враждебно человечности, а стало быть, и распутинским страдалцам. Оно у Распутина всегда бесчеловечно — что в сталинские, что в ельцинские времена. Так что роднит эти два сочинения еще и отчетливый антигосударственный пафос, который в наших обстоятельствах уже и сам по себе есть вещь симптоматичная: добро бы речь шла о *своем* государстве. Но и для почвенников Распутина, и для либералов Зорина оно всегда чужое — народ у обоих бесповоротно отчужден от власти, между ними идет война на уничтожение. Герои последних сочинений Распутина и Зорина непоправимо одиноки — нет у них ни среды, ни спасительного сознания принадлежности к некоей социальной группе. Мир распался. И это само по себе было бы симптоматичнее всякого фабульного сходства.

Но фабульное сходство как раз есть. Распутинские мужчины, муж и сын героини, обсуждают на кухне единственный вопрос: почему Тамара Ивановна, «мать», пошла на заведомо бессмысленное, чисто от отчаяния, преступление, стреляя, конечно, не в рядового кавказца, а в самую преступную власть, в новый миропорядок, — а они, мужики, отсиделись на кухне, отделались разговорами? Зоринский мужчина — не вовсе же он скептик, остались какие-то спонтанные реакции — тоже не может без чувства вины смотреть на свою народоволку, будь она родом из 1905 или 1975 года: Вера из «Сюжета» — настоящая убийца, идет убивать председателя Судебной палаты и — тринадцать лет спустя — стрелять в партийного пошляка; Лидия из «Забвения» ни в кого не стреляет, но тоже занимается чем-то умеренно подрывным. Почему же я-то, мужчина, ничего не делаю? И пусть распутинские герои считают это недеяние трусостью, а зоринский герой (отнюдь не тождественный автору) — доблестью. Важна постановка вопроса и одинаковое, несмотря на диаметрально различие авторских позиций, распределение ролей. Женщина — бунт, несогласие и, как ни странно, сила (именно силу, тяжесть героини — даже и чисто физическую — все время подчеркивает Распутин; сила исходит и от молодой Лидии, решительной и страстной). Мужчина — рассудительность и либо слабость, либо сознательный отказ от борьбы.

Конечно, мотивы у Зорина и Распутина разные. Для Зорина женщина (вспомним «Гранзит», «Царскую охоту» или хоть «Варшавскую мелодию» со сходным распределением ролей) — всегда начало стихийное, ломающее жизненный уклад, бунтарское. В случае Распутина все сложнее: Распутин, как уже было сказано, силу не любит. Мы привыкли к оппозиции, сформулированной А. Эткиндром: сильный почвенник — слабый человек культуры. Своеобразие Распутина в том, что его любимый персонаж — слабый почвенник, одержимый не желанием отомстить всем чужим (городским, нерусским и проч.), а желанием просто и тихо трудиться, чтобы никто не мешал. Этот слабый герой, герой-жертва, берет не напором или нахрапом, но именно кротостью и последовательностью; не случайно отец Тамары — Иван-старший — больше всех своих детей любит не ее, а младшенького, полужуровидового Николая. Сила для Распутина приемлема только в женском облике, только в облике матери, мстящей за дочь. Про скинхедов у него все сказано очень откровенно: душа к ним не лежит, потому что и они — сила и наглость. Кстати, и дочь Тамары Ивановны — Светка — вовсе не чистенькая красавица из говорухинского «Стрелка». Светка — существо слабое и глупое, и ничто у нее не ладится. И оттого жалеешь ее больше, чем любую статную красавицу. Так что в обоих случаях женщина сделана активным, действующим началом по совершенно разным соображениям, — но реальность в обоих случаях отражена одна и та же. И реальность эта заключается в следующем: у некоторой части русских женщин остались еще вещи, люди и понятия, за которые они готовы, не рассуждая, идти на смерть, убийство и вообще подвиг. У мужчин по этой части серьезный кризис: в повести Распутина мужчины слабы, в диалогях Зорина — слишком умны. А проще говоря — у женщин еще осталось нечто безоговорочно СВОЕ, за что и можно умирать: идея, Родина, дети. Женщина сохранила способность осознавать чужое как родное, кровно близкое.

Мужчина этой способности лишен — у него нет ничего своего; в распутинской повести он лишается работы и места в социуме, в зоринской — даже памяти (у него прогрессирующая болезнь Альцгеймера).

Однако помимо всех отмеченных параллелей не в этом главное сходство — и главная симптоматичность — двух важных книг хороших русских писателей. И Зорин, и Распутин — один более откровенно, другой завуалированно и не вполне осознанно — хоронят двадцатый век, предвещая приход совсем нового, не вполне еще понятного времени. Ясно одно: ни жить по прежним правилам, ни мыслить в прежних терминах уже невозможно. Распутин сам на обсуждении своей повести в Союзе российских писателей (оно вышло неожиданно бурным, и далеко не всех порадовала провокативная апология «пути русского камикадзе», как выразился В. Бондаренко) сказал: «Моя героиня просто доказывает, что не все готовы так жить...» Да полно, Валентин Григорьевич, — никто уже не готов! Все мы уже живем не так. И думать надо уже не о том, почему чуждые кавказцы или китайцы нас притесняют (им, между прочим, кажется, что это мы их притесняем, — и не сказать, чтобы такая позиция была уж вовсе безосновательна). Думать надо о том, почему все мы друг другу чуждые, почему, как писал Солженицын в «Двухстах годах», русский русскому «хуже собак». Почему собственное государство предает нас на каждом шагу. Почему все в нашей стране нам — чужое, а главный принцип руководства этой страны на протяжении многих лет — отрицательная селекция (вот почему хороший и патристический писатель Распутин первые сорок лет проходил чуть ли не в диссидентах, да и теперь не в фаворе). Самые-то страшные враги народа в новой повести Распутина — не кавказцы, а следователи, прокурорские работники, продажные шкуры все с того же иркутского рынка: этнически свои, этически — безнадежно чужие! И потому не в борьбе с инородцами спасение, а в поисках новой культурной идентичности, которыми и занят в повести настоящий главный герой — Иван, сын Тамары Ивановны.

Это первый настоящий интеллигент в прозе Распутина. Умный, ироничный, щедрый, ненавидящий насилие, ясно мыслящий и ясно формулирующий. И красавец. И не ксенофоб. Поэтому и к скинам, и к иным погромщикам душа его не лежит, а уходит он все чаще в библиотеку — словари читать. А потом и вовсе уезжает на все лето строить церковь. Это наивный путь, конечно, — и не самый новый, — но в любом случае более перспективный, чем стрельба по кавказцам. Для Распутина важна цепь поколений — отсюда и название; в этой цепи у Тамары Ивановны положение промежуточное, пограничное, — пограничной эпохой был для России и весь закат двадцатого века. Отец — созидатель, трудяга. Сын — художник, книголюб, мыслитель, искатель новых смыслов, пытающийся заново понять, кто такие русские и на каких ценностях — позитивных, а не отрицающих, — они могли бы объединиться. Стрельба по «чужим» (их еще любят называть нерусью) — не ответ. Сначала надо понять, кто свои, и не считать своим самого агрессивного и тупого (прежде, кажется, у патриотов был именно этот критерий; впрочем, демократы недалеко от них ушли, считая своим самого циничного и извращенного).

В повести Зорина призы забыты XX век звучит еще откровеннее. В этом веке за попытку ответить на главные вопросы либо ставили к стенке, либо вытесняли из профессии, либо клеили политический ярлык. При встрече со своей диссиденткой, постаревшей и, увы, не поумневшей, обреченный на беспомощность Алексей так ей и говорит: мы все швыряемся друг в друга давно бессмысленными словами. Фашизм, конформизм, советская власть, приспособленчество, радикализм, диссидентство... Все это давно ничего не значит. В повести Зорина впервые внятно артикулируется тот факт, что все идеологии в России относительно: безотносительна только этика, и потому борцами за свободу сплошь и рядом становятся те, кого считают ее врагами. Что-то значат только мужество, талант и последовательность (случай Лимонова). XX век — век идеологий и технологий — кончился. Новая идентичность будет нащупываться по совершенно другим критериям — тут уж будет вовсе не важно, каковы твои политические взгляды и даже имущественное положение. Речь пойдет о том, на что и во имя чего ты готов; о том, какие книги ты читал; о том, наконец, существует ли для тебя понятие долга.

Тут момент принципиальный: если Распутин ищет спасения в религии и культуре, то у Зорина — релятивиста, казалось бы, — на первый план выходит именно долг. Служение — не важно чему: истине, своему делу, призванию, любви, иногда ничему вообще. Самоцельный, бессмысленный героизм, ненужный подвиг. Не зря последнее, о чем помнит герой, — бамбук, символ прямоты и стройности. Надо держаться. Надо соблюдать осанку, идти прямо. Долг — это до всего, до идеологии, до профессии, даже до памяти. Просто — чувствовать себя бамбуком, а не тростником; просто — служить. Об этом — весь поздний Зорин, об этом — «Забвение»; и этот предельно жесткий кодекс чести уже представляется мне неплохой основой для будущего национального консенсуса.

Мы сможем жить в своей стране, только если она действительно будет своей. Нашей. А чтобы это произошло, нам надо идти к своей новой идентичности не через отрицание всего чужого и «нерусского», а через выработку нового понятия «русского», после всех либеральных и консервативных гипнозов. И тот путь, которым интуитивно движутся протагонисты в новых повестях Зорина и Распутина, внушает мне куда больший оптимизм, чем все, что написали эти авторы прежде в своих более сильных и более ярких книгах.

Я почти ничего — и это намеренно — не говорю тут о собственно прозе Распутина и Зорина. Пожалуй, время эстетической критики в каком-то смысле действительно прошло — сколько можно, в конце концов?! Повесть Распутина написана неровно — в деталях и частностях очень сильна, в теоретических и идеологических авторских монологах дидактична и слаба. Интуиция у Распутина сильнее рассудка — изобразитель он и до сих пор сильный, безошибочный, отлично описывает городскую толпу, тайгу, рынок... Зорин ему противоположен во всем: думает он ярче и парадоксальнее, чем изображает. И как раз по части изобразительной силы «Забвение» проигрывает распутинской повести очень заметно. Зато все, о чем Распутин робко догадывается, Зорин называет по имени с беспощадной ясностью. О любви ли речь, о закончившемся ли столетии, о старости — везде он и острее, и точнее в формулировках, но сильной распутинской живописи у него нет. Это не порок, а иной склад художественного мышления, — и не качество этих произведений для меня сейчас важно, а их симптоматичность. Хорошая проза появится сама, как только мы выйдем из болота спекуляций и подмен. Новые повести Зорина и Распутина — серьезный шаг на твердую почву нового национального консенсуса, шаг в эпоху, когда вместо принадлежности к той или иной нации (или классу) мы будем ценить чувство долга, одаренность, жертвенность и способность думать о главном.

Дмитрий БЫКОВ.

*

ПЛОДНОНОСЯЩАЯ СМОКОВНИЦА

М. Амелин. Конь Горгоны. Третья книга стихов. М., «Время», 2003, 128 стр. («Поэтическая библиотека»).

Строфа 1. У Максима Амелина вышла в свет третья книга стихотворений. Факт сам по себе замечательный потому уже, что его творчество буквально с первых же публикаций удостоилось пристального внимания критиков, снискало искренние похвалы старших коллег по цеху. Он стал лауреатом премий «Нового мира» и «Антибукера»; честно говоря, мало о ком из стихотворцев его поколения писали столь обильно и заинтересованно. Некая подспудная составляющая всех этих (по большей части благожелательных) откликов — искреннее недоумение. Оказывается, можно быть человеком симпатичным, обладающим врожденным чувством нормы, избегающим всяческой ажиотации вокруг собственной персоны — и писать хорошие стихи. А эти хорошие стихи могут оказаться вовремя — то есть еще не покрывшись посмертной патиной, но и не будучи развращены преждевременными авансами, озвучены трагическим надрывом, разъедены перебродившим

ёрничеством — услышаны и оценены. Можно смолоду быть молодым, созреть во время — и, повторяю, писать при этом хорошие стихи!

Владимир Губайловский, открывая очерком об Амелине свой обзор «современной» поэзии («Новый мир», 2001, № 2), с радостным изумлением отмечает, что у Максима «почти идеально точное чувство меры и дистанции», проявляющееся «во всем, что он делает»: «Мера — главная его Муза».

Речь здесь, как мне кажется, идет об аристотелевском понимании чувства «меры» — то есть о его проекциях на этику и эстетику нашего героя. Такой взгляд и спровоцировал автора этих строк на несколько непривычный для рецензионного жанра ход: чередование *строф*, *антистроф* и *эпода* (сиречь тезиса, антитезиса и синтеза) — прием, самим Амелиным заимствованный из эпиникиев Симонида Кеосского, Пиндара и Вакхилида. В конечном счете жанр эпиникия — песни в честь победителя — не есть ли героический пращур скучноватого жанра рецензии?

Антистрофа 1. Итак, наш герой успешно исхитряется быть архаистом и новатором. Его перу, помимо подчеркнуто традиционных стихов, принадлежат вызывающе дерзкие и современные переводы Катулла и «Приаповой книги». Вопреки неотменяемой оценке «нашего всего», он признается в любви к пресловутому графу Хвостову. Он сочиняет озорной эротический центон из неподъемной херасковской «Россияды». Более того: воскрешая строфические принципы античной лирики, сочетая их с архаической тяжеловесностью российских классицистов XVIII века, делает эту гремучую смесь ошеломляюще современной, актуальной не только для собственной поэтической практики, но и, подозреваю, для грядущих следом гуннов. Которые, не сомневаюсь, уже присвоят как само собой разумеющееся произведенные Амелиным инвентаризацию и обновление поэтического инструментария — подобно тому, как легко сам он и поэты его генерации присвоили инструментарий Бродского.

Не пахнет ли все вышесказанное пресловутой постмодернистской всеядностью? Тем паче, что герой наш равно признается в любви к Олегу Чухонцеву, к Игорю Меламеду — и не брезгует, извините за выражение, «позиционироваться» в агрессивной современной тусовке? Не есть ли он на деле лишь искусный версификатор, имитирующий на более высоком и умном уровне приговский «проект длиною в жизнь», некогда обучивший целое поколение, как следует вести себя, чтобы тебя считали поэтом?

В пользу данного положения говорит и то, что, протестуя (вслед за Бродским) против «подмены поэзии биографией поэта», терзаясь (вслед за Приговым) «проблематичностью собственного высказывания», Амелин при этом обитателем «башни из слоновой кости» вовсе не является. Он спокойно участвует в том, что ныне принято именовать «литературной жизнью»: входит в составы всевозможных жюри, дает интервью, высказывается по различным вопросам и мирно работает коммерческим директором в престижном издательстве «Симпозиум». Уверен, что завистливый Лимонов не преминул бы окрестить нашего героя «поэтом-бухгалтером», не истрать он ранее этот ляпок на Бродского.

Эпод 1. Элементарная справедливость требует подчеркнуть, что вышесказанное касается все-таки предыстории нашего героя. Предметом же нашего интереса является его последняя книга — ее сопременственность предыдущим и отличие от них. Бродский любил повторять, что единственная эволюция поэта, о которой имеет смысл вести речь, — это эволюция его просодии, эволюция строфических форм. Однако восьмилетний период, прошедший между публикацией «Холодных од» (1996) и «Коня Горгоны», не позволяет пока говорить о какой-то принципиальной эволюции — скорее об уточнении автором собственной позиции, в выборе грядущего вектора развития. Парадокс (или закономерность?) ситуации в том, что три книги стихов Максима Амелина воспринимаются в неразрывном единстве: именно как пресловутые *тезис-антитезис-синтез*, завершенные автором к своему тридцатитрехлетию. Уверен, что в недалеком будущем они так и будут переизданы. О просодической же эволюции покамест можно говорить лишь попутно — как о здравом постепенном изживании постбродского инструментария, о все более

изоощренном и уверенном экспериментировании со стилизованной под античность строфикой, о сознательном архаическом утяжелении инверсий.

Первая книга Амелина, пронизанная победительной интонацией заявки о себе, о своем неотъемлемом праве наследования на беседы с Катуллом, на переложения Горация и Псалмов, в версификационном отношении являлась сравнительно малооригинальной. По большей части это были вовсе не оды и уж никак не «холодные» — «холодность» же, явно взятая напрокат у Бродского и соответственно Боратынского, представлялась несколько кокетливой. В самом деле, разве может удрученный собственным всезнанием мастер, даже хряпнув в компании с пылким Катуллом фалерна, вставить в стихи вызывающе невместное, беспомощное, но таки интригующее: «древлезвонкопрекрасных»? Полагаю, что эта пока не реализованная заявка была интуитивно угадана первыми критиками и ценителями Амелина — и принесла ему признание.

Однако именно это признание, «условленная слава», помянутая в одном из ключевых стихотворений второй книги «Dubia» (1999), похоже, и заставила нашего героя усомниться в ее законности. Более того, — при стремительно возросшем версификационном уровне, при значительно большей авторской оригинальности — вторая книга Амелина пронизана сомнением (уверен, уже не кокетливым) в законности собственного лирического высказывания «Подписанное именем моим / не мной сочинено»:

Мне в голову такого не пришло б,
я — самый заурядный курский жлоб
.....
стихи мне звук пустой, и Бог — свидетель,
что я тут ни при чем. — А ну отдай,
кто б ни был ты, взятое не по праву,
лови взамен условленную славу.

В стихах «Dubia» Амелин сознает себя «варваром среди развалин Рима» — «язык руин» ему «не внятен», — и в то же время он отдает себе отчет в том, что «болен прошлым, ибо у будущего будущего нет». Выбор единственно возможной позиции совершается в одной из главок цикла «Памяти Восточной Пруссии» — явно ориентированного на соответствующий жанр стихов-путешествий Бродского. «Старый фотограф с треножником из дюрала» бродит по пляжу в поисках клиентов — но каждый из них уже снабжен собственным «Кодаком» или «Полароидом». Эта замечательно найденная аллегория современного состояния стихотворца завершается призывом, сильно смахивающим на терапевтическую автодекларацию:

Из сыновей приемных золотого Феба
самый последний — самый любимый ты!
брось свой треножник, фотографируй небо,
море и солнце, блещущее с высоты.

В скобках не могу не отметить значимую (скорее всего — неосознанную) переключку с воспоминаниями Бродского о своем отце-фотографе: «...он обожал море. В этой стране так ближе всего можно подобраться к свободе. Даже посмотреть на море иногда бывает достаточно, и он смотрел и фотографировал его большую часть жизни».

Другая переключка, явно осознанная, — из «Сумерек» Боратынского: «Опрокинь же свой треножник! / Ты избранник, не художник!»

Однако отбросить в последующей книге аполлонический треножник — уже не колеблемый даже, а попросту утративший начисто свою сакральную функцию — Амелину не удастся. Каким бы варваром ни осознавал себя автор «Коня Горгоны», он приступает к последовательному и целенаправленному изучению (гальванизации?) именно этого, невнятного и утраченного, «языка руин».

Строфа 2. Начнем с начала: почему «Конь Горгоны»? По авторитетному свидетельству Гесиода, Медуза Горгона была крылата и в конце не нуждалась. Читатель, хоть чуточку заинтересованный в понимании, залезает в мифологический словарь —

и выясняет, что речь идет о Пегасе, крылатом коне, возникшем из крови младшей из трех сестер Горгон, Медузы, — после того, как ей отсек голову Персей. Пегас стал запоздалым результатом союза Медузы с богом морей Посейдоном, он использовался олимпийцами в качестве тягловой силы (подвозил Зевсу громы и молнии), а позже был, по свидетельству Пиндара, подарен другому герою, Беллерофонту. Сердцу же всякого поэта крылатый конь мил прежде всего тем, что от удара его копыта в обиталище Муз на горе Геликон забил источник вдохновения Гиппокрена. О том же самом свидетельствуют открывающие книгу эпитафии из «Метаморфоз» Овидия и Тринадцатой Олимпийской оды Пиндара. При желании подтверждение можно найти в прочих античных источниках: у Аполлодора, Павсания, Гигина и других. Итак, все, кажется, разрешилось ко всеобщему удовольствию и не без пользы для читательской эрудиции. Невинная смысловая инверсия, технически напоминающая скандинавский кённинг, снабдила нас полезной информацией. Конь Горгоны — змееголовой, ужасной, с окаменяющим взглядом — оказался ее посмертным дитятей. Причем дитятей явно «положительным»: возящим героев, крылатым и дарующим вдохновение.

Зачем, однако, все это самому Амелину? — эрудицией читателя нынче не поразишь. И тут мы впервые обращаем внимание на доселе маловразумительный фрагмент античного барельефа (Эфес, V век до Р. Х.), украшающий обложку книги. Там Горгона, еще живая, нянчит напоминающего Конька-Горбунка жеребенка Пегаса. Речь явно идет о какой-то малоизвестной версии мифа — но и это опять-таки лишь упражнение в досуговой эрудиции. Амелина же интересует нечто несравненно более важное: изначальная связь вдохновения и ужаса. Об этом, а не только об упоении полетом свидетельствует и послуживший эпитафией отрывок из Овидиевых «Метаморфоз», приведенный в собственном амелинском переводе:

Он и пучины с высот, и земли зрел под собою,
И до самых звезд доставал, крылами махая.

Но и тут уровень прочтения оказывается неокончательным. Связь ужаса и искусства неумолимо воскрешает в памяти классические строки Бродского:

...и на одном мосту чугунный лик Горгоны

казался в тех краях мне самым честным ликом.
Зато, столкнувшись с ним теперь, в его великом
варьянте, я своим не подавился криком

и не окаменел. Я слышу Музы лепет.

Дальше можно было бы спокойно порассуждать о неоклассицизме и порадоваться авторской дотошности, если бы не следующий поворот темы: включенный в книгу перевод «Пиндаровой Пифийской двенадцатой оды». Перевод, в отличие от других амелинских игр с античностью — таких, как попытка восстановить на основе сохранившихся фрагментов из Алкея гипотетический текст его обращения к тирану Питтаку, — точный, хотя и несколько непривычный. Амелина явно заинтересовало то, что это — единственная из сохранившихся Пиндаровых од победителям в разнообразных Играх, посвященная не возническому, бегуну или атлету, а «Мидасу из Акраганты, цевничему». Углубляясь далее, отмечаем, что вследствие какой-то странной гримасы мироздания давно сгнувшийся сицилийский флейтист, имя которого обессмертил Пиндар, оказывается тезкой водившего дружбу с Дионисом легендарного фригийского царя, который, судействуя некогда на музыкальном состязании между Аполлоном и Паном (вариант: Марсием), лишил Феба пальмы первенства и был награжден за это ослиными ушами. Здесь же действие происходит на посвященных Аполлону Пифийских Играх, а Пиндар в оде, восхваляющей Мидаса, напоминает и историю обезглавливания Персеем Горгоны, и историю созданной и отвергнутой Афиной Палладой флейты, и судьбу злосчастного Марсия, с которого воплощающий гармонию Аполлон содрал заживо кожу.

Подобное личное, интимное отношение к древнему мифу и есть попытка на деле прочитать невнятный доселе язык руин, воскресить, казалось бы, умершие

звуки гармонической речи, их неразрывную взаимосвязь с хтонической составляющей. При этом важно отметить, что, при всей любви Амелина к внятным и последовательным римлянам, на практике ему явно более близка пиндаровская трактовка мифа, когда, по замечанию М. Л. Гаспарова, он не излагается последовательно, а лишь привлекается ради иллюстрации какого-либо конкретного, сиюминутного события. При этом каждое событие — «это мгновение, перелившееся из области будущего, где все неведомо и зыбко, в область прошлого, где все закончено и неизменно <...> Так завершается в оде Пиндара увековечение мгновения, причисление нового события к лику прежних. Совершитель этой канонизации — поэт».

Вслед за Пиндаром Амелин активно использует хаотическое нагромождение определений, прилагательных и причастий, обыгрывает несовпадение строфического и тематического членений одических триад (строфа — антистрофа — эпод), их перехлестывание из строфы в строфу. И тут нам, следуя избранному ранее принципу, пора перейти к антистрофе.

Антистрофа 2. Дело в том, что у Пиндара подобное перехлестывание, причудливое композиционное членение было строго функциональным — оно подчинялось музыке. У Амелина при отсутствии музыки строфическое и тематическое несовпадение выглядит попросту работающим вхолостую приемом. Либо постмодернистским выпендрежем, умничаньем. Так ли это?

Чтобы ответить на вопрос, обратимся к неоднократно цитированному стихотворению из второй амелинской книги: «Ты в землю врастаешь, — я мимо иду». Поэт, напевая под нос «веселую песенку», проходит мимо некой «ни мертвой, ни живой» персоны женского пола и обращается к оной со следующими словами:

Ты помощи просишь, страдания дочь, —
мне нечем тебе, бедняжка, помочь:
твои предсмертные муки
искусству возвышенному сродни,
хоть невпечатлимы ни в красках они,
ни в камне, ни в слове, ни в звуке.

Сойдешь на нет, истаешь вот-вот, —
благой не приносящие плод
пускай не расклеятся почки,
поскольку ты — смоковница та,
которую проклял еще до Христа
Овидий в раздвоенной строчке.

С легкой руки Ирины Роднянской искусство в этих стихах «наречено» «бесплодной смоковницей», что, однако, не противоречит «блаженству стихослагательства». Однако полно, вправду ли речь идет только об искусстве? Может ли являться аллегорией искусства то, чьи «предсмертные муки» сами оному искусству сродни?

Смысл библейской притчи о бесплодной смоковнице издревле смущал толкователей. Будучи проклята Спасителем за свое неплодие (Мр. 11: 13 — 21), бедная смоковница послужила иллюстрацией Его притчи и засохла. Однако фиговые деревья (наряду с виноградной лозой) всегда служили у древних символом плодородия и жизни. Заслуживает ли беда бесплодной женщины, и без того уже судьбою наказанной, наказания еще большего и горшего? Или речь все-таки идет об искусстве, которое, отдавая силы лишь укрывающим самое себя листьям, оказывается проклято, а даря путников плодами — благословенно? И при чем тут Овидий?

Напомним: в приписываемом Овидию стихотворении неизвестного подражателя «Орешник» речь идет о жалобах плодоносящего куста на злую судьбу — на камни, которыми прохожие забавы ради сбивают его плоды. От подобной судьбы орешина предостерегает своих плодоносных товарок:

Пусть меня вишня услышит и вишен на ветках лишится,
Ты, смоковница, стань воткнутой в землю столбом!
Я не завистлива, нет! Но кто пребудет в покое,
Если почетный удел — лишь для бесплодных ветвей?

Этот расхожий сюжет отсылает далее в глубь веков — к приписываемой Платону эпиграмме «Палатинской Антологии». Речь, следовательно, идет не об искусстве как таковом, но о жизни (судьбе) художника. Соотношение смоковницы (которую, кстати, Овидий не проклял, а лишь предостерег) и «веселой песенки» — аллегория соотношения жизни и искусства. Соотношения, явлением Спасителя в лучшую сторону явно не измененного, ибо евангельская притча о смоковнице, сам факт проклятия будут пострашнее любых швыряемых камней. Для Амелина, некогда в «Краткой речи в защиту поэзии» продекларировавшего, что «поэзия, как никакое другое искусство, своим существованием доказывает бытие Божие», путь максимального усложнения своего поэтического языка, чрезмерной строфической изощренности и тяжеловесных инверсий, похоже, становится неким вариантом духовного послуха, добровольно накладываемых вериг.

Некогда мне доводилось писать по поводу совершенно иного автора, что путь наибольшего сопротивления в поэзии, возможно, не самый лучший, но, безусловно, наиболее честный. К нашему герою сказанное относится в полной мере. Замечательным подтверждением этому служит сравнительная необязательность многих более «легких» произведений, включенных в третью книгу Амелина: от нечленораздельной «Катавасии на Фоминой неделе» — до реестрообразного, отчасти пародирующего «Речь о пролитом молоке» Бродского «Опыта о себе самом...». Сказанное, на мой вкус, относится и к замечательно задуманной, но недо воплощенной «Веселой науке» — поэме о «московском Фаусте» графе Брюсе. Впрочем, тут тема такова, что автор может к ней вернуться неоднократно.

Эпод 2. Хочу сразу оговориться, что перечисленные (субъективно) неудачи либо недоудачи третьей книги стихов Амелина радуют меня в не меньшей степени, нежели его же несомненные удачи, ибо являются отчетливым свидетельством избрания автором собственного пути в поэзии. Причем пути, по которому, уверен, он будет продвигаться несуетно и основательно. В любом случае все, что уже написано либо еще будет написано Максимом Амелиным, представляет для меня интерес гораздо больший, нежели рифмованные и не очень «рефлексии» его соратников по поколению «тридцатилетних» — хотя бы столь часто поминаемого с Амелиным через запятую Дмитрия Воденникова, «мессидж» которого вкратце можно свести к следующему: «Я весь такой противоречивый, такой внезапный и непредсказуемый, что вы уж будьте добры любить меня именно за это». В данном смысле Амелин даже не полярен своим товарищам, не находится с ними в различных весовых категориях — он попросту занимается неким иным родом деятельности.

Ибо если под «современной поэзией» простодушно понимать то, что под оной понимать принято, о том, чем занимается Максим Амелин — и еще немногие ныне пишущие, — вряд ли можно сказать более емко и точно, нежели это сделал питерский коллега по цеху Алексей Пурин в замечательной книжке эссе «Утраченные аллюзии» (2001):

«Назначение стихотворца, задача будущего поэта состоит не в том, чтобы произнести впечатляющие слова. Она состоит в том, чтобы самой своей жизнью создать <...> еще один кирпич для той самой стены, что экранирует человека от вселенского холода и адского зноя.

Время и напор пустоты постоянно грызут эту преграду — от Ариона не осталось песчинки, весь греческий слой фрагментарен и изъязвлен, вот-вот рухнет Гораций и Шиллер... В толще этой стены ежечасно образуются внутренние пустоты — многое из того, что с интересом читал Пушкин, теперь только труха.

А посему работе возобновления кладки нельзя прекратиться: гибель поэзии повлекла б за собой и исчезновение человека. Будем, однако, надеяться, что новые кирпичи будут достаточно стойкими, неподдельными — т. е. не „гипсовыми“, а огнеупорными, обожженными жизнью, скрепленными кровью».

Надеюсь, значимость сказанного извиняет протяженность цитаты.

Подписываюсь обеими руками.

И — спасибо Максиму за нелегкий и радостный труд, которым стало для меня чтение его новой книги.



ЗОЛОТОЙ УЛОВ

Алексей Машевский. Вне времени. СПб., 2003, 68 стр. (Альманах «Urbis», вып. 42; серия «Новый Орфей» /10/).

Поэт не пророк, ведущий народ через пустыню, и не Баян, развлекающий замшелых дружинников, но поэт — путешественник в смысловое пространство, в ту самую запредельную метафизическую область, где обитают вечные вопросы бытия и где, очевидно, только и следует искать ответы на них. Здесь нет ни грека, ни иудея, подозреваю, что даже какой-нибудь звездный пришелец, какой-нибудь непредставимый *sapiens* в этом смысловом поле обнаружил бы те же самые ориентиры и створные знаки, которые видимы всякому размышляющему субъекту. Скептики считают, что если в поэзии есть какая-то философия, то это плохая философия. Однако древние греки, которых никто не заподозрит в плохом понимании поэзии, ставили поэтов в один ряд с философами и видели в поэзии и философии два рода познания, в конечном итоге согласные между собой. И мы намерены именно в этом ключе рассматривать стихи нашего современника, поэта, включающего в круг бытия такие темы, как возможность сохранения разума и надежды на достойную жизнь после всего того, что человек узнал и понял о себе и об этом мире.

Жизнь, за которую платишь жизнью, ибо никакой другой валютой природа нас не снабдила, — вот основная тема книги Алексея Машевского «Вне времени».

Если что-то кажется, отмирая,
 Нам, сейчас живущим, ненужным сором,
 Подожди, очутишься сам у края,
 В том мгновенье выделенном, в котором
 Продолженья нет — значит, нет сравненья,
 И бесценно все, и всего так мало,
 Слово жизнь свои перебрала звенья
 И сама с собой наконец совпала.

Подобное совпадение действительно оказывается неслучайным, если мы что-то поняли, если сохранили тот «неподвластный времени золотой улов» человеческой мысли, который и является в итоге единственным достоянием и единственным наследством, прошедшим через наши руки от предков к потомкам. Да, конечно, есть только то, что есть сейчас, но прошлое никуда не делось и посредством обратной перспективы, фокус которой находится в сегодняшнем дне, формирует будущее. Однако Алексей Машевский не стремится к пророчествам, будущее определено: «Время так же, как ржавчина — металл, / Как старенье тел — / Нашу плоть, возьмет...». Никаких иллюзий. Остались надежды — взамен юношеского эгоистического устремления быть центром внимания, — покой и свободная воля. Для этого, как ни странно, не так уж важны и сами стихи.

Оказалось, что счастье — всего лишь покой
 Вместе с волей. Свободно дышать,
 Никакою химерой, мечтой никакой
 Не тревожить души, не решать

Тех вопросов, которых уже не решить,
 Не копить ни обид, ни грехов
 И, мой бог, просто так, непосредственно жить
 Без вот этих несчастных стихов!

Апокалипсис происходит в каждом из нас. Не надо ждать Страшного суда — он свершается здесь и сейчас. Вся библейская метафорика — сопоставление судьбы человечества с судьбой отдельного человека: это не человечество сходит со сцены мировой истории, но каждый отдельный человек умирает и оправдывает перед высшим судьей свою жизнь, это не Иов требует у Господа ответа о причинах своих бед, но человечество доискивается высшей справедливости, вплоть до утопии о мировом коммунизме... Что значат по сравнению со всем этим грандиозным противостоянием духа и плоти стихи, даже самые гениальные?! Видимо, все-таки что-

то значат. Я уверен, что поэзия способна оправдать человеческую душу, и не только душу, выносившую замечательные строки, но и душу, увидевшую их и восхитившуюся ими. Да, человек смертен, да, вселенная придет когда-либо к своему завершению, да-да-да, прав Екклесиаст и все есть суета, но само понимание этого, причем не отвлеченное понимание как чего-то абстрактного, а непосредственное живое чувство, что все это сказано про тебя лично, в корне меняет взгляд на жизнь и сам способ мышления. И тогда появляется ощущение того, что ты, именно ты, участвуешь в мировой истории не голосованием и не демонстрацией лояльности или нелояльности власти с плакатом в руках, но делом, самым главным делом твоей жизни, делом, которое за тебя не сделает никто, — стихами, твоими стихами.

Подобная вложенность отдельной человеческой судьбы в космические по своим масштабам процессы приводит к пониманию их со-равности, к паритету микро- и макрокосмов. И дело не только в том, что человек — мера всех вещей, но и в том еще, что человек — единственный смысл, наполняющий мир, живая «мыслящая мысль», по Аристотелю, видящая и слышащая, чувствующая и понимающая себя во всем:

Ты вот что, не грусти. Когда я сам печален —
Смотрю на облаков по небу легкий бег,
И блеск их белизны так чист, так изначален,
Как будто выпал снег, как будто выпал снег.

Воздушною рекой, сомлев, земля объята
И словно видит сны дневные наяву,
И хочется вот так — с рассвета до заката, —
Все позабыв, примять шуршащую траву.

Ты вот что, не грусти. Когда за голубую
Небесною волной придет другой черед
И мир затопит мрак — я помню... я с тобою...
На звезды погляди, на их прозрачный лед.

А несколько раньше:

Кто мы здесь? — Случайные свидетели?
Но тогда зачем глядят на нас
Сверху, словно ждут, чтоб им ответили,
Пристальные миллиарды глаз?

Мы и звезды — одно целое. Вселенная так же конечна и так же требует оправдания, как и отдельная человеческая судьба. Космический лед — та же внешняя сдержанность, тот же человеческий этикет, скрывающий от нас вспышки сверхновых и мучительные, а подчас и трагические прозрения об истинном мироустройстве. «...здесь / Дом все равно, что тот лучезарный край» — смысловое пространство стихов охватывает не только географически разрозненные, но и разнесенные во времени объекты. Поэт, существующий здесь и сейчас, выступающий с позиций сегодняшнего дня, узнаваемого и обыденного, постоянно нащупывает нити той самой обратной перспективы, которая наполняет смыслом каждый миг твоего бытия. Цикл «Итальянские фрески» — именно то похожее на сон припоминание-узнавание, та полувоплощенная мечта, с которой неизбежно сталкивается всякий русский поэт, попавший в эту Аркадию Средиземноморья. Смее утверждать, что за триста лет русская поэзия освоила Италию с той же подробностью, что и Павловский парк, например. Чем еще можно удивиться, с чем неизведанным можно еще столкнуться там? Но вот появляется утопленница Венеция... появляется жар Адриатического песка... появляются знакомый и вечно новый мрамор Капеллы Медичи... античная богиня-фотомодель... мелькает Флоренция — Мазаччо, Буонаротти и этот непрístupный карабинер... отсюда невозможно никуда уйти, это та самая «нескончаемая юность», воспоминание о которой всегда будет согревать нас, сколько бы мы к ней ни обращались. И все это на фоне трагической (а книга написана человеком, воспроизводящим именно трагическое сознание) и совершенно необходимой утраты-таяния жизни. Понимание такой необходимости впервые рождает в человеческом существе, участвующем в трагедии, собственно человека. Без этого никакого человека не было бы.

Старинный вопрос — чем же должна заниматься поэзия: учить или радовать? — поэт решает по-своему — ему важен и слушатель, и предмет. Интеллект и чувство слиты здесь в неразрывную целостность и образуют тот густой поэтический воздух, дышать которым так хорошо, но и так трудно, особенно тем, кто не готов воспринимать слабыми легкими эту целебную смесь. «Глаза и уши — дурные свидетели для людей, если души у них варварские», — Гераклит говорит здесь о различии, которое существует между понятиями «смотреть» и «видеть». Для того чтобы *видеть* стихи, подобные тем, какие пишет Алексей Машевский, нужно не просто любить поэзию, но хоть сколько-нибудь быть погруженным в ее трехвековую историю, в ее контекст, ставший сегодня поэтическим бытием. Именно к поэтическому бытию, пережившему время и ставшему над ним, отсылает нас название книги — «Вне времени», название, которое в ином случае может показаться претенциозным, но здесь мы имеем дело с остранением, с уникальной возможностью, доступной только человеку, посмотреть на свою жизнь со стороны. «Жизнь кончилась, а смерть еще не знает...» — написал Александр Кушнер, и это стихотворение из книги «Таврический сад» можно целиком взять в качестве эпиграфа к книге Алексея Машевского, книге, в которой автору удастся переместить наблюдателя в такую точку смыслового пространства, откуда можно охватить единым взглядом и близкие, и дальние объекты, не потеряв при этом деталей.

Алексей Машевский чутко слышит время, ухватывает поэтическим слухом ускользающий миг бытия, но для того, чтобы это происходило, совершенно необходимо абстрагироваться от времени и пространства. Не уйти в какие-то астральные сферы, но посмотреть на непрерывный поток изменяющихся событий взглядом, вооруженным пониманием смысла происходящих перемен. Это и есть — подняться над потоком, еще раз осознать изначальную ограниченность всякого объекта, неустранимую трагичность мира, подспудно вызревающую в самые счастливые минуты нашего существования. Жить с пониманием этого тяжело, порой невыносимо. Жить, не понимая этого, — значит вообще не жить.

Боже мой, как время-то несется —
Жизнь всегда в пути...
Каждый день на все про все дается
Нам не больше восемнадцати

Бодрствования часов, а есть ночные.
Их укоротить?
Сны мои, невнятные, чудные,
Уводящие в миры иные, —
Может быть, единственная нить

В ту страну, где без конца и края
Все заполнил свет,
Где живут, часов не наблюдая,
Потому что нет

Времени. Вот там я и успею,
Там и завершу
Все, чем здесь страдаю и болею,
Все, о чем пишу.

Книга «Вне времени» резко, обостренно, сфокусированно показывает нам наше именно время, преломленное поэтическим видением автора. И мы, застигнутые «мгновеньем жизни в его полете», видя в смысловом луче неожиданно важные для нашего существования детали этой жизни и чувствуя себя пассажирами ночного автобуса, проникающего фарами не более чем на сто — двести метров вперед, — как мы можем повлиять на собственную судьбу? Как изменить если не длину пути, то хотя бы его траекторию? Общего ответа не существует. Но существует поэзия, проводящая нас, подобно Вергилию, по всем кругам мира, от первого вздоха до роковых минут, и каждый сам, если он честен перед собой, обойдя все предложенные маршруты, вернется в свое сегодня с золотым уловом обретенного или обнужденного смысла — как банально бы это ни звучало, смысла жизни.

Василий РУСАКОВ.



РЕЧЬ О МОЛЧАНИИ

Мария Виролайнен. Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской словесности.
Предисловие С. Г. Бочарова. СПб., «Амфора», 2003, 503 стр.

Если бы к суждениям об этой книге понадобился эпиграф, я бы выбрал строки, написанные давно и принадлежащие перу одного рано ушедшего филолога:

Вот мы стоим у водопада.
Глаза устали, гложет речь;
Не понимает он, что надо
Не извергать, а просто течь.
Эх, водопад, — не обессудь:
Что умно,
То не шумно,
Вот в чем суть...

Труд М. Н. Виролайнен воистину хочется сравнить не с громокипящим водопадом, а с тихой рекой, питающей самые плодотворные из наших литературоведческих и культурологических делянок. Умно. Нешумно. И — совершенно необходимо.

Не пожалее места, отведенного для рецензии, и процитирую абзац, которым открывается программная статья «Речь и молчание у Пушкина», давшая, надо полагать, название всей книге:

«Если сравнить лучшие из современных работ по поэтике с лучшими критическими высказываниями пушкинской поры, возникает очень странное впечатление. Начинает казаться, что такие филологи, как Ю. М. Лотман, С. Г. Бочаров или Ю. Н. Чумаков, способны читать художественные тексты пушкинской эпохи с неизмеримо большей глубиной и тонкостью, чем поэты ближайшего пушкинского окружения и даже — чем сам Пушкин. Эта странность отчасти объяснима тем, что русская филология за почти два разделяющих нас столетия имела время усовершенствовать свои методы. И все же порой возникает подозрение: не видит ли современная филология в пушкинских текстах то, чего вовсе не было в творческом сознании автора, то, что было неразличаемым и, стало быть, несущественным для него? На этот весьма неприятный вопрос пришлось бы ответить утвердительно, если бы культура, и в частности словесная культура целиком, сводилась к зоне озвученного, огласованного, названного, проартикулированного».

Отсюда, с постановки неудобного, всеми обходимого вопроса, берет исток развитая, красивая авторская версия словесной культуры как соотношения областей речи и областей молчания. Тут не очередной формальный изыск; тут зацеплено что-то важное, корневое, отличающее именно отечественную литературу. От самых начал, от летописи, от «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, русское сознание родственно самоощущению Того, Кто молчал перед Пилатом.

Римлянин, прокуратор Иудеи, как повествуется в Евангелии от Иоанна, спрашивает у Христа: «Что есть истина?» Христос же не отвечает, *молчит*. Почему? Да потому, что Он Сам есть воплощенная Истина, и кому дано — понимает это не словесно, а через Божественное молчание. Пилату «не дано». Вместе с тем — и автор книги с неторопливой подробностью это доказывает — русская литература благодатно несет свои смыслы не только через слово, но и через образное наследие молчащего Агнца.

Дальняя и близкая история отечественной словесности полна, казалось бы, случайными намеками. У Пушкина в финале трагедии «народ безмолвствует», а программному стихотворению «Герой» предпослан канонический эпиграф — «Что есть истина?»; Тютчев называл ложью «мысль изреченную»; Мандельштам хотел немотствовать, «уйти из нашей речи»; Окуджава знал, как много доброты таится в молчанье... Все это случайности с острым привкусом закономерности, — закономерности, напоминаемой и объясняемой Марией Виролайнен.

Тут, если угодно, нечто большее, чем вольные упражнения на материале поэзии.

Много десятилетий тому назад один крупный церковный иерарх вспоминал, как к нему, в ту пору еще молодому приходскому священнику, пришла старуха и

пожаловалась: вот, всю-то жизнь молюсь, а ни разу не почувствовала присутствия Господа в своей молитве. «Как молишься?» — спросил иерей. «Да вот, — отвечает, — становлюсь перед образами и — наизусть по молитвослову. А еще рассказываю все свои печали, прошу помощи». Тогда священник посоветовал: «А ты стань на молитву и помолчи, не докучай Господу словесно». Через несколько дней старуха пришла и сказала: «Спасибо, батюшка, я ощутила присутствие Господа в своей молитве».

Отсюда следовал вывод, близкородственный суждениям Виролайнен: каждый из нас в быту носит множество личин и бывает не ясно, что есть наше подлинное лицо, которое должно являться пред Богом. Вот молитвенное молчание и есть вариант поиска нашей подлинной сущности, нашего пути к спасению.

Та же проблема — только иначе, на ином материале — сформулирована в главке «Уход из речи», а особенно в первом ее разделе — «Утрата как обретение». Связывая воедино удаленные друг от друга фрагменты работы, я иду поперек ее авторской композиции — будто это не академический труд, а, например, релятивистский роман Милорада Павича. Ничего. Если монография своей многогранной игрой смыслами может соперничать с художественным произведением, то — все к лучшему.

Парадокс утраты как обретения тоже восходит к евангельским страницам, где смерть пшеничного зерна есть неперемное условие его возрождения, а положивший душу «за други своя» сохраняет и спасает эту душу. Виролайнен внимательно следит за развитием идеи «утрата — обретение» в русской словесности от XVIII до XX столетия, от Державина до Брюсова. На этом пути своими новыми, неизведанными сторонами поворачиваются к нам произведения Пушкина, Толстого, Достоевского, Хлебникова.

Игра, в которую Виролайнен вовлекает читателя, носит далеко не только умо-зрительный характер. Тут «дышит почва и судьба» всей русской культуры, истории. Тут его, читателя, подстерегает масса неожиданностей. Готов признаться, что знакомство с книгой начал я не с предисловия С. Г. Бочарова (весьма содержательного и точного) и даже не с авторского «Вместо введения», а с главки «Фома Опискин и Иван Грозный», удивившей меня уже самим названием. Сопоставление имен на первый взгляд кажется странным и искусственным; однако ж под пером автора оно обретает абсолютную логическую убедительность и корректность.

Понятно: всерьез, впрямую развивать сравнение исторического деятеля с литературным героем было бы нарушением академических условий, похожим на незаконный переход границы. Но в русском культурном сознании середины XIX века царь Иван IV еще не обрел научно документированного статуса, воспринимался как фольклорно-мифологическая фигура или как герой Н. М. Карамзина, более в данном случае писателя, чем историка.

Известная внеисторичность, литературность Ивана Грозного и дает автору книги повод для блистательного сопоставления первого русского царя с капризным приживалом из «Села Степанчикова» Достоевского. Все дело в подзаголовке статьи — «Архетип ухода». Иван покидает Москву и монарший трон по тем же мотивам, по каким Фома расстается со Степанчиковом, — чтобы быть призванным обратно. И уж тогда, воцарившись вновь, ничем не ограничивать свой произвол. Тем самым в карамзинской «Истории» Русь XVI столетия можно понимать как большое село Степанчиково, а существование скандальных парадоксалистов Достоевского — как причину новых времен.

Выявленный «архетип ухода» — с необходимыми оговорками, конечно, — автор распространяет и на последнюю акцию Льва Толстого. Здесь уход из усадьбы можно понимать как прообраз смерти в одной жизни и попытку возрождения в жизни другой, лучшей. Продолжая мысль Виролайнен, замечу, что таким же стремлением отличались нескитанные массы русских крестьян, норовивших бежать от постылой жизни то в казачьи станицы, то в легендарное Беловодье в «Опонском» (Японском) море. И уж совсем накануне новейшего времени поэт, считавшийся пролетарским, провозглашал все ту же патриархально-утопическую идею: «Там, за горами гора, / Солнечный край непочатый».

Единство и устойчивость русского самосознания — от Ивана Грозного до Владимира Маяковского — выступают с полной очевидностью.

Один из самых замечательных разделов книги — «О Пушкине». В области пушкиноведения у Виролайнен прочное, общеизвестное имя. Специалисты — да и

не только они — хорошо помнят составленный и отредактированный ею том «Легенды и мифы о Пушкине», вышедший десять лет тому назад. Послесловие к «Легендам и мифам...», под названием «Культурный герой Нового времени», вошло в «Речь и молчание»; это нынче один из самых цитируемых пушкиноведческих текстов.

В 30-е годы прошлого столетия известный богослов А. В. Карташев заметил, что в русской культуре «лик Пушкина» не укладывается в рамки обычных представлений о писателе, он шире и глубже таких рамок: «В календарях культуры всех народов есть такие избранные излюбленные лики, которыми любителю и утешается народная душа, своего рода светские святые <...>. Тут „благодать любви“. Ее нельзя изъяснить, мотивировать до конца; можно лишь отчасти и приблизительно. Это — „священные писания“ народов и герои национальных „священных историй“. Разве в силах кто-нибудь развенчать потрясающую трогательность историй Авраама, Иосифа, Руфи, Давида, Или? <...> Это образы из светлой библии народов. Их биографии, большей частью окутанные мифами, воспринимаются национальными сердцами как „жития“, умиляющие и возвышающие дух. Так же „житийно“ влечет нас и приковывает к себе и ослепительный образ Пушкина».

Этот эмоциональный выплеск религиозного мыслителя и историка Церкви сама Виролайнен не приводит. Но мне кажется, что ее работа о Пушкине как культурном герое Нового времени продолжает и развивает суждения Карташева, рискнувшего поставить имя поэта в один ряд с именами героев и пророков авраамитских религий. Так ли, или иначе, но небольшая по объему статья Виролайнен выявляет не только природу национального пушкинского мифа, но и определяет общий «особый статус» классической русской литературы XIX века. Истасканная до пошлости формула «Пушкин — наше все» обретает, кажется, черты научной определенности, конкретности.

В раздел «О Пушкине» входят также две статьи, посвященные «маленьким трагедиям» (написаны в соавторстве с Н. В. Беляком). Жаль, что пространство рецензии не дает возможности пройти по длинному ряду тонких наблюдений и сопоставлений, выстроенному на материале «Пира во время чумы», «Каменного гостя», «Скупого рыцаря», а особенно «Моцарта и Сальери». Сошлюсь на парадоксальную и замечательно весело высказанную мысль известного московского пушкиниста: «До чего великолепен анализ „инверсионной“ поэтики „Моцарта и Сальери“ у Беляка и Виролайнен! В иных положениях, наблюдениях, выводах — такая глубина, такая смелость и проч., что был бы на моем месте Сальери — непременно отравил бы обоих» (см.: Не помнящий В. «Из заметок составителя...» — В кн.: «Моцарт и Сальери. Трагедия Пушкина. Движение во времени». М., «Наследие», 1997, стр. 890). Истолкование структуры «маленькой трагедии», ее бытования в широком пограничье между словесной, театральной и музыкальной культурами действительно может быть предметом острой зависти.

В своей среде — искусствоведов, критиков, историков литературы — я знаю весьма распространенный грех: часто мы любим не столько самое произведение, сколько свои знания о нем. И тогда *система связей*, в которую мы помещаем художественный текст, затемняет исходную, собственную красоту этого текста. Мария Виролайнен как раз в этом, думаю, неповинна. Далеко не все, что она пишет, основано на простом фактическом знании.

Проверю себя на пушкиноведческом фрагменте, с которым могу и поспорить. Речь идет о работе «Генеалогический принцип в истории. (Пушкинский проект из десяти названий: опыт реконструкции)». Она построена на автографе Пушкина, относимом к 1826 году; традиционно считается, что поэт набросал здесь названия будущих, еще не написанных «маленьких трагедий». Перечислены «Скупой», «Ромул и Рем», «Моцарт и Сальери», «Д. Жуан», «Иисус», «Беральд Савойский», «Павел I», «Влюбленный бес», «Димитрий и Марина», «Курбский».

Разбирая этот набросок (план?), Виролайнен вовлекает читателя в головокружительное путешествие по истории времен и народов, по миру пушкинского сознания, в котором будто бы равноправно обитают образы Древнего Рима и русского Смутного времени, готического Средневековья и раннего христианства, демонической мистики и романтизма императора Павла. Чувствуется, какое удовольствие сам автор получает от своих экскурсов. Все замечательно, как говаривал булгаков-

ский Коровьев, «все очарованы, влюблены, раздавлены! Сколько такта, сколько умения, обаяния и шарма!».

Виролайнен стремится доказать, что Пушкин выстраивает ряд своих произведений в точном соответствии с важнейшими моментами духовной истории Европы. Поэтому тут, мол, не просто десять названий, но десять ступеней генезиса европейской общности народов. И читатель, увлеченный чисто художественной версией Виролайнен, согласен ей верить, верит. Только потом, отложив книгу и преодолев наваждение колдуньи, спохватываешься: что же это получается? Земное явление Спасителя сопряжено, например, с глубоко провинциальным случаем измены Курбского, а основание Рима, допустим, соотносится с шарфом и табакеркой, которыми убили венценосного безумца Павла I. Так ли? Верно ли?

Понять пушкинские сюжеты, выстраивая их по гипотетическому признаку, предлагаемому Виролайнен, я думаю, невозможно. Ведь в конце концов — и каждый историк это знает — любой факт, любой отрезок времени всегда есть момент перехода от чего-то к чему-то. А потому рубежным и даже переломным событием можно произвольно назначить все, что угодно. В данном случае у Виролайнен все искупается увлекательностью самого рассказа, возвышением над низкими истинами простой фактографии.

Если сравнивать монографию «Речь и молчание» с концертной программой, то надо будет признать, что «исполнитель» легко и естественно переходит от классического репертуара к модернистскому и обратно, виртуозно преодолевает общеизвестные культурные пропасти, отделяющие одну русскую эпоху от другой. Это отчетливо поймет читатель, добравшийся до последних страниц книги, где его ждет глава «Инобытие речи» с ее разделами «Пушкинский „возможный сюжет“ и виртуальная реальность» и «Гибель абсурда». Под натиском мысли исследователя на глазах рушится «приятная завершенность» литературной классики; пресловутая «современность» того же Пушкина оборачивается роскошными джунглями постмодернистских истолкований.

...Миф вообще-то сильнее, влиятельнее факта.

И петербургский миф — не исключение. Начался четвертый век великого, легендарного противостояния Москвы и Петербурга. Оно затрагивает все сферы духовной жизни, гуманитарного знания — в том числе и пушкиноведение. Вот, уныло объясняют питерские, московское детство поэта было ужасно. Ну и что, обиженно отвечают москвичи, зато у нас Пушкин родился, а у вас его убили. На самом деле — глупости все это. Мы просто забываем самого Пушкина, который «ни за что на свете не хотел бы <... > иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Понимание Пушкина, глубокое проникновение в историю отечественной словесности Бог дал петербургской исследовательнице Марии Виролайнен. И хорошо. Я, москвич, только радуюсь...

Виктор ЛИСТОВ.



В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО СМЫСЛА: ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ГУССЕРЛЮ

Н. В. Мотрошилова. «Идеи I» Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию. М., «Феноменология — Герменевтика», 2003, 716 стр.

От XX века нас отделяет трехлетняя дистанция. И это позволяет — хотя бы формально — оценивать итоги прошедшего столетия. Так, уже можно рискнуть и сказать, что главным философом века был Э. Гуссерль — создатель феноменологии. Масштаб сделанных им исследований, важность затронутых проблем, глубина и радикальность решений, интеллектуальная честность и строгость, последовательная «борьба за логос» в эпоху всевозможных духовных опьянений, борьба за исконные ценности Европы в эпоху тотального предательства и дезертирства —

все это позволяет назвать его мыслителем, отразившим самые существенные духовные коллизии своего времени. Это подтверждается и обширностью его влияния (как правило, опосредованного толкователями) на умы современников. Правильно ли он был понят, это другой вопрос, но так или иначе печатью феноменологии было отмечено множество интеллектуальных инноваций, в том числе — в искусствоведении, литературоведении, да и в художественной практике (показательный пример всего этого вместе — творчество Сартра).

Беда в том, что взять и почитать его труды не так просто. Понять Гуссерля трудно даже искушенным специалистам. Это — «высшая математика» философской теории, которая требует предельной концентрации мысли. К тому же Гуссерль все время находился в развитии, критически оценивал сделанное, менял точку зрения и перспективы рассмотрения. Он не оставил резюмирующего труда, который мог бы аутентично представлять перед широкой публикой. Поэтому понять суть его учения можно лишь с учетом всего корпуса текстов. Однако сорок тысяч страниц «Гуссерлианы» — его наследия — препятствие, непреодолимое для читателя нормального (то есть не желающего потратить остаток жизни на усвоение феноменологии). Не годится здесь и традиционное решение: чтение хорошего популярного изложения темы. Популярные книги о Гуссерле непонятны, поскольку не передают смысла его идей, специальные же непонятны, поскольку воспроизводят сверхсложный поток гуссерлевских рассуждений. В результате труды Гуссерля попали в ту же культурную ячейку, что и — к примеру — труды создателей квантовой механики. О них знают, о них говорят, но никто их не читал, а кто читал — не понял. Уайльд сказал, что романтическая любовь похожа на привидения: все о них говорят, но никто не видел. В этот ряд надо поместить и феноменологию: интеллектуалы почтительно снимают шляпу при ее упоминании, отчетливо произносят слова «эпохэ», «интенция», «ноэма», — но не в состоянии грамотно изложить хотя бы самые общие ее принципы. Но вот наконец вышла книга, которую я решаю рекомендовать не только братьям по цеху (каковые и так знают, кто есть кто), но и всему просвещенному гуманитарному сообществу.

Н. В. Мотрошилова — высокочтимый у нас и за рубежом философ и историк философии — в свое время издала одну из первых (если не первую) отечественных монографий о феноменологии¹. Книга, о которой здесь идет речь, вышла тридцать пять лет спустя. То, что эти годы были заполнены — среди прочего — непрекращающимся изучением наследия Гуссерля, обусловило блистательную удачу. Автору удалось невозможное: книга предназначена погруженным в тему специалистам, но вполне доступна и тем, кто находится на первых подступах к феноменологии или даже просто хочет понять, «в чем там дело» (при условии, конечно, готовности к сосредоточенному систематическому чтению). Секрет успеха, видимо, в том, что нитью Ариадны служат хорошо продуманные и пережитые основные интуиции гуссерлевской мысли: они позволяют пройти сложнейшие лабиринты текста, не упуская из виду целостность замысла — то самое «зачем», без которого читатель быстро вязнет в бесконечных дистинкциях, дефинициях и дескрипциях, на какие-то Гуссерль был большой охотник.

Мотрошилова исследует одну из главных работ Гуссерля — «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Всеобщее введение в трансцендентальную феноменологию». Чтобы понять, что стоит за этим устрашающим своей заумной схоластикой заглавием, стоит обратить внимание на самые первые абзацы книги Мотрошиловой, составившие своего рода вводную миниатюру:

«1913 год... Три события, свершившиеся в этом году — независимо друг от друга, но в единой взаимосвязи человеческого духа, — имеют для истории культуры непреходящее историческое значение. „Черный квадрат на белом фоне“ Казимира Малевича — символ того, сколь неисчерпаемы <...> смыслы, которые могут открываться человеческому сознанию в самых простых <...> изобразительных формах. <...> „В поисках утраченного времени. По направлению к Свану“ — произведение Марселя Пруста, символизирующее непререкаемое первенство <...> сознания

¹ Мотрошилова Н. В. Принципы и противоречия феноменологической философии. М., 1968.

в <...> преобразовании потока навсегда утраченного, но в каждый момент вновь восстанавливаемого — и вновь утрачиваемого! — времени. „Идеи <...>” — сочинение Эдмунда Гуссерля, которое новаторски подвело под все подобные устремления <...> прочное философское обоснование: была систематически разработана <...> дисциплина, сделавшая предметом своего анализа именно безостановочный и необратимый поток переживаний — тех, <...> сущность которых может открываться только самому сознанию».

Так уж начинался XX век: что ни год, то россыпь великих открытий и созданий. Из достижений 1913-го можно было бы вспомнить и другие столь же эпохальные инициативы. Бор: квантовая модель атома. Фрейд: «Тотем и табу». Маса-рик: «Россия и Европа». Томас Манн: «Смерть в Венеции». Веберн: «Пять пьес для оркестра». Стравинский: «Весна священная». Форд: конвейерное производство автомобилей. Но автор своей триадой точно позиционирует место гуссерлевского шедевра: открыта не замеченная дотоле сторона сознания — то его измерение, в котором происходит постоянное полагание смысла и встраивание его в созерцания, порожденные опытом. Точкой, где происходит встреча потока смысловых проекций и потока чувственных сигналов, является наше Я — одно из самых очевидных и самых таинственных достояний человека. До Гуссерля эта сторона сознания куда-то проваливалась на стыке обжитых территорий рассудка и чувственности. Несмотря на гениальные прозрения Платона, Декарта, Канта, упрямо воспроизводилась привычная схема: Разум, носитель смыслов, с одной стороны, и Душа, носитель переживаний, — с другой. Связь между ними мыслилась ситуационной (если не случайной). Исследовать эту промежуточную страну полагалось скорее искусству и литературе, нежели науке. Однако самое интересное для человека там-то и находилось: ведь это и была жизнь в ее неповторимости и здежности. XIX век пришел к капитулянтскому выводу: Разум не способен понять действительную жизнь, разве что — умертвить ее своими абстракциями². Но и окончательно расстаться с Разумом век был не готов. Спасает дело великая литература XIX века, которая берет на себя роль учителя жизни. Создается новая наука — психология, — пытающаяся обратиться к конкретности душевных состояний. За ней, как часто бывает в культуре, идет идеология, очередной «...изм». Так, «психологизм» попытался стать универсальным средством обоснования всех способностей человека. Скоро, впрочем, обнаружилось, что психологизм не работает и мало что объясняет; психическое обнаруживает себя как всего лишь вторичная реальность, как реакция на то, что «вне нас» и «внутри нас». Начиная с 70-х годов XIX века в европейской культуре пробуждается то, что Томас Манн назвал «аристократическим чувством формы»; позитивизм и психологизм теряют привлекательность. С критики психологизма в математике начинается и научная деятельность Гуссерля (ученика знаменитых математиков Вейерштрасса и Кронекера). В «Идеях I» перед нами уже зрелый плод гуссерлевской революции: утверждение и создание положительной науки об опыте сознания, осуществляемом на той самой искомой «земле», между (еще) бессмысленной душевностью и (уже) бездушной разумностью. По существу, это совершенно новая версия рациональности³.

Симона де Бовуар вспоминает об историческом эпизоде: Арон (будущий знаменитый социолог) и Сартр (будущий знаменитый философ) беседуют в кафе о немецкой философии. Вернувшийся со свежими интеллектуальными новостями из Германии Арон, указывая на коктейль, говорит, что феноменолог может говорить вот хотя бы об этом, и это будет философия. Сартр бледнеет от волнения. Ведь об этом он и мечтал: философствовать о своем непосредственном живом восприятии, о мире, каким он нам дан без всяких идеализмов и реализмов, но не жертвуя суверенностью сознания и так, чтобы это была именно философия. Волнение Сартра понятно: такой философии ждали все, остро ощущавшие культурный вакуум,

² Справедливость требует заметить, что вывод был слишком поспешным. Век принял его с торопливой радостью школьников, бегущих после звонка из класса, не дослушав последних слов учителя. А ведь этими «словами» во спасение Разума были грандиозные и, в сущности, эффективные программы йенских романтиков, Гегеля, Шеллинга и — на свой лад — Кьеркегора.

³ О сути новой модели рационализма у Гуссерля см. стр. 540 — 541 труда Мотрошиловой.

бессилие позитивизма и растерянность искусства. Последнее — весьма показательно. Впервые, пожалуй, с начала Нового времени европейская литература начинает осознавать, что теряет свое место в авангарде культуры. Раньше писатели и художники первыми начинали видеть мир по-новому и давать форму смутным предчувствиям. Теперь же их опережает рациональность философов и ученых⁴. (Это с одной стороны. С другой же — впереди звериное чутье демагогов.) Молодой Музиль заявляет: «Мы станем учиться не у Гёте, Гейбеля, Гёльдерлина, а у Маха, Лоренца, Эйнштейна, Минковского, Кутюра, Рассела, Пеано». Что-то подобное провозглашают кубисты и футуристы. В самом деле, именно кризис в физике и математике открывает эпоху духовного авангарда. Математик Рассел и математик Гуссерль берут на себя также и работу философов⁵. Новая философия сразу осознает свою особую культурную миссию — защиту главных ценностей старой Европы: разума и личности. Это объясняет некоторую патетичность, контрастирующую с академической отстраненностью, уже в ранних работах Гуссерля. И, пожалуй, пафос был оправдан. Действительно, картина устройства сознания, разработанная фрайбургским мудрецом, позволяет надеяться на то, что у разума есть достаточно сил и средств, чтобы избежать культурной шизофрении, раскола на самозамкнутые мирки рациональных абстракций, эмоциональных аффектов, волевых импульсов и т. д.

Читатель, одолевший книгу Мотрошиловой, возможно, будет поражен тем, что он и не подозревал о существовании мира, открытого и исследованного Гуссерлем. Обычный мир, в котором мы живем (по Гуссерлю — мир «естественных установок»), состоит из реальности, мыслей и чувств. Гуссерль показывает обратную сторону этого бытия, «изнанку», которая объясняет, как сделано шитье «лицевого» рисунка. И выясняется: все, что мы считали данным, было создано бесконечно малыми усилиями нашего (но нами же и не замечаемого) Я, направленными на смысловую интерпретацию слепого опыта. Но если данное было созданным, то, значит, мы можем раскрыть «технику» такого синтеза. Это высвечивает удивительные перспективы: мы можем в некотором смысле вернуть себе утраченное (испорченное лжетолкованием) время; мы можем превратиться из пассивного инструмента некоего процесса в активного и свободного мастера, который «знает» и «может»⁶. В этом смысл знаменитого призыва Гуссерля — «К самим вещам!»⁷. Стоит в связи с этим заметить, что современное увлечение науками о культуре во многом связано с желанием освободиться от гипноза псевдоестественного и увидеть стоящее за ним культурно-искусственное. Тем самым — обрести право на переоценку ценностей, на отделение живого от мертвого. Но как сделать это, не разгадав устройства «ткацкого станка», сплетающего разрозненные нити опыта в плотную текстуру жизненного мира? Мотрошилова полагает — и убедительно демонстрирует, — что Гуссерль, как никто другой, приблизился к решению этой загадки.

Автор пишет: «Увлечь читателя сухой, на первый взгляд, феноменологией — моя сверхзадача». В предупреждении звучит: «Нам предстоит <...> путешествие в новую для философии страну, „чистую феноменологию“. Однако попасть в нее можно только после того, как удастся миновать „станции“, которые философии и философам могут показаться вполне знакомыми, — „Сущность“, „Мир“, „Созна-

⁴ Литературе хватило большого дыхания вплоть до 30-х годов XX века. Но далее это отставание и выпадение из статуса «духовного вождя» стало очевидным. Параллельно культуру начинает оккупировать не облагороженный литературой миф.

⁵ Не лишен символичности рассказ автора (стр. 22 — 23) о том, как в студенческие годы внимание Гуссерля было направлено на философию (в частности, на лекции Ф. Брентано) его близким другом, будущим президентом Чехословакии Т. Масариком. В 30-е годы Гуссерль и Масарик будут среди последних защитников гибнущего европеизма. Смена не придет, и Гуссерль скажет горькие слова о своих учениках — Шелере и Хайдеггере — о «поколении, охваченном разрушительным психозом».

⁶ Каждый может поставить на себе простой эксперимент: возьмите сводку новостей в газете или на телевидении и не спеша проанализируйте, насколько нейтральная — якобы — подача фактов уже сформирована и нагружена незаметным их толкованием и подсказками для нашей оценки фактов. Но стоит увидеть, как это сделано, — и магия исчезает. Мы свободны. Гуссерлевская техника «редукции», собственно, и дает такую свободу на более глубоком уровне.

⁷ «Вещь» и «суть дела» передаются в немецком одним и тем же словом «Sache». То есть, подсказывает Гуссерль, очищенное сознание обретает сразу и смысл, и реальность.

ние». <...> Надо пройти через них только для того, чтобы избавиться от всецельного господства вековых традиций философии и обрести новый путь». По-моему, цель достигнута. Автор неспешно проводит нас через гуссерлевские инициации, демонтируя натуралистические установки; открывая мир сущностей (эйдосов) и «чистого Я», скрытого в глубинах нашей самости; объясняя технику «редукции», слой за слоем снимающей внешние напластования с нашего сознания; обнаруживая чистый поток переживаний, открытый новым толкованиям; переосмысливая суть разума и действительности. Тот, у кого достанет усердия и решимости пройти по этому «зазеркалью» вместе с автором, несомненно откроет в себе второе зрение, даже если он не станет адептом феноменологии.

Александр ДОБРОХОТОВ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА

+5

Л. П. Карсавин. История европейской культуры. Т. 1. Римская империя, христианство и варвары. Перевод с литовского Татьяна Алекнене; научная редакция, библиография Александра Клементьева. СПб., «Алетейя», 2003, 336 стр.

Мысль свободно болтается, когда читаешь книгу Карсавина. Как бы некие сны о будущем приходят в голову. Я не пишу научную рецензию, поэтому поделюсь и снами. То ли безумный тюркско-славянский император переносит столицу Евразии в Астрахань (или в Махачкалу?); империи присягают заново армяне, грузины и казахи, напуганные натиском восточных орд... То ли Великая Тюркоруссия воссоединяется с Турцией, и в Стамбуле-Царьграде султан-кесарь дарует православному меньшинству Айя-Софию... То ли наемные варвары защищают новую родину, и какой-то мовлади басаев, сделав быструю карьеру, становится главнокомандующим, чтобы держать фронт против то гогов, то магогов; да он и сам немного гог, но позднее солнце увядающей империи ослепило его своим закатным блеском... Все это, конечно, бред. Как и то, что культура остается самым устойчивым к переменам плодом империи. Усталые, пресыщенные и разочарованные генералы, депутаты и олигархи сторонятся уже политической деятельности, «познав вкус к уладам частной жизни». Они посвящают себя делам праздности и пишут дневники, письма — друг другу и доносы — в прокуратуру. «А кто и писем писать не умеет, тот, несомненно, великий критик». Неудачная жизнь — удачная литература, утонченная и рафинированная, книги на полузабытом языке, непонятном простонародью... «Можно говорить об *атрофии* социальных и политических чувств». Правительство «видело факт и форму, но, будучи само плодом этого атоничного общества, оно и понятия не имело о том, что есть или, вернее сказать, чем некогда было существенное содержание формы и живая, животворная душа факта, поскольку ни содержания, ни души уже не было. Правительство по мере сил стремилось сохранить факт и форму. Стремилось возродить политическое и социально-экономическое единство, однако сумело породить лишь неживую, искусственную форму. Отсюда происходит рационализм императорской политики: бюрократизм, подлинно кастовый строй и, наконец, „государственный социализм“». Случится ли такое в России? Да никогда! Но, кстати, о языках. «Историю европейской культуры» Льва Карсавина, написанную по-литовски в бытность автора в Каунасе, собирались, помнится, издать на русском лет десять назад. Тогда не получилось. И вот теперь вышел первый том, весьма основательно обобщающий материалы по переломному моменту мировой истории и очень тщательно подготовленный. Я не уверен, что сегодня эта книга может иметь очень большое значение. (Много ли читателей и у более вдохновенно написанных карсавинских книг 10-х годов по истории культуры?) Хотя в начале нового века еще насущнее, быть может, является на-

поминание автора, что «подлинное основание культуры европейцев — христианская культура». В христианских общинах «рождаются новые люди». Есть и другие интересные акценты. Любопытен методологический посыл автора, утверждающего, что историк не доискивается «причин» или «факторов», а описывает исторический процесс в его множественном единстве; не отвечает на вопрос «почему», а отвечает на вопрос «как». Тем не менее у Карсавина есть фаталистический лейтмотив: империи и культуры смертны, это закон бытия. Льет воду на мельницу сторонников идеи об исторической преемственности трех Римов утверждение Карсавина о плавном сдвиге имперского центра на Восток, в Константинополь, так что запустение и смерть западной части империи могут оцениваться как фактор весьма уже второстепенный по отношению к блистательным судьбам Византии. Но параллельно Карсавин выражает симпатии и первому Риму, «городу вечной традиции», где старое не исчезает, «лишь меняет свои формы». Разлагающим империю ферментом не весьма-то сочувствующий ей Карсавин объявляет «индивидуализм». Борьба с ним невозможна, его яды не знают противоядия; даже и поздний этатизм оказывается тем же индивидуализмом, когда автократор строит государство по своему образу и подобию. Настоящая альтернатива индивидуализму, по Карсавину, находится уже за пределами империи — это христианская община.

Сергей Темняткин. Моя кацкая Русь. Люди, предания, обычаи, верования западных земель Ярославского края. Ярославль, Издательство Александра Рутмана, 2003, 192 стр.

Кацкая Русь — это клочок земли, несколько деревень на западе Ярославской области, расположенных вдоль реки Кадки. И люди, их населяющие. Темняткин собрал и представил кацкие были и небыли, легенды, присловья, песни и музыку кацкого говора. Книжка заставляет вспомнить о сказителях XX века Шергине, Писахове и Бажове. Это писатели-профессионалы, за каждым из которых стоит фольклорная традиция. Но традиция уходящая. Они появляются в момент гибели устойчивых основ народной культуры, когда уходит на дно истории целый материк духа. Им приходится смотреть на эту культуру уже со стороны, иногда сближаясь с нею до неразличимости, иногда отдаляясь. И каждый из них по-своему создавал, выпевал гимн и реквием тому закатному миру, с которым они родственно связаны, создавал в своем творчестве экстракт и конденсат этой народной традиции. Вот и Темняткин вдохновился зовом памяти, создал и воссоздал как культурное единство целый мир, мир пестрый, красивый, трогательный, драматичный, забавный, одухотворенный. Такое обобщение целой культурной традиции личным трудом и в личном опыте — явление нечастое. Но и другое важно. Вышла, как мне кажется, книга, призванная объединить людей, вдохновить их историческими преданиями на актуальное культурное творчество. А заодно и представить кацкий край всему миру. Про феномен реанимации городской гражданской общины в городке Мышкине силами Владимира Гречухина и его окружения слышали, вероятно, многие. Темняткин — ученик и продолжатель Гречухина. Его проект — рекультивация (если угодно) другой микрообщности. В минувшем веке кацкий крестьянский мир, весь строй здешней жизни был обрушен, как почти везде. Традиционная крестьянская культура стала достоянием истории, ушла в архивы и музеи. Но на исходе столетия появился юный энтузиаст и попытался — не восстановить, нет: это, конечно, невозможно — заново связать людей узами культурной общности и социальной солидарности. Насколько это вообще достижимо, я не знаю. Но реализация проекта — в разгаре. И этот опыт заставляет предположить, что в ситуации распада основ ткань культуры ткется там, где есть личность, готовая всецело посвятить себя этой задаче. Мы видим редко ответственный и в чем-то даже жертвенный личный выбор автора книги, который из преданности родному краю отказался от всяких прочих перспектив. Он стал хранителем и строителем кацкой культуры, и ее историком, и ее певцом. Что скрывать — я знаю Темняткина не только по книжке и даже написал по предложению издателя послесловие к ней. Но ведь не грех — говорить о хороших людях чаще и больше. Скажу иначе: на вопрос о том, существует ли еще Россия, отвечает, наверное, эта книга. Впрочем,

у того ж Карсавина мы найдем мысль, что в эпоху упадка возрождается провинциальный патриотизм.

Vladimir Zhelvis. The Xenophobe's Guide to The Russians. London, «Oval Books», 2001, 2004, 64 pp.

Владимир Жельвис. Эти странные русские. М., «Эгмонт Россия Лтд.», 2002, 96 стр.

С Темнянкиным я знаком. А профессор-лингвист Владимир Жельвис живет со мной и вовсе по соседству. Мы ходим друг к другу в гости и беседуем о заморозках и оттепелях¹. Но и я не ожидал, что он вот возьмет и напишет про русских в знаменитую книжную серию путеводителей, предназначенных, как считается, для поверхностного знакомства с различными культурами и составленных по жесткому плану. «Гид ксенофоба по России». Или так: «Русские: пособие для ксенофоба». Обязательное условие — юмор, но без искажений истины, хотя поощряется некоторое преувеличение. Слово «ксенофоб» использовано тоже в юмористических целях: дескать, если вы с подозрением относитесь к чужой культуре, то, прочтя эту книгу, вы увидите, что «они» — не хуже нас с вами, только иные. Жельвис попытался объяснить Россию и русских, чтобы они стали ближе и понятнее европейцам. В Англии книжка продается в аэропортах и, очевидно, нацелена на ленивого туриста, которому неохота читать серьезную литературу, толстые исследования. Вот по таким изданиям и формирует средний обыватель Европы представление о русской душе. Правда, опыт показал, что книжку читают и специалисты. Некоторые русские коллеги Жельвиса были недовольны, решив, что автор и в самом деле ксенофоб, причем английской складки, и не очень любит родину. Ведь патриотический азарт — это такая удобная материя, которой много не бывает (см. в моей «Книжной полке» пример чуть ниже, где начинается минусовая литература). Что, впрочем, в нормальном случае, как пишет и Жельвис, не мешает нам дрейфовать от самовозвеличивания к самообличению (и обратно). Русский человек у Жельвиса — романтик и коллективист, он склонен впасть в тоску и оплакивать свою судьбу, мечтает о халяве, долготерпелив, любит все большое, недолюбливает богатых, пьет водку, ходит в баню... и т. д. Известность Владимир Жельвис получил в 1997 году, когда вышла его монография о сквернословии. В книге «Поле брани. Сквернословие как национальная проблема», выпущенной «Ладомир», давался сравнительный анализ цензурных выражений, употребляемых в 80 языках мира. В новой книге Жельвис не обошел, конечно, свою коронную тему. В ней есть и глава о крепких русских словечках... Русская социальность, по Жельвису, основана на неформальной взаимоподдержке и сугубом недоверии гражданина к государству. Мужчины в России «добровольно сдались более образованному, более культурному, более умному, более работающему и менее пьющему полу. В относительно не самых важных областях вроде политики все еще доминируют мужчины, но в среде учителей, докторов, инженеров, не говоря уж об обслуживающем персонале, равно как и в семье, безраздельно царит женщина».

В общем, прочитав книжку, я подумал, что написал бы о русских примерно так же, если бы владел таким вот простым слогом и чувством юмора.

Дмитрий Новиков. Муха в янтаре. Рассказы. СПб., «Геликон+Амфора», 2003, 212 стр.

Новиков — гедонист, притом созерцатель и эстет. Отсюда его жанр: рассказ. На более объемную форму Новиков не покушается принципиально. Рассказ — часто без интриги — вмещает в себя целиком состоявшееся иррациональное переживание, тот единый сгусток жизни, который и передается сгущенным слогом, нагруженным эпитетами, метафорами, ассоциациями. Новиков отбрасывает прочь

¹ Одна сюжетная вариация этих тем: Жельвис В. И. Здравия желаю, товарищ Фортинбрас! — В сб.: «Язык, политика и литература: психолингвистический аспект». Ярославль, 2001.

мусор повседневного существования и ценит в жизни только звездные миги, кульминации бытия: моменты, когда человек ощущает ни с чем не сравнимую его полноту. Впрочем, кое с чем и сравнимую: с последним предсмертным мигом доисторической мушки, приземлившейся на каплю смолы и медленно оплетаемой душистой лавой. Наслаждение как медленная смерть. Таков философический посыл Новикова. Обложка его питерской книжки, на которой, кстати, вниз головой висит человеческий зародыш в янтарном сгустке, явно обманывает читателя. Герметичный головастик имеет мало общего с автором или его многочисленными альтер эго, с теми взрывами жизни, которые являются предметом Новикова. «Бывают в жизни такие труднообъяснимые моменты, когда невозможно поступить иначе, чем под наплывом неясных, смутных чувств, и лучше не думать об этом, а отдаться потоку, который несет тебя так мощно, мягко и неотвратимо». Точно так же и фотоизображение автора в виде крепкого парня в тельняшке странно контрастирует с изысканным плетением словес, с узорочно-вязковатыми периодами. Но здесь по крайней мере есть намеки на то, что полнота жизни застигает человека врасплох, не спрашивая, во что он одет-обут. В передаче этих жизненных кульминаций Новиков достигает подчас магнетизирующего эффекта. И думаешь, что куда-то такое вот чувство жизни ушло из нашей словесности, хотя еще недавно что-то похожее можно было различить, например, у Валерия Попова, а раньше — где-нибудь у легкомысленного Зарудина, в «Ночах на винограднике», и ностальгирующего Бунина «Темных аллей». Однако внешнее сходство таит большие различия. Новиков концептуализирует свою позицию, отталкиваясь от неутешительных опытов актуальной жизненной активности, в той мере, в какой выясняется, что таковая активность, по крайней мере в России, бессмысленна, а то и аморальна («...я внезапно понял, что жизнь моя не состоялась»). Россия оказывается у писателя местом хаоса, где не бывает осмысленных целеполаганий, где не работают рациональные стратегии, где можно только ждать чуда и ловить момент. Новиков оттачивает и заостряет свою чувствительность, научаясь — чем дальше, тем больше — ценить горькое и печальное, любить поражение и боль. И особенно хороши у него именно эти болевые уколы, именно сближение восторга и смерти. «И все вокруг уныло, печально, мокро, и непонятно совсем, что же нашли мы на этой жалкой земле, зачем живем здесь, зачем возвращаемся сюда из благополучного далека. И вот здесь, на этой точке печали и отчаянья, в очередной, тысячный раз вдруг понимаешь, находишь ответы на свои вопросы <...> потому что любовь детским пуховым одеялом покрывает всю нашу территорию, на которой добра стало меньше, доброта почти совсем исчезла, а любви здесь нескончаемо, любви и страсти к жизни, ко всей ее напряженности и непонятности; потому что только здесь, у нас, обожжешь горло стаканом спирта и бежишь мимо косых заборов незнамо куда по морозу тридцатиградусному, небо звездное над тобой, и плачешь в голос от нахлынувшей любви, от огромности ее, от восторга, от горечи ее...» М-да. Вся эта проза — в некотором роде иллюстрация к книжке Жельвиса. Дмитрий Новиков принадлежит к самым интересным прозаикам нового поколения, входящего в русскую литературу в начале XXI века. У него есть своя литературная страничка на сайте onego.ru. В 2001 году он отправил на сетевой литературный конкурс «Арт-Лито» имени Лоренса Стерна рассказ «Муха в янтаре». И выиграл. После этого вышла его книжка «Танго карельского перешейка» — сборник рассказов. Из двенадцати рассказов состоит и новый сборник. Я читал эту книгу с наслаждением; чего и вам желаю.

Улла Беркевич. Я знаю, что ты знаешь. Роман. Перевод с немецкого Ольги Стасовой. М., «Текст», 2002, 157 стр.

Место действия: Амстердам. Время: всегда. Нет, есть и хронологические привязки. Еще существует Берлинская стена. Еще ГБ и Штази плетут свои интриги. Но черные воды Амстела смывают веки лет, и в самом свободном городе мира, на последней точке земли, читатель попадает в рестораник мадам Орловой «Урал» — одновременно ковчег и ристалище, где на крыше «сидят пьяные ангелы с красными носами и поют аллилуйя». Место, где грешат и любят, где выговариваются и договариваются до конца, где сводят последние счета, где живут и умирают. Здесь

отметился Достоевский. Здесь звучит еженощно «Пиковая дама», и зараженная оккультизмом старуха Орлова, блуждающая между Амстердамом и Петербургом, внимает ужасу и бреду музыки и жизни, ни о чем не подозревая и все допуская, содействует любви израильского ученого, изобретающего психотропное оружие, и гэдэровской артистки, имеющей задание от восточных спецслужб и держащей связь с арабскими террористами. «И пока товарищ Петр своими немилосердными минорными созвучиями бередил мое старое сердце, бившееся исключительно из упрямства, а Герман, Лиза, Графиня и князь Елецкий встречались в Летнем саду, чтобы пропеть свой знаменитый квартет о страхе, когда Лиза узнает Германа и первая восклицает: „Мне страшно!“, я вспомнила слова Расковской о картах таро и таинствах каббалы...» Непостижима, абсурдна жизнь, с течением лет оставляющая от человека только уродливую плоть и страдающую душу, да и спор семитов между собой есть только частный случай загадочной и страшной судьбы людей и богов. «...наш мозг прогнил, а сердце, тук-тук, тук-тук, больше не стучит, а блюет...» Страдание и одиночество суть фатум. Люди обречены на него, и лишь по личной отзвучивости могут иногда (как это происходит в «Урале») смягчить боль взаимным участием. Безысходно страдающего человека немецкая писательница Улла Беркевич сопоставляет с Системами и отказывает последним в присвоенных ими правах на жизнь и смерть. Истина принадлежит отдельному человеку — или никому. Пускай жизнь и смерть происходят сами по себе, как это и случается в романе, где «естественная» убыль персонажей становится перманентным законом бытия. «В глубине собора на кресте висел голый человек, рядом стоял мальчик, пронзенный стрелой, — чужие боги!» Любовь в этом мире — случайное чудо: то, что выше или ниже судьбы и рассудка, которые строят свои козни. Ангажированные государственными машинами герои знают об этом принудительном долженствовании, определяющем круг существования каждого из них. И знают, что любимый-враг знает, что каждый из них знает об этом... Но только в сердце, да и то не во всяком, есть место и «для примадонны с ее маленьким пискуном, и для полтергейста пророка». Умная, тонкая проза Беркевич подкупает соединением проникновенности и элегантности, здесь сочувствие не исключает свободы, и обратно. Но больше всего роман впечатлил пафосом трагического несовпадения личности и мироздания, безошибочно отгадываемым привкусом беды и отщепенства. Это такая экзотика в нашем литературном пресноводье. Политический детектив сплавляется с экзистенциальной драмой, и русско-еврейские стихии вливаются в единый европейский хор, как струи кровавой мочи в черный поток Амстела, выпадающий в небытие.

±2

Чингиз Абдуллаев. Когда умирают слоны. Роман. М., «Астрель»; «АСТ», 2003, 317 стр.

Чингиз Абдуллаев. Допустимая погрешность. Роман. М., «Астрель»; «АСТ», 2002, 283 стр.

На обложках абдуллаевских книг его аттестуют как мастера политического детектива. Недавно нам показали и многосерийный фильм на основе его романов. А вот сетевой улов: «Чингиз Акиф оглы Абдуллаев — писатель с неординарной биографией. По образованию юрист. После института работал на военных предприятиях, а потом за рубежом по линии Министерства обороны в Европе, Африке, Афганистане. Возглавлял Спецотдел особого назначения, участвовал в боевых операциях, имеет награды и ранения. Был дважды ранен. Майор в отставке. С 1987 года находился на партийной работе. В настоящее время Абдуллаев — доктор юридических наук, секретарь правления Союза писателей Азербайджана, вице-президент Азербайджанского ПЕН-клуба. В 1988 году выходит роман "Голубые ангелы", открывший серию о Дронго — эксперте-аналитике ООН, консультанте различных спецслужб, человеке, решающем любые проблемы. Его романы называют „интеллектуальными детективами“, „энциклопедией современного шпионажа“. По рейтингам популярности он неизменно входит в тройку самых читаемых авторов в

странах СНГ. Общий тираж его книг составляет 18 млн. экземпляров, в год выходит 10 — 15 новых романов. Герои книг Абдуллаева стали нарицательными персонажами, о которых сочиняют легенды и на которых пишут пародии». А я ничего из сотни этих романов, каюсь, не читал. Опять же, у меня нынче, кто не знает, небольшой юбилей, а Абдуллаев — мой ровесник с точностью до нескольких дней. Это ли не повод. Вот я и взял на пробу две книжечки про самого популярного абдуллаевского героя, Дронго, который к тому же, по признанию автора, списан им с себя («У Дронго мои привычки, моя одежда, мой парфюм, мое отношение к людям, моя любовь к книгам, моя нелюбовь к подлецам, мошенникам, изменникам»). Большой пижон этот Дронго. Если следовать логике тождества, то парфюм его — «Фаренгейт», часы он носит «Лакруа», в одежде предпочитает итальянцев — Валентино, Армани. Коллекционирует номерные галстуки. Любит путешествовать. Не курит и крайне мало пьет. Живет в Москве по диппаспорту. Ну а между делом расследует, по просьбам закадычных друзей и товарищей, преступления. Не всегда и с охотой. Разные идеи попадают на потерпевшие, скажем — олигарх Ратушинский (в «Допустимой погрешности» он — этакая горячая смесь Березовского с Гусинским), существо бестиальное, коему Дронго не устает демонстрировать свое исключительно сильное презрение. Вообще, наш герой — большой моралист. И очень уверен в себе. И швец, и жнец. Супермен. Интеллектуал. Берется и за случаи из частной жизни, и за государственные заказы. Так что мои ожидания встретить эсэнгэшного Роберта Ладлэма оправдались не вполне. Абдуллаев и пестрее, и проще. Не претендует он на психологический драйв, на защиту ценностей свободы и демократии, нет у него и темы сопротивляющегося сильным мира сего одиночки — всего, чем мне неизменно мил покойный американский классик политического детектива. Да и где это все взять-то в нашем эсэнгюшнике? У Дронго своя мораль («Моя идея заключается в том, что все-таки порядочные люди должны объединяться против непорядочных»). У него, как я понял, всегда есть тыл: приятели, помощники, ведомства. Есть у Дронго и большой друг, бывший крупный гэбист Владимир Владимирович. Он все про Дронго знает, даже лишнее. Иногда Дронго ему звонит, если «требовался независимый эксперт». А вот к покойному Собчаку у Дронго отношение плохое: позер был и лгун. В «Когда умирают слоны» Дронго вмешивается в грузинские политические интриги. На обложке в аннотации сфокусирована как лейттема — борьба с террором. Реально же в романе главная бочка сама собой катится против гадких американцев и муссируются сомнения в целесообразности грузинской независимости как таковой. Хотя Абдуллаев редко кладет яйца в одну корзину, как и положено мастеру коммерческого жанра. И тем не менее вот как однажды рассуждает Дронго, заставляя вспомнить карсавинских персонажей (см. выше): «...я не верю в нормальное существование отдельных частей распавшегося государства, которое раньше называлось Советским Союзом <...> в римских провинциях острее чувствовали распад некогда великой империи, чем в самом Риме. Последние двести лет императорами там были выходцы из провинций. В отличие от римлян, превратившихся в циников и эгоистов, потерявших веру в богов и собственные идеалы, провинциалы продолжали жить идеей великой империи. Может, и я такой же провинциал, переживший распад моей империи?» Понимайте как знаете. Упрекают Абдуллаева, что он хотя и хвалится своей начитанностью, но иногда допускает культурные ляпсусы. Да уж. Откуда вдруг у него берется, к примеру, «закон Окаямы»: «не умножайте сущее без необходимости»? Впрочем, для читателей Абдуллаева что Оккам, что Окайма, а сущностей наш автор действительно без надобности не умножает. Исполняет обещанное вполне добросовестно. Чем и хорош.

Ольга и Сергей Бузиновские. Тайна Воланда. Опыт дешифровки. Барнаул, 2003, 498 стр.

Насколько условны и относительны все наши партикулярные огорчения, легко узнать из книги сибирских тайноведов Бузиновских. ...С того самого момента, когда столичная девочка-философ в крошечной замшевой юбочке высокомерно вменяла в вину отсталому юному провинциалу незнание «Мастера и Маргариты»,

с той незабвенной недели мистерий в ФДС МГУ (иных уж нет, а те далеке), парасакральный эзотеризм как самый далекий горизонт прочтения булгаковского текста составляет для меня всякий раз приятное развлечение, расшевеливая мои исполненные скепсиса культурные рефлекссы. Но еще ни разу не заходил я так далеко в ту дикую космическую степь, куда привели меня Бузиновские своей барнаульской книжкой. С Алтайских гор неведомые флюиды спускаются вниз и растекаются по пространству, отчего в этом крае в изобилие рождаются поэты, артисты и фантасты. Толчковая идея авторов книги такова: историю направляют по своему усмотрению меняющие свои телесные оболочки «прогрессоры», «Сыны Неба», пришедшие из иных измерений бытия (их всего шесть). Посредством их Демидург посещает собственные сновидения (сиречь наш мир) и управляет ими. Как-то так: «Солнце снабжает землю „огненным маслом“ управляющей информации — большими и малыми идеями, порождающими историю, — а взамен получает дым человеческих грез». «Прогрессоры» всячески способствовали техническому прогрессу в направлении выхода за земные пределы. Таковыми были, например, Моисей, сэр Фрэнсис Бэкон и граф де Сен-Жермен. Некоторые из них («филиусы») засыпают на века и лишь иногда возвращаются к исполнению миссии. Зачем-то им понадобилось оставлять в литературе следы своего присутствия. Причем — именно в русской советской. Да это и не литература вовсе, а сплошное шифрованное послание (в диапазоне от Грина до Аксенова и Стругацких через Булгакова, А. Н. Толстого, Лазаря Лагина, Ивана Ефремова и Ильфа с Петровым). Эзотерические «тексты, замаскированные под художественную литературу». Их суть — зов к «космическому исходу» (кажется, о том же — и «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, все-таки обманувшей рябого диктатора, который, помнится, повелся не в ту сторону и напрасно искал в складках женского шарфа профиль Троицкого). Главным «прогрессором» века оказывается вычисленный Бузиновскими человек, взявший имя Роберто Орос ди Бартини: барон-коммунист, алхимик, получивший философский камень. Бартини инсценировал свою смерть в Париже и в 1923 году объявился в Советской России. Зачем-то, но явно неспроста, он занялся полетами. «Непонятый гений советской авиации», — говорил Олег Антонов о конструкторе Роберте Людвиговиче Бартини, проектировавшем невиданные сверхдальние и сверхскоростные самолеты. Также Бартини занялся ядерной энергетикой, учил Королева и был вдохновителем советской космической программы. Наконец, не кто иной, как Бартини, явился прототипом таких литературных персонажей, как Воланд, Маленький принц, Хоттабыч и Остап Бендер... Временами аргументация Бузиновских ошеломляет эффектными подробностями. Любое вскользь брошенное в литературном тексте упоминание о той или иной реалии увязывается ими с общим строем излагаемой для нас фантазмагии. Все связано со всем логикой леви-брюлевой партиципации. Из небезынтересных частностей: гностический Иисус, подмененный на кресте; «библиотека Ивана Грозного», найденная Бартини в Казани и частично перемещенная им в Наг-Хаммади («...возможен и другой путь — дипломатическая почта. В этом мог помочь друг Ефремова и его сосед по даче — советский дипломат Иван Михайлович Майский»); «прогрессор» Пушкин как потомок царя Соломона... Космический вокзал «прогрессоров» — Дубна, его вестибюли — петроградский Диск, дом Волошина в Коктебеле, балаклавский маяк, Кривоарбатский переулок и Барвиха. Возможно, отсюда они все уже ушли на небо. А мы остались. «Пешка никогда не станет грессмейстером»... Нескучная книжка. Роскошный вымысел. Говорят, что издание тома субсидировал некий депутат Госдумы от фракции «Яблоко». Во всяком случае, такое сообщение появилось в газете «Яблоко России» (№ 23 (57), 1999, 17 июля). Вот ведь как. Но авторы, кажется, относятся к сообщаемым ими сведениям вполне серьезно. И их религиозное погурри (инструментализированные буддизм, каббала, гностицизм, альбигойцы...) тянет на новейший (не первый и, наверное, не последний) религиозный синтез. Иногда книга рождает неприятные ассоциации с сорокинским «Льдом». «Человечество разделено изначально — на немногих участников Игры и всех остальных». Человек — марionетка. Это, можно сказать, естественная логика филиации данных идей. Они, если их принять сколько-то ответственно, ведут к отказу от свободы в пользу очередных химер. Зачем тогда подарил я этой книжке плюс? Наверное, в воспоминание о девочке с замшевым передничком.

-3

Л. Шарпантье. Тамплиеры. Справочный материал и увлекательное чтение. Перевод с французского Е. Мурашкинцевой. М., «Астрель»; «АСТ», 2003, 224 стр.

Неиссякаема жажда тайны. В связи с чем у нас в наличии и Луи Шарпантье — французский собрат Бузиновских, актуализирующий тамплиерскую легенду. У тех пропавшая казна тамплиеров становилась мощной Ивана Калиты, а Фрэнсис Бэкон (реальный Шекспир) переправлял рукописи, собранные тамплиерами, в Москву. Шарпантье же про Россию знать не знает. Но его изобретенья причудливы по-своему. Он, кажется, уверен, что тамплиеры вывезли из Иерусалима скрижали Завета, каковые на самом деле суть похищенные Моисеем в Египте «Таблицы Закона». И написано на этих скрижалях нечто такое, что дает основу бурному развитию цивилизации. «Формула вселенной». Правда, евреям прочитать этот текст и использовать его тогда не удалось. Не случилась у них цивилизация. А вот арабы и крестоносцы, поочередно завоевывавшие Иерусалим, получили благодаря обладанию Таблицами необычайно сильный импульс развития. В Европе внезапно начали строить готические соборы, развились ремесла и торговля. Еще более смело Шарпантье заключает, что утрата арабами Иерусалима и затем разгром ордена тамплиеров привели к медленному умиранию исламской и краху христианской цивилизаций. «Отныне все достижения совершаются лишь усилиями отдельных личностей» — уж не «прогрессоров» ли? Шарпантье полагает, что тут редко обходится без евреев, которые умеют читать «зашифрованные книги Моисея», а в них «хранится каббалистический ключ» к «Таблицам Закона»... Вспоминается, что у нашего автора вышла на русском еще одна книжка, «Гиганты и тайна их происхождения», — о древней цивилизации гигантов, прибывших на Землю извне и передавших свои знания друидам и строителям соборов. Так что мир его еще замысловатей, чем мы думали. Среди прочего в новой книге Шарпантье имеются домыслы о том, почему тамплиеры не поклонялись распятому Христу (не весьма убедительно автор убеждает, что можно быть христианином и без веры в распятие Христа) и что такое Бафомет, который как раз был у тамплиеров предметом поклонения (у Шарпантье это сгусток алхимических символов, что также сильно упрощает, кажется, суть дела). Не так уж много книг о тамплиерах на русском языке, но эта — не подарок.

Дениел Ранкур-Лаферьер. Россия и русские глазами американского психоаналитика. В поисках национальной идентичности. Перевод с английского А. П. Кузьменкова. М., «Ладомир», 2003, 288 стр.

Мало нам Жельвиса, есть еще и американский взгляд на эту вещь. На Ранкура я точу зуб давно. Еще с момента выхода его первой книжки на русском языке («Рабская душа России», М., 1996), которую я подверг примерной экзекуции в своем опусе про символы русской культуры. Но плодовитый психоаналитик все не унимается. И не то чтобы клеветал. А просто очень прямодушно препарирует на своей жесткой кушетке загадочную русскую душу, так что никакой загадки у нее уже не остается. С опорой на «Зигмунда Фрейда, Дональда Винникота и Мелани Кляйн». Авторитеты авторитетами, а выводы Ранкура-Лаферьера незамысловаты. Возникает ощущение, что они продиктованы спецификой избранного метода и соответствующим понятийным аппаратом. Фатальную роль играет общая примитивность психоаналитической терминологии, которая просто не позволяет выразить сколько-то тонкие духовные смыслы. Остается пробавляться ерундой. Прообраз родины: «Россия прежде всего родитель, и именно мать, а не отец». Отсюда — инфантильность русского человека. Его отношения с родиной — «доэдиповские», «отождествление себя с собственной матерью». Русские — матриоты. Притом мать-Россия — она сама как ребенок, и она страдает. А вместе с нею и ее дети. Русская душа, по Ранкур-Лаферьеру, — мазохистка. «Например, замечено, что русские с готовностью подчиняются властям, добровольно идут на страдания и в самых различных обстоятельствах ведут себя в пораженческой, самоубийственной и

в целом мазохистской манере». «В досоветские времена русский мазохизм воплощался в знаменитом фольклорном персонаже Иване-дураке», а в советское время его заменили чукчи «для проецирования самоосуждения»... Как водится, в качестве предпосылок и аргументов привлекаются русские обычаи пеленать младенцев и париться в бане. Ранкур нашел в России немало великодержавных националистов, «как явных, так и тайных». То и дело протаскивает националистические фразки Дмитрий Лихачев. Или там Михаил Исаковский. Но все-таки зла на Ранкура я не держу. Тем более, что он специально оговаривается: «Далеко не всякий психоанализ является клиническим». А там, где он уходит от психоаналитических методик, он обнаруживает умение по крайней мере добросовестно собирать и представлять материалы. Не так уж мелка и мысль, которой лишь слегка касается Ранкур, о России как иллюзии — предмете веры, умозрительной конструкции, проекте... Ну можно ли злиться на человека, уверенного в том, что «мазохизм в России пошел на спад» оттого, что «в последние годы советской власти детей стали меньше пеленать», и ныне в России «былые мазохисты постепенно уходят в мир иной, и распеленавшаяся молодежь жаждет новых иллюзий»? Обложка книжки — тоже не без невнятного психоаналитического контекста. На ней изображен бородач в белой рубахе, который смотрит против солнца на небоскребы в центре Нью-Йорка, а среди них отчетливо выделяются две башни Всемирного торгового центра...

Этика СМИ. М., «КноРус», 2003, 260 стр.

Поразительная эта книжечка не имеет автора. По косвенным признакам можно догадаться, что это перевод. Но не узнаем мы и того, каков же был первоисточник (по некоторым приметам — немецкоязычный). Нет также имени переводчика. Быть может, это «редактор Т. Зоммер»?.. Но главное, что изложение материала не выдерживает никакой критики, многие места просто непонятны, термины и имена теоретиков СМИ перевернаны (каково: *экзистенциалогия* и *экзистенционализм*, *Даррида*, *Балеш*, *Базин*, *Кракауер*? Да и *Маклухан* — это как-то не того...). Даются отсылки к списку литературы, но самого списка нет как нет. Количество орфографических и стилистических ошибок зашкаливает за все пределы. И все это страшно досадно. Кажется, что настоящий смысл текста — по догадкам весьма емкий и иной раз оригинальный — только просвечивает сквозь это варварское русскоязычье (или скажем так: новорусский сленг). Смешно, когда люди говорят об этике, поправ ее самим фактом *такого* разговора. Почему бы им не повиниться?.. Последнее предложение в книжке звучит так: «Это может стать сложным предприятием, ибо взгляд на то, что находится в нашей силе и рамках нашей ответственности, часто смещен, но это не является невозможным». Воистину так.

Ярославль.

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

ЛЕВЕЕ ЛЕВОГО

— Эта женщина работает в деревне... Выпейте с нами, миссис Смерть, мы как раз обсуждаем проблемы третьего мира.

«Смысла жизни по „Монти Пайтону“».

(К АРМАДОН) Трагедия, о которой напряженно размышлял. Кроме прочего: что увидела съемочная группа Сергея Бодрова в свои *последние секунды*? Насмотренные люди, кинематографисты, творцы виртуальной реальности, как вдруг — чудовищный гул и с бешеной скоростью приближается некто.

Во всей этой истории есть мистическое измерение, то, что извиняет мои спекуляции. У этой трагедии нет визуального эквивалента. То, что кратковременно видели они, не увидит никто никогда. Никто никогда не сфотографирует. Позитив-

визм убедил людей, что мир насквозь познаваем, прозрачен. Фотографическое изображение давно выступает в качестве критерия достоверности. Допустим, ангелы и бесы не оставляют отпечатков на эмульсии, значит, не существуют. Однако вот странный, неосмысленный прецедент, Кармадон: картина, обрамленная ужасом конца, потенциальный «съемщик» которой обречен. Я знаю про нее, но никогда не увижу, *как это было*.

Не так ли стремительно, неотвратно является *всякая* смерть? Живые еще не знают, мертвые уже не говорят. Целиком заполняя расщелину, стремительно приближается бесконечность (миллионы тонн льда, песка и воды в динамике) — процесс, не оставляющий улики в историческом времени, ни на какой пленке. Бесконечность, по определению, невидима. Попробуйте вообразить атаку ледника — дело ограничится худосочной анимацией. Повторюсь: фотографически убедительный эквивалент Кармадона невозможен.

Зато можно «увидеть» перекошенные от ужаса лица людей, услышать их последние реплики. Это важно: крупный план, как соразмерный человеку, возможен, общий, как несоразмерный, — нет. Не случайно Витгенштейн описывал превращение «внутренней речи» в картинку термином «визуальная комната», подчеркивая тем самым *достоверность локального*.

Для сравнения: обеспеченный телевизионной технологией общий план «11 сентября» оказался до боли похож на киношные кошмары, что было многократно отмечено. Крупные планы внутри самолетов, внутри небоскреба также ужасны, но легко представимы. Можно не сомневаться, вскоре их материализует Голливуд. Непредставимый *общий план Кармадона* — за пределами ужаса. Свиристая, прямо-таки библейская *архаика*. Черная дыра эпохи высоких технологий. Недостигающий элемент визуального архива.

(ТИТАНИК) Вспомнил о Кармадоне, случайно посмотрев по телевизору вторую половину картины Джеймса Кэмерона. Картины, от которой брезгливо отмахивались наши интеллектуалы как от *всего-навсего* дорогостоящей мелодрамы. Очень похоже на случай Линча, описанный в моем предыдущем кинообзоре: брезговал, сторонился, полагая, что наши описывают верно. На деле очень умное, точное, *великое* кино. Конечно, не мелодрама, наоборот!

Итак, знаю, что сюжет исторически обеспечен: огромный корабль *действительно* налетел на ледяную гору, тысячи людей утонули. С сюжетами подобного рода уверенно «справляется» телевизор. Телевизор показывает двух-трех искаленных землетрясением персов и тут же экстраполирует: «Общее число погибших в Иране — 50 тысяч». Обращаю внимание на технологию создания образа: двумя-тремя телами обозначают бесконечность. Подобная технология формирует особый, доселе не существовавший образ мира. То, что цифра погибших формально верна, не отменяет порочность стратегии.

Безответственно обобщают, статистически склеивая *разное* в дурную бесконечность, а потом «гарантируют» подлинность локальной картинкой, крупным планом, — вот это и есть тоталитаризм, безупречная стратегия манипуляции. Кэмерон протестует.

Главная задача стандартного фильма-катастрофы — достоверность *ужасного общего плана*. В пределе такие фильмы хотели бы, превратившись в хронику, совпасть с Историей. На первый взгляд, Кэмерон делает то же самое, работая с макетом «Титаника», исполненным практически в натуральную величину. Этот общий план корабля ритмически чередуется с крупными планами пассажиров. И здесь — мой первый восторг. Совсем скоро выясняется, что достоверность воссозданного до мелочей *общего плана* — ничто по сравнению с достоверностью планов локальных. Более того, через несколько минут после столкновения с айсбергом *бросается в глаза*, что воссозданный «Титаник» — всего лишь макет, наглая имитация исторической правды. Я ощущал физиологическое неудобство на общих планах корабля, я жаждал немедленного переключения на локальные человеческие сценки, но совсем не потому, что сценки хорошо придуманы и сыграны. *Напротив*, Кэмерон делает их едва ли не саркастически: навязчиво предсказуемыми, клишированными, *полусладкими*.

Невероятные качели: общий, формально самый достоверный план тонущего корабля — наглая ложь! Локальные, выполненные в соответствии с жанровыми клише человеческие сценки неожиданно обретают статус абсолютной правды. Потому что, повторюсь, для нормального человека достоверна только локальная «визуальная комната». Меж тем как История — это, согласно Гегелю, только то, что составляет существенную эпоху в развитии духа. В комнату, следовательно, не помещается.

То, что визионер Кэмерон делает *именно про это*, подтверждает следующий эпизод, на воде. Казалось, при таком оголтелом бюджете можно замутилить море волнами и акулами, дать океанскую перспективу. Ничего подобного! Теперь, когда достоверный макет утоплен, а История, следовательно, элиминирована, остаются только жанровые клише. Распоясавшийся Кэмерон превращает Атлантику в условный бассейн, подсвеченный самым театральным образом. Никакого жизнеподобия, закон больших чисел побежден: тысячи трупов в спасательных жилетах нисколько не мешают Кейт Уинслетт и Леонардо Ди Каприо трогательно прощаться.

Признаюсь, не верил своим глазам. Формально выполняя все жанровые законы, Кэмерон работает *поверх!* Поверх фильма-катастрофы и поверх мелодрамы. Если угодно, еще и поверх высокой комедии, на которую, *кроме прочего*, намекают пассажиры, катающиеся по палубе ставшего на дыбы корабля. На собственной заднице, подобно героям немой комической.

Однако даже это не предел: фильм еще больше, еще многослойнее. Ключ — предфинальная реплика выжившей героини, Розы: «Сердце женщины — океан, хранящий многие тайны». Надо же понимать: в фильмах подобного уровня и бюджета случайных реплик не бывает. По Кэмерону, вся эта Большая История, вся эта страшная феерия на воде — женское *воображаемое*. Кэмерон иронизирует и восхищается одновременно. Вспомните заклинания Ди Каприо: «Поклянись, что выживешь! Пообещай, что будешь счастлива!» В сущности, это все, что нужно женщине от мужчины. Даже дети и секс второстепенны.

А каким царственным и одновременно циничным жестом, отцепляя руки очутившегося любимого от плотика, Кейт Уинслетт подталкивает его в океанскую глубину! Что с того, что некоторые зрительницы рыдают? Надо же понимать, рыдают по другому поводу: о несбывшихся мечтах, о себе. Фильм не дает никаких оснований для слез и соплей, фильм бодрит и мобилизует. Существует набор визуальных кодов, который, как обычно, игнорируется потребителем, не наученным *искусству зрения*. Реклама объяснила: «мелодрама», потребитель готовится комфортно пострадать.

Старушка в начале, старушка в конце. Самому невнимательному и тупому зрителю дают таким образом понять: гибель «Титаника» — *всего лишь эпизод* страшной и прекрасной жизни героини по имени Роза. Два разнокачественных любовника в 1912 году, новые мужчины, дети и внуки — впоследствии. Архетипическая точность фильма поразительна! Упертый мужчина, выполнивший свой долг и сохранивший чужую жизнь ценою собственной. Бесконечно пластичная, призванная рожать женская натура, совмещающая память о любимом с волей к новой жизни.

«Титаник» — очень крупная, *образцовая* картина о зрении, о женском и мужском, о соотношении Истории с частной человеческой судьбой. Картина, требующая от зрителя не бессмысленных слез, но адекватности и соответствия ее уровню.

(ВСЕ ОТ ГОЛОВЫ) Вульгарный материализм победил у нас всерьез и надолго. Писатель и политик Л. возмущен тем, что в свое время киношники отказались документально фиксировать революции, войны, толпы, кавалеристов и лошадей, предпочли разыгрывать искусственные сюжеты из жизни придуманных персонажей. Иначе: хроника Истории подменили произвольными салонными фантазиями.

Конечно, форменный вздор. Начнем с того, что хроника, этот несоразмерный человеку «общий план», есть «точка зрения» техники. Хроника организована в соответствии с законом больших чисел и воспроизводит *некую дурную бесконечность* объектов материального мира, только и всего. Хроника — по определению пропа-

ганда и тоталитаризм, стиль технологической эпохи. Читаю на упаковке: «В 1 грамме „Чудо-йогурта” содержится 10 млн. ед. полезных пробиотических культур. Био-йогурт натуральный, 125 грамм». Не правда ли, похоже на иранское землетрясение? 125 грамм, вмятая, еще различимая человеком информация, призвана узаконить форменный бред, абстракцию, «10 млн. полезных единиц». А всего-то сколько? Если не ошибаюсь, 1 млрд. 250 млн. В маленькой коробочке? Полный восторг! Бессмысленная, но систематически травмирующая психику стратегия.

Помню, каким нечеловеческим ужасом отзывались в детской душе «20 млн. погибших в 1941 — 1945 годах советских людей», о которых с какой-то мазохистской гордостью трубили наши учебники и телевизор. Ныне ожесточенно спорят, сколько уничтожила советская власть: 66 млн. или все-таки 2 — 3. Здесь абстракция удвоена: и убивающая «власть», и «66», и даже «2 млн.» одинаково непредставимы. В пику «плохим» либералам (и вправду плохим!) «хороший» экономист Г. обещает «улучшить жизнь в два раза». «Два раза» — не два миллиона, зато отнесены они к совсем уже загадочной субстанции; тоже страшно, ибо столь же бессмысленно. Даже ссылка на извращенные законы политритории не извиняет.

Все это имеет прямое отношение к искусству кино, которое работает не с дурной бесконечностью материального мира, но с куда более реальной субстанцией — *социальным воображаемым*. Крайне важно понимать: мы узнаем глобальную социальную реальность в локальном киносюжете, разыгранном двумя-тремя актерами, только потому, что этот сюжет, этот «крупный план», потенциально существует и, может быть, периодически крутится в нашей голове. Пленка проявляет не то, что перед объективом (там неинтересный вздор вроде десяти миллионов пробиотических культур), но подлинные инфраструктуры коллективного духа.

Воображаемое — горячее и кинематографа, и социальной жизни. К примеру, оба «Брата» Алексея Балабанова проявили, кроме прочего, неорганичность для России кровно-родственной парадигмы (по очереди социализирующие друг друга братья, в сущности, *комические*, никчемные парни), а также неприемлемость того общественного договора, который установило с народом в 90-е Российское государство. Поскольку социум неоднороден, социальное воображаемое разнится. Поэтому одни аплодировали, других тошнило и рвало, третьи утешались «Санта-Барбарой». Чье воображаемое окажется убедительнее, тот в конечном счете и победит. В смысле — увидит, как, материализовавшись, воображаемое станет Историей.

Лично я удовлетворен «Братьями» не вполне. Но вся прочая расейская продукция — попросту неприемлема. Поверьте, неудобно крутить заветные сюжеты в одной-единственной собственной голове. Наслаиваются один на другой, мерцают, не давая как следует себя рассмотреть.

(ХАБАЛКИ, КОЛОБКИ) Все удовлетворяющие меня сюжеты, грезы, сомнения и мечты нахожу в западной кинопродукции. Парадокс? Отчасти. Наша либеральная элита кичится духовной связью с Западом (материальной гордятся молча), но за пятнадцать лет полного *господства* она не сумела произвести ничего сносного. Либеральных художников убедительно переигрывает не только мастеровитый Балабанов, но даже вульгарный Эйрамджан. Особенно *эти, чужие*, постарались на Новый год. Неделю до и неделю после выдавали гнусность за гнусностью. Зато многое проявилось окончательно — в смысле социально-психологического происхождения и сопутствующего воображаемого.

Было и приятное. Сразу после «Титаника» — «Шоу-герлз» Пола Верхувена (кстати, автора двух великих картин голландского периода: «Четвертого мужчины», «Турецких сладостей»). Как всегда, не с начала. Но втянулся и досматривал разинув рот. Снова жанр, снова умный.

Например, знакомство. Он: «Ты откуда?» Она: «И оттуда, и отсюда!» Чтобы разрешить себе такую реплику, постановщик должен быть уверен в актерах. Все остальное актеры должны договорить телом, повадкой, лицом. Актеры Верхувена справляются. Одна стриптизерша — другой: «Мы все проститутки: берем деньги, показываем им то, что они хотят». Хотят: красивую живую грудь, бедра, пластику, губы и глаза. Получают.

А вот чего требует расейский заказчик: вульгарных хабалок, распевающих под беспомощное ламца-дрица. Квинтэссенция, одновременно пародия и недосягаемая вершина — Верка Сердючка. Темпераментное травести с подушками вместо грудей.

Я не утверждаю, что России нужна такая откровенная, как в США, культура удовольствия, наоборот. Но тем, кто подобную культуру заявил у нас, тем, кто настаивал на ней полтора десятка лет, пора бы отчитаться. Почему до сих пор вместо ослепительных шоу-герлз — плохо координированные хабалки, колобки?

(В ТЕЛЕГРАФНОМ СТИЛЕ) Как никогда, много мыслей, как всегда, мало места. Зошенко воспет и описан: сам читал пару книг, одну так просто выдающуюся. Однако Зошенко не то, за что его принимают, крупнее.

Михаил Рыклин лапидарно охарактеризовал сталинскую империю как «внутренний номадический захват унаследованной городской культуры с практически полным истреблением ее носителей» («Деконструкция и деструкция. Беседы с философами». М., 2002, стр.71) и превзошел точностью прочих аналитиков. Я бы лишь поменял «сталинскую империю» на «советскую» — не из любви к вождю, но чтобы расширить хронологические рамки: с семнадцатого года по сегодняшний день.

Теперь открытый наугад (правда!) Зошенко. И сразу — подарок, неизвестный доселе рассказ «Неизвестный друг» (1923), который, признаюсь, характеризует советскую историю даже лучше Голявкина (см. кинообозрение в «Новом мире», 2003, № 12). «Жил такой человек, Петр Петрович, с супругой своей, Катериной Васильевной. Жил он на Малой Охте. И жил хорошо. Богато. Хозяйство, и гардероб, и сундуки, полные добра... Было у него даже два самовара. А утюгов и не счесть — штук пятнадцать».

Уже гениально, точно. Два самовара и пятнадцать утюгов — это не городской уклад. Уклад кочевника, номада, внезапно осевшего в городе. Номад возит все добро с собой, копит. Номад не ведает, что в городе всегда можно купить новую промышленную вещь взамен старой.

«Но при всем таком богатстве жил человек скучновато. Сидел на своем добре, смотрел на свою супругу и никуда не показывался. Боялся из дома выходить, в смысле кражи. Даже в кинематограф не ходил. А то, думает, в его отсутствие разворуют вещички».

Ну, это еще лучше. *Мобильность* занимает центральное место в социологическом определении феномена города. Ритм городской жизни определяется разнообразием связей, которые соединяют горожанина с множеством территорий: жилье и соседство, места работы, учебы, покупок, отдыха, встреч с друзьями и родственниками. Но у номада никаких связей в городе нет, нет и опыта ориентации в сложно устроенной городской среде. Четыре года назад я снимал в Москве очередную квартиру. Жена хозяина, милицейского водителя, которой я отдавал деньги, говорила на каком-то межеумочном суржике и годами (!) не выезжала за пределы своего Марьино. Два раза в год муж вывозил ее и ребенка в родные сельские края.

«Сидел на своем добре», «боялся из дома выходить» — это не ругательство, не зубоскальство, это, в сущности, наука, диагноз и даже прогноз. Ведь если все сидят на утюгах и пялятся на жену, непременно случится беда. *Иные*, ловкие, городские — таки обманут. Зошенко гениально, всего парой фраз, схватывает сущность новой расейской эпохи: номады заселили города. Пришел кирдык и городам, и номадам, и Великой Степи в целом. Большевики, да, соблазнили «малых сих», но дальше началось именно сотрудничество. Я против того, чтобы вешать 66 или 2 млн. на одних большевиков, тем более что большевиков теперь нет, есть *другие*, которые пользуются риторикой больших чисел в своих корыстных интересах.

Дальше «неизвестный друг» выманивает семейную парочку из дому и устраивает грабеж: «...утюги раскиданы, самоваров нет... А на стене булавкой припилены записка: „Вас, чертей собачьих, иначе никаким каким из дома не выгатишь. Сидят как сычи“...» Решительно — Зошенко гораздо выше Голявкина, выше кого угодно, ибо взял страну *всю*, на ладошку!

«Прочли супруги записку, охнули, сели на пол и ревут, как маленькие». А это что? Правильно, перестройка и ее последствия для новых, послевоенных номадов.

Перестройка, которая, апеллируя к некоему «цивилизованному стандарту», для начала ненавязчиво дискредитировала большую, негородскую по происхождению часть населения, лишив ее самоуважения. Смотрите, что пишет в предвыборной тульской газете некий протоиерей: «Настоящий патриотизм — не квасной, в зипуне и с вилами, а современный, в костюме и с ноутбуком, откликающийся на сегодняшние реалии и нужды, немногословный, гуманный и деятельный». Стоит ли пояснять, избирательным фондом каких сил оплачена эта выразительная публикация.

Дрейф текста в сторону политики и прикладной социологии легко объясним, ведь кино — это социальная технология. «Современный, в костюме и с ноутбуком, немногословный и деятельный» — этот выразительный образ не что иное, как *воображаемое* определенной социальной группы. Пятнадцать лет кряду группа заказывала подобный образ киношникам и людям из телевизора. Те — брали деньги, кормились с руки, жирели, но так и не смогли подобрать образу жизнеспособный отечественный сюжет, не смогли! (М. Рыклин говорит о стремлении империи к полураспаду как стационарному состоянию и сопутствующей *симуляции* любых западных означающих). Но пришло время, когда даже эти убогие идеи кончились, тогда они принялись *воровать*.

Началось не сегодня. Все эти «старые песни о главном» — первые, давние подступы. Но теперь, когда российский «человек с ноутбуком» окончательно обнаружил себя в качестве дебила и недоумка, воровство образов, поэтики, тем и сюжетов позднесоветской культуры приобрело феерические масштабы. В последние полгода с экранов на нас *обрушился народ!* Пресловутые хабалки и недалекие деревенские мужики, неловкие жесты, убогие мысли, противные голоса. Но главное — все до-обрые! Понятно, что произошло? Их воображение заказывает доброго мужика, *дурака*. А рядом ставит ухватистую *тетю-мотю* с властной интонацией и сильной рукой, вроде Пугачевой, Бабкиной или Сердючки. На худой конец, согласны на дюже интеллигентную Регину Дубовицкую. Народная тетьа призвана *мужика-дурака* воспитывать, опекать. Что ли бояться?

(БУДДЫ) Первый канал предложил многосерийный хит под названием «Участок». Воскресил русскую деревню, которой давно нет. Ну да, деревенский детектив, парафраз застойного «Анискина». Вот расстановка сил. Деревенские мужики, конечно, не знают, чем заняться. Им попросту скучно. Поэтому они методично выкапывают кабель и срезают провода. И то верно, покопаться в земле любопытно всякому ребенку, а эти — будто ребята.

Женщины страдают, что все мужики — недотепы. Один, положим, предложил жениться, а «люблю» не сказал. Ситуацию контролирует молодой участковый (Сергей Безруков), который, впрочем, как приезжает, так и уезжает. Что по-своему честно, ибо всепонимающий Безруков представляет от лица интеллигенции, которая традиционно и благоразумно дистанцируется. Ото всех вообще. На всякий случай. Наконец, рассудительная собака участкового представляет от имени неизвестных сил, вероятнее всего, закусных. Говорит сдержанно, по существу, прямо зрителю; что-то скрывает. Может, кость?

Между прочим, ругать «Участок» не буду, бесполезно. «Участок» заказан определенной частью народа, его хотели, его смотрели. «Участок» — коллективное воображаемое послевоенных номадов, тащившихся и от «Анискина», и от «реального социализма», который все-таки был построен, *почему же нет?!* «Участок» — отечественный кошмар через оптику розовых очков, которых предыдущие поколения в массе своей не снимали. Молодой философ Р. назвал эти поколения «проигравшими», я бы уточнил — «кое-что проигравшими предателями».

Под Новый год отправился в магазин и купил себе книжку Патрика Дж. Бьюкена «Смерть Запада» (М., 2003). Открыл на такой вот сентенции и — моментально купил: «Если посулить каждому государственную пенсию, дети перестанут быть страховкой против старости». Это в первую очередь про них, наших номадов, заселивших города, построивших коммунизм в отдельно взятой голове и остановивших Большую Историю в отдельно взятой стране. Их *воображаемое* — неперменная пенсия и «Участок», где времени, как в раю, больше нет. Нет борьбы за хлеб, продолже-

ние рода и достоинство. Нет смерти, нет проблем. Где снова возникает злоеший советский образ Мертвого отца, полвека назад сгоревшего в истребителе.

На беду, эти люди нарожали сколько-то детей, меньше, чем нужно стране, но все-таки. Теперь дети должны сдвинуть мертвую страну с места, должны расхлебывать вонючую похлебку, сваренную людьми, исповедовавшими, подобно индийским буддам, философию недеяния. Отказавшимися от всякого продуктивного *усилия*.

Подобную стратегию поведения высмеивает мультсериал «Creative comforts» (2003), придуманный легендарным Ником Парком. Глядя в объектив, пластилиновые животные отвечают на вопросы тележурналистов. В углу кадра торчит непрерывный микрофон. Каждая десятиминутная серия рассказывает о новом месте обитания (пребывания) зверушек. «Цирк», «Океан», «Ветеринарная лечебница», «Огород» и так далее. Каждое животное, от акулы до комнатного мопса, от улитки до инфузории, старается рассказать о своей жизни, не выходя за требовательные рамки политкорректности и «хорошего вкуса». Дело даже не в том, чтобы комфортно себя чувствовать *на самой деле*, но в том, чтобы любой ценой убедить в этом окружающих. Посредством услужливых масс-медиа. Ведь если ты *недоволен*, значит, *недостаточно успешен*, не так ли? Даже червяк, насаженный на рыболовный крюк, не устает проповедовать социальный оптимизм: «В любом положении нужно видеть позитивное начало. Можно, например, рассказать анекдот...» Крючок между тем плавно погружается в воду, а дурак, по всей видимости, отправляется к праотцам-червякам в наилучшем расположении духа.

Отмечу, что камера и вечно торчащий микрофон выступают в качестве орудий террора. Животные признаются в любви к жизни, словно под дулом автомата. Душевный и физический комфорт требуют жертв.

(ЛЮДИ) Наконец, две французские ленты. Одна *очень* хороша, вторая *достаточно* хороша, чтобы ее не пропустить.

Начну с достаточной. «Читай по губам» (2002), режиссер Жак Одиар. В принципе, материал картины — воображаемое наших «цивилизованных» прогрессистов. Но наши искренние, надеюсь, фантазеры представляют себе «офис вообще», так сказать, на общем плане. Огни, софиты, презентации, глянец. Одиар мастерски укрупняет, *рассказывает офис* на языке антропологии.

Собственно, в картине хороша только экспозиция, последующий детективный сюжет отвратителен. Героиня по имени Карла Бем, тридцатипятилетняя не вполне привлекательная дама, трудится в конторе по строительным подрядам. Одинока, глуховата, носит слуховой аппарат, умеет читать по губам. Трудоголик, проводящий в служебных хлопотах все свободное время. Карла — символ офиса, его идеал и ангел-хранитель. Двадцать лет назад вбросили понятие о профессионально управляющем классе, Professional-Managerial Class, сокращенно РМС. Вычлениют новый класс на основании экономических критериев (эти люди не владеют средствами производства) и по эмпирическим признакам (общий стиль жизни). РМС — работники умственного труда на жалованье, чья функция — воспроизводство капиталистической культуры и отношений.

Карлу Бем играет великолепная Эммануэль Дево, без которой картина не имела бы никакого смысла. У Дево — большие магнитные глаза и напряженные лицевые мускулы. Актриса одушевляет схему, играя ни больше ни меньше *накопление желаний* и одновременно жесткий контроль над ним! Карла не отдается никому, хотя внимательно слушает про сексуальные похождения подруг, присваивает чужую речь, чужой опыт. «Я не знала, что такое бывает. Такой секс, когда теряешь рассудок и превращаешься просто в кусок мяса!» — что воображает себе Карла, слушая такое? Какие крупные планы?!

Офис — место, где от человека карьеры требуется полный самоконтроль и подавление естественных проявлений. Где желания, не реализовавшись, накапливаются, подобно банковскому счету. На другом полюсе картины — тюрьма. Именно оттуда является Поль Анжели (Венсан Кассель), нанятый Карлой в качестве помощника и курьера. Конечно, в бюро по трудоустройству Карла заказывает именно смутный объект желаний, а не работника: «Стройный, высокий, у него должны быть красивые руки...»

Поль отсидел два года за кражу. Он олицетворяет активное мужское начало, не желает сдерживать свое естество. Его «тюрьма» — нечто противоположное «офису», нежелание отсрочивать и накапливать. Едва оставшись с Карлой наедине, Поль пытается ею овладеть. Но не тут-то было! Человек карьеры, РМС, не идет на продуктивный контакт. Полностью контролируя свое поведение Карла попросту «не дает». Видимо, никогда. Видимо, никому. Только в глазах Эммануэль Дево, этой поразительной биомашины по производству желаний, *накапливаясь*, мерцает разрушительная сила — бескомпромиссное «хочу».

Теперь представьте, что Поль научился отсрочивать желания, устроился в офис, подобно героям Ника Парка, стал производителем и потребителем комфорта. Получим абсолютный шедевр режиссера Лорана Канте, победивший в параллельном конкурсе Венецианского фестиваля 2001 года. Новый Директор Венеции Мориц Де Хадельн придумал этот конкурс специально для продвинутых картин.

С названием проблема. Наши прокатчики назвали фильм «Тайм-аут», что радикально искажает и его смысл, и оригинальное название. Во французском языке существует устойчивое словосочетание, в буквальном переводе — «Распределение рабочего времени». Картина рассказывает именно об этом. Подтекст, побочное значение: «Расходование, трата рабочего времени». Я бы назвал фильм так: «Время — деньги». Впрочем, формула этого основного закона капитализма звучит слишком весело, а фильм грустный, страшноватый.

Главный герой — абсолютно успешный француз, у которого все есть. Отец-банкир, отличное образование, престижная работа, жена и трое детей. Однако парень добивается того, что его увольняют. Дома он врет, что устроился эффективным менеджером в подразделение ООН и теперь будет распределять финансовую помощь африканским странам. На деле нигде не работает. Предлагает друзьям и знакомым участие в выгодных финансовых сделках. Получая большие суммы, легкомысленно тратит их на покупку дорогого автомобиля, на путешествия куда глаза глядят, на хибару в заснеженных Альпах.

Итак, парень интуитивно выработал стратегию, противоположную стратегии капиталистического накопления. «Поль Анжели», мужчина, плененный офисом, не выдерживает, все равно играет по своим правилам — в немотивированную растрату. Герой переворачивает основную капиталистическую формулу, он превращает *деньги*, притом чужие, в свое *время*.

Случайно разоблачившему его тенику, европейскому барыге, герой признается: «Люблю сидеть за рулем автомобиля. Выжимать газ и ехать. Понимаешь, куда-нибудь. Просто крутить баранку». — «Но тебе же придется возвращать деньги!» — ухмыляется барыга. «Я не думал об этом», — возражает герой. Когда обман открывается, обманутая семья протестует, а старший сын вовсе не желает видеть «этого подонка». «Но ведь я старался, чтобы всем вам было хорошо! — холодно, не заинтересованно протестует герой. — Я мог убежать, но не сделал этого!» Подобно Подколесину, все-таки прыгает в окно, залезает в любимую машину, едет куда подальше.

Страшный, гениальный финал. Собеседование в престижной конторе. «У вас отличный послужной список. Мы хотим предложить вам перспективную финансовую группу. Вы понимаете, что вам предлагают? Вы готовы?» Крупный план: смятение, мольба, Господи, зачем ты меня оставил, предельно неадекватный ответ: «Я не боюсь этой работы...» Между тем в глазах смертельный ужас. Остается гадать, то ли престижное собеседование предшествовало бунту, то ли явилось его закономерным завершением.

(АВТОПСИХОАНАЛИЗ) Забавно, анализируя российский материал, я отождествился с поколением обиженных детей, анализируя западноевропейский — с замученным папашей. Потому что *воображаемое* — субстанция живая и трепетная, зависящая от контекста. Все разнится: их «отцы» и наши, их «дети» и наши, их «офис» и, спаси Господи, суконный-посконный наш. Я против обобщений. Предлагаю в каждом конкретном случае разбираться отдельно. На крупном плане, без дураков.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ВЛАДИМИРА ЮЗБАШЕВА

АРХИТЕКТУРА ПОКАЯНИЯ

Катынский мемориальный комплекс уникален с исторической точки зрения: в России чрезвычайно мало памятников, посвященных жертвам тоталитарного режима, Катынь — крупнейший памятник такого рода.

Вместе с тем комплекс уникален и в архитектурном отношении. Его стилистика чрезвычайно сильно отличается от общей направленности российской архитектуры 90-х годов.

13 апреля 1943 года германское радио заявило, что в Катынском лесу под Смоленском найдено 12 тысяч трупов польских военнослужащих — офицеров, захваченных в советский плен в сентябре 1939 года и убитых НКВД.

Через три дня после сообщения немецкого радио московское радио передало «Заявление ТАСС», в котором вина возлагалась на немцев. 17 апреля этот же текст был опубликован в главной советской газете «Правда» с добавлением о наличии в тех местах древних захоронений и археологических раскопок.

На Нюрнбергском процессе в список преступлений, в которых обвинялась фашистская Германия, советской стороной обвинения было включено и Катынское убийство. Однако трибунал не включил Катынское дело в окончательное обвинение в связи с недостаточной доказанностью вины немцев.

Затем на протяжении 50 лет в СССР была известна только официальная версия, которая гласила, что польские военные были убиты фашистами в августе — сентябре 1941 года.

В 90-е годы были опубликованы документы, явно указывающие на виновность СССР: письмо Сталина начальнику КГБ Берии с предложением расстрелять военнопленных поляков, выписка из протокола заседания Политбюро от 5 марта 1940 года с постановлением о расстреле и докладная записка Хрущеву от 3 марта 1959 года с предложением уничтожить документы по расстрелу поляков, проведенному в 1940 году.

В сентябре 1939 года Красная Армия начала кампанию под официальным названием «освобождение Западной Украины и Белоруссии». В результате было захвачено, по разным источникам, от 130 до 250 тысяч польских военнопленных.

Они были размещены в лагерях, самые известные из которых — Козельский, Старобельский и Осташковский. Узники этих лагерей были расстреляны войсками НКВД по приказу советских властей весной 1940 года.

Катынь — не единственное, но самое известное место расстрела, там были убиты пленные Козельского лагеря, где содержалось около 4500 человек.

Однако в ходе эксгумационных работ было обнаружено, что в Катыни вместе с польскими военнопленными находится множество останков советских граждан. Выяснилось, что с 1918 по 1953 год Катынский лес служил производственной площадкой большевистских органов безопасности. Здесь были тайно убиты и захоронены во рвах десятки тысяч невинных людей.

То, что подразумевается под «Катынским лесом» в связи с убийством польских пленников, представляет собой густо заросшую часть большого леса между шоссе Смоленск — Витебск (с севера) и рекой Днепр (с юга), примерно в 15 километрах к западу от Смоленска. Растительность — типичный сосновый бор с брусничником. Через середину этого участка от шоссе на юг проходила извилистая грунтовая дорога длиной около километра. Она шла к даче НКВД вблизи Днепра. Могилы были найдены около этой дороги, примерно на полпути от шоссе к даче.

В Катынском лесу в 1999 году по инициативе польских властей были перезахоронены польские военнопленные на военном кладбище. Оно является автономной доминантой внутри мемориала, его проект был разработан группой гданьских специалистов во главе с архитектором Войцехом Тарговски и скульптором Здиславом Пидеком.

Годом раньше был проведен конкурс проектов мемориального комплекса «Катынь». Победила в конкурсе мастерская № 4 Союза архитекторов России во главе с Михаилом Хазановым и Никитой Шангиным.

28 июля 2000 года был открыт Парк памяти, скорби и покаяния.

Чтобы объяснить значение катынского памятника для современной российской архитектуры, необходимо сначала рассказать об изменениях, происшедших в этой области за последнее время.

Как и исторические события, архитектурные стили в России сменяются очень резко. Такими резкими взрывами были авангард, затем сменивший его «сталинский ампи́р», после — модернизм 60-х. Так произошло и в 90-е годы: архитекторам была дана стилистическая свобода, мгновенно появились новые строительные технологии, быстро сформировался рынок материалов. Возник частный и корпоративный заказчик, что вывело архитекторов на качественно иной уровень финансовых возможностей. Однако создается ощущение, что сами архитекторы совершенно не были к этому готовы: привыкли искать наиболее экономные, рациональные решения, они теперь были вынуждены обратить внимание на «имиджевую» сторону зданий.

В результате множество зданий, построенных в 90-е годы, отличает исключительная, показная буржуазность. Главными образами, которые воплощают архитекторы, стали образы роскоши, финансовой мощи и власти.

Если в западной архитектуре показателем важности здания является технологическое совершенство и индивидуальный стиль автора, то в российской практике главной проблемой стал выбор стиля. Авторы работают не столько над выработкой собственной концепции или идеологии, сколько пытаются угадать, в какие «одежды» стоит здание одеть.

По-видимому, причина этой ситуации заключается в том, что долгое время (с начала 60-х) официальная стилистика советской архитектуры была скупа и брутальна: примитивный модернизм, приспособленный под индустриальное домостроение, объявлялся истинным выражением современности. Поэтому у поколения архитекторов, которые сегодня активно строят, возник своеобразный комплекс ностальгии по историческому городу и традиционным формам. Это привело к тому, что многие авторы, получив возможность строить, бросились подражать идеалам официально запрещенного ранее постмодернизма, активно эксплуатируя псевдонациональные и псевдоклассические формы.

Однако запоздалый постмодернизм 90-х в России лишен элегантности и деликатной иронии своих западных аналогов. В результате появилось множество вычурных, пестрых зданий довольно низкого архитектурного качества.

Частично эта тенденция поддерживается московским правительством — городскими властями, которые ратуют за возрождение старины и национальных традиций в архитектуре. Но коммунистический период длился слишком долго, и теперь уже сложно сказать, какой стиль лучше соответствует национальным традициям. Возникла стилистическая неразбериха. Так, в последнее время большой популярностью стал пользоваться стиль сталинских высоток. Он оказался выгоден для инвестий и для покупателей дорогого жилья, поскольку в нем видят воплощение мощи, силы и славы.

Таким образом, основная проблема сегодняшней российской архитектуры — это поиск национальной идентичности. Архитектурная элита разделилась на два лагеря, одни ратуют за возрождение национальных традиций, другие — за подражание западной архитектуре. Между этими враждующими полюсами есть небольшое количество мастерских, которые стараются найти золотую середину. Одним из таких бюро как раз и являются авторы катынского мемориала — мастерская № 4 Союза российских архитекторов.

Профессиональная критика часто пишет об этой мастерской как об альтернативной и наиболее продвинутой в стилистическом плане. Видимо, это связано с тем, что на фоне псевдоисторической застройки 90-х архитекторы мастерской № 4 одними из первых начали эксперименты с современными формами — стеклянными экранами, металлическими конструкциями на фасадах зданий. Такой подход немедленно был окрещен «стилем хай-тек», то есть стилем высоких технологий.

Надо, правда, отметить, что до настоящего европейского хай-тека всей российской архитектуре еще очень далеко — нет ни промышленной базы, ни инженерных амбиций. В большинстве случаев ярлык «хай-тек» лишь прикрывает подделку под высокотехнологичную архитектуру. Так что если искать какие-то прототипы для зданий мастерской № 4, то это будут не западные шедевры, а скорее достижения русского авангарда 20-х годов: как и тогда, авторы оперируют простой геометрией, моделируют не столько форму здания, сколько поведение человека внутри его.

В существующем виде мемориал охватывает 20 гектаров леса и включает входную группу, братские могилы российских граждан, польское военное кладбище и две ритуальные площадки.

Основное содержание мемориала — земля, в которой покоятся десятки тысяч невинно убиенных, и лес, выросший на их костях. Поэтому авторы стремились минимизировать свое вмешательство в этот исторический ландшафт.

Главный вход решен в виде кургана, прорезанного исторической лесной дорогой, по которой тысячи людей прошли на смерть. Под зелеными откосами размещены помещения для обслуживания посетителей, охрана, медпункт и администрация. Обе части здания соединяются переходом, перегораживающим дорогу, как символическая стеклянная стена. По замыслу архитекторов створки открываются автоматически, это происходит в особо торжественные моменты, например во время митингов, посещений высокопоставленных лиц, религиозных обрядов, в остальное время они закрыты и представляют собой прозрачную преграду, символическую границу между прошлым и настоящим, между миром живых и мертвых. Рядовые посетители проходят на территорию по боковому проходу, огибая эту стеклянную стену.

В глубине леса, примерно в ста метрах от входа, находится первая ритуальная площадка, на которой паломнические маршруты разветвляются: направо — на польское военное кладбище, налево — к российским захоронениям. Направления выделены двумя пересекающимися порталами из стального листа. Посередине площадки установлен валун. Он напоминает памятник жертвам репрессий в Москве на Лубянской площади, перед зданием КГБ. Это просто большая каменная скала — так называемый Соловецкий камень, привезенный с острова Соловки, где был расположен первый концентрационный лагерь в СССР.

Зона российских захоронений отмечена десятиметровым стальным православным крестом. Первоначально архитекторы решили в принципе отказаться от каких бы то ни было религиозных эмблем. Они считали православный крест не очень уместным символом — ведь большинство расстрелянных были гражданами государства, официальной идеологией которого был атеизм. Кроме того, это лишний раз отделяет русских — приверженцев православного христианства от поляков-католиков. Однако под давлением официальной администрации крест все же был поставлен. Этот эпизод иллюстрирует современную ситуацию в России и, в частности, официальную позицию властей, которые (возможно, неосознанно) стимулируют символическую путаницу.

Тела большинства польских военнопленных опознаны и перезахоронены, в отличие от них о многих советских людях, похороненных в Катынском лесу, ничего не известно: до сих пор не открыты многие архивы КГБ. В 30-е годы расстрелы здесь производились в поистине промышленных масштабах, и тела убитых просто сваливали в огромные ямы.

Архитекторы, стремясь, как уже говорилось, минимизировать свое вмешательство в ландшафт, лишь отграничили места массовых захоронений, сохранив их неправильную конфигурацию. Для этого была разработана специальная конструкция ограждения, состоящая всего лишь из коротких столбов и стальных жердей. Каждый столбик имеет два паза, позволяющие крепить жерди под любым углом. У каждого захоронения на одном из столбиков установлен светильник-лампадка. Он сделан из стекла и термообработанного камня в виде символа поминовения — стакана, накрытого хлебом.

Южнее польского кладбища паломнические маршруты вновь соединяются. Здесь расположена вторая ритуальная площадка, решенная в виде амфитеатра. Она

предназначена для проведения совместных российско-польских церемоний. Общий выход с площадки — Аллея памяти — выделен стальным порталом и решен в виде поднятой над землей дорожки-мостка.

Изначально, по мысли архитекторов, все дорожки на территории комплекса должны быть подняты над землей. Такое решение еще раз символически отделяло бы живых от мертвых, напоминая, что весь Катынский лес — это одна сплошная братская могила. Кроме того, оно было обусловлено практическими соображениями: подняв все коммуникации над землей, архитекторы облегчили бы работу археологам, ведь многие захоронения еще не обследованы.

Комплекс представляет самодостаточный цельный ансамбль, однако пока осуществлена лишь первая часть проекта. Авторы считают необходимым в перспективе развитие комплекса, прежде всего строительство мемориального пандусного сооружения «Дорога в вечность». В этом здании будет размещен музей, кабинеты научных сотрудников и небольшой крытый зал заседаний. Но основная часть этого сооружения представляет собой продолжающую лесную дорожку систему пандусов, опускающихся под землю, восходящих из-под земли, уходящих в небо и обрывающихся в воздухе. Архитекторы запроектировали своего рода folly — экспрессивное сооружение со сложным пространственным сценарием.

Как и весь комплекс, проект этого здания очень точно вписывается в ландшафт, используя перепад рельефа. Со стороны леса он является продолжением тропинки, которая плавно переходит в систему пандусов на кровле здания, со стороны реки понижение рельефа позволило архитекторам организовать пространство высотой в этаж, где размещены кабинеты сотрудников, выходящие окнами на Днепр.

Здание музейно-информационного центра задумывалось как кульминация всего мемориального комплекса. Авторы продумали довольно сложный маршрут через систему пандусов, который должен ввергнуть посетителя в состояние высочайшего эмоционального напряжения.

Посетитель приближается к музейному центру по тропинке, ведущей из леса на берег Днепра. Это тот самый путь, по которому вели заключенных на расстрел. Тропинка плавно переходит в пандус, который увлекает посетителя под землю. Это важный момент «сценария», тщательно выстроенного архитекторами. До этого авторы все время как бы ограждали посетителя, отделяли его мир от мира истории. Все остальные сооружения комплекса вызывают у зрителя ощущение границы, преграды: входной павильон с его стеклянной стеной, система порталов, Аллея памяти, поднятая над землей. И только в последнем павильоне — «Дорога в вечность» — этот мотив преграды исчезает, посетитель превращается в участника архитектурной мистерии. Пространство центра построено таким образом, что входящий невольно начинает отождествлять себя с жертвами трагедии.

Спускаясь по пандусу под землю, он попадает в узкий коридор. Элегантно используя перепад рельефа местности, архитекторы запроектировали в торце коридора окно, сквозь которое видна пойма Днепра. Авторы символически назвали его «Окно последнего взгляда». Вошедший помнит, что находится под поверхностью земли, и вдруг в окне он видит открывающийся пейзаж; его перемещение в пространстве коридора, таким образом, приобретает значение перехода во времени — он словно бы оказывается в прошлом и может представить себя на месте убитых.

От «Окна последнего взгляда» посетитель проходит по подземному коридору обратно в глубь сооружения. Вдоль коридора с одной стороны в освещенных нишах на земле можно будет увидеть личные вещи жертв: очки, кошельки, пуговицы и т. п.

На противоположной стене в алфавитном порядке будут находиться таблички с именами погибших, установленными по архивам ФСБ (таковых на сегодняшний день известно уже около 8 тысяч).

Коридор заканчивается «Стенкой», изрешеченной следами от пуль. Вдоль нее в полу расположена ниша с песком для установки поминальных свечей. Параллельные зеркала, фланкирующие «Стенку», создают эффект ее бесконечности. От «Стенки» начинается восходящий в небо и обрывающийся в воздухе пандус — «Дорога в вечность».

Справа от «Дороги в вечность» запроектирована примыкающая к ней ритуальная площадка, являющаяся эксплуатируемой кровлей подземного музейно-информационного центра.

В советской архитектуре существовала очень мощная традиция мемориальных сооружений и памятников. В каждом российском городе стоит множество памятников погибшим во Второй мировой войне. Однако тоталитарный режим наложил свой отпечаток на эти сооружения. Как правило, это довольно brutальные, титанические скульптурные группы или мощные архитектурные объекты. Пожалуй, наиболее известным из них является комплекс Мамаев курган под Волгоградом, посвященный Сталинградской битве.

Катынский комплекс в определенном смысле противоречит этой мемориальной традиции; его стилистика бесконечно далека от торжественных монументов, посвященных героям-победителям. Вместе с тем этот комплекс не вписывается и в традиции постсоветской архитектуры. В нем нет историзма, отсылок к национальному стилю в архитектуре. Стилистически этот памятник вообще вне истории и вне времени. Парадоксальным образом именно эта оторванность от всевозможных направлений, обычаев и канонов позволяет сравнить мемориальный комплекс с проектами русского авангарда, также бросавшими вызов традиционализму.

Катынь — один из тех редких проектов в современной российской архитектуре, который действительно пронизан духом русского авангарда, а не копирует его формальные признаки. Архитекторы мемориала обратились к первоосновам архитектуры, они работают в первую очередь с нематериальными аспектами — символами, восприятием и эмоциями зрителя, с пространством. Авторы сделали частью сооружения и сам ландшафт: лес, рельеф, вид на реку.

Конечно, архитекторам не удалось избежать буквальных символов, таких, как светильник ограждения в виде стакана, накрытого каменным хлебом, или стены со следами от пуль. Эти фигуративные детали противоречат сдержанной и достаточно абстрактной манере всего комплекса. Но в целом в этом памятнике есть та тонкость и то изящество символизма, которых так не хватает современной российской архитектуре.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

Информационное: о литературной критике и о критиках в Сети

Вот проблема, сформулированная Сергеем Чуприниным: «То ли дело раньше было — следи себе за толстыми ежемесячниками, заглядывая в „Литературную газету“, и вся критика как на парадном смотре? Теперь же... помимо неперемных „толстяков“... приходится покупать еще и бесцветный журнал „Политбюро“ — ради ярких статей Бориса Кузьминского, подписываться на „Время новостей“ — ради Андрея Немзера, на „Московские новости“ — ради Михаила Золотоносова, на „Время МН“ и „Профиль“ — ради Александра Агеева, не пропускать „Афишу“ (а раньше еще и „Ведомости“) с Львом Данилкиным, „Газету“ — с Николаем Александровым или „Еженедельный журнал“, заглядывать в „Известия“ — вдруг да написал что-то о литературе Александр Архангельский, и в „День литературы“ — чтобы не с чужих слов знать об очередной выходке Владимира Бондаренко... А ведь есть еще и питерские издания. И провинциальные... Евгений Ермолин — это Ярославль, Ольга Лебедушкина — Балашов, Александр Касымов — Уфа, Александр Уланов и Галина Ермошина — Самара, Марина Абашева — Пермь» (Чупринин Сергей. Перемена участи. Статьи последних лет. М., «Новое литературное обозрение», 2003, стр. 346 — 347).

Действительно проблема. Современная критика для широкого читателя (да и для многих коллег Сергея Чупринина) становится явлением просто загадочным. Критика сегодня — это кто? И — где?

Отвечать на первый вопрос по причине его глобальности даже и пробовать не буду. А вот относительно вопроса «где?» попробую по мере сил.

Потому как описанный выше вариант устрашает — не набегаешься по газетным киоскам! Ну а если не бегать, если, не выходя из дома, — через Интернет (разумеется, если он у вас есть)?

Я проделал этот опыт — загрузил Интернет, засек время и пошел через Яндекс по именам и названиям упомянутых Чуприниным изданий.

Вот результат:

Тексты **Бориса Кузьминского** в «Политбюро» искать не стал вообще, зная, что журнал «Политбюро» прекратил свое существование в конце года. Даст бог, распишется Кузьминский, и тогда снова начнем его читать в «Русском Журнале» <www.russ.ru>.

Андрея Немзера тоже не искал, адреса его (о них — ниже) у меня в «Избранном».

Михаила Золотоносова я довольно быстро нашел на сайте «Московских новостей» <<http://www.mn.ru>> с помощью местного поиска, который выдал мне ссылку на последнюю публикацию Золотоносова «Дамы из Петербурга и кавалеры из Москвы» («Праздник пришел на нашу улицу — объявлена шестерка финалистов премии „Букер“. Чувство смешанное: смесь тоски и недоумения...») <<http://www.mn.ru/issue.php?2003-40-51>>.

За Агеевым Чупринин посылал в газету «Время МН» и журнал «Профиль». Но утруждать Яндекс поисками газеты я не стал, зная, что она уже закрылась, — проблема с отслеживанием современной литературной критики усугубляется, кстати, еще и недолговечностью большинства сегодняшних газет и еженедельников. Персональную же страничку **Александра Агеева** в «Профиле» <<http://www.idr.ru/authors/info/0009/>> с перечнем последних его публикаций в этом журнале я нашел достаточно легко. Но в Интернете Агеева, разумеется, читать надо не в «Профиле». С декабря 2000 года он ведет в «Русском Журнале» свою колонку «Голод», и сегодня это главное рабочее место Агеева-критика. Интернет-каталог, содержащий более чем внушительный список его публикаций в «Русском журнале», см. здесь <<http://www.russ.ru/authors/aageev.html>>. Ну а к этому адресу я бы добавил персональную страницу Агеева в «Журнальном зале», содержащую собрание ссылок на его журнальные публикации <<http://magazines.russ.ru/authors/a/ageev/>>.

Лев Данилкин отыскался, естественно, на сайте журнала «Афиша» <<http://afisha.ru>>, сайт этот является не только виртуальным аналогом бумажного издания, но имеет и черты самостоятельного информационного портала, посвященного, в частности, культурной и просто вечерней жизни Москвы. Новые тексты Данилкина лучше всего искать на странице <<http://afisha.ru/books>>. Ну и для полноты картины вот адрес упомянутой в связи с Данилкиным газеты «Ведомости»: <<http://www.vedomosti.ru>>.

Николай Александров обнаружился в качестве интервьюера Жана Эшноза <<http://www.gzt.ru/rub.gzt?rubric=knigi&id=55050000000006216>> на сайте газеты «Газета» <<http://www.gzt.ru/>>. Ну а проще всего, как я понимаю, на этом сайте Александрова искать со страницы «Книги» <<http://www.gzt.ru/rub.gzt?rubric=knigi>>. А в «Ежедневном журнале» — со страницы <<http://www.ej.ru/101/life/table/01/index.html>>.

Александр Архангельский доступен в «Известиях» <<http://www.izvestia.ru>>, но здесь нужно пользоваться местным «Поиском», поскольку ресурс у известинского сайта огромен.

С поиском текстов **Владимира Бондаренко** тоже проблем не возникло: уже в своем списке Яндекс предложил <<http://zavtra.ru/cgi//veil//data/denlit/088/11.html>> — адрес статьи Бондаренко «Припадаю к народу. (К 85-летию Николая Тряпкина)». Номера же газеты «День литературы», как свежие, так и давние, удобнее открывать со страницы <http://zavtra.ru/cgi//veil//zavtra/lit_index.html>.

Что касается упомянутых Чуприниным критиков «из провинции», то все они являются авторами вполне столичного «Русского Журнала»: скажем, у **Галины Ермошиной** <<http://magazines.russ.ru/authors/e/ermoshina/>> в «Русском Журнале» (включая «Журнальный зал») 55 публикаций, ну а у **Александра Уланова** <<http://www.russ.ru/authors/ulan.html>> соответственно 143. Страницы же остальных критиков есть в «Журнальном зале» — в разделе «Авторы»:

Евгения Ермолина <<http://magazines.russ.ru/authors/e/ermolin/>>, Ольга Лебедушкиной <<http://magazines.russ.ru/authors/l/lebedushkina/>>, Марины Абашевой <<http://magazines.russ.ru/authors/a/abasheva/>>. (О Касымове — ниже).

На поиск упомянутых Чуприниным авторов, критиков и изданий с домашнего компьютера, через модем (правда, занимался я этим в праздничный день утром, 7 января), у меня ушло 54 минуты. Разумеется, повторное посещение этих страниц с помощью закладок, поставленных в интернетовскую папку «Избранное», потребует времени как минимум в два-три раза меньше.

Интернет даже сегодня, при всем своем техническом несовершенстве, становится почти идеальным механизмом для слежения за литературной критикой. В конечном счете проблема, затронутая Чуприниным, — это проблема настроек вашей интернет-программы. Издание, которое бы отслеживало жизнь современной литературной критики, изготавливается вами с помощью элементарных интернет-технологий, ну а все остальное в Интернете уже есть.

Дело в том, что, даже если сами критики ничего не предпринимают для представления своих текстов в Интернете, в опубликованном виде они, как правило, становятся частью русского литературного Интернета. В частности, все, кто печатается в толстых журналах, представленных «Журнальным залом» <<http://magazines.russ.ru/>>, — а здесь представлено подавляющее большинство современных критиков, — автоматически становятся авторами интернетовскими. Программное обеспечение «Журнального зала» гарантирует автоматическое появление ссылки на очередную публикацию того или иного критика на его авторской страничке в «Журнальном зале», которая (страница) также заводится автоматически при первом же появлении критика в «Журнальном зале» в качестве автора. То есть каждый, хоть раз опубликовавшийся в толстом журнале из выставленных в «Журнальном зале» («Знамени», «Октябре», «Новом мире», «Звезде», «Дружбе народов» и т. д.), должен знать, что для него уже заведена персональная справочная страничка в Интернете. Общий каталог авторских страниц «Журнального зала» расположен по адресу <<http://magazines.russ.ru/authors/a/ageev/>>. Я приведу здесь несколько адресов из этого каталога, ориентируясь на тех критиков, которые наиболее активно реализуют себя как раз на страницах толстых журналов.

Александр Архангельский <<http://magazines.russ.ru/authors/a/arhangelskij/>>, Дмитрий Бак <<http://magazines.russ.ru/authors/b/bak/>>, Сергей Боровиков <<http://magazines.russ.ru/authors/b/borovikov/>>, Андрей Василевский <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/vasilev.htm>, Александр Генис <<http://magazines.russ.ru/authors/g/genis/>>, Никита Елисеев <<http://magazines.russ.ru/authors/e/eliseev/>>, Евгений Ермолин <<http://magazines.russ.ru/authors/e/ermolin/>>, Андрей Зорин <<http://magazines.russ.ru/authors/z/azorin/>>, Наталья Иванова <<http://magazines.russ.ru/authors/i/nivanova/>>, Алла Латынина <<http://magazines.russ.ru/authors/l/latynina/>>, Владимир Новиков <<http://magazines.russ.ru/authors/n/vnovikov/>>, Мария Ремизова <<http://magazines.russ.ru/authors/r/remizova/>>, Ирина Роднянская <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/rodnian.htm>, Карен Степанян <<http://magazines.russ.ru/authors/s/stepanyan/>>, Сергей Чупринин <<http://magazines.russ.ru/authors/c/chuprinin/>>.

Критики же, регулярно пишущие для газет или тонких еженедельников, выставляемых в Интернете (а сегодня редкое издание не стремится обустроить там свой сайт), также могут считать, что пишут еще и для Интернета. К нескольким адресам изданий, упомянутым выше, я бы добавил еще три:

«НГ Ex libris» <<http://exlibris.ng.ru/>>, «Книжное обозрение» <www.knigoboz.ru/>, «Литературная газета» <<http://www.lgz.ru/>>.

Сказанное выше касается главным образом критиков, не проявляющих какой-либо активности во взаимоотношениях с Сетью. Но есть, и число их множится, критики, осознающие, что в условиях нынешнего информационного бума профес-

сионализм их работы предполагает еще и некоторое усилие, пусть небольшое, для нормального представительства в Интернете.

Своеобразное лидерство в этом отношении, разумеется, у Михаила Эпштейна, обустроившего и постоянно обновляющего свой собственный сайт в Интернете. Называется он «Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна» <http://www.russ.ru/antolog/intelnet/virt_bibl.html> и содержит разделы: «Об авторе», «Философия», «Религия», «Культура», «Общество. Мифология. Идеология», «Нация. Россия. Америка», «Язык», «Литература», «Постмодернизм. Новые движения» и другие, в которых представлены соответствующие книги и статьи Эпштейна. К сожалению, здесь нет места для подробного разговора о проектах Михаила Эпштейна — скажем, «Книга Книг» или «Дар слова. Еженедельный лексикон», рожденных воодушевлением критика от открывшихся перед ним возможностей Интернета: «Бумага — это двухмерная плоскость плюс однонаправленное время, а Интернет — это трехмерный континуум, где можно двигаться в любом направлении. Сеть так много говорит уму, потому что сам ум сетеобразен, гипертекстуален. Мне захотелось мыслить Сетью, ткать страницы, — „сопрягать, сопрягать“, как слышит во сне толстовский Пьер»; об этом лучше читать у самого Эпштейна <<http://www.russ.ru/antolog/INTELNET/dar0.html>>.

Или другой вариант интернетовской активности литературного критика — сайт Александра Касимова «Квартира X» <<http://kvartx.on.ufanet.ru/kabinet/okno/index.htm>> (журнал писал об этом сайте в № 10 за 2002 год). Живший в Уфе критик обустроил для себя в Интернете собственное рабочее и «жилое» место, квартиру для полноценной литературной жизни — творчества, размышлений, чтения, общения с коллегами. На странице «Окно» лежат регулярные обозрения литературной, культурной и отчасти общественной жизни с 2001 по февраль 2003 года, которые Касимов писал для Интернета. На соседней странице «Сейф» хранятся тексты, писавшиеся для печатных изданий. К несчастью, с лета 2003 года квартира осталась без хозяина.

(Для полноты картины здесь необходимо упомянуть об одном из самых интересных, громких авторских проектов — монументальном сайте «Русская литература с Вячеславом Курицыным» <<http://www.guelman.ru/slava/index.html>>. Ну, о нем написано достаточно много. Мои же задачи в этом обозрении — информация и адреса. Интересующихся эстетикой и идеологией литературных критиков Сети я бы отослал к великолепной статье Евгения Ермолина «Критик в Сети» — «Знамя», 2003, № 3 <<http://magazines.russ.ru/znamia/2003/3/erm.html>>.)

Разумеется, каждый из этих вариантов интернетовской активности требует дополнительных усилий, которые, особенно при нынешней загрузке регулярно работающего критика, мало кто может себе позволить. И потому оптимальным, дающим при минимуме усилий максимум эффекта мне кажется сегодня «вариант Немзера». У критика Андрея Немзера есть персональная страница «Немзерески» <<http://www.ruthenia.ru/nemzer/>> на тартуском университетском сайте «Рутения». Она на редкость функциональная, «легкая» (изготовленная «в любимом формате раннего Интернета из любви к герою и изящной словесности»), закачивается быстро, на титульной странице — список из пяти последних статей Немзера, под ними три ссылки — на «Архив», «Книгу» и «Письмо послать». В «Архиве» хранятся тексты, написанные Немзером с апреля 2000 года. Ссылка же с «Книги» приведет вас, увы, не к тексту книги, а на форум. Это единственный недочет в целом безупречной авторской странице, книгу же Немзера (одну из трех) «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е» (М., 1998) следует искать на другой — открытой для Немзера в сетевом «Новом мире» — странице <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/nemzer/index.html>. Персональную страницу Немзера изготовил, разумеется, не он сам, а программисты «Рутении». От самого критика в подобной ситуации требуется немного — только регулярность в отправке по электронной почте своих новых, опубликованных текстов. Всё. Тексты Немзера, писавшиеся им для газеты «Время новостей», появляются на его странице с минимальным запозданием. И в том, что читатель избавлен от перелистывания на экране сетевых страниц «Времени новостей», а, прямиком зайдя на страницу Немзера, может прочитать и последние его тексты, и «архивные», я вижу уважение критика и к своей работе, и к своему читателю. Уверен, что при нынешнем количестве и разнообразии литератур-

ных сайтов каждый из заинтересованных может найти место, где для него откроют подобную страницу с постоянным обновлением.

В последнее время различия между «сетевыми» критиками и «бумажными», теряя актуальность в эстетическом плане, неожиданно обретают новое измерение — они теперь могут различаться по степени доступности. Похоже, что тексты сетевых авторов стали сегодня доступнее сугубо «бумажных». И критики, подобные, скажем, Бавильскому, начинавшему когда-то в «Независимой газете» и имеющему достаточно богатую биографию «бумажного критика», постепенно становятся интернетовскими авторами. В последние годы Дмитрий Бавильский как критик активно сотрудничает с сайтом «Топос» <<http://www.topos.ru>> и соответственно имеет там свою персональную страницу <<http://www.topos.ru/cgi-bin/article.pl?id=345>>, с которой можно открыть любой из опубликованных им на «Топосе» текстов. В этом же направлении движется в последние два года Павел Басинский, ведущий сегодня свою собственную колонку на «Топосе» <<http://www.topos.ru/cgi-bin/article.pl?id=98>>. (Для полноты картины вот еще два постоянных адреса Басинского в Интернете: его справочно-информационная страница в «Журнальном зале» <<http://magazines.russ.ru/authors/b/basinskij/>> и адрес «Литературной газеты» <<http://www.lgz.ru/>>, с которой он сотрудничает. Ну а о сайте «Топос» и его критическом разделе журнал уже писал в № 6 за 2003 год.)

«Патриотический» сектор нашей интернетовской критики достаточно полно представлен на сайте «Русский переплет» <<http://www.pereplet.ru/>> (слово «патриотический» пишу здесь в кавычках, потому как, считая себя патриотом, расхожусь, и достаточно кардинально, в понимании содержания этого слова со многими авторами «Русского переплета»). Собственно чистой критики, эстетической, здесь не так много, авторы «Русского переплета» используют литературную критику больше для общественно-политической публицистики, например в обзорах Алексея Шорохова <<http://www.pereplet.ru/shorohov/>> или как форму лирико-философского дневника, например, у Владимира Березина в его колонке «Слово Владимира Березина» <<http://www.pereplet.ru/cgi/slovo.cgi>>.

Что же касается основного места в Интернете, где лучше всего отслеживать литературную критику, то на него может претендовать «Круг чтения» «Русского Журнала» <<http://www.russ.ru/krug/>>. (Это не только мое личное мнение, но и показатели статистики посещений литературных сайтов в Интернете.) Редакторы «Русского Журнала» ориентируются на представление всего спектра современной критики и литературы — от Дмитрия Быкова или Линор Горалик до Майи Кучерской, Сергея Чуприна и Ревекки Фрумкиной. Имея в качестве постоянных авторов (в разные периоды — разных) Романа Ганжу, Анастасию Отрощенко, Егора Отрощенко, Сергея Кузнецова, Владимира Губайловского, Романа Арбитмана, Анну Кузнецову, Андрея Левкина, Татьяну Сотникову, Дмитрия Стахова и так далее, и так далее, редакция «Русского Журнала» предоставляет место и для сугубо «бумажных» толстожурнальных критиков (Алла Латынина, Ирина Роднянская, Рената Гальцева и другие). В разное время разные критики имели здесь свои колонки (Дмитрий Бавильский <<http://www.russ.ru/authors/bavils.html>>, Сергей Кузнецов <<http://www.russ.ru/authors/kuznets.html>>, Анна Кузнецова <<http://www.russ.ru/authors/kuznetzova.html>> и другие). В настоящее время, например, продолжают авторские проекты двух старейших (по интернетовским, разумеется, меркам) колумнистов: упоминаемая выше колонка Александра Агеева «Голод» и «Журнальное чтение» Инны Булкиной. В отличие от Агеева, не связанного в выборе тем и объектов рассмотрения ничем, кроме «голода по чтению и размышлению», у которого поэтому в выпусках его «Голода» вполне органично могут сочетаться размышления над переводной книгой XVIII века и реакция на политическую или литературно-критическую злободневность, — в отличие, повторю, от Агеева Инна Булкина, ведущая свое «Журнальное чтение» с августа 2000 года (и написавшая соответственно более ста пятидесяти выпусков), жестко связана форматом выбранного жанра — портретирование наших толстых журналов, отслеживание изменений тактики и стратегии, этики и эстетики отдельных изданий и всей журнальной панорамы в целом. Инструментом ее становится анализ содержания журнальной книжки, так сказать, в целом, без обязательного углубления в содержание и особенности отдельных опубликованных произведений; то есть каждое конкретное произведение для

нее — это только штрих, черта, из которых складывается рисунок номера. Свежие обзоры **Ины Булкиной**, помещаемые в разделе «Периодика», всегда можно открыть с титульной страницы «Русского Журнала» <<http://www.russ.ru/>>, а полный свод опубликованного ею за четыре года (и не только журнальных обзоров) доступен с ее личной персональной страницы <<http://www.russ.ru/authors/bulkina.html>>.

И кстати, именно «Круг чтения» «Русского журнала» озабочился вопросом, кто и что сегодня — литературная критика. Уже несколько месяцев критик **Михаил Эдельштейн** ведет свое исследование в рубрике «Эго — критика» <<http://www.russ.ru/authors/Edelshtein.html>>, состоящее из серии интервью с ведущими нашими критиками, членами АРС'С. Каждое из этих интервью в качестве постскриптума имеет что-то вроде аналитической зарисовки — портрета интервьюируемого в исполнении самого Эдельштейна. Можно надеяться, что такое вот стереоскопическое портретирование поможет в итоге создать и некий общий образ нашей критики. К концу 2003 года в список представленных Эдельштейном критиков вошли (в алфавитном порядке) Александр Агеев, Николай Александров, Лев Аннинский, Роман Арбитман, Александр Архангельский, Андрей Арьев, Дмитрий Бавильский, Дмитрий Бак, Павел Басинский, Сергей Боровиков, Леонид Бахнов, Александр Генис, Игорь Виноградов, Андрей Василевский, Никита Елисеев.

Перечисление авторов и рубрик «Круга чтения» «Русского Журнала» я завершаю напоминанием об адресе сводного каталога авторов «Русского Журнала»: <<http://www.russ.ru/>>.

Есть в нашем Интернете и еще одна форма структурирования литературно-критического пространства — составление каталогов отзывов на то или иное произведение или автора. Такие списки можно встретить на грамотно оборудованных персональных литературных сайтах. Скажем, на сайте **Виктора Пелевина** <<http://pelevin.nov.ru/>> в разделе «Статьи» к началу января значилось 90 ссылок на статьи и рецензии, посвященные его творчеству и представленные в Интернете. Подобная страница есть и на персональном сайте **Олега Павлова** <<http://pavlov.nm.ru/>>, около четырех десятков рецензий лежат в разделе «Критика» <<http://pavlov.nm.ru/kritika.htm>>, а на соседней странице <<http://pavlov.nm.ru/pressa.htm>> представлены 13 данных писателем интервью, самое свежее из которых (журналу «Досье на цензуру») помечено декабром 2003 года.

Подобные списки — как бы обязательная принадлежность персонального сайта писателя. На мой взгляд, интереснее и перспективнее выглядит идея, частично реализованная Вячеславом Курицыным на его прекратившем свое обновление сайте «Русская литература с Вячеславом Курицыным», — каталог ссылок на рецензии, посвященные наиболее заметным книгам последних месяцев. Поскольку сайт Курицына по-прежнему поддерживается в Интернете, вы можете воспользоваться собранной там коллекцией ссылок на критические отклики, вызванные романами «Голубое сало» В. Сорокина, «Похороны кузнечика» Н. Кононова, «Сами по себе» С. Болмата, «Generation 'П'» В. Пелевина, «Мифогенная любовь каст» П. Пепперштейна и С. Ануфриева, «Кысь» Татьяны Толстой, романами Б. Акунина, книгами «Записи и выписки» М. Гаспарова и «200 лет вместе» А. Солженицына.

Здесь можно было бы помечать, представив такой, например, сугубо библиографический, отслеживающий исключительно литературную критику сайт, постоянно растущий, имеющий не девять, как у Курицына, позиций, а — 999, включающий в себя еще и сводные каталоги не только объектов литературной критики, но и ее субъектов, — подобного рода библиографический портал в Интернете мог бы предъявить сегодняшнему читателю современную литературную критику в максимально полном виде. Но, увы, таких порталов в Интернете еще нет. И потому — единственный совет тем, у кого есть в нем потребность: скачайте из Интернета вот это обозрение и переделайте его, удалив текст и оставив имена, названия и адреса, в небольшой каталог. Пусть это будет тот минимум, с которого вы начнете выстраивать в своем компьютере пространство современной критики в Интернете.

КНИГИ



Шамшад Абдуллаев. Неподвижная поверхность. Предисловие Александра Скидана. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 144 стр.

Книга стихов лидера «ферганской поэтической школы», лауреата премии Андрея Белого за 1993 год, живущего «на окраине (вместе с тем — средостении, перекрестке цивилизаций)» — в данном случае можно говорить о скрещении в изначально русских стихах Абдуллаева традиций Востока с современной европейской культурой. Книга выставлена в Интернете по адресу <<http://www.vavilon.ru/texts/abdullaev2.html>>.

Леонид Амтиславский. Невольные записки. М., «Парад», 2003, 144 стр., 1000 экз.

Стихи (цикл «Письма из „Матроски“») и тюремные записки современного сидельца о быте, условиях жизни и стиле взаимоотношений в нынешних российских тюрьмах. («Поверьте, что, с каким бы мастерством и талантом ни была описана боль от „ласточки“, как бы мастерски ни был описан ужас удущья „слоника“ или полиэтиленового пакета на голове, реальная боль всегда „больнее“, а ужас всегда „ужаснее“. Почти никто из нас никогда не рассказывал на воле, через какой ад мы проходим здесь. Во-первых, мало кто поверит в реальность, в возможность всего происходящего, а во-вторых... просто стыдно!» (От автора.)

Сергей Боровиков. В русском жанре. Предисловие Андрея Немзера. М., «Вагриус», 2003, 304 стр., 3000 экз.

Книга саратовского прозаика, а также критика и бывшего главного редактора бывшего журнала «Волга», написанная в жанре, им самим порожденном: краткие эссе — лирико-автобиографические, философские, литературно-исторические, социально-психологические, органично складывающиеся в единое повествование. О взаимоотношениях современного просвещенного русской литературой человека с историей, культурой, страной, самим собой.

Адам Ведеманн. Где собака зарыта. Предисловие М. Янион. Перевод с польского Ю. Чайникова. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 116 стр.

Проза (рассказы) представителя новейшей генерации в польской литературе. «В своем цикле рассказов он обращается к самым прозаическим подробностям жизни (потому и причислен критикой к „баналистам“), но в то же время легко и ненавязчиво затрагивает сложнейшие темы метафизического и философского свойства» (из издательской аннотации). Автор же предисловия, пытаясь определить уровень и строй этой прозы, вынужден рассматривать ее в контексте творчества Питера Гринуэя и Витольда Гомбровича, и горячность критика можно понять: молодой автор демонстрирует прекрасное владение формой и мыслью, способность на парадоксальные сопоставления «низкого» и «высокого», легкость, но отнюдь не легковесность.

Станислав Игнаций Виткевич. Наркотики. Эссе. Единственный выход. Роман. Составление, предисловие, комментарии А. Базилевского. Перевод с польского А. Базилевского, Ю. Чайникова. М., «Вахазар»; «РИПОЛ КЛАССИК», 2003, 496 стр., 3000 экз.

Эссе «Наркотики» (1930) и роман «Единственный выход» (1933) знаменитого польского писателя, а также философа и художника Станислава Игнация Виткевича (1885 — 1939). В своем ироническом и при этом абсолютно серьезном предисловии автор так определяет мотивы написания «Наркотиков»: «Поскольку так называемым „свободным творчеством“... я ничего не смог сделать для общества и народа, я решил после ряда экспериментов публично исповедаться в своих взглядах на наркотики... дабы хоть немного помочь силам добра в борьбе с этими ужаснейшими — после нищеты, войны и болезней — врагами человечества». Тема наркотиков отчасти продолжается в романе, герои которого, художники и интеллектуалы, мучительно ищут оправдания своему существованию и Бытию в целом.

Леонид Григорьян. Внесистемная единица. Стихи последних лет. Таганрог, 2003, 35 стр.

Новая книга известного поэта: «Махни рукою, шевельни ногой, / Взгляни хоть так, хоть через линзы Цейса, / Но убеди себя, удостоверься, / Что ты покамест тот же — не другой...»

Андрей Грицман. Пересадка. М., «Журнал поэзии „Арион“», 2003, 128 стр., 600 экз.

Новая книга русского поэта, живущего с 1981 года в США, автора книг «Ничейная земля» (СПб., «Петрополь», 1995), «Вид с моста» (Нью-Йорк, «Слово-Word», 1999), «Двойник» (Нью-Йорк, «Эрмитаж», 2003). («За Бангором делятся перегоны, / как радиоволны, за границу. / А оттуда пахнет хвойным лесом / и эспрессо, и „Наполеоном“. <...> / Дальше от дороги гул все глуше, / тише будет в доме деревянном. / Выйдешь: осень с выдохом морозным. / Чудится, что Фрост / хрустит в лесу, бормочет.»)

Сергей Есенин. Стихотворения и поэмы. СПб., «Академический проект», 2003, 624 стр., 2000 экз.

Книга избранных стихотворений и поэм (здесь же помещен и «Пугачев») вышла в Малой серии «Новой библиотеки поэта». Составление и вступительная статья К. Аздовского.

Збигнев Крушинский. На суше и на море. Описания и рассказы. Предисловие Ярослава Клейноцкого. Перевод с польского Ю. Чайникова. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 256 стр.

Проза одного из лидеров современного «поколения сорокалетних» в польской литературе — десять рассказов писателя, вынужденного из-за своих тесных связей с первой «Солидарностью» эмигрировать в начале 80-х в Швецию. «Бытует мнение, особенно среди не слишком начитанных критиков, что польская литература последних лет не смогла справиться с описанием современной действительности... Здесь, конечно, не место для полемики с этим абсурдным взглядом, мы просто добавим очередной аргумент против этого тезиса. А именно — сборник рассказов Збигнева Крушинского...» (из предисловия).

Дж. Кутзее. В ожидании варваров. Романы. Перевод с английского А. Михалева, И. Архангельской, Ю. Жуковой. СПб., «Амфора», 2003, 463 стр., 5000 экз.

«В ожидании варваров» и «Жизнь и время Михаэла К.» — два романа южноафриканского писателя, букеровского лауреата 1983 и 1999 годов, нобелевского лауреата 2003 года. (Журнал намерен откликнуться на творчество Кутзее в одном из ближайших номеров.)

Евгений Рейн. Заметки марафонца. Неканонические мемуары. Екатеринбург, «У-Фактория», 2003, 526 стр., 3000 экз.

Мемуарные зарисовки, персонажами которых стали Ахматова, Бродский, Шкловский, Олеша, Окуджава, Евтушенко, Аркадий Штейнберг, Довлатов, Давид Дар, Игорь Ершов и другие; а также — эссе о Данте, о Мандельштаме, о петербургской поэзии от Сумарокова и Пушкина до Кушнера и Бродского, отклики на литературную и прочую злобу дня.

Владимир Сергиенко. BOB FOMKIN'G. Криминально-человеческое читиво. Блатная сказка № 2. М., «Парад», 2004, 160 стр., 1000 экз.

Пять коротких повестей русского писателя, живущего в Германии и пишущего на материале своей собственной, как сказано в аннотации, «профессиональной» жизни в преступном мире. Первое предисловие к книге написал Андрей Битов («Повести и рассказы Владимира Сергиенко посвящены тому, о чем в России знают, но, к счастью, не все по своему личному опыту. Теперешняя мода на уголовщину и „блатату“ только задушевляет нам чувственное восприятие этого закрытого мира, оставшегося либо в репрессивном советском прошлом, либо в современном телевизионном исполнении. Этот опыт, переданный через живое слово, не был осуществлен. Но когда я увидел тексты Сергиенко, я увидел, что начинаю вдыхать знание, которое было от меня сокрыто...»); второе предисловие принадлежит Дмитрию Бавильскому, первому публикатору (в своей интернетовской «Библиотеке эгоиста» — <http://www.topos.ru/cgi-bin/article.pl?id=1513>) текстов Сергиенко: «Ныне проникновение блатной тематики кажется уже просто тотальным — праздники „Шансона“ в Кремле, криминальные сериалы... Вот почему столь важен и интересен „случай Сергиенко“, который идет несколькими иным путем, чем многие другие авторы, прибегающие к блатной стилистике... Блатное для него не самоцель, но способ передать ощущения от столкновения с реальностью».

Символ «Мы». Еврейская хрестоматия новой русской литературы. Составление Ирины Врубель-Голубкиной. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 464 стр.

Современная проза, поэзия, драматургия русскоязычных писателей Израиля. Сборник составили произведения авторов из круга журнала «Зеркало» — это Александр Гольдштейн, Александр Бараш, Сергей Магиб, Михаил Гробман, Александра Петрова, Евгений Штейнберг и другие; «...русская литературная эмиграция как самозаконное явление... перестала существовать... Впервые за столетия своего бытия русский язык и литература обзавелись диаспорой, став языком и литературой диаспорическими, распространеными уже не на территориях сопредельных колоний и полуколоний, но вовлекающими в орбиту своего влияния пространства независимых от России геокультурных и политических миров»; «Быть в диаспоре означает для нас развивать те особенности русского слова, которые — что называется, по определению — не могут быть развиты в метрополии» (из предисловия).

Странный ветер. Современная японская поэзия. Переводы с японского. М., «Иностранка», 2003, 476 стр., 8500 экз.

Теория катастроф. Современная японская проза. Переводы с японского. М., «Иностранка», 2003, 527 стр., 8500 экз.

Двухтомная антология современной японской литературы, составление которой координировали Мицуёси Нумано и Григорий Чхартишвили.



Михаил Вайскоп. Птица-тройка и колесница души. Работы 1978 — 2003 годов. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 576 стр.

Книга известного у нас своими монографиями (см., например, информацию о его книге «Сюжет Гоголя» /«Книги» — «Новый мир», 2003, № 9/) филолога, издавшего на этот раз свои статьи разных лет о Пушкине, Гоголе, Сковороде, Боратынском, Чернышевском, Маяковском («Во весь голос: религия Маяковского»), Зощенко и других.

Борис Гройс. Искусство утопии. Gesamtkunstwerk Сталин. Статьи. М., «Художественный журнал», 2003, 234 стр.

Книга культурного у отечественных интеллектуалов начала 90-х русского культуролога, живущего в эмиграции, основу которой составила работа о стиле сталинской эпохи как об одной из отечественных форм авангардной культуры.

Гасан Гусейнов. Д.С.П. Материалы к Русскому Словарю общественно-политического языка XX века. М., «Три квадрата», 2003, 1023 стр., 1200 экз.

«Коллективный словесный портрет советского и постсоветского времени. Первая попытка представления действующей модели современного русского дискурса на фоне советского идеологического языка и близкого к нему языка конца XX века. Ключевые слова и обороты иллюстрируются авторитетными образцами текстов многих сотен носителей русского языка: писателей, журналистов, философов и простого „человека с улицы“. Автор исходит из гипотезы, утверждающей, что в советскую эпоху постепенно сложился вариант русского языка, который можно считать самостоятельным культурно-историческим явлением. Книга снабжена хорошим научным аппаратом» («Русский Журнал»).

Андрей Зорин. Где сидит фазан... Очерки последних лет. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 224 стр.

Историк литературы и культуролог о «политической подоплеке литературного процесса и культурной подоплеке политической жизни последнего десятилетия» в очерках 1987 — 2002 годов, писавшихся для «Неприкосновенного запаса» и некоторых других изданий на материале недавней (и давней) истории, а также хроники современной политической, идеологической и литературной жизни, с анализом таких общественных и культурных явлений, как юбилейные торжества по поводу двухсотлетия Батюшкова и Пушкина, Букеровская премия в России, гибель киселевского НТВ, памятник Феликсу Дзержинскому, творчество Александра Галича, Владимира Сорокина, Льва Рубинштейна, Д. А. Пригова, Михаила Гаспарова, Михаила Безродного и т. д.

Иоанн Павел II. Сочинения. В 2-х томах. Перевод с польского и других языков Е. Твердисловой, И. Баранова, А. Махова. М., Издательство францисканцев, 2003, 3000 экз. Том 1 — 608 стр. Том 2 — 480 стр.

Речи, проповеди, размышления, диалоги, философские работы («Личность и поступок»), стихи, пьесы («Свечение отцовства» и «Брат нашего Бога») Папы Римского Иоанна Павла II.

Летопись жизни и творчества С. А. Есенина. В пяти томах. Том первый. 1895 — 1916. М., ИМЛИ РАН, 2003, 736 стр., 1500 экз.

Первый из пяти томов «Летописи...», составленной группой авторов, охватывает период от рождения поэта до выхода его первой книги «Радунца».

Либеральные реформы и культура. Сборник статей. Под общей редакцией и с предисловием Д. В. Драгунского. М., О.Г.И., 160 стр., 1000 экз.

Либеральные реформы, проходившие в 90-е годы в России, сформировали в обществе стойкое убеждение о гибельности их для отечественной культуры. Так ли это? Что на самом деле происходило с нашей культурой в последнее десятилетие? Об этом книга, изданная в рамках исследовательского проекта «Российские либеральные реформы и культура». Социологи и культурологи Лев Гудков и Борис Дубин анализируют литературную культуру, чтение и издательскую деятельность в современной России; киновед Даниил Дондурей — состояние кино (его статья называется «90-е: кино снимали для другой страны»); искусствовед Марина Колдобская — положение в изобразительном искусстве и феномен отечественного арт-рынка. Сборник завершают материалы дискуссии о возможности «либерального проекта» в современной России с участием Натальи Ивановой, Владимира Маканина, Евгения Ясина, политологов Марка Урнова и Сергея Маркова, кинорежиссера Александра Зельдовича и других.

Павел Руднев. Театральные взгляды Василия Розанова. М., «Аграф», 2003, 368 стр., 1000 экз.

Научная монография, представляющая театральные взгляды Розанова и мыслившаяся исследователем еще и как «очерк философии Розанова — но через призму театра»; сопровождается публикациями малодоступных сегодня текстов Розанова на эту тему.

Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е. Литературная энциклопедия. Под общей редакцией Д. Северюхина. Авторы-составители: В. Долинин, Б. Иванов, Б. Останин, Д. Северюхин. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 624 стр., 2000 экз.

Словарные статьи представляют более трехсот неподцензурных авторов, основные литературные группы, издания; отдельно — анализ ленинградского самиздата как явления социокультурного (В. Долинин, Д. Северюхин) и эстетического (Б. Иванов), а также хроника событий с 1953-го по 1991 год.

Топос. Пoesия и проза. Альманах № 2. Составление Даниила Евстигнеева. М., «Парад», 2004, 400 стр., 1000 экз.

Второй выпуск альманаха (о первом выпуске см. «Книги» — «Новый мир», 2003, № 7), издаваемого на основе материалов сайта «Топос» (подробнее о сайте см. «WWW-обозрение Сергея Костырко» — «Новый мир», 2003, № 6). Проза Алексея Варламова, Игоря Клеха, Дмитрия Бавильского, Андрея Башаримова, Аркадия Драгомощенко, Дмитрия Данилова, Андрея Левкина, стихи Михаила Завалова (представленного здесь также и прозой), Владимира Важенина, В. Перельмана, Владимира Богомякова, Сергея Михайлова и других.

Три цвета времени. Сборник публицистических статей. М., «Эслан», 2003, 296 стр., 2000 экз.

Александр Бовин, Евгений Бунимович, Василь Быков, Борис Васильев, Фазиль Искандер, Владимир Кардин, Владимир Новиков, Дмитрий Стахов, Юрий Черниченко, Николай Шмелев, Александр Яковлев и другие в сборнике, вызванном новыми реалиями нашей жизни: «На демократическом российском „триколоре“ стали проступать коричневые пятна, — пишет в своем предисловии издатель книги, политолог Александр Гловели. — На наших глазах пытаются воссоздать пропагандистскую машину, имеющую цель унификации мышления, „духовного клонирования“. Великий русский язык засоряется жаргоном уголовников и надзирателей. Планка гуманистических общественных устремлений резко падает в такой языковой среде. Все агрессивнее вторгается в нашу жизнь милитаристское сознание. Прямая обязанность здоровых сил общества — всему этому противостоять».

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Буквы», «Вестник», «Время новостей», «Газета», «Global Rus.ru», «Двадцать два» («22»), «Дело», «Демоскоп Weekly», «Езупец», «exclusiveИЗВЕСТИЯ», «Завтра», «Знание — сила», «Известия», «Итоги», «inoСМИ.ru», «Колоколь», «Кольцо „А”», «Космополис», «Лебедь», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Московский литератор», «Наша страна», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новая Польша», «Новое время», «Новосибирск», «Подъем», «Русский Журнал», «Русский переплет», «Русский Удодъ», «Rednews.Ru/Советская Россия», «Советская Россия», «Складчина», «Спецназ России», «Станица», «Топос», «Труд», «Урал»

Михаил Абельский. Об одном стихотворении Бродского. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2004, № 357, 11 января <<http://www.lebed.com>>. Медленное чтение стихотворения «Ноябрьским днем» (1967).

Виталий Аверьянов. От Думы к Собору. Политологическая фантастика ближнего действия. — «Русский Журнал», 2003, 29 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>.

«Постсоветский (он же постмодерный) период заканчивается, наступает время собственно новейшей русской истории, когда государственность будет находить органичные формы, отвечающие долгоиграющим константам нашей политической и жизнеустойчивой культуры».

Вольфганг Акунов (представитель Товарищества XV Казачьего Кавалерийского Корпуса бывшего германского вермахта генерала Г. фон Паннвица в России). Казаки Вермахта. — «Станица». Общеказачья газета. В России издается с января 1992 года. 2003, № 2 (40), август <<http://www.stanitz.org>>.

Письмо в газету. «Даже в изданиях последних лет, якобы „сочувственно” описывающих борьбу казаков против большевизма во 2-й гражданской войне, содержатся утверждения о принадлежности казаков XV ККК и Казачьего Стана к войскам СС. 28 февраля 2003 г. Федеральный Военный архив ФРГ сделал очередное официальное разъяснение, чтобы раз и навсегда положить конец попыткам связать честное имя казаков с преступными национал-социалистическими организациями...» Полный текст этого официального разъяснения на немецком языке помещен на сайте <<http://www.Kosaken.ru>>.

См. также: **В. Акунов**, «Генерал Гельмут фон Паннвиц» — «Станица», 2002, № 2 (38), июль; полный вариант этой статьи под названием «Венок на могилу генерала фон Паннвица» см. во втором выпуске журнала «Доброволецъ», издающегося в Москве военно-историческим клубом «Доброволецъ-XX».

См. также: **С. Чуев**, «Казацьи формирования немецких спецслужб» — «Станица», 2002, № 2 (38), июль.

Владимир Алейников. Артур Фонвизин. — «Литературная Россия», 2003, № 52, 26 декабря <<http://www.litrossia.ru>>.

Мемуар о художнике Артуре Фонвизине, май 1965.

См. также: **Владимир Алейников**, «Нет ни участия, ни вести благой» — «Литературная Россия», 2003, № 19-20, 16 мая; «Самиздат моей эпохи» — «Литературная Россия», 2003, № 34, 22 августа; «Белая ворона» — «Литературная Россия», 2003, № 45, 7 ноября.

Сергей Алленов. О национальном соблазне. Артур Мёллер ван ден Брук: от ожиданий «русского Христа» к пророчеству о «третьем рейхе». Вступительная заметка Вячеслава Лютото. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 11 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>.

«<...> Мёллер [1876 — 1925] играл роль посредника между „русской идеей” — прежде всего политической философией Ф. М. Достоевского — и идеологией немецкого национализма».

Юрий Аммосов. Православная церковь в буржуазной России. Размышления в канун западного Рождества. — «*GlobalRus.ru*». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2003, 25 декабря <<http://www.globalrus.ru>>.

«Почему Церкви тяжело дается ее основная задача в современном обществе? Потому что приход умирает».

Юрий Арпишкин. Навстречу перестройке. — «Московские новости», 2003, № 49 <<http://www.mn.ru>>.

«На центральной улице города, именуемой в обиходе саратовским Арбатом, расположен книжный магазин под названием „КниГиня“. <...> Все разделено по рубрикам „Весело жить“, „Родной край“. И в отличие от названия магазина непредсказуемый орфографический триумф „Отечественная мОригинальная литература“. К ней отнесены произведения Владимира Сорокина, Виктора Пелевина, Эдуарда Лимонова, Александра Проханова и даже Фазиля Искандера».

Дмитрий Бавильский. Знаки препинания № 51. Симптомы этого литературно-го года. Часть первая. — «Топос», 2003, 25 декабря <<http://www.topos.ru>>.

«По сути, нынешний бум сериалов на российском телевидении — это продолжение интереса к русской литературе, хотя и в несколько иной, непривычной форме. Главное в сериале что? Диалоги. По сути, это радиопьеса, картинка не так существенна — чтобы можно было заниматься своими повседневными, бытовыми делами, изредка отвлекаясь на то, что происходит в теляшке. <...> Если у нас Жванецкого все писателем называют, то почему бы не называть сериалы книгами? Точнее, симулякрами книг, потому что они только внешне используют литературные дискурсы, сами изнутри оказываясь полыми <...>».

«Нынешняя либра требует сюжета, потому что человеку нужно же на что-то опереться. Оттого и читают (смотрят, слушают) то, что имеет сюжет, длится изо дня в день, несет на себе архетипическое тавро „продолжение следует“... Потому что, если продолжение следует, значит, жизнь не заканчивается на достигнутом, что-то еще случится, совершится, что-то еще будет. „Продолжение следует“ — самая оптимистическая формула из всех нам сегодня доступных. Именно поэтому сейчас так важны большие, пухлые романы с продолжением — в журналах ли, в книгах».

См. также: «<...> критики есть (даже соответствующая академия имеется), а критики нет. Что-то про литру пишут, но это „что-то“ оказывается еще большим вредительством, чем „Кысь“», — сокрушается **Дмитрий Бавильский** во второй части этой статьи («Топос», 2003, 26 декабря <<http://www.topos.ru>>).

См. также роман **Дмитрия Бавильского** «Нодельма» в майском номере «Нового мира».

Павел Басинский. Космополит супротив инородца. — «Русский Журнал», 2003, 31 декабря <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>.

«<...> я знаю Акунина-Чхартишвили. Он стопроцентный западник, стопроцентный глобалист и стопроцентный праволиберал. Все его романы — я уже писал об этом и настаиваю на этом сейчас — насквозь идеологичны. В гораздо большей степени, например, чем сентиментальная „Мать“ Горького или наивный роман-предупреждение Кочетова „Чего же ты хочешь?“. Это тем более любопытно, что на сегодняшний день Акунин — единственный реально удавшийся „либеральный“ проект. <...> В отличие от любых почти иных праволиберальных проектов. Хотя там работали миллионы долларов, крутились сумасшедшие интриги, убивали людей».

«<...> в акунинском идеологическом космосе (для меня лично — искусственном, „непочвенном“ и поэтому неприятном) реально соперничать с великолепным космополитом Фандориным может только великолепный инородец. А поскольку российский космополит — это, как правило, европоцентрист, то соперничать с Фандориным должен был не европеец. Но не чистый иной. Не натуральный японец. Чистое национальное мышление, привычки, верования в акунинской системе координат суть нечто безусловно анахроническое, в лучшем случае — просто смешное. <...> Космополит Фандорин, которому в принципе наплевать на эту бездарную Россию, сражается [в „Алмазной колеснице“] с собственным сыном от японской куртизанки, не зная, что это его сын. Сражается как бы за Россию, против Японии, но на самом деле за очередную порцию пищи для своей вечно голодной гордыни. Побеждает космополит. О-о, естественно! Японец еще слишком японец. Рожей не вышел соперничать с белоснежными фандоринскими бакенбардами. Выблядок ведь, по правде говоря».

Ср.: **Андрей Степанов**, «О фантазиях Басинского и мастерстве Акунина» — «Русский Журнал», 2004, 9 января <<http://www.russ.ru/krug>>; «У Акунина столкновения „национальных духов“ нет вообще. Он не мыслит в этих терминах. <...> Фандорин действительно космополитичен по своему литературному происхождению. Он сконструирован».

рован по крайней мере из трех компонентов: из Шерлока Холмса — британского джентльмена, вооруженного дедуктивным методом; из японского ниндзя — идеального шпиона и непобедимого бойца; из жюль-верновского Инженера — двигателя и рыцаря прогресса. Но все эти три составляющие скрепляет четвертая — русский дворянин с понятием о чести (которое трансформируется в демократическое чувство собственного достоинства — главный предмет проповеди Акунина) и безусловным императивом: своей стране надо служить, причем на самом трудном участке. <...> Служить России, бороться с хаосом, способствовать разуму, прогрессу и цивилизации — вот кредо Эраста Петровича и всех его многочисленных родственников».

Ср.: «Россия — не Англия. Это в сознании читателя викторианской эпохи действительно сложился образ стража общества — сверхчеловека с мощным интеллектом. <...> Следователь в России того времени мог быть другим — с хорошей хваткой и небогатой фантазией, стилем мышления напоминающий бультербера. Вот если бы Акунин вывел русскую вариацию на инспектора Лестрейда, он бы попал в точку. Кстати, один такой герой действует в „Преступлении и наказании“, это Порфирий Петрович, замечающий Раскольникову с педантизмом и грубоватой патетикой: „Вы и убили-с“. Героев, скроенных по типу профессора Мориарти и по типу Лестрейда, могло быть сколько угодно, но Холмсов и Фандориных в России XIX века быть не могло», — пишет Евгений Чубастых («Хроника объявленной смерти» — «Итоги», 2003, № 52 <<http://www.itogi.ru>>).

Павел Басинский. Сердечная культура. — «Литературная газета», 2003, № 52, 24 — 30 декабря <<http://www.lgz.ru>>.

«[Виктор] Курочкин — писатель самый демократический, но, увы, не для всех. Это не значит, что люди, не понимающие Курочкина, дурные люди. Просто они лишены музыкально-литературного слуха, вдобавок, как это ни странно звучит, очень русского по своей природе. Виктор Александрович Курочкин [1923 — 1976] — гениальный русский писатель. Под гениальностью я имею в виду не масштаб творческой личности, но пушкинское понимание гения. Это отсутствие нарочитости, мучительности, „декаданса“ в широком смысле».

Татьяна Бек. Жизнь.doc. — «НГ Ex libris», 2004, № 1, 15 января <<http://exlibris.ng.ru>>.

«В 11-м номере „Нового мира“ напечатана сильная штука (драма для чтения? пьеса-повесть?) Елены Исаевой „Первый мужчина“ с подзаголовком „Театр.doc“, созданная по методике „*verbatim*“, что по-латыни означает „дословно“. <...> Сугубо ли она документальна? Вряд ли. Воля художника проявляется уже в том, какие и каким тоном он ставит вопросы, как, используя эффект контрастных сцеплений, чередует ответы разных персонажей, что именно укрупняет — сокращая. Даже если ничуть (поверим!) не редактирует стенограмму... Замечу между прочим, что вышеописанная методика лишь гротескует универсальные законы прозы вообще <...>».

Юрий Богомолов. «Государство должно контролировать. И никакой цензуры не будет». Триумф национал-социалистических партий может отразиться и на культуре. — «Известия», 2004, № 4, 14 января <<http://www.izvestia.ru>>.

«<...> призрак антидемократического реванша бродит по России. С ним под ручку гуляет призрак госкультуры. <...> Когда-то Хемингуэя спросили: много ли в Америке фашистов? Он ответил: „В Америке много людей, которые еще сами не знают, что они фашисты, но пройдет время — они это узнают“...»

Здесь же — на первой полосе газеты большой материал «Три четверти россиян — за цензурой» в связи с результатами опроса, проведенного социологическим агентством «РОМИР мониторинг»: «76 % россиян считают, что в средствах массовой информации в той или иной форме нужна цензура».

«Что же до 76 %, согласных с введением цензуры, то сильная цифра свидетельствует о том, что $\frac{3}{4}$ сограждан не боятся этого слова, но ничего не говорит о том, как эти $\frac{3}{4}$ это слово понимают», — пишет Максим Соколов («GlobalRus.ru», 2004, 16 января <<http://www.globalrus.ru>>).

«Не цензуры хотят 76 % — они, чуя некое неблагополучие, хотят элементарного профессионализма, уважения к себе, вкуса, ответственности», — пишет по тому же поводу Андрей Немзер («Время новостей», 2004, № 5, 16 января <<http://www.vremya.ru>>).

См. также: «<...> у меня есть стойкое ощущение надвигающегося (а может, уже наступившего) литературного дефолта. <...> На самом деле государство должно вложить в литературу. Как вкладывают деньги в национальную экономику. Мощно. Цельно. Не подачками, а серьезной программой», — пишет Павел Басинский («Литературная газета», 2004, № 1, 14 — 20 января <<http://www.lgz.ru>>).

Владимир Бондаренко. Покаяние грешного Глебушки. — «Наш современник», 2003, № 12 <<http://nashsovr.aihs.net>>.

«Его [Горбовского] неизбежно ожидала судьба Сергея Есенина, Николая Рубцова или Алексея Прасолова. <...> Помните, как его еще в 1962 году оплакивал [в стихах] друг Николай Рубцов? Поразмыслайте над этой параллелью судеб: где сейчас Николай Рубцов и где Глеб Горбовский? Какая-то мистика ведет каждого по своему пути».

Юниль Булатов. Танцульки. Народный роман. — «Новосибирск». Городской общественно-художественный журнал. Издается с мая 2001 года. Новосибирск, 2003, № 2 (6).

«Мамат, отойди. — Ушаков выдернул длинный дрын из того же палисада. — Я своих корешей не обижая. Сам знаешь, но меня тоже надо уважать...» Эдакий *Подросток Савенко*, но — другого времени и с элементами фантазмагории. Печатается в сокращении.

Дмитрий Быков. Прогрессивный паралич. — «Колоколь». Журнал русского мира. Лондон, 2003, № 2 (7) <<http://www.kolokolmagazine.com>>.

«<...> Россия должна отречься от последних десяти лет своей истории и с презрением отказаться от псевдолиберальной идеологии социального дарвинизма, которую ей навязывали десять лет».

См. также: «Дмитрий Быков написал по меньшей мере две статьи, которые мне были полезны», — говорит Эдуард Лимонов в беседе с Еленой Калашниковой («Русский Журнал», 2003, 26 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>).

Екатерина Васенина. Жизнь в буквальном смысле. SMS как примета массовой культуры. — «Новая газета», 2004, № 2, 15 января <<http://www.novayagazeta.ru>>.

«Я очень их люблю. <...> Короткие текстовые сообщения (SMS, short messages service) — по-моему, лучшее, что дал прогресс человеку».

Алексей Венедиктов (главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»). Этика внутри нас. — «Литературная газета», 2004, № 1, 14 — 20 января.

«Я, например, считаю, что воровать плохо, но когда журналист приносит мне украденный документ, что, по идее, вступает в противоречие с моей внутренней этикой, я все равно обнародую его, так как я на службе у своих слушателей, а для них это важно. И это этично. Два года назад действительно мой журналист украл информацию о введении в школах начальной военной подготовки. Этот проект был физически украден — журналист взял листок со стола заместителя министра. Мы обнародовали проект, поставив вопрос, и общество его обсуждало до принятия решения. Таким образом, журналист украл, что абсолютно неэтично по всем законам, но тем самым обществу он принес пользу».

Возможности человеческой противоречивости. Беседу вел Сергей Шаповал. — «Независимая газета», 2004, № 5, 16 января <<http://www.ng.ru>>.

Говорит Виктор Ерофеев: «Мне очень нравится, когда череда человеческих отношений заменяется чередой глав, параграфов и слов. В словах жить лучше, чем в человеческих отношениях».

«<...> в своей стране я литературный маргинал в литературном мире и отнюдь не маргинал в мире читательском».

Ирина Гинзбург (Нью-Йорк). Секс и женщина в Америке. — «Колоколь». Журнал русского мира. Лондон, 2003, № 3-4 (8-9).

Среди прочего — о встрече 1986 года с писательницей *Белл Куфман* (так в электронной версии статьи; у нас принято писать — Бел Кауфман), внучкой Шолом-Алейхема: «ее еврейская ирония, замешенная на русской блядовитости <...>».

Андре Глюксман. Русская рулетка. Перевод Владимира Синицы. — «inoSMI.Ru», 2004, 13 января <<http://www.inosmi.ru>>.

Французский интеллектуал — для «*Die Welt*»: «Я мечтаю о России, которая могла состояться и которая почти состоялась к началу 20-го столетия. <...> Не будь Первой мировой войны и катастрофической большевистской революции, Европа в 20-м столетии была бы озарена русской культурой и могла бы блистать еще сильнее. <...> Мы на Западе обязаны беречь и лелеять нереализованную надежду». Большую часть статьи занимают инвективы в адрес России *реальной*.

Дмитрий Гнедич. Кафка после двадцатого века. — «Топос», 2004, 13 января <<http://www.topos.ru>>.

«<...> двадцатый век совершенно самостоятельно, без всякого вмешательства Закона и вообще правосудия, сделал из девятнадцатого другой мир, которого Кафка не предвосхитил, как трактует распространенное заблуждение, и в котором классический

Процесс, сколько бы леденящей силы он ни хранил для читателя, невозможен. Сошлюсь в подтверждение на несколько фрагментов родного советского нарратива <...>. Далее — о колымских рассказах Шаламова.

Линор Горалик. Ее зовут Барби. — *«exclusiveИЗВЕСТИЯ»*. Иллюстрированный еженедельный журнал. 2004, № 1, январь.

Кукла Барби как ролевая модель и как универсальный культурный символ. <...> если бы Барби ожила, то ее пропорции были бы 108 — 42 — 108 (а такое случается только с одной женщиной из 100 тысяч) и она страдала бы от серьезнейших заболеваний позвоночника. Врачи утверждают, что если бы женщины были Барби, то они не смогли бы рожать детей <...>. Среди прочего: <...> „мама” Барби — то есть кукла, по образу и подобию которой вылепили это воплощение целомудренности, — была героиней непристойных немецких комиксов <...>».

См. также стихи **Сергея Слепухина:** «Скончалась Барби, кровь ее мертва, / Оторваны рука и голова, / И похороны в будущую среду, / Утешен Кен подружкой другой <...>» («Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 12 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>).

Господин «против всех». — «Завтра», 2004, № 1, 1 января <<http://www.zavtra.ru>>.

Господин «против всех» — это Проханов. Публикуется подборка откликов на его роман «Крейсерова соната» (М., «Ad Marginem», 2003).

Андрей Фефелов: «<...> пример религиозной православной прозы Последних времен».

Андрей Смирнов: «В „Крейсеровой сонате” звучит коллективный голос русского красно-коричневого».

Владимир Винников: «<...> позволяет определить „Крейсерову сонату” как памфлет-антиутопию со всем свойственным для такого синтетического жанра — со времен Франсуа Рабле — спектром художественных приемов и прямым развитием всей образной системы данного произведения от Низменного через Комическое — к Возвышенному».

Денис Тукмаков: «Проханов преломил гранат этого мира, и стало видно, что плод полон трухи и тлена, без единого целого зернышка. „Крейсерова соната” — это объявление тотальной войны на истребление грешного мира. <...> Роман этот — метод, инструкция к применению, кодекс поведения. Наконец Проханов дал ответ, как нужно достичь Победы, на что уповать, а что отбросить к чертям».

Владимир Гусев. О любви. — «Московский литератор», 2003, № 24 <moslit.ru>.

«Германн и Лиза у Пушкина (а не в опере), по сути, не любят друг друга. Германну нужна свобода в виде богатства, Лизе нужна свобода от графини. <...> Любит ли Наташа Ростова Андрея Болконского? Большой вопрос. Курагина любит, это видно. Любит ли Обломов Ольгу Ильинскую? А она его? Ну и так далее. Вл. Соловьев вообще разбирается в вопросе, надо ли любить кого-либо, кроме Бога. Я это не к тому, что любви нет, а к тому, что она как раз есть».

Элиезер Дачевич. Ксенофобия: новая волна. Перспективы политического либерализма. — «Русский Удоль». Вестник консервативного авангарда. 2003, № 19, декабрь <<http://traditio.ru/udod19>>.

<...> сам Поппер сформулировал один из главных „скрытых постулатов” либерализма: у этого учения много врагов и с ними следует бороться. Ведь само название его книги содержит упоминание о „врагах”. Более того, в конце своей работы автор разрабатывает целую концептологическую концепцию, объясняющую возникновение философий вроде учения Платона (а ведь именно платонизм, по мысли Поппера, является образцом и основой для всех тоталитарных идеологий). Поппер утверждает, что переход от традиционных „органических” обществ к античным демократиям, организованным в соответствии с человеческим разумом и общими ценностями, прошел с большим трудом. Каста жрецов-правителей потеряла власть и фактически составила заговор против „охлоса”. Результатом этого заговора стали теории исторической инволюции, идеи необходимости „восстановления полноты мистической традиции” и историцистская философия как более утонченный интеллектуальный продукт. То есть на „заговор жрецов-правителей” работает всякая философия, которая предполагает в истории скрытый смысл. Раз есть такой смысл, значит, есть его знатоки и толкователи. Раз они есть, то им и должна принадлежать власть. В результате на страницах сочинений Поппера рисуется картина такого всемирного заговора, по сравнению с которым пресловутые „жидомасоны” — жалкие обитатели ясельной группы детского сада. *Человек, считающий, что у истории есть смысл, скоро додумается до того, что он превосходит остальных и имеет право диктовать им свою волю,* — вот главный пафос попперовских рассуждений. *Этот человек — носитель фашистской идеологии.* Следовательно, чтобы спасти „открытое общество”, необходимо находить такие вот *заболевшие историцизмом* индивиды, а затем подвергать их либо систематическому перевоспитанию (лечению), либо открыто-

му подавлению — это уж лишь зависит от степени их упорства. <...> Иными словами, власть политического либерализма на деле оказывается просто очередной формой диктатуры „жрецов-правителей“».

Михаил Делягин. Экономика второго срока. — «Независимая газета», 2003, № 276, 23 декабря.

«Должен быть установлен абсолютный приоритет национальных законов перед международными, означающий не более чем закрепление естественного приоритета интересов России над интересами ее стратегических конкурентов». Автор — председатель президиума, научный руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук.

Демографические вызовы нового века. Вызов депопуляции. Над темой номера работал Анатолий Вишневецкий. — «Демоскоп *Weekly*». Электронная версия бюллетеня «Население и общество». Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2003, № 139-140, 15 — 31 декабря <<http://demoscope.ru>>.

«<...> по „среднему“ варианту самого последнего прогноза ООН, к 2050 году численность населения России сократится по сравнению с 2000 годом примерно на 30 % и составит 101,5 миллиона человек. Примерно к таким же результатам приходят и российские прогнозы <...>».

Денис Драгунский. Демографический туман и национальные перспективы. — «Космополис». Журнал мировой политики. Выходит четыре раза в год. 2003, № 3 (5) <<http://www.risa.ru/cosmopolis>>.

«<...> иммиграция создает не меньше проблем, чем решает или помогает решить. При этом решаемые проблемы относятся скорее к сиюминутным (заполнение вакансий в промышленности и коммунальном хозяйстве), а возникающие — к долгосрочным и более масштабным».

Ольга Дунаевская. По произволу алфавита. — «Московские новости», 2003, № 49.

В США в монументальном издании «Словарь литературной биографии» вышел том «Российские писатели после 1980 года», составленный профессором Иллинойского университета Мариной Балиной и профессором университета в Колорадо Марком Липовецким. Говорит критик, литературовед **Марк Липовецкий**: «Это для многих российских критиков он [постмодернизм] утратил актуальность, поскольку вышел из моды. А я его как моду не воспринимаю. Постмодернистская игра направлена на освоение точки зрения другого, а это означает намеренный подрыв собственной правоты. Русский постмодернизм еще не приступил к решению этих болезненных проблем и потому остается актуальным и динамичным».

«[Наиболее интересны за последнее время] те [книги], что противостоят упрощению. „Взятие Измаила“ Михаила Шишкина, „Кысь“ Татьяны Толстой, „Старая девочка“ и „Воскрешение Лазаря“ Владимира Шарова, „<НРЗБ>“ Сергея Гандлевского, „Записи и выписки“ Михаила Гаспарова, мемуарные книги художника Гриши Брускина. Радует эволюция Дмитрия Быкова (как романиста) и Андрея Геласимова».

«Студенты [в США] читают Венедикта Ерофеева и Сашу Соколова, Петрушевскую и Маканина, Виктора Ерофеева и Улицкую, Нину Сакур и Евгения Попова. Это, может быть, самая лучшая читательская среда. Ее интерес постоянно подогревается, уж простите, необходимостью получить приличную оценку. Что касается больших книжных магазинов, ориентированных на „простых читателей“, там лидирует Пелевин, за ним следуют Бродский, Толстая, Аксенов и Довлатов (именно в таком порядке). Сейчас в этих магазинах появилась первая книга Акунина <...>».

Ольга Дунаевская. На цветы зла спрос стабильный. Кого из русских писателей читают в Италии. — «Московские новости», 2004, № 1.

Говорит хозяйка римского книжного магазина и издательства «Воланд», итальянская славистка **Даниэла Ди Сора**: «В год мы выпускаем примерно десять книг, русских из них четыре. В 2003-м вышел „День денег“ Алексея Слаповского, томик Луки Мудищева, „Николай Николаевич“ Юза Алешковского и радищевское „Путешествие из Петербурга в Москву“».

Геннадий Жаворонков. Противостояние. В споре с собой. — «Литературная газета», 2003, № 52, 24 — 30 декабря.

Цитирую: «И в конце девяностых, когда не всё (? — А. В.), но многое уже было можно (? — А. В.), вздыбился (! — А. В.) я и позвонил в бывший АПН, требуя (! — А. В.) рязанского телефона Натальи Решетовской, первой жены Солженицына. Там удивились: „А почему рязанский, она давно уже в Москве“. Но (? — А. В.) телефон дали... Я звонил долго и упорно. Рано утром, поздно вечером и даже ночью...»

Может быть, *на рубеже 80 — 90-х?* Когда уже было можно печатать и самого Солженицына. А иначе — откуда эта экзотическая интонация?

Еще цитата из Жаворонкова: «Прямо как у Ярослава Смелякова о том же Пугачеве: „Собрались его бояре у тесового стола. ‘Ну, вяжи его, — сказали. — Снова наша не взяла!’”...»

Стихотворение принадлежит *Давиду Самойлову*, называется «Конец Пугачева» (1968), и звучат эти строки так: «Как его бояре встали / От тесового стола. / „Ну, вяжи его, — сказали, — / Снова наша не взяла”». Тут даже пунктуация — существенна, у Самойлова нет восклицания в конце.

А вот в петербургском еженедельнике «Дело» (2004, № 309, 19 января <<http://www.idelo.ru>>) Валерий Островский цитирует к случаю эти же строки так: «Тут его бояре встали / От тесового стола».

Александр Зиновьев. Будем реалистами. Записал Ж. Касьяненко. — «Советская Россия», 2003, № 144, 25 декабря <<http://www.sovross.ru>>.

«<...> русский народ как единый народ уже не существует, он атомизирован, раздроблен, десятки миллионов обречены на вымирание, и они вымрут в ближайшие десятилетия. Сейчас общее физическое вымирание русских уже идет. Психически и идеологически люди также тяжело больны».

«<...> все равно мир со временем расколется на коммунистическую тенденцию и антикоммунистическую, западническую. Оставить Россию без Компартии в этом мире было бы непростительной исторической ошибкой».

См. также: «Русский коммунизм был молодым и жизнеспособным социальным образованием, находился в самом начале своего исторического бытия, не изжил себя, не одряхлел внутренне. Он был просто убит», — утверждает Александр Зиновьев («Завтра», 2004, № 3, 14 января <<http://www.zavtra.ru>>); это глава из его новой книги «Идеология партии будущего» (М., «Алгоритм»).

Михаил Золотонос. Юность — это повсюду. — «Московские новости», 2004, № 1.

О том, что в пятисотстраничной «Антологии прозы двадцатилетних» (СПб., «Лимбус-Пресс») доминирует позиция *возрастного расизма*, а также *ненависть к мужчинам*. «Вышел манифест не поколения, а переходного возраста и социальной дезадаптации».

Елена Иваницкая. Если Бог есть, позволено абсолютно все. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 11 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

Просвещенный атеист — против Игоря Чубайса («Что после свободы, или Каков маршрут истории человечества» — «Нева», 2003, № 3) и священника Алексея Гостева («Тринадцать тезисов о „порче нравов”» — «Новый мир», 2003, № 5). Название и год опубликования статьи Гостева, как и год опубликования статьи Чубайса, указаны Иваницкой неточно.

Бывает. В январской «Периодике» я почему-то дважды назвал журнал «Вестник» <<http://www.vestnik.com>> — вашингтонским, хотя почтовый адрес редакции — балтийский.

Владимир Каганский. Незамеченные революции. — «Колоколь». Журнал русского мира. Лондон, 2003, № 3-4 (8-9).

«Если процесс протекает быстро, имеет взрывной характер, идет спонтанно, самоподдерживаясь, носит массовый характер, радикально или существенно меняет образ жизни, порождает крупные разносторонние долгосрочные последствия для общества в целом, притом последствия непонятные и непредвиденные; если к тому же в ходе процесса быстро перераспределяется огромная собственность и возникают новые социальные группы, формируются новые образы жизни, — *то мы вправе назвать это революцией*. Исползуем для простоты выражение *дачный бум*...»

Римма Казакова. «Мы жили при номенклатурном социализме, сейчас живем при номенклатурном капитализме». Беседу вел Владимир Нузов (Нью-Джерси). — «Вестник», Балтимор, 2003, № 26, 24 декабря <<http://www.vestnik.com>>.

«*Когда-то, в ответ на вопрос журнала „Юность” о любимом поэте, вы назвали Евтушенко. По-прежнему так считаете?* — Я не совсем одобряю сегодняшнего Евтушенко, покинувшего Россию, но я не из тех, кто меняет знамена. И сегодня считаю, что он внес огромный вклад в русскую поэзию. А то, что он уехал в Америку, я считаю ошибкой. — *А с чего вы взяли, что он уехал? Он — профессор двух американских университетов, просто преподает в них.* — Это все сказки Арины Родионовны. В Москве он иногда появляется, а живет в Америке, там и дети его, и жена».

Руслан Киреев. Андерсен. Превращение гадкого утенка. — «Литература». Еженедельная газета для учителей словесности. 2004, № 1, 1 — 7 января <<http://www.1september.ru>>.

Датский сказочник и его «нареченная сестра» — шведская оперная певица Дженни Линд.

Сергей Костырко. Новейшие этатисты, или О выборе между статусом подданного и статусом гражданина. — «Журнальный Зал. Библиотека журнала „Новый мир“. Дискуссионный клуб», 2003, декабрь <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/diss/litvin/terror.htm>.

Полемический отклик на статью Николая и Анастасии Литвиновых «Антигосударственный террор в Российской империи» («Новый мир», 2003, № 11): «<...> предпринятая авторами переоценка наших представлений о революционном движении в России второй половины XIX века является попыткой принципиального пересмотра и наших сегодняшних представлений о взаимоотношениях гражданина и государства. <...> Логика исторического анализа, которой пользуются авторы, по сути, отрицает идею государства как некоей формы общественного договора. Именно государство, интересы государственных институтов становятся в их статье той определяющей ценностью, с помощью которой анализируются и оцениваются исторические факты».

См. также: «<...> главная, если не единственная функция государства — это обеспечение прав и свобод индивида, каковой индивид добровольно передает часть своих прав и свобод государству — ради обеспечения своих свобод и прав. <...> Иначе это не государство, а какая-то иная (как правило, очень неприятная) форма организации общества», — пишет **Денис Драгунский** («Допрос кolumnиста» — «Новое время», 2004, № 1, 4 января <<http://www.newtimes.ru>>).

Псой Галактионович Короленко. Музыка для чайников. Беседу вели Евгения Воробьева и Санджар Янышев. — «Буквы», 2003, № 0 (нулевой номер).

«<...> сама музыка является наркотиком, поэтому было бы странно принимать один наркотик, чтобы попасть под воздействие другого». Псой Галактионович Короленко — по определению редакции нового иллюстрированного журнала «Буквы» — *поэт, музыкант, шансонье, если угодно, человек-оркестр*. И вообще — колоритный типаж (фотографии впечатляют).

См. также: **Псой Галактионович Короленко**, «Шлягер века» (М., «Новое литературное обозрение», 2003).

Георгий Кохтагора. Московская химера. Архитектура Последних времен. — «Завтра», 2004, № 2, 7 января.

«<...> приходится констатировать, что архитектура изжила себя как знаковая система, как система значений, как символика, как образный язык. Архитектура сохраняет семантику, но она уже не содержит символики. <...> Архитектуры в нынешнем ее виде как искусства уже нет, ибо искусство — это всегда скрываемая за гармонией зримой формы метафизика незримого. Так вот, с вышеизложенной точки зрения не будет преувеличением сказать, что нынешняя архитектура „московского стиля“ говорит с нами языком велеречивой немоты, когда есть активные движения губ, но слов не слышно, а если все-таки попытаться эти движения губ разгадать, выяснится, что губы произносят только отдельные слоги, которые так в слова и не складываются (наука именует подобное явление глоссологией). <...> новая московская архитектура есть в прямом смысле слова архитектура апокалипсическая. И это есть очень смелое, небывало смелое явление — „ноу-хау“, которое с поразительной наглядностью отстаивает тезис о кончине мира».

Антон Кравцов. Уроки бакенщика Исаича. — «Русский Удод». Вестник консервативного авангарда. 2003, № 19, декабрь <<http://tradition.ru/udod19>>.

«Разумеется, Солженицын куда лучше нас всех, перемноженных друг на друга, знает интеллигентско-еврейскую среду (в обеих ее ипостасях — и в российской, и в западной). Поэтому ясно, что, создавая *такую* книгу [„Двести лет вместе“], он не питал иллюзий в том, что она послужит делу „реального примирения“. <...> Солженицын, с его понятной симпатией к старообрядчеству и старой Московской Руси, с его этническим национализмом, подводит читателя к простой мысли — „русские должны стать евреями в якобы собственной стране“. Держаться друг за друга, пропихивать везде своих, создавать криптократические круги. В которые прежде всего не допускать евреев. А если и допускать, то только на вторых ролях и в качестве полезного инструмента. Этакого „шабес-йехуда“. Солженицын намекает на необходимость постоянного лицемерия для выживания русских. Причем лицемерия искреннего, подсознательного. Когда для „внешних“ — одни слова, для „своих“, внутренних — другие. Наружу — только самая добродушнейшая улыбка. <...> Я уже давно замечаю возникшую за последние годы осо-

бенность в поведении собирающейся выпить и закусить русской образованной компании (нашей, к примеру). Если собралась только свои — одни разговоры, один способ общения. Заявился кто-то из „них” — разговор стихийно начинает идти по-другому. Еврея дурачат, перед ним ломают „поучительную и всякого внимания достойную комедию ‘Ручные русские’”. Правда, стоит только тому убраться... Конечно, у евреев всегда происходило то же самое. <...> И Солженицын, обладающий сверхъестественным чутьем и умеющий за годы предчувствовать, куда разворачивается общественное сознание, упредил этот поворот своей книгой. Он словно высветил интеллектуальные *вехи*, обозначающие, куда надо двигаться, а от каких интеллектуальных построений лучше заранее избавиться. В связи с их полной утопичностью и бессмысленностью. „Бакенщик Исаич”, как точно написал в своем давнем стихотворении Е. Маркин, по-прежнему лучше всех знает „дорогу на реке”.

См. здесь же: **Роман Сарецкий**, «Со своим уставом. „Двести лет вместе” и национальная этика»; «Есть ли у русско-еврейского диалога хоть какая-то самая наималейшая перспектива? В контексте „Двести лет вместе”, думаю, нет. <...> „В чужой монастырь со своим уставом не ходят”, — гласит русская пословица. Солженицын к ней не прислушался. Результат — какая-то метафизическая „дыра в земле”, текстуальная правда. Что вырвется из этой дыры и каких дел натворит, никому не известно. Но так или иначе, явление на свет работы „Двести лет вместе” — это некий отзвук шагов Неведомого. Что-то огромное и страшное идет нам навстречу, и мы слышим, как под его ногами дрожит земля».

Майкл Крайтон (Michael Crichton). Отказаться от религии энвайронментализма. Речь в *Commonwealth Club*. Перевод Линор Горалик. — «Русский Журнал», 2004, 4 января <<http://www.russ.ru/netcult/gateway>>.

«Самой серьезной целью, стоящей сейчас перед человечеством, я считаю задачу различения реальности и вымысла, правды и пропаганды. Определить, что есть истина, всегда было нелегким делом, но сегодня, в век информации (или, как я сам его называю, в век дезинформации), эта проблема особенно остра <...>».

«<...> я назову несколько фактов. Знаю, что ничего из этого вы не читали в газетах, так как газеты об этом не пишут. Я скажу, что ДДТ — не канцерогенное вещество и не является причиной смерти птиц, а потому не должно было подвергаться запрету. Я скажу, что люди, наложившие этот запрет, знали об этом — и все же запретили. Я скажу, что этот самый запрет ДДТ послужил причиной смерти десятков миллионов бедняков, по преимуществу детей, чьи смерти на совести черствого технологически развитого западного общества, изыскавшего новую основу для энвайронментализма в фантазиях о пестициде и нанесшего этим непоправимый ущерб третьему миру».

«<...> экологическое движение необходимо, но оно не слишком эффективно, так как приняло форму религии».

См. также: **Андрей Скурлягин**, «Так ли важна экология, как ее малюют?» — «Экономические стратегии», 2003, № 5 <<http://www.inesnet.ru>>.

Геннадий Криваго. «„Новый мир” № 1 и 2 за 2003 год». — «Наша страна». Орган русской монархической мысли. Основан И. Л. Солоневичем 18 сентября 1948 года. Год издания — 56-й. Редактор Н. Л. Казанцев. Буэнос-Айрес, 2003, № 2738, 13 сентября <<http://www.nashastrana.narod.ru>>.

«<...> „Крестный ход” Г[ригория] Петрова поражает другим. Это набор благочестивых повествований вокруг икон царственных мучеников, Царя Николая Второго с семьей. Рассказ напоминает по духу некоторые работы Старого Кирибея, печатавшиеся некогда в „Нашей Стране”. Признаться, — глазам своим не поверил! Ждал, что сюжет обернется насмешкой, снижением... но нет; идея автора остается строго выдержанной до конца. Ай да „Новый мир”! поздравляем...» А вообще — обзор *очень* критический.

Критик как инструмент отбора. «Скрытый сюжет» Наталья Ивановой. — «НГ Ex libris», 2004, № 1, 15 января.

«**Александр Вознесенский**: Это все, конечно, замечательно, но не кажется ли вам, что литература вообще становится в последнее время интересом узкой группы „больных на голову” филологов?»

Наталья Иванова: Не-а!»

Юрий Крупнов. Столица России должна стоять на Тихом океане. — «Русский переплет». Литературный интернет-журнал. 2004, 10 января <<http://www.pereplet.ru/kрупнов>>.

«Наш ориентир — не Запад, а Северо-Восток. <...> Либо Россия станет лидером Северо-Восточной Азии и Тихоокеанского мира, построит на своем Дальнем Востоке мощную и процветающую „русскую Калифорнию”, либо США, Япония, Европа и Ки-

тай совместно с назначенным туземным правительством построят здесь зону безудержной глобализации».

«Этногенез не закончился <...> Северное российское население и особенно невостребованная молодежь может стать „новым племенем“, которое позволит преодолеть идентификационную катастрофу, осуществить этническую реабилитацию и в конечном итоге построить Россию как мировую державу <...>. <...> Создавая новую столицу России на побережье Тихого океана как символ и организационный механизм Новой Восточной политики, продолжения нашего движения по курсу Норд-Ост, мы имеем возможность воспроизвести тысячелетнюю историю России, не дожидаясь гибели страны и не создавая нового государства (нового вообще или нового в результате разрушения старого революционным хаосом)».

Константин Крылов. Да поможет нам Бог. — «Спецназ России», 2003, № 12, декабрь <<http://www.specnaz.ru>>.

«<...> начиная с 1991 года единственной запрещенной к употреблению идеологией в России был и остается русский национализм. <...> Поэтому основное значение победы „Родины“ — идеологическое. То есть — легализация русских националистических идей и настроений, легализация окончательная и бесповоротная».

«Если соединить все эти компоненты вместе, мы получим то, чего хочет народ. Власть национальную („Родина“), народную (КПРФ), смелую (ЛДПР), сильную („Единство“) и недемократическую (непрошедшие). <...> Будет война или нет — так даже вопрос не стоит. Вопрос в том, когда она будет, кто именно нападет на нас первым <...> и в каком настроении мы в нее войдем. <...> Потому что власть национальная, народная, смелая, сильная и недемократическая бывает востребована только в одной ситуации — в ситуации предвоенной мобилизации. <...> Похоже на то, мы — после двенадцати лет разрухи, развала и позора, дойдя до крайней степени унижения и заглянув в собственную могилу — все-таки решились. Решились защищаться».

Куда делась литература? — «Буквы», 2003, № 0 (нулевой номер).

Table-Round: беседуют Писатель (Леонид Костюков) и Критик (Илья Кукулин). Среди прочего — Критик говорит: «<...> есть писатели, абсолютно соответствующие сегодняшнему ритму, но не пользующиеся спросом, например Анатолий Азольский. Это парадоксальный пример автора, как бы взятого из несуществующей русской литературы, с которой „все в порядке“. Его романы были бы бестселлерами в устойчивом, скучноватом, спокойно развивающемся обществе. Как если бы они были фактом австрийской, или шведской, или же французской литературы, общества, в котором все более-менее понятно. Это проявляется на уровне языка, отношения к остальной литературе. Азольский вроде бы писатель известный, лауреат Букеровской премии, однако кто его читал?»

Составителю «Периодики» показалось забавным, что и прямо противоположное утверждение — мол, Азольского читают, но кто о нем пишет? — было бы не менее справедливым.

Диакон Андрей Кураев. Как использовать Закон о свободе совести для защиты православия в школе? — «Москва», 2003, № 12 <<http://www.moskvam.ru>>.

«Один из идеологических догматов посткоммунистической России — это догмат о том, что православия в школе быть не должно. <...> Зная о том, как часто возникают трудности у школ и педагогов, решившихся привнести в свою жизнь хотя бы толику православия, попробую дать несколько советов о том, как с помощью федерального „Закона о свободе совести и религиозных объединениях“ защищать свои права и права детей от насилия со стороны плюралистической идеологии. <...> Закон разрешает говорить в школе о православии. Единственное, что теперь всерьез может помешать детям узнать правду о православии, — это сами православные».

Ср.: Роман Шухевич, Дмитрий Хмельницкий, «Прямой путь к атеизму. Нужен ли российской школе курс православной культуры?» — «Колоколь». Журнал русского мира. Лондон, 2003, № 3-4 (8-9) <<http://www.kokolmagazine.com>>.

Сергей Лексутов. Дело фельдмаршала Кутузова. — «Складчина». Литературная газета. Омск, 2003, № 6 (12), декабрь.

«Любой грамотный пехотный лейтенант, если вдумчиво прочтет в учебнике истории о войне двенадцатого года, тут же углядит массу нелепостей и несообразностей в поведении Кутузова и вообще в ведении им войны». В связи с романом Юрия Куранова «Дело генерала Раевского» (М., 1997). Печатается в дискуссионном порядке.

Либералам надо перестать называть себя правыми. Беседу вела Александра Самарина. — «Независимая газета», 2004, № 1, 12 января.

Говорит **Ирина Хакамада:** «Если под правыми в России мы понимаем складывающийся кланово-государственный капитализм, дополненный религиозностью, пра-

вославием, чуть-чуть рынком и идеей большого, сильного государства, то тогда понятно, что консерваторы (правые) — это на самом деле Путин и „Единая Россия”. Поэтому демократы скорее всего уходят в проект либеральный и социал-демократический. <...> Исторически этот термин — „правые” — для нас уходит. Его забирает власть — и пусть забирает».

Эдуард Лимонов. «Быть как Байрон». Беседовала Елена Калашникова. — «Русский Журнал», 2003, 26 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>.

«Мужчины сильнее. Ахматова слабее Гумилева в сотни раз. Жданов в вульгарном смысле был прав, когда говорил, что эта дамочка „мечется между алтарем и будуаром”. Удивительно точно, и не только с советской точки зрения. <...> Заунывно-занудная [Цветаева]. Гумилева я читал поверхностно, а понял его довольно поздно... может, дорос до него. Мандельштам великолепен. <...> Хлебников, безусловно, гениальный. Он — Пушкин XX века, только еще мощнее. Пушкин выветрился, а Хлебников дико современен».

См. также: «Читаю постоянно <...>. Читал, к примеру, книгу Дмитрия Старостина „Американский ГУЛАГ”, „Антологию современного анархизма и радикализма”, выпущенную под редакцией Алексея Цветкова. Английские и французские книжки читаю — сейчас, например, иллюстрированный сборник об антиглобализме <...>. Я только романы не читаю — мне лень, не люблю. <...> Главное — чтобы это были документальные вещи, не надуманные. Не исторические романы (отвратительный, считаю, жанр!) — так Эдуард Лимонов отвечает на анкету газеты «НГ Ex libris» (2003, № 47, 25 декабря <<http://exlibris.ng.ru>>).

См. также беседу Эдуарда Лимонова с Ириной Колесниковой — *о его стиле, образе жизни* («Война, мясо и женщины — вот моя диета» — «Газета», 2003, 26 декабря <<http://www.gzt.ru>>); «К красному вину дичайше привык. И вообще к вину во Франции за четырнадцать лет жизни. Я довольно неплохо это все знаю, чего не ожидал от себя. <...> Я люблю отличное вино. Я время от времени выбираюсь в магазины и покупаю себе бутылочку-другую какого-нибудь очень хорошего редкого вина. Я получаю удовольствие колоссальное от красного вина».

Владимир Литов. Антироссийская подлость. — «Rednews.Ru/Советская Россия». Информационно-политический портал. 2004, 10 января <<http://www.rednews.ru>>.

«<...> громче всех крича о „правосудии” и „законности”, обличители „сталинских злодеяний” выступают против того, чтобы истина о Катynie была официально установлена в судебном порядке. И понятно почему. Любый суд, тем более международный, вынужден придерживаться определенных процессуальных форм, заниматься, хотя бы для видимости, исследованием доказательств и аргументов сторон».

См. также в настоящем номере «Нового мира» эссе **Владимира Юзбашева** о новом мемориальном комплексе на месте Катьинской трагедии.

Владимир Личутин. От пропасти к себе. Размышления о книге Владимира Бондаренко «Пламенные реакционеры». — «Завтра», 2003, № 52, 23 декабря.

«...Любую плоть с годами донимают хвори; но душа Бондаренко пылает по-юношески, и он, словно неистовый карбонарий, спешит впереди всех, размахивая не острой сабелькой, но зажженным факелом, и под этот свет высматривает в людских толщах грядущих героев, зазывает к себе».

См. также: **Алла Латынина**, «Старшая дочь короля Лира» — «Новый мир», 2003, № 10.

Светлана Лурье. Смертный приговор Киотскому протоколу. — «Спецназ России», 2003, № 12, декабрь.

«Киотский протокол подобен религии, основанной на ряде предположений, которые нам предлагают принять на веру. Сейчас становится все более очевидным, что научно киотская гипотеза о том, что именно промышленные выбросы влияют на потепление климата, научно никак не обоснована. <...> Председательствующий на Всемирной конференции по изменению климата, прошедшей в октябре в Москве, директор Института глобального климата и экологии академик Юрий Израэль заявил, что реализация требований Киотского протокола не окажет существенного влияния на глобальные изменения климата. <...> Ученые из американского университета им. Дж. Маршелла утверждают, что прогнозы по поводу увеличения температуры в наступившем столетии остаются „неизвестными и неизученными” и называют эти прогнозы „медиа-мифом”. Прогнозы климатических перемен основаны на моделях и предположениях, которые „не только не изучены, но и неизучаемы в тех рамках, которые имеют отношение к механизмам принятия политических решений”...»

Ксения Лученко. Интернет по-православному. — «Русский Журнал», 2003, 16 декабря <<http://www.russ.ru/netcult>>.

«Первые православные сайты появились в 1996 году. Но благословение патриарха православные юзеры получили только в 1997 году <...>. В конце 2003 года православный сегмент Сети насчитывает около 1600 ресурсов».

«Церковная пресса, за редким исключением, распространяется на территории одного региона и отражает только местные, даже местечковые, проблемы, зачастую ошибочно принимаемые за реальное положение дел в Церкви. На сегодняшний день только Интернет выполняет консолидирующую функцию, играя не последнюю роль в сохранении единого информационного пространства Церкви».

«Между нами долго была какая-то стена...» Письма К. Чуковского к С. Маршаку. Подготовка текста, вступительная заметка и комментарии Мирона Петровского. — «Егупец». Художественно-публицистический альманах. Киев, 2003, № 12 <<http://judaica.kiev.ua>>.

«Здесь публикуются все 32 дошедших до нас письма К. Чуковского С. Маршаку [1930 — 1963 годов]. <...> По сути, переписку следовало бы начинать не с 1930 года, как в этой публикации, а с 1920-х годов, но начало переписки, к сожалению, утеряно, кажется, безвозвратно. Оригиналы писем находятся в семье С. Маршака; здесь они печатаются по фото- и ксерокопиям из архива К. Чуковского, любезно предоставленным Еленой Цезаревной Чуковской <...>» (М. Петровский).

Приведу один фрагмент: «15 июля 1963. Дорогой Самуил Яковлевич. <...> Был у меня Е. Г. Эткинд. <...> Радует его бесстрашие: недавно Андроников прочитал нам обоем найденное им стихотворение Лермонтова. Я с первых же строк учаял подделку, но обдумывал, как бы поделикатнее сказать Андроникову, который убежден, что это — подлинник. Вдруг Эткинд:

— Неужели вы думаете, что эта пустопорожня дребедень — Лермонтов!

И с ненавистью взглянул на А<ндронико>ва.

Все это — петербургский заквас.

Был у меня еще один замечательный человек: Солженицын. Моложавый, спокойный, с ясными веселыми глазами. Я прочитал английский перевод его „Ивана Денисовича“ — это клевета на солженицынский текст. Сделан перевод Ральфом Паркером...»

Николай Митрохин. От «Памяти» к скинхедам Лужкова. Идеология русского национализма в 1987 — 2003 годах. — «Неприкосновенный запас», 2003, № 5 (31) <<http://magazines.russ.ru/nz>>.

«Весьма показательна в этом отношении трансформация взглядов (и текстов) любимца интеллектуалов [сатирика] Михаила Задорнова, который на рубеже 1980 — 1990-х годов красноречиво критиковал поведение „нашего человека“ на его родине, в начале 1990-х не менее живо говорил о его некрасивом поведении за границей, но к концу 1990-х переключил весь свой сарказм на „тупых американцев“, проигрывающих соотечественникам в знании географии и навыках устного счета».

См. также: Павел Басинский, «Базаров № 7. Задорный *Michael* Задорнов» — «Топос», 2004, 12 января <<http://www.topos.ru>>.

Марина Москвина. Впадайте в детство снова. Беседу вела Анна Эпштейн. — «Новая газета», 2004, № 1, 12 января.

«<...> книгу „Моя собака любит джаз“ я писала в большой печали. Но, как говорит мой учитель *Ошо Радженш* (курсив мой. — А. В.), быть несчастным очень легко. Для этого не надо ни чувства юмора, ни присутствия духа. А чтобы быть счастливым, на это надо иметь огромное мужество и отвагу. Не станем же мы думать, что в этом достаточно жестком мире, вполне материальном, приземленном, хотя бы кто-нибудь сможет улизнуть от испытаний, ради которых он послан на эту землю?»

«Если человек прочел хоть одну мою книжку, он знает обо мне ВСЕ».

См. также: **Марина Москвина**, «Небесные тихоходы. Путешествие в Индию». (Рисунки Леонида Тишкова) — «Дружба народов», 2003, № 8, 9 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>.

Татьяна Набатникова. «Мы получаем то, что заслуживаем». Беседу вел Александр Неверов. — «Труд», 2003, № 240, 26 декабря <<http://www.trud.ru>>.

«Для чего я должна скрывать свой возраст? <...> мне 55 лет, ведь это одна из существенных характеристик личности. Вспомните известное народное выражение: „Бабий век — сорок лет, а в сорок пять баба ягодка опять“. „Опять“ — это не значит, что к женщине возвращается ее биологическая притягательность. Нет, она обретает новое, не меньшее обаяние — личностное. Это довольно точная формула: к сорока годам женщина отрожалась, освободилась от своей воспроизводящей функции, теперь в семье и обществе у нее другое назначение: востребованы ее мудрость, уравновешенность, готовность прийти на помощь, она в профессиональном расцвете. Если женщина не осталась в развитии, она никогда не теряет своей привлекательности — как и мужчина, ведь он после 50 тоже не мачо».

Вадим Назаров. Пусть сторонники «ноосферы» мне возразят! — «Знание — сила», 2003, № 12 <<http://www.znanie-sila.ru>>.

«Нынешний бум с идеей ноосферы — это всего лишь плод не критического эйфорического восприятия всего, связанного с творчеством великого естествоиспытателя, в котором будто *a priori* не может быть места для просчетов и заблуждений». Рядом напечатаны две — вполне «эйфорические» — статьи о научном наследии В. И. Вернадского, принадлежащие перу **Елены Саканян** и **Геннадия Аксенова**.

См. также: **В. И. Вернадский.** «„Коренные изменения неизбежны...” Дневник 1941 года» — «Новый мир», 1995, № 5; «„Жизнь... вызывает меня на общественное дело”. Из публицистического наследия В. И. Вернадского» — «Новый мир», 1994, № 1; «Переписка В. И. Вернадского и П. А. Флоренского» — «Новый мир», 1989, № 2; «„Я верю в силу свободной мысли...” Письма В. И. Вернадского И. И. Петрункевичу» — «Новый мир», 1989, № 12.

Андрей Немзер. Русская литература в 2003 году. — «Время новостей», 2003, № 241, 25 декабря <<http://www.vremya.ru>>.

«Достаточно просмотреть несколько журнальных книжек, чтобы убедиться: слухи о конце русской поэзии сильно преувеличены. При обращении к годовым комплектам картина становится еще более впечатляющей. <...> Сошлюсь на свой опыт: мне в уходящем году помогли жить очень разные стихи — Марины Бородинской, Ирины Васильковой, Ольги Ермолаевой, Светланы Кековой, Эллы Крыловой, Инги Кузнецовой, Веры Павловой, Михаила Айзенберга, Виктора Куллэ, Александра Кушнера, Евгения Рейна, Геннадия Русакова, Александра Тимофеевского... Испытывая неловкость и вовсе не желая принизить тех, кого назвал выше, все же признаю: трижды я чувствовал, что соприкасаюсь с чудом. Так было при чтении подборок Инны Лиснянской „Сорок дней” („Знамя”, № 9) и „Без тебя” („Новый мир”, № 10), светлого плача по ушедшему возлюбленному, мужу, мудрецу, поэту — Семену Липкину. Так было при перечитывании знакомых стихов Максима Амелина, что вкупе с новыми составили книгу „Конь Горгоны” (М., „Время”). Так было при встрече с «Фифия» Олега Чухонцева (СПб., „Пушкинский фонд”; часть стихов тоже печаталась в журналах)».

См. также: **Наталья Иванова,** «Сомнительное удовольствие. Избирательный взгляд на прозу 2003 года» — «Знамя», 2004, № 1 <<http://magazines.russ.ru/znania>>.

См. также: **Елена Стафьева,** «*Vita brevis ars longa est.* Главные культурные события 2003 года» — «GlobalRus.ru», 2003, 29 декабря <<http://www.globalrus.ru>>.

Андрей Немзер. Это было при нас. — «Время новостей», 2003, № 242, 26 декабря.

«В записях Залыгина [„Заметках, не нуждающихся в сюжете” — «Октябрь», 2003, № 9, 10, 11] много горечи и грусти, но — вопреки всему — куда больше мудрой веры в культуру, Россию, человека — и свое дело, журнал, который *должен продолжаться*. Этот мотив организует и замечательный мемуарный очерк Сергея Костырко („Новый мир”, 2003, № 12), озаглавленный словами Залыгина „...Не надо бояться себя”».

См. также: **Андрей Немзер,** «Требуется Посредник» — «Время новостей», 2003, № 243, 29 декабря.

Мирослав Немиров. Все о поэзии — 164. Кушнер Александр. — «Русский Журнал», 2003, 26 декабря <<http://www.russ.ru/netcult>>.

«На самом деле Кушнеру удалось-таки осуществить мечту многих людей быть *неромантическим поэтом* (курсив мой. — *А. В.*); мечту, которой хотели достичь в XX веке все подряд, начиная от Пастернака, Мандельштама и даже Маяковского до Бродского и Кибирова — Пригова — Гандлевского. <...> Ни разу ни у кого этого не вышло: кто то, кто сё, кто алкан, кто авангардист, кто личность номенклатурного на пенсии образа жизни из Перedelкина, кто антисоветского образа мысли, а кто и вообще сидел <...>. Вот Кушнеру — удалось».

«В Кушнере что еще мне нравится — в тех стихах, которые мне нравятся, — что они являются рассудочными рассуждениями. А не просто неким лирическим волнением, как $\frac{3}{4}$ всех остальных стихов, в том числе и самых замечательных. То есть я имею в виду, что движущая их сила, пружина и исходный перводолчок — рассуждение, а не одна эмоция и валы вдохновения. Чем это хорошо? Точней, чем это лучше, чем те стихи, которые — — ? Да, собственно, ничем — но тех-то сколько угодно, а вот таких — у одного Кушнера они только и получают».

«Интересно еще, что о Кушнере еще с 1970-х неизменно положительно отзывался в своих многочисленных статьях злобный старикашка и упертый авангардист Вс. Некрасов, который вообще-то написал огромное количество статей в первую очередь для того, чтобы всех остальных, кроме своих лианозовцев, заклеить — всех без исключения, как официальных поэтов, так и подпольных, — бездарями и прохиндеями. А вот Кушнер у него — всегда упоминается в положительном смысле».

Николай Никонов. Закон милосердия. Опыт трактата. Публикация А. А. Никоновой. — «Урал», Екатеринбург, 2003, № 12 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

«В моем детстве о милосердии не говорил никто. Слово это считалось как будто вымершим. Его никогда не употребляли ни мой отец, ни моя мать, ни окружающие меня люди. Оно было словно за пределом прошлого, и особенно того прошлого, которое лежало за красной чертой революции...»

Редакция «Урала» предупреждает: «Над этим своим опытом трактата писатель, прежде чем вынести его на суд читателей, хотел бы еще основательно поработать, но, к сожалению, сделать этого не успел». Произведение, датированное 1990 годом, публикуется в большой мемориальной подборке «Памяти Н. Г. Никонова. Из литературного наследия».

Вадим Нифонтов. Дети Марии. Триумф и катастрофа «Бесконечного тупика». — «Русский Удодъ». Вестник консервативного авангарда. 2003, № 19, декабрь <<http://traditio.ru/udod19>>.

«<...> Розанов сочинил столько всего, коснулся столько тем, что именно его творчество, а не „Евгений Онегин“ должно быть названо настоящей энциклопедией. Правда, не русской жизни, а — русского ума. Это интеллектуальный поэт. Странно, что у нас его считают „философом“. Тем не менее почти все русские вопросы Розанов „проговорил“, а на многие из них дал сразу по несколько ответов. Совокупность его текстов — это настоящая карта русского ума, всех его самых темных, мрачных, пыльных закоулков... „Путешествие по Розанову“ до сей поры представляет собой одно из интереснейших и опаснейших занятий».

«Я прочитал „Тупик“, сделал соответствующие выводы и стал совсем по-другому смотреть на жизнь. Сам же автор [Галковский] продолжил кружение в лабиринтах сознания русского уицраора и забрел туда, куда, возможно, совсем не следовало бы забредать».

См. также: «Прочитал „Опыты“ Монтеня. Первая стадия индивидуализма — это конструирование дефектной личности. <...> Монтень — это переход от юродства к кокетству. Кокетство Монтеня еще достаточно неуклюже, все мысли сопровождаются монотонным рефреном: „я некрасивый, я необразованный, у меня больные почки, моя книга составлена из ворованных мыслей и т. д.“. Кроме того, кокетство по-детски наивно. Например, Монтень хвастается блестящим воспитанием и доходит до раблезианского гротеска: усилиями его отца не только он сам, но и все крестьяне в округе начали говорить по-латыни» — так **Дмитрий Галковский** отвечает на новогоднюю анкету газеты «НГ Ex libris» (2003, № 47, 25 декабря <<http://exlibris.ng.ru>>).

См. также: **Сергей Иваньшин** «Выстрелы из „Посева“. Галковскому, составителю „Черной книги имен“» — «Советская Россия», 2003, № 122, 30 октября <<http://www.sovross.ru>>; «Галковский явно наслаждается возможностью безнаказанно хулиганить на печатных страницах. Он не просто выливает на головы своих жертв — первого советского посла В. В. Воровского и двух его помощников по работе в Народном комиссариате иностранных дел в 1920-х годах — ушаты словесных помоев, но делает это с особым цинизмом...»

См.: **Дмитрий Галковский**, «Обаятельная личность. Вацлав Воровский как памятник-кариатура» — «НГ Ex libris», 2003, № 34, 25 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>.

См. также: **Дмитрий Галковский**, «Святочный рассказ № 5. „О том, как Воровкин Захлебкина убил“ (В. Пеленин)» — «НГ Ex libris», 2004, № 1, 15 января.

См. также: **Дмитрий Галковский**, «Десятинадцатый век. Святочный рассказ № 13» — «Новый мир», 2004, № 3; о *Розанове*.

См. также: «Сегодня же при чтении этих статей потребности спорить с автором [Галковским] уже не испытываешь. И не потому, что соглашаешься с содержанием высказанного или с пафосом самого высказывания. Отнюдь. Просто тексты Галковского поменяли функцию. Десять лет назад они были интеллектуальной провокацией. Сегодня — констатацией неких вполне утвердившихся реалий идеологии и социопсихологического состояния общества. Ну а с реалиями не спорят. <...> Отдельным разделом в книге Галковский поместил статьи своих оппонентов. Ценность этих текстов сегодня историческая. Не более того. А включение автором этих текстов под обложку своей книги, то есть выгораживание некоего отдельного (когда-то отдельного) дискурса под названием „Галковский“, — это жест победителя», — пишет **Сергей Костырко** («Родиться Рабиновичем» — «Русский Журнал», 2004, 13 января <<http://www.russ.ru/culture/literature>>); речь тут идет о публицистической книге Дмитрия Галковского «Пропаганда» (Псков, 2003); см. о ней статью **Аллы Латыниной** в настоящем номере «Нового мира».

Ефим Островский. Записки о контрреволюционном мюзикле. — «Литературная газета», 2003, № 52, 24 — 30 декабря.

«Не просто самый известный, но и, наверное, один из самых любимых постсоветскими <...> людьми текстов советской эпохи. И при этом воспринимается

текст „12 стульев” [Ильфа и Петрова] большинством его „любителей” как текст-манифест специфической интеллигентской „свободы”, а его главный герой — как антисоветский герой-трикстер, Локки советской мифологии. С другой стороны, трудно себе представить текст более советский, более социалистический, более насыщенный инструментами классовой борьбы коммунистов со своими историческими жертвами-противниками. <...> И парадокс состоит в том, что этот текст до сих пор воспринимается широкими кругами нового класса новой России в качестве „своего”, чуть ли не в качестве классического текста новой правой культуры».

Парадоксальная мечта. Писатели о книгах: вчера и завтра. — «НГ Ex libris», 2003, № 47, 25 декабря.

Говорит **Сергей Есин:** «Мне трудно сказать за весь год. А что касается ощущений последнего времени, то большое впечатление на меня произвели, конечно, в первую очередь удивительные мемуары Анны Василевской, напечатанные в „Новом мире” [2003, № 12]. <...> Это удивительные мемуары, написанные о деревне простым словом и слогом русских людей, которые никогда не занимались такой рафинированной вещью, как писание и писательство. Второе, что меня заинтересовало [в „Новом мире”], — поразительные записки Солженицына о писателях. Где он с присущей ему внутренней силой высказывает то, что мы даже не позволяли себе сформулировать, — например, о Василии Гроссмани, да и о других писателях».

Дмитрий Перевозов. Самый быстрый самолет. Лирическая повесть по американским впечатлениям. Предисловие В. Добрякова. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 12.

«<...> белки в Америке не рыжие и не такие пушистые. <...> Ну и страшилище: темно-коричневая шкурка, куцей хвост, злобная мордочка и маленькие, бегающие черные глазки». Впечатления студента Воронежского университета, выигравшего грант на обучение в США (курс журналистики).

Иван Плотников. Политическая деятельность П. П. Бажова. — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 1.

«Мы вновь убеждаемся, что Бажов вплоть до октября 1917 г. или состоял в партии социалистов-революционеров (а с ноября 1917 г. — в образованной партии левых эсеров), или, что совершенно ясно, работал под их идейным руководством, служил их партийному делу, на все посты выдвигался ими».

Здесь же — большая подборка материалов к 125-летию со дня рождения П. П. Бажова.

М. А. Поджарский. Конфликт цивилизаций. — «Демоскоп *Weekly*», 2003, № 139-140, 15 — 31 декабря <<http://demoscope.ru>>.

Глобальные общественные перемены и *термодинамика открытых систем*. Впервые статья была напечатана в «Вестнике Национальной академии наук Украины» (2002, № 11), ныне публикуется с незначительными изменениями и сокращениями. «Ее цель — показать, что мировые процессы, участниками которых мы сегодня являемся, имеют природу, которая не считается с нашими желаниями».

Польско-украинские отношения после II мировой войны. Беседу вел Лешек Вонтубский. — «Новая Польша», Варшава, 2003, № 11 (47), ноябрь.

Говорит президент Общества польских ученых Украины, профессор **Генрик Стронский:** «Хотя никаких документов, подтверждающих, что ОУН-УПА собиралась физически уничтожить польское население на спорных территориях, все еще нет, некоторые факты указывают на то, что антипольская операция была проведена на всем контролируемом УПА пространстве и началась в определенное, хорошо согласованное время. <...> Волянь, где располагались довольно многочисленные вооруженные формирования украинцев, а поляки составляли несомненное меньшинство, была местом самых жестоких расправ с польским населением».

См. также: **Александр Гогун,** «1943: украинско-польская трагедия» — «Посев», 2003, № 9 <<http://posev.ru>>; «Весной — летом 1943 г. на территории Западной Украины началось вооруженное украинско-польское противостояние. Две антикоммунистические и антинацистские силы — польская Армия Крайова и Украинская повстанческая армия <...> — начали не только войну друг против друга, но и массовое истребление мирного населения».

Понимание человека — это общее дело. Беседу вел Игорь Шевелев. — «Московские новости», 2004, № 1.

Говорит **Михаил Гаспаров:** «Дореволюционное российское „классическое образование” — совсем не идеал: сосредоточившись на греческой и латинской грамматике, оно

душило несколько поколений и сумело расширить свой культурный кругозор лишь накануне революции».

«„Аристократы [духа]” — выражение метафорическое и обычно значит: особая порода хороших людей, обычно наследственная. Мне не хочется верить, что такие люди существуют как порода, но, конечно, это только потому, что я не чувствую этой аристократичности в себе самом».

«<...> если бы его [прогресса] не было, то мы бы здесь не разговаривали с вами, потому что сто — двести лет назад по статистической вероятности один из нас умер бы в младенчестве. А мы вот живем, и молодые люди живут. <...> Мою коллегу, с любовью изучавшую средневековую культуру, спросили: „В каком веке вы хотели бы жить?” — „В двенадцатом”. — „На барщине?” — „Нет, нет, в келье!”»

«Есть еще и четвертое значение [слова „интеллигенция”], самое точное, оно употребительно на Западе: „те, кто получили образование, дающее доступ к власти, но за отсутствием вакансий не получили власти и поэтому дуются”; но у нас оно не в ходу».

«<...> я счастлив быть его [Аверинцева] современником».

Аркадий Попов. Это страшное слово «империя». — «Независимая газета», 2004, № 2, 13 января.

«В современном мире (как и в несовременном) по-настоящему жизнеспособны лишь империи. <...> Сейчас уже, слава богу, мало кто вдохновляется анархической идеей упразднения государства. Осталось сделать следующий шаг и понять: государство и империя — это синонимы. <...> всякое устойчивое надплеменное образование — всякое государство — есть империя. Большая или маленькая. Особенность момента состоит в том, что маленькие империи, лукаво именуемые „национальными государствами”, свой век отжили. Точнее, отжила свой век идея, будто за ними будущее». Это — позитивный отклик на Чубайсову «либеральную империю». Автор — сотрудник аналитического отдела группы «Меркатор».

См. также: **Анатолий Чубайс**, «Миссия России в XXI веке» — «Независимая газета», 2003, № 209, 1 октября; полностью — «Посев», 2003, № 12, декабрь.

Псалмы Давидовы в переводах С. С. Аверинцева. — «Егупец», Киев, 2003, № 12 <<http://judaica.kiev.ua>>.

«Прежде всего иного, у истока всех церковных славословий и ликований, в непредставимой, уму непостижимой дали времен — и все же, надо сознаться, совсем близко, словно бы голос из глубины нас же самих: Давидовы Псалмы. <...> Потом придут сложные мысли, упорядоченные вероучительные тезисы. Усложнятся и культура чувства, и навыки выражения чувства; в том числе и чувства религиозного. И благословенна эта сложность, ощущаемая, скажем, в греческих текстах византийских песнопений, в европейской и русской поэзии духовной сосредоточенности. Сложность — богатство накопленного из поколения в поколение. И не прав был Лев Толстой, когда ему хотелось разрушить сложные системы догматики, и литургии, и дисциплинирующих условностей культуры — ради опрощения. Но ведь когда-то сердце просит простоты: не опрощения и не упрощения — первоначальной простоты. Когда-то нужно перечувствовать не то, о чем думали позднее, а первичный, исходный опыт. Как узнали не такие и не такие тонкости, а самое главное, самое простое: что Бог вправду — есть?» (из предисловия С. С. Аверинцева).

rms1. Двести лет вместе — записки из подполья. — «Русский Удодъ». Вестник консервативного авангарда. 2003, № 19, декабрь <<http://traditio.ru/udod19>>.

«<...> „Урфин Джюс” во многом отражает видение Советской России человеком, выросшим в России царской».

«От редакции: текст, который мы предложили читателю, многие, конечно, могут счесть бредом. Однако, на наш взгляд, автор как раз весьма близок к истине. Практически все элементы истолкования сочинений [Александра] Волкова, приведенные здесь, уже приходили кому-то в голову. Достаточно поискать в Интернете ссылки на словосочетание „Урфин Джюс”. <...> Следуя своему принципу — „все, что может быть сказано, должно быть сказано”, — мы публикуем эту логически законченную попытку восстановить „внутренние основы” волковского языка. Нам кажется, что такой анализ полезен для понимания определенных аспектов русской психологии».

Евгений Сабуров. Постлитературоцентричная общественная жизнь. — «Неприкосновенный запас», 2003, № 5 (31).

«До сих пор в обществе не изжиты экономические бредни Льва Толстого и не менее бредовые представления Федора Достоевского о политическом развитии России».

Бенедикт Сарнов. Голос крови. — «Двадцать два» («22»). Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, № 130 <<http://club.sunround.com/club/22.htm>>.

«Ни в 1911-м, ни в 1913-м, ни год спустя, в 1914-м, когда мрачные пророчества Владимира Жаботинского стали уже сбываться, ни даже в начале 20-х никто еще не мог всерьез предполагать, что движение мировой истории пойдет *не по Ленину, а — по Жаботинскому*. Между тем случилось именно это». А вообще — статья об Эренбурге.

См. также о книге Бенедикта Сарнова «Наш советский новояз» критическую рецензию Владимира Рудинского в органе русской монархической мысли «Наша страна»: Буэнос-Айрес, 2003, № 2740, 22 ноября <<http://www.nashastrana.narod.ru>>.

Максим Свириденков (Смоленск). Сбросим Пушкина с парохода современности. — «Литературная Россия», 2004, № 1, 16 января.

Очень молодой прозаик почему-то уверен, что «Белую березу / Под моим окном...» Есенин «своровал у Фета». Имеется в виду фетовское: «Печальная береза / У моего окна...» Напечатано в рубрике «Нигилистические экзерсисы».

Павел Святенков. К философии меньшинств. — «Русский Удодъ». Вестник консервативного авангарда. 2003, № 19, декабрь <<http://traditio.ru/udod19>>.

«Чем либеральнее система — тем больше становится меньшинство. <...> чем больше развита страна, тем большим влиянием обладают меньшинства. Чем больше свобод и прав предоставляет гражданам государство — тем больше меньшинств образуется на его территории. <...> Неуловимо, мягкими шагами капитализм уходит в тень. Возможно, что уже в течение ближайших нескольких столетий или, кто знает, десятков лет он канет в небытие. Точно так же, как внутри феодального строя зарождался капитализм, внутри капиталистического строя зарождается новое общество, которому пока нет названия. Его социальные структуры видны уже сейчас. На место классового общества и наций идет общество прав человека и меньшинств».

Слово прощания. Памяти Владимира Богомолова. — «Завтра», 2004, № 2, 7 января.

«Скончался последний рыцарь советской военной прозы, последний рыцарь советского офицерства Владимир Осипович Богомолов — легендарный разведчик и не менее легендарный писатель. <...> Главной же своей книгой Владимир Богомолов считал „Момент истины“. Это его высочайшая художественная реабилитация военной разведки. <...> Он не кривил душой и в годы „перестройки“, он откровенно ненавидел ее. <...> Вечная память герою!» (Владимир Бондаренко и все сотрудники газеты «Завтра»).

См. также: **Леонид Колпаков**, «Сердца моего боль. Последний разговор с Владимиром Богомоловым» — «Литературная газета», 2004, № 1, 14 — 20 января <<http://www.lgz.ru>>.

См. также: **Николай Иванов**, «В декабре две тысячи третьего...» — «Литературная Россия», 2004, № 1, 16 января <<http://www.litrossia.ru>>.

Александр Старостин. Шепот звезд. Роман. — «Москва», 2003, № 12.

Занимательно — о советских летчиках-героях — в духе Анатолия Азольского.

Андрей Степанов. Чехов и постмодерн. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 11.

«Акунин с самого начала своей пьесы [„Чайка“] оказывается в одной парадигме с современным театром, испытывающим невероятные трудности в постановке классики, которую следует переделать так, чтобы зритель не заскучал».

«<...> литературные тексты „переводятся“ на язык детектива. Другое дело, что это язык с довольно узким словарем и что при переводе любая черта гиперболизируется. Чистую гиперболу представляет и Треплев — маньяк, убийца животных. Это снова кажется невероятным, но ведь убил же он и у Чехова чайку — неизвестно зачем. И его пьеса при „переводе“ в детектив получает гротескное, но неопровержимое прочтение: это мечта об уничтожении всего живого, и человек последовательный будет эту мечту осуществлять».

См.: **Борис Акунин**, «Чайка» — «Новый мир», 2000, № 4.

Андрей Столяров. Сумерки богов. — «Колоколь». Журнал русского мира. Лондон, 2003, № 3-4 (8-9).

«Итак, выиграть четвертую мировую войну Запад не в состоянии. Но может ли он хотя бы не проиграть ее? Да, если западные страны сделают ставку не на промышленность, а на качественное перерождение. <...> Для победы Западу нужны сверхлюди, носители сверхчеловеческих качеств, и они могут быть созданы с помощью генной инженерии и других достижений медицины и прикладной биологии. В принципе возможно сообщить человеку способность видеть в темноте и слышать в ультразвуковом диапазоне».

не, быстро заживлять раны, модифицировать в известных пределах форму тела, с помощью вживленных микросхем считывать радиосигналы противника, напрямую встраиваться в эфир и перехватывать управление его электронной аппаратурой. Штабной компьютер станет периферийным устройством мозга солдата; ракеты, танки и самолеты — естественным продолжением его рук и мыслей. Самое важное здесь, что человек новый будет жить в совершенно ином времени — упреждая и опережая противника сразу во всем оперативном пространстве. Эти сверхлюди, людены, смогут победить, — но Запад, иудео-христианская цивилизация, победителем из новой войны не выйдет. Победят в этой войне те, кого еще нет».

Александр Тарасов. Левая сцена в России в начале XXI века. — «Неприкосновенный запас», 2003, № 5 (31).

«„Зеленые“ радикалы в России группируются в основном вокруг Социально-экологического союза и российских ответвлений „Гринпис“ и „Хранителей Радуги“. При чем „Хранителей“ можно смело назвать анархо-экологической организацией, то есть самой левой из перечисленных. Радикальные экологисты отличаются от других течений левой молодежи повышенной „текучестью кадров“. К „зеленым“ часто приходят старшеклассники, в голове у которых — идейная каша и которыми движет единственное (вполне понятное и естественное) желание: как-то остановить или хотя бы ограничить тот производ, который творится в природоохранительной области, то есть остановить разорение и разворовывание чиновниками и бизнесменами заказников и заповедников, варварскую вырубку леса, незаконную охоту, захват земель и тому подобное. Многие из этих новобранцев, надо признать, люди искренние, но не очень грамотные и очень наивные. Часто их взгляды нельзя назвать левыми. Но, столкнувшись с повальной коррупцией на местах, с защитой властями явных нарушений природоохранного законодательства, с нежеланием бизнесменов соблюдать санитарные нормы и с демонстрационным нанесением ими ущерба здоровью сограждан ради прибылей, с полицейским произволом и преследованиями, наконец, эти молодые люди становятся убежденными врагами капитализма. Часто они настолько левеют, что уходят из экологистских организаций — например, в анархисты. То есть группы радикальных „зеленых“ выступают зачастую как „школы политической борьбы“ для молодежи. Поэтому реальный масштаб их воздействия на молодежную среду куда больше их формальной численности. Например, у „Хранителей Радуги“ нет фиксированного членства, организация имеет лишь 2 — 3 десятка функционеров, но по „хранительским“ правилам членом организации может называть себя каждый, кто принимал участие хотя бы в одной крупной акции „Хранителей Радуги“. В ежегодных лагерях протеста „Хранителей“ участвует до тысячи человек (а бывает, что за лето организуется 2 или даже 3 лагеря). А всего через акции „Хранителей Радуги“ прошло 5 — 6 тысяч человек».

Автор обзорной статьи — заведующий отделом ювенологии Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс», эксперт Информационно-исследовательского центра «Панорама».

Марина Токарева. Счастье — это я сейчас. — «Московские новости», 2003, № 48.

Говорит **Даниил Гранин** — в дни своего 85-летия: «Сегодня я счастлив оттого, что изжил в себе ненависть к немцам. Изжил иллюзии всех партий. Изжил заблуждения по поводу руководителей страны любого ранга. Сегодня я могу писать все, что хочу, говорить все, что хочу, хотя иногда не знаю, кому это надо. Могу ехать куда захочу. Хотя уже никуда не хочется. Другой жизни не будет. Литература, искусство, в общем, игра. И можно быть счастливым. При всех моральных, материальных и общественных неурядицах. Надо ценить настоящее! Только настоящее».

См. также беседу **Даниила Гранина** с **Аркадием Сосновым**: «Литературная газета», 2004, № 1, 14 — 20 января <<http://www.lgz.ru>>.

Виталий Третьяков. Новый Европейский Завет. Евроатлантическая цивилизация и стратегия ее выживания. — «Литературная газета», 2003, № 52, 24 — 30 декабря.

«<...> Россия не только Европа, но и территориально большая ее часть, причем такая часть, которая, будучи расположена на Востоке, благодаря исключительно собственным усилиям сумела, во-первых, вестернизировать и христианизировать (то есть европеизировать) гигантские пространства от Урала до Тихого океана (и Аляску тоже, между прочим, передав ее затем другому протуберанцу Европы — США), во-вторых, фактически присоединить к Европе не только все эти сибирско-дальневосточные территории, но еще и все пространство Средней Азии, сегодня называемой Центральной».

«На мой взгляд, стратегия единства Евроатлантической цивилизации (ЕАЦ) перед лицом внешних и внутренних угроз и вызовов, бросаемых ей сегодня историей, должна включать в себя в общих чертах как минимум следующее: 1. Признание и докумен-

тальная фиксация единства и трехсубъектности евроатлантической цивилизации путем подписания Евросоюзом, Россией и США Евроатлантической Хартии и создания Евроатлантического Союза (ЕАС). В Хартии должны быть зафиксированы главные из следующих ниже положений. 2. Признание единства евроатлантической цивилизации на основе принципов: христианской культурной и цивилизационной традиции; демократии и ответственного — в интересах всей евроатлантической цивилизации, ее отдельных стран и народов, ее граждан — использования института гражданских и демократических прав и свобод; отказа от силового способа разрешения внутренних (внутрицивилизационных) конфликтов и недобросовестной конкуренции во всех областях и сферах, включая идеологическую; признания исторического лидерства и высшей исторической ответственности трех главных субъектов евроатлантической цивилизации — Европы (Европейского союза), России (Российского Союза), Америки (Соединенных Штатов Америки), в том числе ответственности трех главных субъектов ЕАЦ за исторически вверенные им канонические территории. 3. Учреждение Евроатлантической Ассамблеи (предпарламента) ЕАС, работающей на постоянной основе, в числе главных задач которой будет разработка Конституции ЕАС; создание коллективных институтов, необходимых для соблюдения общих интересов «новой Европы» до принятия Евроатлантической Конституции; неизбежная ликвидация устаревших международных организаций и структур, не отвечающих интересам сообщества как единого целого и до сих пор функционирующих на ее территории. <...> Все основные международные институты современного мира были созданы 50 — 60 лет назад. И большинство из них, как мы видим и знаем, безнадежно устарело».

Три толстяка. Журнальная полка Сергея Белякова. — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 1.

Среди прочего — о статье Натальи Ивановой «Новый агитпроп: в „правом” интервью и „левом” пейзаже» («Знамя», 2003, № 10 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>): «Я не стану спорить с Натальей Ивановой „по всем пунктам” <...>. Коснусь только одной темы — Великой Отечественной войны. Представление об этой войне не только как о величайшей трагедии, но и как о свидетельстве мужества советских солдат, мощи и величия державы, разгромившей фашизм, спасшей славян от рабства, а евреев и цыган от гибели, занимало прочное место в самосознании народа. Герои войны почитались почти как святые-мученики, сама Победа стала незыблемым авторитетом. Развенчание мифа о Великой Отечественной войне в конце восьмидесятых — начале девяностых было, на мой взгляд, тягчайшим преступлением. <...> Бесконечные разоблачения в конце концов сотворили новый миф. Миф этот заключается в следующем: воевали советские солдаты плохо, страна к войне была не готова, советские военачальники были все сплошь тупоумными мясниками, бросавшими солдат не в бой, а на убой; победили же мы немцев только потому, что „трусами закидали”. <...> На робкие попытки вернуть прежнее отношение к войне автор [Наталья Иванова] отвечает гневной тирадой: Победу она называет „кровавой” и советует перечитать романы Георгия Владимова и Виктора Некрасова для того, чтобы узнать, как „бессовестно жертвовали военачальники” жизнями солдат. Но разве историю изучают по романам? <...> Хотим мы того или нет, но возвращение части старых, еще советских, мифов неизбежно. И если и можно в наше время что-то принять безусловно и безоговорочно, так это возвращение к старому мифу о войне».

См. также: **Наталья Иванова**, «Ностальгическое. Собрание наблюдений» (М., «Радуга», 2002); «Скрытый сюжет. Русская литература на переходе через век» (СПб., «БЛИЦ», 2003).

Елена Тюрюканова. Женщины и современный миграционный режим. — «Космополис». Журнал мировой политики. 2003, № 3 (5).

«Эксперты Минтруда, осуществляющие мониторинг выполнения Российской Федерацией международных норм в области положения женщин, подчеркивают, что обязательства, взятые нами в связи с подписанием Конвенции 1949 г. [о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами], никто не отменял, поэтому легализовать проституцию мы просто не имеем права — для этого надо как минимум денонсировать эту Конвенцию».

Ф. И. Тютчев. Письма к жене Эрнестине Федоровне Тютчевой. — «Москва», 2003, № 12.

Восемь писем к жене 1841 — 1847 годов. Печатаются в переводе с французского, выполненном Л. В. Гладковой по автографам специально для нового Полного собрания сочинений Тютчева.

См. также: **Федор Тютчев**, «„И верит сердце в правду и любовь...” Тютчев в письмах к жене Эрнестине» — «Наш современник», 2003, № 11, 12 <<http://nashsovr.aihs.net>>;

«<...> приводимые нами письма — лишь большие или меньшие выдержки из всего текста, просмотренного и подготовленного женой поэта для возможной публикации», — предупреждает во вступительном слове Геннадий Чагин.

О первых томах Полного собрания сочинений Тютчева см. сразу две рецензии в майском номере «Нового мира».

Богдан Цивинский. О национальном самосознании. — «Новая Польша», Варшава, 2003, № 10 (46).

«Речь пойдет о польскости. Что это такое? Вероятно, общее национальное самосознание поляков — но что это значит, все еще неизвестно, ибо у каждого из нас есть некое самосознание. <...> Видимо, национальное самосознание — это нечто общее для нас и отличающее нас от других. По-моему, это что-то слишком расплывчатое».

«Думаю, что для нашей культуры, для нашей самоидентификации, для польскости важно было то, что в Европе мы были младшими».

«<...> период своего величайшего процветания Европа переживала, когда у нас не было своей государственности. Лучший период истории Европы — это 1815 — 1914 годы. И если кто-нибудь скажет, что не может быть счастливой Европа без свободной Польши <...> то он попросту соврет».

«Мы можем и должны быть в Европе. Но мы сами и наши партнеры должны сознавать, что мы — не кусочек мозаики, который подойдет к замкнутой территории Европы. Мы не будем подходить — мы будем выдаваться. Мы будем неудобным элементом этой Европы. Мы всегда были неудобными».

Это — запись выступления историка и публициста Богдана Цивинского (род. в 1939) на Конгрессе польской культуры (Варшава, 2000).

Час «Ч». Социальные всходы «Гилеи». Записал Даниил Торопов. — «Завтра», 2004, № 3, 14 января.

О книжной серии «Час „Ч“ — современная мировая антибуржуазная мысль» рассказывает директор издательства «Гилея» **Сергей Кудрявцев:** «Изначально приоритетным направлением было литературно-художественное. Ну, скажем так, область „антитрадиционной“ литературы — авангард или анархизм в искусстве. Общественно-политическая серия, имеющая отношение к идеям социального переустройства, возникла полтора года назад. За это время в ней вышло пять книг. В ближайших планах — сборник текстов Ульрики Майнхоф, книга французского автора, посвященная антиглобализму, и коллективный теоретический труд участников итальянских „Красных бригад“. Переход „Гилеи“ к подобной литературе прежде всего был связан с моими личными настроениями. Я для себя разобрался в ситуации, понял, что здесь [в России] создается новое общество социального неравенства, можно сказать, произошла буржуазная революция и возникает существенное новое расслоение, проектирующее обнищание большого количества населения. <...> Название „Час ‘Ч’“ связано с тем, что в какой-то момент в нашей стране и во всем мире неизбежно наступит время, когда произойдут радикальные преобразования на благо всех, всех без исключения».

Теодор Шанин. «Для меня важно, что я в жизни не согнул колен перед человеком или Богом». Беседу вел Валерий Коновалов. — «Известия», 2004, № 4, 14 января.

Говорит создатель и руководитель Московской высшей школы социальных и экономических наук, кавалер ордена Британской империи **Теодор Шанин:** «Я — атеист. <...> С двенадцати лет. До этого меня воспитывали в религиозном духе, особенно дед. Но однажды я решил, что религия несовместима с наукой. И сказал об этом маме. Она спросила: что же из этого следует? Я сказал, что больше не буду молиться. С тех пор так и живу. <...> я поставил себе вопрос: есть ли вещи, которые являются для меня абсолютными ценностями? Продумывая это, я начал с десяти заповедей. И пришел к тому, что, собственно говоря, ни одна из них не абсолютная ценность для меня. Они являются ценностями, но не абсолютными».

Николай Шмелев. Привезли раненого партизана. — «Кольцо „А“». Литературный журнал. Союз писателей Москвы. 2003, № 25.

Мемуары — на этот раз «про научную жизнь». См. также: **Николай Шмелев,** «Curriculum vitae» — «Знамя», 2001, № 2 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>; «Пустыня мертвая. И небеса над ней...» — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 7 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

Виктория Шохина. Новый Органон Сергея Чупринина и его «негров». — «НГ Ex libris», 2004, № 1, 15 января.

Долго ругает двухтомный словарь-справочник Сергея Чупринина «Новая Россия: мир литературы» (М., 2002 — 2003).

Михаил Эпштейн. Проективный словарь философии. Новые понятия и термины. № 6. — «Топос», 2004, 14 января <<http://www.topos.ru>>.

«**Видеология** (*videology*, от лат. *video* смотрю, вижу, греч. *eidos* вид, образ и греч. *logos* слово, учение) — совокупность визуальных средств воздействия на общественное сознание; обработка умов посредством изобразительного ряда (реклама, кино, телевидение, изобразительные искусства, электронные средства коммуникации). <...> Если власть правит извне, системой принудительных мер и предупредительных кар, то слава правит изнутри, через клетки головного мозга, через зрительные нервы: психическая диктатура. <...> Идеология разделяла: плохое и хорошее, чужое и свое, полезное и вредное. **Видеология** разделяет: зрелищное и незрелищное, яркое и тусклое, знаменитое и безвестное, т. е. основывается на эстетических, а не на этических категориях. Если идеология настраивает за или против тех или иных явлений, действует в двузначной системе оценок (плюс и минус, белое и черное), то **видеология** создает многоцветные образы, которые действуют глубже, как раздражители мозговых клеток, вызывая подражательную реакцию у адресата видеовоздействия. <...> Идеология взывает к желанному будущему, **видеология** превращает его в иллюзию настоящего. Идеология требует поступков, **видеология** настраивает на созерцание. <...> То, что происходит в России и во всем мире, — это кризис идеологий вообще; если демократия и вытесняется сейчас какой-то иной властной структурой, то именно **видеократией** (см.). <...> Спор всех идеологий, либеральных и консервативных, национальных и космополитических, религиозных и секулярных, завершается их общим поражением — и победой **видеологии**».

Это критика. Выпуск 20. Беседу вел Михаил Эдельштейн. — «Русский Журнал», 2003, 26 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>.

Говорит **Никита Елисеев**: «Я очень плохо выражаю свои мысли. Остается успокаивать себя тем, что мысли мои слишком неожиданны и парадоксальны, чтобы выразить их достаточно точно».

«Да: самая мощная традиция современной русской литературы и критики — розановская. А коль скоро она (эта традиция) столь мощна, то, стало быть, в ней плодотворного ровно столько же, сколько губительного».

См. также рецензию на книгу Н. Елисеева «Предостережение пишушим» (СПб., «Лимбус-Пресс», 2002): **Елена Иваницкая**, «Весело и убедительно, точно и смешно» — «Знамя», 2003, № 12 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Это критика. Выпуск 21. Беседу вел Михаил Эдельштейн. — «Русский Журнал», 2004, 8 января <<http://www.russ.ru/krug>>.

Говорит **Евгений Ермолин**: «Бог встречается с человеком и в литературе. Конечно, лучше, наверное, получить базисные сведения о Боге из Библии, а не из современной литературы. Но я верю, что Бог говорит с миром и человеком *сегодня*, что Он *особым* образом раскрывается во *всяком* личном опыте».

«<...> нельзя недооценивать позорный провал игрового релятивизма и доморощенного пандемонизма в искусстве. Это главное литературное событие начала XXI века. Реализм же в искусстве — я уверен — никогда не устареет, не кончится. Он был всегда и будет всегда, составляя главное, а иногда и единственное содержание искусства в любую эпоху».

«Будущее России — это будущее ее литературы. Не будет литературы — не будет и России. Не будет России — хотя бы литература останется как памятник духовной Атлантиде. <...> Это, может быть, даже Сталин понимал здоровым краешком своей больной, растленной души...»

«Сеть для меня — это пространство свободы. А свободу нельзя не любить, как Бога».

«Любить — одно, а питать надежды — другое. Я и Немцова с Хакамадой люблю, и Чубайса с Ходорковским. А что толку? Ну, я молюсь о них».

«Я — идеалист и в смысле чаяния высшего, стремления к целокупно-позитивному идеалу».

«Много ругают последние рассказы Маканина, а я их ставлю высоко именно как предельно драматичное изживание безыдеальности нашей жизни...»

«Из [критиков-]современников мне ближе всего Игорь Виноградов <...>. И очень ценю я Ирину Роднянскую».

«<...> критик — это бездонное, притом инструментализированное чувствилище, инструментализированный интеллект, гиперболизированный настрой на диалог. Он берет везде, где хоть что-то есть. А литература (включая и критику) — это ж почти райский сад и одновременно адская бездна. В ней есть все. И все дается практически даром и в дар. Это — из лучшего, что нам вообще дается судьбой».

Составитель **Андрей Василевский.**

«Арион», «Вопросы истории», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Октябрь»

Эльвира Горюхина. «Ой, да все мы не чужие...» Хождение по можаевским деревням. — «Дружба народов», 2003, № 12 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>.

История о том, как никому не оказалась нужна книга Бориса Можая «Земля ждет хозяина». Хождение автора очерка закончилось *живыми* можаевскими деревнями, а до того она побывала во фракциях и партиях, пытаясь передать книгу тем, кому она предназначена. Блажен, кто верует. А деревни и вправду — чудные. Полезное чтение для городского жителя. «Я постоянно ощущала внутреннюю тревогу. Фокус моего восприятия начал двоиться. Я поняла, что никогда не сумею увидеть землю так, как ее видел Можая, родившийся в Пителине и никогда не покидавший села, даже если жил в Москве. Он бы не попался в силки, которые умеет расставить пителинский мужик залетной птице. <...> Устыдил бы тех, кто пустил в заповедные рязанские леса московских крутых начальников, скупивших народное богатство на корню. Мне этого не дано. Найдется ли в литературе голос-заступник за мужика, который и по сей день клят и мят, как сказала одна пителинская баба? Услышим ли этот голос?»

Голоса-то есть. Слышно плохо.

Владимир Губайловский. Полоса прибоя (о жанре поэтической миниатюры). — «Арион». Журнал поэзии. 2003, № 4 <<http://www.arion.ru>>.

«В периоды тотальной ломки парадигм, кризиса и разрушения иерархий (а мы переживаем сегодня именно такой) тяжесть и зарегулированность собственно поэтической речи может ощущаться как серьезный недостаток. Нужно говорить о том, что видишь и чувствуешь, сейчас и здесь, желательно без оглядки на *дискредитировавшую себя* (? — П. К.) традицию. И тогда легкость и точность формулировок и свобода в выборе содержания становятся крайне важными, и поэтическая миниатюра в этом первичном освоении действительности играет очень важную роль. Не боясь ошибиться, можно сказать, что сегодня миниатюра — это самый распространенный жанр поэтического народного творчества».

Напомню: в предыдущем номере «Нового мира» мы с вами узнали, что А. В., создатель и *сотворник* «Периодики», тоже не прошел мимо этой забавы (см. поэтический цикл «Политика» в рубрике «Опыт» — «Новый мир», 2004, № 3). Приятно также удостовериться, заглянув в предыдущие «Периодики», что в выборе миниатюр из арсенала журнала «Арион» мы с Губайловским совпадаем.

Петр Елифанов. О жизни и смерти. Простые рассказы. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 12 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

Их три: «Паломник по святым местам», «Двоеданка» и «Зайчик милый». Подзаголовок к названию подборки исчерпывающе точен. Автор (род. в 1965) печатал некоторые свои вещи в журнале «Русская провинция», живет, как сказано в биографической справке, «при одном из монастырей». Ничего сусально-безжизненного в этой прозе нет, она написана современным человеком. Между прочим, в каждом рассказе так или иначе присутствует «старообрядческая тема», оборачивающаяся подспудной мольбой о примирении, вере и чистоте.

Ирина Ермакова. Все на свете вещи. Стихи. — «Арион», 2003, № 4.

И оживая опять с утраца
славлю день кофейным глотком кипящий
славлю солнце пьющее воду с лица
вслед ночным затыжым обложным косящим
в каждой Божьей капле и каждой луже

ранний свет с московским его блеском
наостренных трав зеленые уши
гром колец трамвайных на Павелецком
сладкий дым над крепостью пития
славлю радость: *радуйся радость моя!*

И взвилась радость и закрутила
поднимая листья камни слова
все на свете вещи и существа —
у меня воздушная перспектива

Евгений Ермолин. Зима и лето Евы. — «Знамя», 2003, № 12 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Печальная история: вдумчивый критик и талантливый читатель попробовал написать об Инне Лиснянской. Оговорившись и предупредив, привел мириады цитат, поде-

лил свое исследование на темы («Самосознание поэта», «Путь к Богу», «Невольный и вольный затвор», «Образ эпохи» и т. д.). Что-то прозорливо заметил, о чем-то догадался. И ничего не получилось. Все утонуло в собственной и *выбранной* словесной массе. Яркого путевода по стихам и судьбе не вышло. Может, потому, что не вполне найден был *собственный* угол зрения, не создан сюжет, а рассказ-пересказ с дополнениями заменил возможное вживание в другой язык, другой мир? Не знаю. Обидно, что такой добросовестный труд (более пригодный для реферата) не стал открытием.

Анна Кузнецова. Женский вопрос. — «Арион», 2003, № 4.

«...Нет, все ж ошибался Волошин, говоря о лирике (женской) в отличие от лирики личности (мужской): чем дальше лирика от личности, тем дальше она от поэзии вообще — не случайно интерес к женской лирике в начале XX века больше походил на научный: *что* она мне расскажет, а не *как*, казалось куда важнее. На самом же деле — только *как* у женщин-поэтов иное: женский мир исчисляется в бесконечно малых величинах, чем и обогащает поэзию, когда женщина — поэт, когда она говорит на языке своей личности, преображающем и родовое, и фольклорное — в индивидуальное и уникальное. <...> Все дело в том, что поэтическое в нас — никак не род. Стихи пишет та мельчайшая точка *индивидуальности*, которая — как лейбницевская монада или борхесовский Алеф — содержит и отражает все ведущие к ней ступени *общего*. Общеженского. Общечеловеческого. Она не исчерпывается и не определяется ими, а посему — никак не обобщается, а значит, не ложится и в *гендерный дискурс*. Она вообще не поддается никакому изучению, а только выражается на единственном, по мнению Мартина Хайдеггера, пригодном для этого языке — поэтическом. Поэтому их — поэтесс — не сотни, заполняющие антологии, а единицы. Как и поэтов».

Инна Лиснянская. А память возрастает на пепле печали... Стихи. — «Дружба народов», 2003, № 12.

Завершающий подборку цикл «В море дождя» открывает (когда-то замечательно опробованную) *водную* и *подводную* темы в поэтическом мире И. Л.:

Не боюсь я под воду спуска,
Где все рыбы мерцают лунно.
То я — в раковине моллюска,
То я — смерч на трезубце Нептуна, —

Беззаботна в морской пучине,
Затыкающей рот скорбящий,
Убаюкивающей в тине
День прошедший и настоящий.

И главный герой всего этого — тот, кто недавно ушел от нее, кого она — создатель и героиня этого мира — вспоминает, как сама говорит в стихе, «по любому поводу».

Хосе Ортега-и-Гассет. Психология интересного мужчины. Перевод с испанского и примечания Вс. Багно. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 12.

Эссе написано в 1925 году.

«Я готов сказать (естественно, отдавая себе отчет в уязвимости сравнения), что любовь напоминает скорее литературный жанр, чем природную силу. Немалое число моих читателей, не потрудившись вникнуть, тут же сочтут это сравнение нелепым. Бог с ними. Оно и вправду было бы неприемлемым, если бы претендовало на полноту, между тем единственное, на что я претендую, так это на уверенность в том, что любовь — это не столько инстинкт, сколько творчество, к животному началу в человеке отношения не имеющее. Для дикаря она не существует, древний китаец и древний индус о ней не знают, грек эпохи Перикла едва догадывается о ее существовании (тут идет интересное пространное примечание, но я оставляю его читателю эссе. — *П. К.*) И пусть мне докажут, что эти два обстоятельства: быть творением духа и возникать в определенные эпохи человеческой культуры — не характеризуют наилучшим образом литературный жанр. <...> Еще раз подчеркну, что непременным условием любви я считаю наитие, придающее исключительность личности человека, которому наше чувство отдало предпочтение».

Ослиная шкура. Письма Фридриха Ницше 1881 — 1883 годов. С немецкого. Перевод и предисловие Игоря Эбаноидзе. — «Дружба народов», 2003, № 12.

Из предисловия: «Кстати, с изданием избранных писем Ницше ситуация довольно странная — полноценного тома не было до сих пор даже в Германии. Существует, правда, научное полное критическое собрание сочинений Ницше, включающее помимо прочего полтора десятка томов его переписки. Однако издательство „De Gruyter“, выпускающее эту академическую серию (результат многолетней работы итальянских и немецких филологов), пока не дает лицензии на издание избранных писем философа,

хотя такой отбор в последнее десятилетие, во всяком случае в Германии, производился. В результате читатель по-прежнему довольствуется переизданиями подборки, сделанной восемьдесят лет назад Рихардом Олером, родственником сестры Ницше Элизабет. Методы архивной работы Элизабет Ферстер-Ницше, как известно, были разрушительны; немудрено, что и олеровская подборка насквозь тенденциозна, не говоря уж о том, что включает в себя фальсифицированные сестрой философа тексты. Уже по окончании работы над переводами для данной публикации я сопоставил свою подборку с олеровской: совпадение на данном этапе биографии Ницше — всего четыре письма. Олеровский Ницше не общается с Лу Саломе, не конфликтует с сестрой, не иронизирует насчет антисемитизма, не оставляет неоконченных загадочных фраз, не испытывает отчаяния и неуверенности в своих силах, сетует в меру и с достоинством. И даже толком не сходит с ума. Стойкий оловянный солдатик, который так и простоял все время на столе, и даже неизменно, растаял ли в печке. В таком образе философ до сих пор предстает широкому читателю».

Только не у Игоря Эбаноидзе: вслед за его пространным эссе-предисловием (я привел только *деловую* часть), обнаруживающим глубокий интерес к «герою», идет подборка из 32-х мучительных/счастливых/растерянных/победных писем Ницше.

Сергей Плотов. Мои заветные книжки. — «Арион», 2003, № 4.

«Путешествие Нильса с дикими гусями», «Буратино», «Тимур и его команда», «Шерлок Холмс» и «Карлсон». Однообразно-избыточно, но смешно. Что-то вроде поэтического приложения к «Родной речи» Вайля и Гениса. Центонно-реминисцентное здесь поглубже и поплотнее, чем у Кибирова или Ремонта Приборова (изредка «публикуемого» Кенжевым). Там, где прошел Плотов, даже самому насмешливому постмодернисту делать уже нечего: пальца не просунешь.

Поэтический раскол (о поэзии старообрядцев). Вступительное слово Максима Амелина. — «Арион», 2003, № 4.

Воистину «музейная», но «оживляющая» публикация. «Содержательная сторона лирики старообрядцев не слишком разнообразна, строго очерченный круг тем довольно узок: апокалиптические настроения; покаяние и спасение; отречение от мира, погрязшего в нечестии... И только удачным обретением формы можно объяснить необычайную эмоциональную силу лучших стихотворений. Их анонимные авторы прежде всего пеклись о выразительности, о силе воздействия на читателя, знающего заранее, о чем ему поведают стихи. Общие переживания, пропущенные через личность, вновь превращались в общие при прочтении и указания авторства не требовали. В этом видится вовсе не дань древнерусской традиции — потому как полемические, например, сочинения того же времени всегда подписывались, — но особенность лирического самоощущения. <...> Даже столь беглый обзор демонстрирует поразительное богатство скрытых или почти нереализованных возможностей русского стиха. Возможностей особенно актуальных в то время, когда стих этот в очередной раз оказался на перепутье — между однообразной рифмованной силлаботоникой, с одной стороны, и попытками воспроизвести свободный стих западноевропейского образца, выросшего из совсем иных, чем русский поэтический строй, предпосылок, — с другой».

По-моему, особенно замечателен огромный «Стих брачный».

Владимир Пшеничный. Я поставлен здесь точкой... Стихи. — «Октябрь», 2003, № 12 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

12-й номер журнала по традиции отдан новым именам. Многое вполне читается, но кроме прозы покойного сотрудника «Октября» Александра Филимонова да подборки критических заметок студийцев историко-филологического факультета РГГУ о Третьем международном фестивале «Биеннале поэтов в Москве» (руководитель Дмитрий Бак) в памяти остались еще верлибры молодого томского поэта. На его стихи мое читательское внимание обратил Григорий Соломонович Померанц, за что я ему благодарен. Обрести в такой поэтике и ритм, и нерв, и мысль, и музыку можно, видимо, только естественным, *природным* путем, что Пшеничному, судя по стихам, удастся. Прочитать хотелось бы все четыре текста, они совершенно разные и по темам, и по напряжению. И хорошо держат друг друга. Заинтересовавшихся отсылаю к журналу.

Геннадий Русаков. Стихи Татьяне. — «Арион», 2003, № 4.

В *продолжающемся* цикле особенно примечательно поразительное трехчастное «Большое стихотворение» — сочный метафизический автопортрет человека/души/бытования.

«Смоленский архив» как «зеркало советской действительности». — «Вопросы истории», 2003, № 9 — 12.

«Партийные документы „Смоленского архива“ — это коллекция материалов с грифом „секретно“, „совершенно секретно“, „не для печати“. Право на дозированную ин-

формацию, не предназначенную для других, создавало у рядовых членов партии иллюзию приобщения к власти и гордость доверием, оказанным им. Так было и в 1920-е, и в 1930-е годы».

Публикация завершается документами по поиску «врагов народа» (в конце 30-х), когда верноподданныческие рапорты старому большевику, секретарю обкома Румянцеву плавно перетекают в анафему ему же и его «приспешникам». Л. Чуковская в своей «Софье Петровне» (1939) оказалась более чем точна. Если б не документы, в *реальность* этой фантазмагории поверить было бы трудно: чтобы хоть как-то отчитаться о поиске врагов в Смоленской областной больнице, уполномоченный НКВД сообщает о том, что зловерный главврач не посоветовался с механиком, как надо правильно ремонтировать бак для воды...

Приведу один документ из «ранних», с сохранением особенностей написания. Это секретный циркуляр Духовишинского уездного комитета РКП(б) Смоленской губернии от 20 октября 1923 года. «Ответсекретарям ячеек РКП(б). О распространении слухов. По имеющимся сведениям в уезде, по уезду начинают ходить слухи о том, что якобы намечается и проводится целый ряд мобилизаций партработников для поездки в Германию с целью организации там переворота. Уком разъясняет, что никакой мобилизации не производится и не будет и такие слухи являются абсолютно ложными и провокационными. С другой стороны уком полагает, что подобные слухи могут исходить или от коммунистов, которые очень часто делятся со своими женами о разных сведениях и предположениях, иногда даже с **БЕСПАРТЕЙНЫМИ** или сеются с определенной целью нашими врагами. А потому вам на закрытом собрании ячейки предлагается разъяснить всем членам партии о **НЕДОПУСТИМОСТИ ПОДОБНОГО РОДА БОЛТЛИВОСТИ**, а вообще указать, что **ВСЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ СТРОГО СЕКРЕТНЫМИ И НИКАКОЙ ОГЛАСНОСТИ**, в том числе и горячо любимой жене, **НЕ ПОДЛЕЖАТ**. В отношении этих же слухов **ВОЗЛОЖИТЬ НА ОБЯЗАННОСТИ КАЖДОГО ЧЛЕНА ПАРТИИ СОБИРАНИЕ ЭТИХ СЛУХОВ И ОТ КОГО ОНИ ИСХОДЯТ** и срочно доносить в уком в секретном порядке [подписи]». Последнее распоряжение, подписанное ответсекком Плюхиным, особенно прелестно.

См. также: Кн. Алексей Щербатов, «Из воспоминаний» — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2003, № 233 <<http://magazines.russ.ru/nj>>; о том, как вывезенный немцами *Смоленский архив* был обнаружен в 1945 году в Баварии; мемуарист на тот момент служил в американской армии.

Леонид Тимофеев. Дневник военных лет. Публикация О. Л. Тимофеевой. — «Знамя», 2003, № 12.

Мы уже отмечали дневниковые записи известного отечественного филолога Л. И. Тимофеева (1904 — 1984). Первая публикация («Знамя», 2002, № 6) касалась 1941 года, московской паники, умонастроений тогдашней интеллигенции, размышлений о ситуации в Европе и остальном мире. Нынешняя публикация — о 1942 и 1943 годах. Найдя этот дневник какой-нибудь особист или донеси кто — Тимофеева бы сразу расстреляли.

Привожу фрагмент, лично мне напомнивший некоторые события августа 1991 года: «Забавен разговор с Фадеевым Кирпотина в ночь на 16/Х, передаваемый Кирпотиним. Оба они винят друг друга в скандальном провале Союза в те дни. Фадеев винит Кирпотина в бегстве, а этот уверяет, что он уехал по приказу Фадеева... Тот позвонил ему 15-го в ночь и сказал — уезжай. Распоряжение Щербакова. Но как же с писателями? Никаких сантиментов. Война! В Союзе жгут документы. Позвони сам Щербакову. Тот позвонил и не застал Щ. Опять звонит Фадеев. Щербакова нет. Уже нет?! Я говорил тебе, что он сказал, чтобы ты ехал, и Кирпотин поехал... Говорят, что А. Толстой везде живет по-царски. В Ташкенте у него квартира в 6 комнат и казенное содержание!.. А Вирта, когда эшелон ехал в Ташкент и не хватало пищи, проделывал следующие номера: выходил на станции в военной форме и, показывая начальнику на вышедшего из купе погулять Чуковского, говорил: „Я — его адъютант. Фамилию его называть не могу. Но если у него не будет продуктов, будет скандал в международной прессе“. В вагон спешно несли всяческое съестное и звонили на следующие станции, что едет международный старик и что ему надо приготовить дары. Вирта дал в „Знамя“ роман, очень скверный, „Империя“, написанный в манере Хлестакова».

«Французский роман», или Краткая история отношений издательства «Советский писатель» (в лице Н. Лесючевского) и писателя И. Эренбурга, случившихся в 1957 — 1958 годах, когда выходила книга «Французские тетради». Публикация, вступительная заметка и комментарии А. И. Рубашкина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 12.

Хорошо читать на два голоса. И никакой «Иванькиады» или «Шапки» не надо. Чистое искусство многословной брехни в духе: «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». В ка-

кой-то момент понимаешь, что письма эти — не только еще одна уродливая примета эпохи, но и памятник определенному человеческому состоянию. Вот что происходило с людьми, когда они подписывались на то, чтобы их имели — подробно, неустанно, со знанием дела. После года этих мучительных эпистолярных отношений вымотанный вконец товарищ Эренбург обратился повыше. И книжечка сразу вышла. А следы романа остались на память историкам литературы. Довольно гадко.

Игорь Шайтанов. В «конце века» — в начале тысячелетия. — «Арион», 2003, № 4.

Критический путеводитель по десятилетию существования «Ариона», «журнала, своим названием претендующего на то, чтобы спасти поэта и поэзию». В знаменательном мемуарно-аналитическом очерке Шайтанова встречаются короткие озадачивающие сообщения, из которых следует, что автор накрепко посвящен в стратегию, тактику и политику развития издания. И с Алехиным на короткой ноге. Иначе откуда обозревателю знать, что знаменитый поэт В. появлялся в журнале «в первый и единственный раз», что известная поэтесса Н. «останется автором „Ариона“», а не менее известная С. «больше не появится». Потом смекаешь: так это на текущий момент, на прошедшую десятку. Но Шайтанов тоном и мыслью предупреждает: *этих* не будет, *в линию* не вписываются.

В тексте много говорится о соотношении полистилистики и метафизики («ключевых словах в разговоре о современной поэзии»), отношении к ценностной иерархии, определяющей эти понятия, «конце века», редком даре сохранения *своего* голоса. Вспоминая опубликованное год с лишним назад стихотворение Олега Чухонцева «Век-затолжник, каинова печать...», Шайтанов итожит:

«Каинова печать, рамена, горение металла, горло, в котором замирает, нет, не божественный глагол, а хрип, горло, обернувшееся горлышком выкипевшего чайника. Полистилистика?

Формально — да. По сути же этого, формального, слова недостаточно. „Можно все взорвать“, можно, конечно, провозгласить конец всему и по новой — начало всего, но „убивец страх“... Страх от боязни вседозволенности, от того, что „можно все“. Остается, преодолевая себя, преодолевая страх, — сказаться не хрипом, а словом.

Формально — *полистилистика*. По сути — *метафизическое ощущение жизни*, протекающей здесь и сейчас, но имеющей смысл лишь ввиду несиюминутной иерархии ценностей. Поэтическое напоминание о ней дается с трудом. Слово проговаривается с усилием и звучит не так гулко, как бывало. Сегодня само достоинство поэзии определяется в процессе выбора — между полистилистической вседозволенностью и метафизической затрудненностью речи».

Елена Шварц. Из книги «Трость скорописца». Стихи. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 12.

.....
 Что держит нас, что нам уйти мешает?
 Незнание, неверие в Другое?
 Иль просто это — протяженность жизни?
 И сладостно — мучительное в нас
 Скольжение ее прозрачной лески,
 Что чувствуем мы — кончится крючком.
 Но пусть скользит и мучит — пусть мгновенье.
 Но я — другой, я — птица, я — бродильня,
 Пока во мне кристаллы песнопенья
 Не растворятся до конца во мраке —
 Я петь желаю.

(«Из Марло»)

Г. М. Шмелев. Русская православная церковь, ее деятельность и экономика до и после 1917 года. — «Вопросы истории», 2003, № 11.

Подробнейшая статистика, некоторые данные публикуются впервые.

Очень понравились мне цитаты из Ленина (статья «Духовенство и политика» и другие), который в начале десятилетия годов ратовал за привлечение верующих рабочих в партию, а непривлечение духовенства к политической жизни считал «архиреакционным». Это потом, после переворота, он призывал расстреливать священников и требовал «ликвидировать мощи во всероссийском масштабе» (постановление Совнаркома (1920) по предложениям Наркомюста). Или: «Я за исключение из партии участвующих в обрядах» (1919).

Признаться, я и не знал, что к 1939 году разгром церкви дошел до того, что в стране не осталось *ни одного* действующего монастыря. Что же до смертей, то за годы советской власти было убито 200 тысяч священнослужителей.

Автор доводит свою хронику — через агитационные послабления в войну и новые хрущевско-брежневские гонения — до наших, перестроечных и постперестроечных дней с их «развитием рыночных отношений», «возрастанием общественной роли православной церкви в современной России, как и ее воздействием на социально-экономические процессы и нравственность граждан».

Составитель Павел Крючков.



АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



ДАТЫ: 29 апреля (12 мая) исполняется 95 лет со дня рождения прозаика Юрия Осиповича Домбровского (1909 — 1978).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Апрель

5 лет назад — в № 4 за 1999 год напечатана повесть Бориса Екимова «Пиночет».

15 лет назад — в № 4, 5, 6 за 1989 год напечатан роман Анатолия Кима «Отец-лес».

60 лет назад — в № 4-5 за 1944 год напечатана драматическая сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев».

70 лет назад — в № 4, 5, 6, 7, 9, 10 за 1934 год печатался роман Вс. Иванова «Похождения факира».

SUMMARY



This issue publishes a tale by Roman Senchin «Up and Ahead with Run down Batteries», a tale by Yelena Dolgopyat «Farmacist», a story by Aleksander Yakovlev «No Chance to Lose One's Way Here», as well as three stories by Andrey Kuchayev. The poetry section of this issue is made up of the new poems by Yevgeny Rein, Larisa Miller, Vladimir Gubailovsky, Yevgeny Erastov and David Raskin.

The sectional offerings are as follows:

Studies of Our Days: «Cuban notebooks» by archimandrite Augustine Nikitin «In a Large and Happy Prison».

Close and Distant: «Literary St Petersburg» — an archive publication of memories by a provincial journalist N. Nilly dwelling on artistic life in St Petersburg of the 1920-ies

Comments: an article by Alla Latynina «Ten Years Later» on Dmitry Galkovsky's publicist works.

Literary Critique: an article by Alla Marchenko «Instead-of-novels» highlighting the genre situation of contemporary Russian prose.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: **С. С. Аверинцев**, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,

А. Г. Волос, Д. А. Гранин, В. А. Губайловский, Б. П. Екимов,

Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина,

Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова,
М. О. Чудакова

Главный редактор **А. В. Василевский**

Редакционная коллегия: **М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,**

П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,

О. Г. Чухонцев

Корректоры **Н. Н. Замятина, С. Л. Лукогина**

Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова**

Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@lenta.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.12.2003 г. Подписано к печати 29.02.2004 г. Формат бумаги 70x108^{1/16}. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9000 экз. Зак. 4159. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова,
учрежденная журналом «Новый мир»
и Благотворительным Резервным фондом,
присуждается с 2000 года автору,
живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России.

По итогам 2000 года лауреатом премии стал ИГОРЬ КЛЕХ,
по итогам 2001 года — ВИКТОР АСТАФЬЕВ (посмертно),
по итогам 2002 года — АСАР ЭППЕЛЬ,
по итогам 2003 года —

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ

за рассказ «Утюжок и мороженое»,
опубликованный в журнале «Знамя» (2003, № 1).

Состав жюри 2003 года:

МИХАИЛ БУТОВ, прозаик,
ответственный секретарь журнала «Новый мир»;
ДМИТРИЙ БЫКОВ, поэт, прозаик,
литературный критик, публицист;

РУСЛАН КИРЕЕВ, председатель жюри, прозаик,
зав. отделом прозы журнала «Новый мир»;

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,
президент Благотворительного Резервного фонда
(в настоящее время — депутат Государственной Думы РФ);

МИХАИЛ ЭДЕЛЬШТЕЙН, литературный критик,
обозреватель «Русского Журнала».

Сумма премии — 3000 \$.